







2.2 ҶИҶ

(ТИХОТВОРҶИЯ

**ПРЕДСЛОВИЕ П. С. КОГАНА
РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
В. А. ЗОРГЕНФРЕИ**

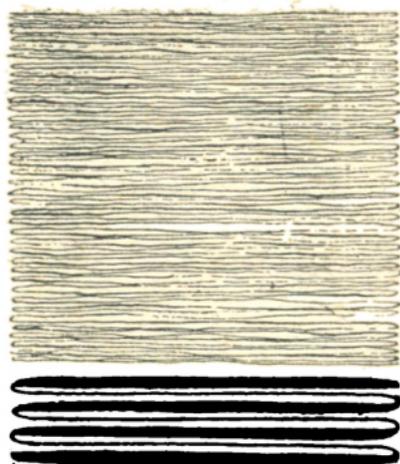


Heinrich Heine

Сокровища Мировой
Литературы

Генрих Гейне

Стихотворения



Academia

Москва - Ленинград

1931

Герих Гейн

СТИХОТВОРЕНИЯ



Academia
Москва-Ленинград
1931

ОРНАМЕНТАЦИЯ КНИГИ
ХУД. В. М. КОНАШЕВИЧА

Ленинградский Областлит № 73281.
Тираж 10070—22½ л. Заказ № 3426
20-я типография ОГИЗ'а
им. Евг. Соколовой,
Ленинград, пр. Кр.
Командиров, 29

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

«Коммунисты... самая сильная из всех партий; их время, правда, еще не наступило, но спокойное выжидание не есть потеря времени для людей, которым принадлежит будущее».

Эти пророческие слова были написаны Генрихом Гейне в 1855 году, за год до его смерти. Гейне имел мужество заявить, что «главным догматом своим коммунисты признают самый неограниченный космополитизм, всемирную любовь ко всем народам, братские отношения между всеми людьми, свободными гражданами земли». Он сумел подчинить свои поэтические вкусы неумолимой логике истории и приветствовать будущее торжество общественного строя, «враждебного его склонностям и интересам». Он, может быть, глубже всех, чутьем поэта, сам великий мастер слова, понял тайну успеха коммунистического учения, которое владеет языком, «понятым всем народам, — элементы этого мирового языка так же просты, как голод, ненависть или смерть». Маркс и Энгельс высоко ценили Гейне, и известное письмо поэта к Марксу (от 21 сентября 1844 года) свидетельствует о том, какое огромное внимание проявлял автор «Капитала» к творчеству Гейне.

И тем не менее, несмотря на эту ясность и остроту политического глаза, Гейне не стал поэтом пролетариата, не дошел до конца того пути, который указывала логика истории. Он принадлежал трем мирам, борьбою которых отмечена первая половина XIX столетия. Он родился в 1797 году и умер в 1856. Эта эпоха связана повсюду в Европе с переходом от феодально-земледельческой хозяйственной системы к новой буржуазно-капиталистической. В патриархальный быт старых усадеб ворвались

свистки локомотивов, рядом с мирными барскими домами задымилась высокие фабричные трубы. В недрах дворянского, мещанского и ремесленного общества возникало новое, буржуазно-капиталистическое, а в недрах этого последнего уже слышались первые раскаты отдаленной грозы, начиналось грозное движение пролетариата. Гейне был эстетом и индивидуалистом. Он был сыном того переходного времени, когда дворянский класс уже выпускал из своих рук нити управления политической и социальной жизнью, а буржуазия еще не овладела прочно этими нитями. Это была эпоха, когда дворянская культура, предания и нравы феодально-католического средневековья далеко еще не утратили своего обаяния над умами, а с другой стороны, растущая индустрия, усиливающийся капитализм увлекали теми перспективами, которые развертывались перед буржуазным обществом. Три борющиеся силы, три культуры, три системы воззрений, рожденные этими культурами, дворянство, буржуазия и пролетариат, имели одинаковую власть над сознанием Гейне. Всю жизнь не мог отрешиться он вполне от старого романтического мира и в то же время ненавидел этот мир и породившую его феодальную культуру, дворянское общество с его презрением к остальному человечеству, с его фантастикой, которая так дорого обходилась беднякам, с его привилегиями, скрывавшими инициативу и предпримчивость. Гейне умел ценить значение этих новых качеств, которые принесла с собой буржуазия, как мерилло человеческого достоинства, на смену геральдическим книгам и родословным деревьям, он понимал освободительную роль, которую играла буржуазия на заре своего начинающегося господства, понимал значение войны, которую она объявила привилегиям, уцелевшим от средневековья остаткам феодального права. И в то же время, будучи глашатаем революционных стремлений буржуазии, он умел говорить языком коммуниста и социалиста, когда наталкивался на новые бедствия, которые она готовила обществу, вместе с расцветом техники и предпримчивости принося с собой царство эксплуатации, голого чистогана и беззастенчивого хищничества. Таким же двойственным было его отношение к пролетариату. Мы видели, как проникновенно уже в те времена угадывал он мировую роль рабочего класса. И в то же время

его аристократические привычки, его связь с романтикой, обаяние еще не ушедшей дворянской культуры заставляли его отворачиваться от коммунизма; он «с ужасом и трепетом» думал иногда о том времени, когда эти «мрачные иконоборцы» достигнут господства. Ему чудилось, что они «беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, разрушат дорогие сердцу поэта фантастические игрушки искусства, вырубят олеандровые рощи и станут сажать в них картофель, вырвут лилии за то, что они не занимались пряжей и работой, а были одеты великолепнее царя Соломона, уничтожат розы, этих праздных невест соловьев, а из его «Книги песен» бакалейные торговцы сделают пакеты и будут всыпать в них кофе для старух будущего мира».

Классовая борьба, разгоравшаяся во всей Европе, в Германии носила своеобразный отпечаток благодаря ее экономической отсталости. Германия вступила на путь промышленно-капиталистического развития позднее других стран. Здесь дольше держались крепостные отношения. По решению Венского конгресса, Германия, как известно, была разбита на тридцать шесть государств; прусское юнкерство даже после освобождения крестьян не только сохранило свои поместья, но и свои старинные права, судебную-полицейскую власть над сельским населением, право назначения местного пастора, право занимать высшие должности в администрации и в армии. И еще в конце 40-х годов немецкое дворянство представляло собою господствующую силу, и немецкая интеллигенция не могла освободиться от дворянского миропонимания, несмотря на рост либеральных идей и революционного радикализма. Капитализм не мог больше мириться с существованием крепостнических пережитков, с внутренними таможенными границами, тормозившими свободное развитие торговли. Экономика требовала единого мощного государства и конституционного образа правления. Хозяйственные противоречия — в области литературы преобразались в борьбу романтизма и реализма, в столкновение религиозно-мистических устремлений с научно-материалистическими тенденциями.

Гейне был глубочайшим выразителем противоречий сознания, складывавшихся на основе этого социального сдвига, постоянно разрываясь между дворянской, бур-

жуазной и пролетарской культурами. В его публицистических статьях и письмах мы находим самые противоположные суждения. С одной стороны, он готов преклониться перед дворянством, которое представляется ему хранителем цивилизации, защищающим все художественные коллекции и картинные галереи, собранные им в продолжение веков. С другой стороны, в третьем томе «Путевых картин» он заявляет: «Пусть философы-ренегады свободы продолжают ковать тончайшие цепи доводов, чтобы доказать нам, что миллионы людей созданы как вьючные животные для нескольких тысяч привилегированных рыцарей; они все-таки не убедят нас в этом, пока не докажут нам, как говорил Вольтер, что первые родились с седлами на спинах, а вторые со шпорами на ногах». Совершенно исключительная популярность гейневской поэзии объясняется именно тем, что она была глубочайшим выражением противоречий сознания, через которые прошла не только немецкая, но и вся европейская либеральная интеллигенция, не сумевшая сделать всех логических выводов, вытекающих из ее либерализма. В своем творчестве Гейне не только отразил эти колебания мысли, он был выразителем и всего разнообразия противоречивых чувств и настроений, рожденных этими колебаниями. От пессимизма и отчаяния он переходил к горькой иронии, к язвительной насмешке над человеческими усилиями, над всей окружающей действительностью, над собственной несостоятельностью; от проповеди эпикуреизма и гедонизма — к проповеди борьбы и революции, от мечты и фантастики — к издевательствам над всякой восторженностью, над романтическими грезами. Социальные противоречия, среди которых оказался Гейне, преобразались в его сознании в противоречия космического порядка, и его бессилие найти твердую опору в одном из борющихся классов рисовалось ему в качестве бессилия личности обрести цельность и гармонию в мировом порядке. «Дорогой читатель, — говорит он, — если ты хочешь сетовать на разлад, то сетуй на то, что мир сам разорвался посредине надвое. Ведь сердце поэта — центр мира, поэтому оно с воплем должно было разбиться в настоящее время. Кто чванится, что его сердце осталось цельным, тот сознается, что у него прозаическое, обособленное сердце. Через мое же сердце

прошла великая мировая трещина, и потому я знаю, что великие боги щедро одарили меня милостями перед другими людьми и удостоили меня мученического венца поэта. Мир был цельным в древности и в средние века. Тогда были поэты с цельной душой. Но всякое подражание им в наше время есть ложь, которая ясна всякому здоровому оку и которая не может поэтому уйти от насмешки».

Таковы были общественные настроения, которыми определился путь Гейне. Не трудно проследить, как эволюционировало его сознание от мистических и романтических устремлений в сторону научного материализма, и как, с другой стороны, от аристократического индивидуализма, от эстетических и эпикурейских идеалов он переходил на путь борца-публициста, агитатора-революционера.

II

Он родился в Дюссельдорфе, где и получил первоначальное образование в местном лицее. Гейне было девять лет, когда его родной город был занят французами, во власти которых он оставался до падения Наполеона в 1813 году. Победы Наполеона и те либеральные реформы, которые вводил он повсюду в Европе, проходя ее со своими победоносными войсками, утвердили за ним славу носителя демократических идей, идей французской революции. Во многих местах он отменил крепостное право, смягчал действие цензуры, а главное, что особенно глубоко должна была почувствовать семья Гейне, предоставлял все права евреям. Это нужно иметь в виду, когда мы встречаемся впоследствии с благоговейным культом, которым Гейне окружал имя французского императора, и вообще с его симпатиями к французам, с его заявлением о том, что любовь к свободе была его религией, «первосвященником которой был Христос, а апостолами — французы». Когда он увидел Наполеона в аллее придворного дюссельдорфского сада, ему показалось, что «деревья, вздрагивая, преклонялись при его приближении, солнечные лучи с боязливым любопытством проглядывали сквозь зеленые ветви, а по голубому небу явственно плыла золотая звезда». Дюссельдорф стоит на Рейне, и эта река с легендами, витающими

над ее берегами, и первые книги, прочитанные мальчиком, — «Дон Кихот», фантастические повести Гофмана, авантурные романы вроде Ринальдо-Ринальдини, — все это питало романтическую фантазию подростка. Родители готовили Гейне к коммерческой деятельности. Его пытались поместить в банкирскую контору во Франкфурте-на-Майне. Когда эта попытка оказалась неудачной, Гейне был отправлен в Гамбург к дяде Соломону, банкиру-миллионеру, в конторе которого будущий поэт должен был пройти коммерческую школу. Несмотря на то, что Гейне пробыл здесь более трех лет (1816—1819), он не обнаружил никаких способностей, и эта так же, как и все другие попытки такого рода, оказалась неудачной. Гамбург сыграл, однако, огромную роль в жизни поэта, совершенно в другом смысле. Здесь он встретился со своей двоюродной сестрой Амалией, дочерью Соломона, и страстно влюбился в нее. Амалия была светская девушка, избалованная богатством и поклонением. Она вращалась в блестящем, но пустом обществе, которое производило угнетающее действие на ее кузена. Она не могла оценить его гения и повидимому иронически относилась к нежным стихотворениям, которые посвящал ей поэт. Несчастливая любовь Гейне к этой девушке, на которой он мечтал жениться, история его страданий послужила главным содержанием его «Книги песен», одного из величайших произведений мировой поэзии.

После крушения коммерческих планов Гейне начались его странствования по университетам. В 1819—1820 году мы застаем его в Боннском университете, где он между прочим слушал лекции вождя романтической школы Августа-Вильгельма Шлегеля, который оказал на него большое влияние и несомненно содействовал развитию в нем романтических настроений. В 1820 году появилась ранняя статья Гейне «Романтика», предвещающая его будущие воззрения. Он противопоставляет романтизм чувственному мировоззрению греков и римлян, поэзия которых прославляла преимущественно внешнее, объективное. «Когда же на Востоке, — говорит он, — забрезжил более прекрасный и более кроткий свет, когда люди начали понимать, что есть нечто лучшее, чем чувственное опьянение, когда наделяющая блаженством идея христианства — любовь — начала проникать в умы, охва-

тывая их трепетом, — тогда и люди захотели и словами высказывать и воспевать этот тайный трепет, эту бесконечную тоску и в то же время бесконечное блаженство». Но уже в этой первой статье Гейне восстает против романтических туманностей. Для него романтическая поэзия — ясные образы, возбуждающие определенное душевное настроение, а не болезненная устремленность в иные миры. Уже здесь он выступает против опасности, которая таилась в романтизме, явившемся своеобразным оправданием привилегий духовенства и дворянства. «Германия, — говорит Гейне, — теперь свободна; ни один поп не может больше держать за решеткой немецкие умы; ни один деспот-дворянчик не может уже бичевать плетью немецкие оброчные спины, а потому и немецкая муза должна отныне быть не болезненною, вялою монашенкой и не кичащеюся своим рыцарским званием барышнею, но, как прежде, свободною, цветущею, не жеманною, честною немецкою девушкой». После Бонна Гейне переходит в Геттингенский университет, где его внимание привлекают преимущественно профессора эстетики и физиологии, где он сталкивается с мелкими интересами мещанского филистерского городка, начиненного, по его выражению, присяжными пуделями, диссертациями, прачками, компендиями, жареными голубями, гвельфскими орденами, горфатами, юстидратами, религационсратами, профаксами и другими различными факсами. В 1821 году Гейне переезжает в Берлин, где попадает в избранное литературное общество, между прочим в знаменитый кружок Варнгагена фон Энзе, и здесь же знакомится с философией Гегеля, которая оказала большое влияние на развитие его сознания. Он уловил в этой философии идею освобождения дерзновенно осознавшей себя личности от всех обычных воззрений. Он стал теперь «сам живым законом морали и источником всякого права и всяких правил».

В этом же 1821 году вышел первый сборник гейневских стихотворений под названием «Стихотворения» («Gedichte»). Два года спустя вышел второй сборник «Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo», в который вошли две трагедии «Альмансор» и «Радклиф» и между ними ряд лирических стихотворений, откуда их название — «Лирическое интермеццо». В 1823 году Гейне снова поехал в Гамбург, где опять пережил встречу с Ама-

лей, причинившую ему новую боль. Результатом этой встречи явился ряд стихотворений, озаглавленных «Heimkehr» («Опять на родине»). В 1824 году, томимый своими любовными страданиями, своей зависимостью от богатого дяди, который выдавал ему ежегодную субсидию, чувствуя отвращение к немецкому обществу, к его пошлым, мелким интересам, Гейне отправился путешествовать в горы Гарца, где написал ряд романтических стихотворений («Aus der Harzreise»). Присоединив к этим сборникам цикл стихотворений, посвященных «Северному морю», Гейне издал их в 1827 году под общим заглавием «Книга песен». Это та прославленная книга, которая переведена на все европейские языки, над переводами из которой пробовали свои силы наши лучшие поэты и которая давно уже вошла в список прекраснейших созданий мировой поэзии.

III

«Книга песен» приобрела свое мировое значение, конечно, не автобиографическим содержанием, в котором мы узнаем историю личных переживаний поэта; она — выражение раздвоенности, душевных противоречий, того разлада, которыми отмечен был, как мы видели, путь демократической интеллигенции, не сумевшей связать своего идеала личной свободы, своего культа красоты и творчества с правильным пониманием законов социального развития, не нашедшей выхода своему томлению, не разглядевшей со всей четкостью общественных сил, которым история назначила привести в гармоническое соответствие свободу и необходимость, внутренний мир творческой личности с общественными отношениями, складывающимися в мире внешнем. «Книга песен» — одно из гениальнейших поэтических выражений романтического мироощущения. Но в ней нет светлого и радостного принятия мира, того слияния с беспредельным, которое позволяло немским романтикам видеть отражение абсолютной идеи во всех явлениях действительности, которое побудило Белинского в шеллингянский период его деятельности улавливать дыхание «вечной идеи» даже в землетрясениях и слезах ребенка. В «Книге песен» нет этих светлых, примиряющих нот. В первом отделе «Юные страдания», который в общем почти

совпадает с упомянутым сборником «Стихотворения» (изданным в 1821 году), перед нами весь арсенал романтических фантазий. Тут и демоны, и таинственные чудовища, карлики, духи, кладбища и т. д. Душа поэта томится зловещими предчувствиями. Ему чудятся подстерегающие его враждебные силы, таинственная дева, роющая для него могилу, «сын ночи», готовящий ему страдания. Тревожное настроение не покидает его и в дальнейших стихотворениях, где он передает печальную историю своей любви к Амалии. Здесь помещены всемирно известные стихотворения о Лорелее, которая пела свои губительные песни на скале над Рейном, приманивала рыбацьи лодки и обрекала их на гибель; о двух гренадерах, возвращающихся из русского плена, из далекой Сибири во Францию, и восторженно вспоминающих своего императора Наполеона, имя которого Гейне окружил таким ореолом; о кедре, который на севере диком в своем одиночестве грезит о пальме, отделенной от него огромными пространствами земли.

В этих стихотворениях уже чувствовалось новое настроение, отличавшее их от романтической поэзии. Правда, как и у романтиков, поэзия Гейне проникнута смутным томлением по иной, нездешней жизни, озарена волшебным светом бурной фантастики. Но перед нами живой человек среди конкретной действительности. Как ни интимно его горе, но в нем чувствуется беспокойное, тревожное состояние интеллигентского сознания эпохи. Его тоска не надуманная. Она вытекает из пережитого, из горького опыта. Она — плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». В этих песнях о любви к девушке слышно биение социального пульса. Поэт видит нити, связующие личные переживания с социальными условиями. Злые духи и потусторонние силы, в непосредственном общении с которыми жили старшие романтики, — здесь только образное воплощение душевных настроений, художественный аксессуар. Свои страдания поэт не склонен объяснять влиянием таинственных потусторонних сил. Он знает, что богатство, тщеславие, пустота и пошлость, рождающиеся в мире праздных тунеядцев, сыграли немалую роль в его муках. Вот почему его ирония — не та примиряющая романтическая ирония, которая давала возможность романтическому поэту

с улыбкой смотреть на весь мир, но и откуда-то со стороны созерцать самого себя, улыбаться своему собственному бессилию. Гейневская ирония временами пропитана болью и желчью. Его романтические песни — не столько радостные песни об освобождающей силе мечты, сколько скорбь о незаконности всякой мечты, о неизбывности противоречий. Излюбленный прием его поэзии — пародия, разрушающая романтическую грезу, грубая действительность, врывающаяся ироническим финалом в мир видений, пробуждение, возвращающее от волшебного сна к неприглядной реальности. Стихотворение «Морское видение» — быть может наиболее характерно в этом смысле. Лежа у борта корабля, поэт будто сквозь сон смотрел в зеркально чистую морскую воду, и вот со дна поднялся средневековый фламандский город, куполы и башни, мужчины с белыми брыжжами, почетными цепями и длинными мечами, в черных мантиях, шли к «ратуше, с крыльцом высоким, где статуи кесарей из камня стоят, с мечом и скипетром, на страже». Поэт охвачен тайным содроганием; тоской глубокою и грустью бесконечной сдавлено его еще незалечившееся сердце, ему чудится там внизу, в старом доме с высокими стенами, девушка, которую он с душой, печалью полной, искал по всей земле и которую наконец нашел. Он не расстанется с ней больше, он бросается к ней в объятия, в море. Но во-время капитан корабля схватил его за ногу, оттащил от борта и крикнул, сердито рассмеявшись: «Да что вы, доктор, взбесились?». Так в мир средневековых сновидений ворвалась жизнь; власть конечных вещей все сильнее давала себя чувствовать и наносила удары тому, кто по примеру романтиков стремился к слиянию с бесконечным, и в «Книге песен», возникшей на переломе от романтизма к реализму, в эпоху еще не разрешенных социальных противоречий, не только немецкая, но и вся европейская интеллигенция услышала отклик на свои собственные тревожные переживания.

IV

В «Путевых картинах» чувство тревоги и неудовлетворенности, владевшее поэтом, получает более конкретное выражение. От лирических песен Гейне переходит

к повествованию, он пытается глубже заглянуть в окружающую действительность, уловить социальные корни своих личных страданий. Правда, и здесь Гейне не расстается с романтической манерой. Картины нравов, описание политических событий перемежаются с фантастическими видениями, трезвые практические суждения — с бурными лирическими порывами. «Путевые картины» — смешение разных стилей. Точные, почти научные данные сменяются балладами и легендами, законченные повести — отрывочными набросками, беглыми впечатлениями. Самая манера соответствует теме. Гейне никогда не пришлось написать большого романа. Две его большие трагедии неудачны. В политической и социальной жизни Германии еще не было материала для широких обобщающих тем. В тогдашней борьбе классов еще не обрисовывались четкие контуры нового общественного строя, который дал бы возможность поэту поставить большие проблемы. Гейне не мог противопоставить умирающей системе маленьких и крупных феодально-монархических деспотических государств стройную государственную систему иного порядка. Идеал единой конституционной империи, смутно рисовавшийся буржуазии, был еще делом далекого будущего. «Путевые картины» связаны только внешним единством, мысли и образы поэта разорваны, они объединены только формой путешествия. Он перебегает с предмета на предмет, его насмешка настигает отдельные уродства жизни, но он не в силах охватить целое. Впрочем, есть известное внутреннее единство в «Путевых картинах»: это хоть и неопределенная, но пламенная жажда свободы, пробуждающееся революционное чувство, протест против мещанства, против бессодержательной и пустой жизни современного поэту общества. Это наброски эстета, который в нестроении жизни, среди разнообразных форм человеческого страдания и унижения, наиболее болезненно ощущает цепи, сковавшие творческие силы человеческой личности, остановившие свободный полет гения. Самое путешествие Гейне предпринял, спасаясь от филистерского общества. Большие и маленькие монархи только что в тысячный раз самым циничным образом обманули своих подданных. Во время нашествия Наполеона, патриотические обращения к народу, щедрые обещания свободы, широкообещатель-

ные манифесты воспламенили молодежь, возбудили массы к борьбе с чужеземцем. Но когда опасность миновала, монархи отложили в долгий ящик проведение обещанных конституций. И снова екрипели перья в канцеляриях, снова схоластика водворилась в школах, снова цензура свирепствовала, подавляя всякие проблески свободной мысли, снова пустая светская болтовня, сплетни и флирт, в лучшем случае философские и эстетические интересы, стали содержанием общественной жизни. Политикой не интересовались, общественные интересы отошли на второй план. «Мы, — говорит Гейне, — у которых не было резонирующих и политических журналов, были зато награждены бесчисленным множеством эстетических изданий, которые не содержали ничего, кроме праздных сказок и театральных рецензий. Кто видел наши газеты, мог вообразить, что весь немецкий народ состоит из болтающих нянюшек и театральных рецензентов. Музеи сверкают роскошью красок, оркестры гремят, балерины отличаются самыми блестящими антраша, а театральная критика процветает». Гейне бежал от «сюртуков» и «шелковых чулок», от «льстивых речей», бежал в горы; «где живут простые люди, где свободной веет ветер и легко усталой груди». Он побывал в горах Гарца, в Нордернее, в Англии, в Италии. Плодом этих поездок и явились четыре тома «Путевых картин».

Читая эти увлекательные наброски, не трудно проследить, как от первого тома к последнему романтические настроения и фантастические видения постепенно уступают место политическим и общественным интересам. В первом и втором томе каскады остроумных мыслей, смешные фигуры педантов, филистеров, надутых чиновников чередуются с замечательными картинами природы и романтическими сказками. В следующих томах стихи исчезают, в индивидуальные переживания все глубже вливаются волны бушующей современности. Уже второму тому Гейне придавал большое общественное и боевое значение. «Книга, — писал он, — сильно нашумит не из-за личного скандала, а из-за больших мировых вопросов, о которых она говорит. Наполеон и французская революция встают здесь во весь рост». Тупое самолюбие немецких филистеров не могло быть не оскорблено до глубины души, когда, озаренные ярким фантастическим светом,

одна за другой проносились картины немецкой жизни, в комической форме изображались патриархальные курфюрсты и дремлющие в счастливом неведении их не менее патриархальные подданные, когда в эту затхлую атмосферу стоячего болота ворвались звуки французских барабанов, явились марширующие французские войска — «этот веселый народ славы, исходивший мир с песнями и музыкой», когда в загадочной книге «Легран» Наполсон явился в виде освежающей бури, всколыхнувшей застоявшуюся грязь обывательского существования, и когда поэт с явным восторгом вспоминал, как барабанил «красный марш гильотины». Все четыре тома «Путевых картин» появились в годы перед июльской революцией (1826—1831), когда, по собственному выражению Гейне, «политический гнет в Германии породил всеобщую немоту, и умы впади в летаргию отчаяния. Второй том возбудил сильное внимание и волнение среди читающей публики, и некоторые правительства, между прочим в Пруссии, запретили книгу, что еще более усилило интерес к ней.

В следующих томах, посвященных Италии и Англии, Гейне выступает уже настоящим политическим агитатором. Он издевается над духовенством и дворянством, он несомненно является проповедником демократических идей, и в то же время у него нет четкого политического сознания, он не всегда улавливает связь между отдельными элементами того или другого социального порядка. Он думает, что можно сохранить религию и обезвредить церковь, сохранить монархов и уничтожить дворян. «Я, — говорит он, — ненавижу не трон, а только легкомысленную дворянскую нечисть, свивающую свои гнезда в щелях древних тронов, характер которой Монтескье так точно описал словами: «Честолюбие в соединении со страстностью, подлость в соединении с высокомерием, склонность к обогащению без затраты труда, отвращение к истине, льстивость, изменчивость, вероломство, неверность своему слову, пренебрежение к гражданскому долгу, уклонение от княжеских доблестей и сочувствие княжеским порокам!» Я ненавижу не алтарь, но тех змей, которые клянутся под хламом древних алтарей; хитроумных змей, способных улыбаться невинно, как цветы, в то время как втайне они источают свой яд в чашу жизни и шипят

клеветою в уши благочестивых богомольцев, скользких червей с кроткими словами». В положительных политических идеалах можно уловить те две основные тенденции, те два лозунга, которые были начертаны на знамени передовой немецкой молодежи и интеллигенции. Эти лозунги — конституция и единство Германии. В тридцатых годах, непосредственно после появления «Путевых картин», был осуществлен таможенный союз, который уничтожил внутренние заграждения, послужил переломным моментом в развитии капитализма в Германии, положив начало экономическому объединению еще до объединения политического. Гейне был убежден, что религия, став государственной, «жалким порождением незаконной связи светской и духовной власти», служит главной причиной несчастий Германии. Не будь такой государственной религии, «Германия была бы единая и сильная, а сыны ее были бы велики и свободны». Он громит высокомерие духовенства, которое «в обмен на духовные узы, предоставленные государству для порабощения народов, опирается на его штыки». Как ни противоречивы политические воззрения Гейне, на всем протяжении путевых картин неизменно остается его ненависть к двум привилегированным сословиям, образовавшим союз для порабощения народов, — к духовенству и дворянству. «Из ила Нильской долины возникли не только крокодилы, так хорошо умеющие плавать, но и жрецы, умеющие проделывать это еще лучше, и то наследственно-привилегированное сословие, которое кровожадностью и прожорливостью даже превосходит крокодилов».

V

Само собою разумеется, что после подобных рассуждений, Гейне было небезопасно оставаться в Германии. В июле 1830 года, когда Гейне наслаждался природой на острове Гельголанде, однажды с материка прибыл пакет с «знойно-жаркими новостями». «То были, — рассказывает поэт, — солнечные лучи, завернутые в бумагу, и они произвели в моей душе самый дикий пожар! Мне казалось, что я мог зажечь весь океан до северного полюса тем огнем вдохновения, который пылал во мне». То были известия об июльской революции. Летом 1831 года

Гейне приехал в Париж. Из романтического поэта он становится политическим писателем, остроумным публицистом. Он пишет корреспонденции в «Augsburger Allgemeine Zeitung», в которых отразились новые политические воззрения Гейне, возникшие под влиянием впечатлений во Франции, где Гейне познакомился не только с либеральной буржуазией, но и с социалистическим движением, с идеями Сен-Симона, лично подружился с главою сенсимонизма Анфантемом, в первое время принимал участие в пропаганде среди тайных кружков, среди ремесленников и подмастерьев. И здесь Гейне не нашел твердой опоры в определенном классе. Он сразу увидел темные стороны мелочной монархии, организованной в интересах финансовой аристократии, приказчиком которой являлся Луи-Филипп, трусливо заигрывавший с народом, представлявший собою первого коммерсанта, как некогда Людовик XIV представлял собою первого дворянина. Но, прекрасно понимая, что мелочная монархия — не тот идеал свободы, который рисовался ему в его романтических видениях, — Гейне не примкнул до конца и к революции. Этому помешал его аристократический эстетизм, его индивидуализм и никогда не покидавшие его вполне романтические склонности. Отстаивая интересы эксплуатируемых, он, однако, вскоре перестал посещать революционные сходки, не мог понять, что только организация масс является надежным средством освобождения народа, он отказывался «пить брудершафт с подмастерьями» и в своем эстетизме доходил до того, что не хотел приближаться к народу, который «вопит сыром». Корреспонденции Гейне, знакомившие немецкую публику с политической борьбой во Франции, произвели целую бурю в Германии. Правительство обрушилось запретительными мерами на поэта, самые корреспонденции цензура нередко подвергала таким искажениям, что Гейне приходил в отчаяние, увидав их в печати. Под влиянием этих корреспонденций, которые вышли в 1832 году в виде отдельной книги — «Французские дела», возникло литературное направление, известное под именем «Молодой Германии». Его главными представителями были Гукков, Мунд, Винбарг и Лаубе. Своими духовными вождями «молодые германцы» считали Гейне и его великого современника Берне. За-

стрельщиком против «Молодой Германии» явился известный в свое время Менцель, некогда тоже принадлежавший к либералам, но позднее склонившийся к реакционным воззрениям и не брезгавший в своей борьбе доносами. «Молодая Германия» проповедывала идеи свободы, материализма, освобождение от всех предрассудков, политических, моральных и эстетических, выступала на защиту сенсимопистской идеи реабилитации плоти и эмансипации женщин. Вот что писал между прочим Менцель об этой группе: «От ничтожной искры может загореться пожар... Под маской французского республиканизма эта новая франкфуртская школа порока и богохульства вводит ужаснейшее бесстыдство. Плоть, свободная чувственность, уничтожение брака — вот их лозунги, и они не только пишут непристойные книги, но и воскрешают старыс».

Под влиянием доносов германское правительство запретило сочинения «молодых германцев», причем по отношению к Гейне была принята неслыханная в истории цензуры мера: были запрещены не только прошлые, но и все будущие сочинения Гейне. Прусское правительство было так напугано, что угрожало закрыть доступ в пределы государства французским органам печати, помещавшим у себя статьи Гейне. Своими корреспонденциями Гейне стремился сблизить французское и немецкое общество, содействовать ознакомлению немецкой интеллигенции с французской политической жизнью. Но он стремился, с другой стороны, дать французскому обществу представление о философских и литературных достижениях в Германии. С этой целью он напечатал две большие работы: «К истории религии и философии в Германии» и «Романтическую школу». В этой второй книге Гейне нанес удар той школе, из которой сам вышел. Романтические увлечения не помешали ему разоблачить реакционную сущность романтизма. Сложное мироощущение поэта, его неспособность подчиниться партийным требованиям увеличивали постоянно количество его врагов и в конце концов привели его к столкновению с Берне, прямолинейным и неподкупным политическим деятелем, который не выносил эстетизма и политических колебаний поэта. После смерти своего сначала союзника, а потом противника, Гейне опубликовал книгу «О Берне».

которая вызвала негодование даже среди многих друзей поэта, в особенности потому, что была направлена против человека, который уже не мог защищаться. Несмотря на личные нападки, на несправедливые обвинения, на страстный тон, этот блестящий памфлет ярко рисует причины вражды двух знаменитых писателей. В нем не трудно разглядеть образ фанатического поборника идей, не знающего компромиссов, склонного к отречению, к аскетизму и жертве, и с другой стороны — жизнерадостного поэта, эстета, певца свободы и красоты, не умеющего разделить эти два одинаково дорогие для него понятия. Они как бы живая иллюстрация к тому знаменитому разделению людей на две категории, о которых писал Гейне: «Все люди или «евреи», или «эллины», т. е. или люди с побуждениями, враждебными образности, жадными к одухотворению, или люди с веселым, гордым и реалистическим характером. Таким образом, «эллины» по временам встречались в немецких семействах, и, с другой стороны, были «евреи», родившиеся в Афинах и, может быть, происходившие от Тезея. Можно справедливо сказать, что борьба делает человека евреем».

К тяжелым неприятностям, присоединяемым борьбой с политическими противниками, присоединились личные несчастья. В 1844 году умер дядя Соломон, не оставивший своему племяннику пенсии, вопреки обещанию. Гейне, страдавший денежно от запрещения его книг, очутился в тяжелом материальном положении, и только в 1847 году, после унижений и мучительной борьбы, поэту удалось добиться возобновления пенсии от наследников дяди, ненавидевших его за его острый язык. Гейне сам давал сильное оружие в руки своим политическим врагам теми компромиссами, на которые он шел, чтобы поправить свои денежные дела. Они использовали тот факт, что Гейне принял пенсию от французского правительства, и обвиняли его в том, что он продал свою литературную свободу министерству Гизо. «Я, — писал Гейне, — получал ее среди других знаменитостей таланта и несчастья, и мне не приходится стыдиться своего соседства... это была великая милостыня, раздаваемая французским народом тысячам чужестранцев, которые с большей или меньшей славой скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли убежище у гостеприимного

очага Франции». В оправдание своего поступка Гейне ссылаясь на упомянутое выше постановление германского правительства о запрещении его ненаписанных произведений, постановление «неслыханное в летописях нелепого насилия». Несмотря на эти заявления, поступок этот не нашел полного оправдания даже у друзей поэта.

VI

К 1843 году относится начало дружбы Гейне с Марксом, который оказал огромное влияние на поэта и влияние которого в значительной степени литература обязана рядом замечательных поэтических произведений Гейне, представляющих непревзойденные до сих пор образцы политической поэзии. Еще незадолго до этого он отдал последнюю дань романтизму в своей поэме «Атта Трель» (1841 год, в полном виде напечатана в 1847 году). Это был блестящий рецидив, последний могучий порыв индивидуалиста и эстета. После злобных нападок и клевет, которыми его преследовали враги, в особенности после его книги о Берне, Гейне почувствовал потребность снова заявить о своей ненависти к либералам, которые рисовались его воображению воплощением банальности и посредственности, тупости, стоящей препоной на пути ко всякому свободному проявлению человеческой личности, ко всякой красоте и свободе. Образом этой глупости является танцующий медведь, которого судьба забрасывает в Ронсевальскую долину, где некогда погиб Роланд, знаменитый рыцарь Карла Великого, воспетый в известной средневековой поэме. Гейне пользуется этим эпизодом, чтобы воскресить мир легенд, связанных с именем Ронсевала. Снова расцветает увядший голубой цветок, из давно минувших времен встают старые видения, смотрят глаза духов, слышен звон мечей, бьются франкские рыцари и мавры, и, словно истекая кровью, звучит рог Роланда.

Маркс, переехавший, как сказано выше, в 1843 году в Париж, сыграл огромную роль в деле поворота Гейне от романтизма к политической поэзии. Именно после бесед с Марксом появились те творения Гейне, которые склонили суд истории в его пользу, внеся его имя в список борцов за освобождение человечества, утвердили за

ним имя барабанщика революции, заставили забыть его отступления и «отречения». Высшей силы сатира Гейне достигает в сборнике «Современные стихотворения», в поэме «Германия», в таких стихотворениях, как «Диспут», «Силезские ткачи» и др. Современная ему Германия, с довольством и спокойствием кладбища, выведена в стихотворении «Китайский богдыхан», — деспот, радующийся благополучию своего народа, который больше не просит ни конституций, ни свобод и довольствуется палкой. Сарказмом проникнуто стихотворение «Просветление», посвященное Михелю, т. е. простодушному немецкому народу, который понял, наконец, что скрывается за напоминаниями о небе и боге, понял, что у него из-под носа тащат лакомые блюда и взамен обещают счастье в небесах, где ангелы изготовляют без мяса блаженство. Поэт предлагает немецкому народу позаботиться о своем желудке здесь, на земле, а пищеварением заняться позднее, когда он ляжет в гроб. И, наконец, ревом революционной трубы звучит знаменитая песня силезских ткачей. Это — почти призыв Интернационала: «Проклятье богу, которому мы молились в голоде и холоде и который нас одурачил... проклятье королю, королю богачей, который не смягчил наших мук, который выжимает из нас последний грош и посылает нас на расстрел, как собак... проклятие лживой родине, где преуспевают позор и низость, где рано никнет цветок, где гниль и плесень питают червей...» Как и раньше, злой насмешкой сверкают стихи, направленные против религиозного обмана, против дурмана, которым затемняют народное сознание служители всевозможных культов («Вицлипуцли», «Диспут»).

Но шедевром политической сатиры является, конечно, поэма «Германия», в которой Гейне наиболее приближается к материалистическому и революционному мировоззрению и которая, несомненно, сложилась под влиянием его разговоров с Марксом. Перед нами в причудливом калейдоскопе мелькают картины гнета, мещанской тупости и филистерского самодовольства, карикатурные типы, ничтожные люди, хозяйничающие в огромной стране; и таможенные порядки, и дикие рассуждения немецкого интеллигента, и подвиги цензуры, и «все тот же педантский, дубовый народ; попрежнему в каждом движеньи

прямые углы; на каждом лице — застывшее самонаменье». Когда Гейне попадает в Кельн, перед ним воскресают картины былого изуверства, от которых недалеко ушла и современная Германия. Здесь в эпоху борьбы гуманистов с обскурантами жили «темные люди», осмеянные Гуттенем, здесь «в средневековом канкане монах с монахиней изощрялись, и Менцелем кельнским, Гохсратеном, здесь доносы с ядом писались. Здесь многое множество книг и людей пожары костров уносили, причем раздавался церковный трезвон и «Кирье Элейсон» гнусили. Здесь глупость и злоба, сцепясь, как псы, по улицам бегали блудно; их род, по слепой к иноверцам вражде, узнать доныне не трудно». Значение поэмы перерастает пределы ее непосредственной темы — изображение предмартовской Германии. Это — угроза монархам и эксплуататорам, первые раскаты надвигающейся революции. Это — программа, которую сам Гейне прекрасно формулировал в предисловии, обещая бороться до того момента, «когда мы восстановим в их достоинстве бедный, лишенный счастья народ, и поруганный гений, и опозоренную красоту».

Последние годы жизни Гейне были годами невыносимых страданий. Он был прикован к своей «матрачной могиле» и умер в страшных мучениях 17 февраля 1856 года. Как сказано выше, суд истории вынес приговор в его пользу, и когда наша революция в первые бурные дни украсила стены барельефами борцов за свободу, среди тех, кого она признала великими предтечами нашей борьбы, находился и автор «Книги песен». Он завоевал это право. Пролетариат может вспомнить, что, колеблясь между двумя мирами, Гейне нашел в себе мужество написать эти слова: «Коммунизм, враждебный моим склонностям и интересам, производит на мою душу чарующее впечатление, от которого я не могу освободиться... Страшный силлогизм держит меня в своих волшебных цепях, и, не будучи в состоянии опровергнуть положение, что «все люди имеют право есть», я вынужден покориться и всем выводам из него... И восклицаю: Обвинительный приговор давно уже произнесен над этим старым обществом. Да свершится правосудие! Да разобьется этот старый мир, в котором эгоизм благоденствовал, невинность погибала, человека эксплуатировал человек! Да

будут разрушены до основания эти мавзолеи, в которых процветали ложь и неправда, и да будет благословен торговец, который станет некогда изготавливать из моих стихов пакеты и всыпать в них табак и кофе для старух, которые в нашем теперешнем несправедном мире, может быть, должны были отказывать себе в таких удовольствиях . . .»

П. С. Коган.

О СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДАХ ГЕЙНЕ

«Русский язык еще почти вовсе не знает Гейне. Перед работающими — не просто чистая доска, на которой можно писать сызнова, но доска исчерченная, исштрихованная скрипучим грифелем; надо сызнова мыть, скоблить, счищать».

Так писал в 1919 году Александр Блок, приступая к обработке материалов для собрания сочинений Г. Гейне в издании «Всемирная литература». ¹

Постановка вопроса, характерная для покойного поэта, — резкая и способная поразить многочисленных у нас почитателей Гейне. И однако, если отвлечься от обманчивого призрака популярности, Блок, в существе своего суждения, оказывается правым.

Знакомство русского читателя с Гейне началось сто лет тому назад, а спустя десять лет стали появляться в печати первые переводы его стихотворений. Редкий русский стихотворец не пробовал своих сил на переводах Гейне; обаянию его подпали, за немногими изъятиями, крупнейшие поэты XIX века, передавшие нам Гейне в подражаниях, переложениях, переводах. Целая плеяда поэтов, литераторов и переводчиков поработала над Гейне, и каждое десятилетие удваивало наличие «переводов из Гейне». К началу XX века, в итоге ряда изданий и переизданий, отстоялись на книжном рынке «Полные собрания сочинений Г. Гейне», среди которых чис-

¹ «О русских переводах стихотворений Гейне». Конспект доклада в коллегии экспертов над-ва «Всемирная литература».

ленно возоблададо марксовское «Приложение к Ниве». Оно заполонило рынок, быстро пережило интерес читателей к автору и сырым грузом неразрезанных томиков легло на полки домашних библиотек и на витрины книжников. Знакомство русского читателя с Гейне, не прочное и не проникновенное, оборвалось.

В чем причины? Оставим в стороне первую из них, роковую, общую для всякого создания поэзии, — различие языков, ограничивающее возможности художественно-адекватного воссоздания в чужой литературе. Русского Гейне нет и не будет, как нет и не будет русского Вергилия или английского Пушкина. Обратимся к другой причине.

Тон делает музыку. Тон — неотъемлемый и первоопределяющий элемент музыки, а следовательно, и музыки слова — поэзии. Вместе с тем тон подлинного художника — сложная, но закономерная функция от тональности его эпохи, вступающая с нею в тесное взаимодействие.

Гейневская эпоха лишь хронологически, но не тонално совпадает с эпохою его русских переводчиков XIX века. Большинство их, постигая вещественный состав его творчества и смутно подчиняясь его поэтической силе, не улавливали гейневского тона; подвластные тональности своей, русской, резко отграниченной эпохи, они или приносили в переводы элементы своего тона, или начисто подменяли им музыку Гейне. Все основные течения русской интеллигентской культуры XIX века отложились на русских переводах стихотворений Гейне, и каждая окрасила их своею, чуждою Гейне, тональностью.

Одною из основных форм этой чуждой тональности по необходимости явился чуждый стихотворный ритм. Столь неотъемлемые от Гейне гейневские размеры, определяющие, в первую очередь, его тон, заменились произвольными, в значительном большинстве, размерами из наличного для каждого литературного периода обихода.

Переводчики с развитым поэтическим слухом старались, в каждом отдельном случае, подобрать наиболее близкий размер; остальные исходили из сочетания первых, случайных слов первой строки перевода, и нередко короткий, сжатый, напряженный гейневский стих передавался заунывною и размашистою строкою некрасовского «Огородника». Переводы первой поры, на утре знакомства с Гейне, при заметной архаичности языка, ближе к Гейне; к концу XIX века «Полные собрания» Гейне обросли ремесленными, наспех сделанными передачами. «Стихотворения Г. Гейне» стали неудобочитаемыми и перестали читаться, вселив, однако, в читательскую массу иллюзию знакомства с Гейне.

Первые 10—15 лет текущего столетия резко переломили линию русской культуры, сообщив ей напряженность и остроту, родственные гейневской эпохе и приблизив ее тональную окраску к тональности Гейне. Блок, воспринявший наиболее чутко тон эпохи, дал немало переводов стихотворений Гейне, сочетав в них внутреннюю точность с формальным совпадением ритма. К тому времени техника русского стихосложения, преодолев косность канонических размеров XIX века, достигла такой высоты, что закон совпадения ритмов стал непререкаемым для каждого переводчика стихов, и приводимые выше примеры произвольного выбора размеров для перевода стали в практике невозможны. То, что в XIX столетии являлось исключением из правила (переводы Гейне Ап. Григорьева, элементы переводов Фета), стало правилом обязательным, азбукою искусства. Не обошлось на первых порах без увлечений: правила поэтического перевода (формулированные особенно четко в известной статье Н. С. Гумилева) стали выполняться неопитами с ученической добросовестностью, вплоть до обязательного совпадения количества слогов в соответствующей строке, без

учета индивидуальной протяженности того или иного слога и вне зависимости от элементов явной случайности — нередко в прямой ущерб поэтическому целому. В дальнейшем, увлечение это прошло, и пределы формальной точности стали регулироваться поэтическим слухом.

Последующие годы русской жизни, изменившие в корне ее социально-политический уклад и давшие начало иной культуре, отодвинули в далекое прошлое и столь недалекий «блоковский» период русской поэзии и родственную Гейне тональность. Гейне из «властителя дум» XIX века, из «духовного современника» начала текущего столетия впервые становится для нас классиком. Интерес к нему, сохранившийся в полной мере и поныне, о чем свидетельствует тираж отдельных изданий, не всегда удачных,¹ теряет может быть остроту современности, но приобретает прочную глубину. Перед новою культурою встает задача — дать новому читателю поэтически подлинного Гейне.

Достаточно вспомнить слова Ал. Блока, приведенные в начале настоящей статьи, чтобы осознать всю трудность этой задачи. Попытаться разрешить ее в полной мере значило бы растянуть на многие и многие годы работу по воссозданию Гейне, без полной уверенности в конечном успехе. Этой задачи не ставил себе и покойный Ал. Блок, приступая к работе над Гейне.

Приходится идти по иному пути, обычному, впрочем, в практике реконструкции. Приходится использовать, по возможности, старый материал, в меру его добротности, с необходимыми и технически возможными исправлениями, и пополнить его материалом новым.

Использование старого материала (переводы XIX ве-

¹ Следует отметить, впрочем, «Избранные стихотворения», в изд. Гиз'а «Дешевая библиотека классиков» 1930 г., как первую попытку чьего подбора переводов.

ка) основано прежде всего на отменении балласта произвольных размеров перевода, неудачных и иногда грубо-ремесленных пересказов и, в некоторой степени, переводов архаичных. В итоге отбора оказалось возможным сохранить для настоящего издания до 50% старых переводов, разумея под последними переводы XIX столетия, путем внесения в них, впрочем, значительных изменений.

Наряду с переводами Фета, Ал. К. Толстого и других крупных поэтов XIX века, представляющих, независимо от близости перевода, значительную художественную ценность, использованы переводы многих поэтов меньшего значения и профессиональных стихотворцев-переводчиков. В первую очередь следует отметить выдающиеся по талантливости переводы М. Л. Михайлова — поэта, ныне мало известного, автора популярных в свое время революционных песен.¹ Имена многих других переводчиков прошлого столетия представлены в настоящем издании, поскольку отдельные их переводы близки к Гейне и поддаются редакционным улучшениям. Так, лирически-неприемлемый П. И. Вейнберг воспринял и передал во многих случаях достаточно близко к подлиннику живой ритм гейневского романтического эпоса; а П. В. Быков, если отвлечься от ритмических деталей, дал удачные воспроизведения гейневской лирики.

При всем этом потребовалась большая и ответственная работа над старым материалом, соответствующая установке, взятой — впервые в настоящем издании — по отношению к имеющимся переводам Гейне. Задачей редактора, наряду с устранением неточностей и явных ошибок, восстановлением цензурных пропусков, исправлением отдельных шероховатостей и пр., было приблизить, насколько это технически возможно, структуру

¹ «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою» и др.

переводного стиха к оригиналу. В ряде переводов восстановлены отсутствующие рифмы, приближен к подлиннику порядок чередования мужских и женских окончаний стиха, число стоп приведено в соответствие с оригиналом и — в белых стихах по преимуществу — устранены излишние строки. Труднейшая, однако, и наиболее ответственная часть работы выразилась во множестве случаев в приближении ритма к Гейне. Любопытно отметить одну подробность в процессе работы: канон русского стихосложения XIX века, требовавший округленности и гладкости размера и не допускавший его усечений («паузы», «леймы»), привел при одинаковой примерно, протяженности однозначней русской и немецкой речи к тому, что в подавляющем большинстве случаев переводчик, для заполнения мнимых звуковых пустот стиха, злоупотреблял местоимениями, междометиями, восклицаниями и пр. Поэтому в ряде случаев работа сводилась к чуть ли не механическому изъятию этих непужных частей, чем достигались, наряду с приближением ритма к оригиналу, большая чистота стиха и большая его полновесность. Нередко, однако, по совокупности ряда редакционных требований, приходилось менять и самую ткань стиха, и в таких случаях стихотворение приобретало иной облик по существу.

Изложенный метод работы применен в отношении подавляющего большинства старых переводов, и различия являются лишь количественными; здесь следует отметить, что в отношении таких самодовлеющих имен, как Фет и Ал. К. Толстой, возникали сомнения поэтического порядка; общий принцип работы был, однако, сохранен, и лишь количественное его выражение выдержано в соответствии с художественным весом переводов: изменения, притом исключительно ритмического свойства, произведены в немногих, отдельных строках отдельных стихо-

творений; изменения эти ни в какой мере не затрагивают ткани стиха.

Оценка достигнутых редакторской работой результатов — дело читателя и критики; здесь уместно лишь подчеркнуть, что установкою редакции было — дать, в меру возможности, подлинного Гейне; «подлинные» переводы, в их прежней редакции, остаются в неприкосновенных собраниях сочинений авторов-переводчиков.

Подвергая текст старых переводов переработке, иногда коренной, редакция была далека, однако, от педантической мысли дать сплошь «эквиритмического» и структурно адекватного Гейне, — потому, во-первых, что в силу высказанных выше соображений, такие попытки, доводимые до крайности, грозят неизбежным ущербом поэтическому целому, и, во-вторых, потому, что проведение этого принципа в полной мере связано с неисчислимыми техническими трудностями, способными затянуть издание на долгие годы. Внимательный критик, сверяя переводы настоящего издания с оригиналом, найдет немало отступлений: при общности ритма не выдержано в некоторых случаях число слогов; порядок чередования мужских и женских окончаний не всегда соблюден в точности; канонический у Гейне сонет не всегда каноничен. Часть этих формальных недочетов могла бы быть устранена в процессе длительной работы; однако не ими решается вопрос о «тональности» Гейне.

К новым переводам Гейне мы относим переводы текущего столетия. Подавляющее большинство их печатается впервые. Некоторые изготовлены для настоящего издания; другие относятся к более ранним годам. В подборе этих последних существенную помощь оказали нам собранные и частью обработанные А. Блоком материалы для собрания сочинений Гейне в изд-ве «Всемирная литература» (в период 1918—1921 гг.), предоставленные

вдовой поэта Л. Д. Блок в распоряжение редакции. В предлагаемую книгу включена большая часть этих материалов, причем в значительной мере использованы редакционные исправления А. Блока. Его же именем возглавляется вся группа «новых» переводов. Часть переводов А. Блока перепечатывается из других изданий; некоторые печатаются впервые.

Не входя в оценку новых переводов по существу, считаем нужным отметить, что все они, в большей или меньшей степени, удовлетворяют современным требованиям соответствия формы оригиналу. В отношении этой группы работа редактора ограничилась подбором материала и, в некоторых случаях, незначительными общередакционными исправлениями.

Несколько слов о подборе оригинального поэтического материала. В настоящий том, не являющийся полным собранием всех поэтических произведений Гейне, включено, тем не менее, все наиболее значительное, что можно извлечь из полного собрания в оригинале. За пределами его остаются произведения невысокой художественной напряженности — случайные (хотя порою и растянутые) стихотворные эпизоды или же вещи, отмеченные печатью явно фельетонной злободневности, преходящего интереса и требующие, для понимания, сплошной комментировки.

В расположении материала редакция придерживалась в общих чертах издания проф. Эльстера, считающегося до сих пор лучшим, с тем лишь изъятием, что трагедия «Альмансор» и поэмы «Атта Троль» и «Германия» не выделены в кочезь тома, а включены между отдельными книгами лирики, чтобы полнее выдержать принцип хронологического порядка расположения крупнейших составных частей тома поэзии.

В. Зоргенфрей.



Г. К. Зинь

Зинь

стихотворения



Книга

-

перен



*Я в старом сказочном лесу!
Как пахнет липовым цветом!
Чарует месяц душу мне
Каким-то странным светом.*

*Иду, иду, — и с вышины
Ко мне несется пенье.
То ссловей поет любовь,
Поет любви мученье.*

*Любовь, мучение любви,
В той песне смех и слезы,
И радость печальна, и скорбь светла,
Проснулись забытые грезы.*

*Иду, иду, — широкий луг
Открылся предо мною,
И замок высится на нем
Огромною стеною.*

*Закрты окна, и везде
Могильное молчанье;
Так тихо, будто вселилась смерть
В заброшенное зданье.*

*И у ворот разлегся Сфинкс.
Смесь вождельенья и гнева,
И тело, и лапы, как у льва,
Лицом и грудью — дева.*

*Прекрасный образ! Пламенел
Безумием взор бесцветный;
Манил извив застывших губ
Улыбкой едва заметной.*

*Целя соловей, — и у меня
К борьбе не стало силы,
И я безвозвратно погиб в тот миг.
Целюя образ милый.*

*Холодный мрамор стал живым,
Проникся стоном камень, —
Он с жадной алчностью впивал
Мои лобзаний пламень.*

*Он чуть не выпил душу мне. —
Насытась до предела,
Меня он обнял, и когти льва
Вонзились в бедное тело.*

*Блаженная пытка и сладкая боль!
Та боль, как страсть, беспредельна!
Пока в поцелуях блаженствует рот,
Те когти изранят смертельно.*

*Целя соловей: «Прекрасный Сфинкс!
Любовь! О, любовь! За что ты
Мешаешь с пыткой огневой
Всегда твои щедроты?»*

*О, разреши, прекрасный Сфинкс,
Мне тайну загадки этой!
Я думал много тысяч лет
И не нашел ответа».*



СНОВИДЕНИЯ

Зловещий грезился мне сон,
И люб и страшен был мне он;
И долго образами сна
Душа, смутясь, была полна.

В дветушем — снилось мне — саду
Аллеей пышной я иду.
Головки нежные клоня,
Цветы приветствуют меня.

Веселых пташек голоса
Поют любовь, а небеса
Горят и льют румяный свет
На каждый лист, на каждый цвет.

От трав исходит аромат;
Теплом и негой дышит сад,
И все сияет, все цветет,
Все светлой радостью живет.

В цветах и в зелени кругом,
В саду прозрачный водоем.
Склонилась девушка над ним
И что-то моет. Неземным

Казалось все: и стан, и взгляд
И рост, и поступь, и наряд
И мнилось, будто мне она
И незнакома и родна

Она и моет и поет —
И песней за сердце берет:
«Ты плечи, волна, плечи!
Холст мой белый полощи!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и моешь что?»

Она в ответ мне: «Будь готов!
Я мою смертный твой покров».
И только молвила — как дым
Исчезло все. Я недвижим

Стою в лесу. Дремучий лес
Коснулся, кажется, небес
Верхами темными дубов;
Он дик и мрачен, и суров.

В смущеньи мысли потекли...
Но — чу! топор стучит вдали;
Бегу заросшею тропой —
И вот поляна предо мной.

Могучий дуб на ней стоит.
Смотрю — и тот же чудный вид:
В руках у девушки топор,
И рубит ствол она в упор.

Она и рубит, и поет —
И песней за сердце берет:
«Ты руби, мой топорок!
Наруби ты мне досок!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И рубишь дерево на что?»

Она в ответ мне: «Близок срок!
Тебе на гроб рублю досок».

И только молвила — как дым,
Исчезло все. Тоской томим,

Гляжу — чернеет степь кругом,
Как опаленная огнем,
Мертва, бесплодна. Я не знал,
Что ждет меня, но весь дрожал.

Иду. Как облачный туман,
Мелькнул вдали мне чей-то стан.
Я подбежал. Опять она!
Стоит печальна и бледна,

С тяжелым заступом в руках —
И рвет им. Могильный страх
Меня объял. О, как она
Была прекрасна и страшна!

Она и рвет, и поет —
И скорбной песнью сердце рвет:
«Заступ, заступ, глубже рой:
Надо в сажень глубиной!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и роешь что?»

Она в ответ мне: «Для тебя
Могилу рою я»... Скорбя
И содрогаясь, ныла грудь;
Но мне хотелось заглянуть

В свою могилу. Я взглянул.
В ушах раздался страшный гул,
В очах померкло... Тяжкий стон,
И я проснулся — то был сон.

Раз сам себя во сне увидел я,
В жилете шелковом и черном платье,

В манжетах тонких — словно поздравлять я
Пришел; и рожу — милая моя.

Я перед ней склонился и сказал:
«Ну, поздравляю вас. Так вы невеста?
И замолчал, не двигаясь с места;
Холодный, светский звук мне горло сжал.

Из милых глаз рекою жгучей слезы
Вдруг полились, и чудный лик в волнах
Горячих слез исчез, как тают грезы.

Любви святые звезды, очи, знаю,
Вы наяву мне лгали и во снах —
Но верить вам, безумный, продолжаю!

Мне человек маленький, нарядный
Приснился; был он в тонкое сукно
Одет; как снег белело полотно,
В душе же было грязно, заурядно.

Он был в душе ничтожен и негоден,
А внешностью почтение внушал.
Так много он о храбрости кричал,
Так с виду был и смел и благороден.

«Смотри, кто он!» — бог грезы мне сказал,
И я в одном из блестящих зеркал
Увидел храм среди видений ряда.

Пред алтарем, прекрасна, как всегда,
Моя любовь — и он. И оба «Да!» —
«Аминь!» В ответ раздался хохот ада.

Чего же ты медлишь, сын крови и тьмы?
Расчеты давно покончили мы!
Вот, жду я невесту, к венчанью готов,
Пробьет уж скоро двенадцать часов.

С кладбища летят ветерки-холодки.
«Невесты мой не видали ль, дружки?»
И призраки облакаются в свет:
«Видали, видали!» — мне, скалясь, в ответ.

Ты, черный бездельник, ливрся в огне,
С какою вестью явился ко мне?
«С докладом я прислан: мои господа
Сейчас на драконах придут сюда».

А ты, покойник-магистр, для чего
Из гроба явился своего?
Уныл и мрачен ученого взгляд;
Качнув головою, пошел он назад.

Что машет дохматый хвостом и визжит?
Что черная кошка глазами блестит?
Что женщины эти, в космах, ревут?
При чем колыбельная песнь тут?

Кормилица, с песнями дома сиди,
Туманное детство давно позади;
Сегодня свадьба моя — и сюда,
Смотри-ка, какие катят господа!

«Ну, вот, господа; вы милы со мной:
Пришли не со шляпой в руках — с головой;
А вы, ногодрыжки из петли —
Здесь нынче нет ветра, что поздно пришли?»

На венике ведьма влетает с клюкой.
Я, матушка, сын посаженный твой!
Трясется челюсть беззубого рта:
«Вовеки аминь!» — возглашают уста.

Двенадцать калек-музыкантов бредут,
Скрипачка слепая тут как тут.
Пестро в разноцветное платье одет,
Могильщика тащит паяц вослед.

Двенадцать монахинь танцуют гавот.
Их шествие сводня косая ведет;

Двенадцать попов сладострастных свистят
Распутную песнь на церковный лад.

Ты глотку свою, меховщик, пожалей!
В аду обойдусь без шубы твоей:
Там топят бесплатно и жгут вместо дров
Скелеты богатых и бедняков.

Вот девушки-дружки, с громадным горбом,
По комнате взад и вперед кувырком.
Совиные морды, да полно же, эй,
Разыгрывать пляску засохших костей!

На свадьбе моей расхотелся ад.
Толпа нарастает; буянят, шумят.
И адский вальс раздается как раз.
Да тише! Невеста приедет сейчас!

Уймись, сволочь, иль выгоню вон!
Возможности слышать себя я лишен!
Как будто карета подъехала там?
Кухарка, скорее беги к воротам!

Голубушка, милости просим, мой клад!
Присядьте, пастор, я очень рад!
Пастор с лошадиным копытом, с хвостом,
Я к вашим услугам, сейчас начнем!

Невеста моя, что печален твой взор?
Сейчас к обручению приступит пастор;
Мне кровью придется платить за обряд,
Но ради тебя я жертвовать рад.

Мой друг, на колени, рядом со мной!
И стала она. О, восторг неземной!
Упала невеста на сердце мое,
Я с трепетом страсти обнял ее.

Нас вместе опутали волны кудрей,
Сердца наши бьются сильней, сильней;
От горя и радости бьются они,
И мнится мне — в небе мы с ней одни;

В том небе, где счастию нет конца,
Несутся в волнах наслажденья сердца;
Но радость сердец омрачается: ад
Над нами простер свой гнетущий смрад.

Сын мрака — наш пастор. Таинственно он
Из книги кровавой читает канон;
Кошунства бормочет его язык,
Напутствием служит проклятья крик.

Все бешено воеет, шипит кругом,
Шумит, точно волны, грохочет, как гром.
Но вдруг огонек, прозрачен и сиянь,—
И ведьма сказала: «Вовеки аминь!»

Покинув владычицы гордой дом,
Блуждал я, безумный, во мраке ночном.
И мимо кладбища когда проходил,
Увидел мерцанье среди могил.

С плиты музыканта как будто привет —
Луна проливает неровный свет.
Вдруг шопот: «Сейчас увижусь с тобой»,
И бледное что-то встает надо мной.

То был музыкант. Он из гроба встал
И сел на могилу, и цитру взял.
По струнам ударил он в тот же миг,
И голос его был жуток и дик:

«Ну, струны, песенку одну
Вы помните ль, что в старину
Грудь обливала кровью?»

Зовет ее ангел блаженством небес,
Мученьем адским зовет ее бес,
А люди зовут любовью!»

Лишь слова последнего замер звук,
Могила кладбища разверзлась вдруг,

Туманные тени из них поднялись,
И вокруг музыканта, как вихрь, понеслись.

«Твой огонь, любовь, любовь,
Нас в могилы уложил.
Так зачем же из могил
Нас зовешь ты ночью вновь?»

Рыдают и воют. ревут и кричат,
И стонут и свищут, бушуют, шумят,
Теснят музыканта безумной толпой;
Он вновь по струнам ударил рукой:

«Браво, браво, тени! Пляс
Продолжайте
И внимайте
Песне, сложенной для вас!
Спали мы из года в год,
Всяк таился, словно крот,
Но поднять и шум и гам
В эту ночь
Помешать не могут нам!

Жить мы в мире не умели;
Дураки, мы не хотели
Гнать любви безумье прочь.
Так как нынче нам удобно,
Каждый скажет пусть подробно,
Как его вскипала кровь,
Как гнала
И рвала
На куски его любовь!»

И тощая тень, словно ветер легка,
Жужжит, выступая из кружка.

«Подмастерьем у портного,
С ножницами и с иглой,
Жил я; права был живого,
С ножницами и с иглой;
Дочь хозяйская явилась
С пожницами и с иглой

И мое пронзила сердце
Ножницами и иглой!»

Хочет веселых теней хоровод,
Сурово выходит второй вперед:

«Я Ринальдо Ринальдини,
Шиндерганно, Орландини,
Карла Моора, наконец,
Брал себе за образец.

Я ухаживал порою,
Как они — от вас не скрою —
И влюблялся до ушей
В неземных прелестных фей.

Слезы лил, вздыхал умильно,
И любовью был так сильно
С толку сбит, что спутал бес —
Я в чужой карман залез.

И беднягу задержали
Лишь за то, что он, в печали,
Слезы вытереть тайком
Захотел чужим платком.

С негодьями, ворами
Был упрятан я властями
По суду в рабочий дом,
Где томился под замком.

О любви святой мечтая,
Там сидел я, шерсть мотая;
Но мой дух в прекрасный день
Унесла Ринальдо тень».

Хочет веселых теней хоровод,
В румянах третий выходит вперед:

«Царил я прежде на сцене,
Любовников первых играл,

«О боги!» — ревел при измене,
Блаженствуя, нежно вздыхал.

Я Мортимер был превосходный,
Мария была так мила!
Но жесты я тратил бесплодно,
Понять их она не могла!

Утратив надежды отраду,
«Небесная» — раз я вскричал —
И несколько глубже, чем надо,
Вонзил себе в грудь кинжал».

Хохочет веселых теней хоровод;
Выходит, в белом, четвертый вперед:

«Я сладко дремал под профессора чтение
Отречься от сна мне было не в мочь!
Зато приводила меня в восхищенье
Профессора скучного милая дочь.

Она из окна подавала мне знаки,
Цветок из цветков, мой ангел земной!
Цветок из цветков был сорван, однако.
Филистером тощим, с тугой казной.

Я проклял женщин, богатых нахалов,
Насыпал адского зелья в рейнвейн
И чокнулся с смертью; под звон бокалов
Смерть молвила: «Здравствуй, зовусь я
Гейн!»

Хохочет веселых теней хоровод;
С веревкой на шее пятый идет:

«Хвалился, пируя, граф дочкой своей
И блеском своих драгоценных камней!
Не надо мне, граф, драгоценных камней —
В восторге от дочки я милой твоей!

И дочку и камни запоры хранят,
В передней лакеев несчетный ряд;

Запоры, лакеи меня не страшат —
Я с лестницей смело проникну в сад.

По лестнице бойко в окно ползу;
Вдруг слышу, меня окликают внизу:
«Дружок, подожди! Вдвоем веселей,
Любитель и я драгоценных камней!»

Так граф издевался — я схвачен был;
Шумя, ряд лакеев меня обступил.
«Эй, к чорту вы, челядь! Не жулик я, прочь!
Хотел лишь украсть я графскую дочь!»

Помочь не могли никакие слова...
В петлю угодила моя голова!
И солнце, явясь с наступлением дня,
Дивилось, увидев висящим меня».

Хочет веселых теней хоровод;
Шестой, с головою в руке, — вперед;

«В любовной боли и тоске
Я лесом шел с ружьем в руке;
Вдруг слышу — ворон надо мной
Прокаркал: «Голову долой!»

«Когда б мне голубя найти,
С охоты милой принести!» —
Так думал я, и тут и там
Подолгу шаря по кустам.

Чу! Воркованье! И опять!
Не голубкй ли? Надо взять!
Спешу, взвожу курок ружья,
И что ж? Голубка-то — моя!

Невесту милую мою
В чужих объятьях застаю...
Охотник, промаху не дай!..
И залит кровью негодяй.

Тем лесом вскоре шел народ;
Меня везли на эшафот...

И снова ворон надо мной
Прокаркал: «Голову долой!»

Хочет веселых теней хоровод;
И музыкант выступает вперед:

«Певал я песню когда-то,
Песне конец теперь.
Раз нет уж к жизни возврата,
То и песням выход — за дверь!»

Тут хохот безумный удвоился вдруг,
Быстрее завертелись тени вокруг;
Раздался удар колокольных часов —
К могилам рванулась толпа мертвецов.

Вот силой волшебного слова
Я много вызвал теней;
Они не хотят уже снова
Вернуться к ночи своей.

Со страху в эти мгновенья
Забыл и заговор я;
В туманный свой дом привиденья
Влекут за собой меня.

Куда меня, мрака дети,
Хотите с собою унести?
Не все мне постыло на свете —
Здесь чистые радости есть!

Душою стремлюсь всегда я
За дивным и нежным цветком;
Мне жизнь без него молодая
Тяжелым была б ярмом.

Хоть раз до вечной разлуки
Цветок свой на грудь привлечь!
Хоть раз блаженные муки
Испить из губок и плеч!

Промолви своими устами
Она лишь слово любви —
И в сумрак, вослед за вами,
Сойду я, духи мои!

Услышала страшная стая,
Кивают мне головой.
Ну, вот, я пришел, дорогая;
Ну, любишь ты, светик мой?..

ПЕСНИ

Утром я встаю, гадаю:
Можно ль нынче ждать?
Вечером томлюсь, вздыхаю:
Не пришла опять!

Сна не шлет душе усталой
Долгой ночи тень;
Греза, полусонный, вялый,
Я брожу весь день.

Бродил я под тенью деревьев,
Один, со своей тоской;
И снова старая греза
Впилась мне в сердце змеей.

Певицы воздушные! Где вы
Подслушали песнь мою?
Заслышу ее — и снова
Отраву смертельную пью.

«Гуляла девица и пела
Ту песню не раз и не раз;
У ней мы подслушали песню,
Она осталась у нас».

Молчите, лукавые птицы!
Я знаю, хочется вам

Тоску мою похитить . . .
Да я-то ее не отдам.

Положи мне руку на сердце, друг.
Ты слышишь в комнатке громкий стук?
Там мастер хитрый и злой сидит
И день и ночь мой гроб мастерит.

Стучит и колотит всю ночь напролет,
И больше сон ко мне не придет.
Ах, мастер, оставьте, дайте вздохнуть, —
Я так устал, хочу уснуть.

Колыбель моей печали,
Склеп моих спокойных снов, —
Город грез, в чужие дали
Ухожу я, — будь здоров!

Ах, прощай, прощай, священный
Дом ее, дверей порог,
И заветный, незабвенный
Первой встречи уголок!

Если б нас, о дорогая,
Не свела судьба тогда, —
Тихо жил бы я, не зная
Мук сердечных никогда!

Это сердце не дерзало
О любви тебе шептать:
Только там, где ты дышала, —
Там хотелось мне дышать.

Но меня неожиданно гонит
Строгий, горький твой упрек!
Сердце раненое стонет,
Ум смятенный взнемог.

И усталый, и унылый
Я, как странник, вдаль иду
Без надежд, — пока могилы
На чужбине не найду.

Подожди, моряк суровый:
В гавань я иду с тобой,
Лишь с Европой дай проститься
И с подругой дорогой.

Ключ кровавый, брызги, брызги
Из груди и из очей!
Записать мои мученья
Должен кровью я своей.

Вижу, ты теперь боишься
Крови, милая? Постой!
Сколько лет с кровавым сердцем
Я стоял перед тобой?

Ты знакома с ветхой притчей
Про коварную змею,
Ту, что яблоком сгубила
Прародителей в раю?

Этот плод — всех зол причина:
Ева в мир внесла с ним смерть,
Эрис — пламя в Трою, ты же
Вместе с пламенем — и смерть!

Ряд руин и гор глядится
В воды зеркала светлей;
Мой кораблик Рейном мчится
В свете солнечных лучей.

Мирный взор мой видит снова
Блеск и золото волны,
И встают мечты былого
Из душевной глубины.

Светлым, радостным приветом
Рейн манит нас в глубь свою;
Но под внешним этим светом
Смерть и ночь я узнаю.

Сверху мир, но глубь опасна.
Рейн — возлюбленной портрет:
И она глядит так ясно,
Кроток так ее привет!

Кипарисами, вязами роз, золотой мишурой
Эту книжку я всю изукрасил бы щедрой рукой,
Как кладбищенский памятник песен моих,
И на вечный покой уложил бы я их.

Если б так же любовь скоронить в этой книжке я мог!
На могиле любви расцветает покоя цветок;
Полюбуются им и срывают потом...
Будет цвести он и мне — да на гробе моем!

Здесь одни лишь покоятся песни мои, что порой,
Словно лава из Этны, гремучей и жгучей рекой,
Из душевных глубин вырывались вдруг,
Рассыпая лучистые искры вокруг.

А теперь — онемели, мертвы и, как саван, бледны,
Коченеют они, мои песни, что труп холодны;
Но повеет на песни дыханьем любовь —
К прежней жизни они просыпаются вновь.

И едва их слезою участия любовь оросит,
Вновь предчувствие робкое в сердце моем говорит,
Что воскреснут поблекшие эти листы,
Если ручкой, в чужбине, коснешься их ты.

И тогда-то разрушатся чары, тогда оживут
Эти бледные буквы и путы свои разорвут,
И отрадно посмотрятся в очи твои,
И зашепчут слова и тоски и любви...

РОМАНСЫ

УНЫЛЫЙ

Этот мальчик, бледный с вида,
Больно трогает сердца,
Скорбь и тяжкая обида
В выражении лица.

Ветерок к нему стремится —
Лоб горячий освежить;
Неприступная девица
Хочет лаской подарить.

Он покинул город душный,
Чтоб в лесу найти приют,
Где листва шумит радушно,
Птицы весело поют.

Но конец приходит хорам
И роняет лист слезу,
Лишь унылый с скорбным взором
Появляется в лесу.

ГОРНЫЙ ГОЛОС

В долине всадник между гор;
Конь замедляет шаг.
«Ах! ждет ли меня любовь моя,
Или тяжкий могильный мрак?»
Ответил голос так:
«Могильный мрак!»

И всадник едет вперед, вперед,
И говорит с тоской:
«Мне рано судьба судила смерть,
Ну, что же, в земле — покой».
И голос за горой:
«В земле — покой!»

Слеза бежит по его лицу,
И на сердце грусть, тоска:
«Что ж, если в земле лишь найду покой,
То, значит, земля легка».
В ответ, издали:
«Земля легка!»

ДВА БРАТА

На вершине каменистой
Замок, в сумрак погружен,
А в долине блещут искры,
Светлой стали слышен звон.

Это братьев кровных злоба
Грудь о грудь свела в ночи;
Почему же бьются оба,
Обнажив свои мечи?

То Лаура страстью взора
Разожгла пожар в крови.
Оба знатные синьора
Полны пламенной любви.

Но кому из них обонх
Суждено ее привлечь?
Примирит кровавый бой их,
Разрешит их распрю меч.

Оба бьются, дики, яры,
Искры блещут, сталь звенит.
Берегитесь! злые чары
Мгла полночная таит!

Горе вам, кровавым братьям!
Горе! Горе! Кровь ключом!
Оба падают с проклятьем,
Пораженные мечом.

Век за веком, поколения
Исчезают в бездне мглы;

Старый замок в запустеньи
Смотрит сверху, со скалы.

Но в долине, под горою,
Неспокойно, говорят:
Там полночную порою
Насмерть с братом бьется брат.

БЕДНЫЙ ПЕТЕР

1

И Ганс, да и Грета в круге идут,
Ликую от счастья смело,
А бедный Петер тоже тут,
И сам — белее мела.

И Ганс, да и Грета — с невестой жених,
И в свадебном блещут наряде.
Кусает ногти Петер, затих,
Стоит совсем не в параде.

И молвит тихонько про себя,
На пару глядя с тоскою:
«Не будь таким рассудительным я,
Сыграл бы что с тобою!»

2

В своей груди я боль держу,
И грудь от боли стонет.
Где ни стою я, где ни сижу,
Она все с места гонит.

И к милой гонит все моей,
Как будто помощь в Грете,
Но лишь взгляну в глаза я ей, —
Покинь места и эти.

На гор вершину я взойду...
Один — и то удача,

И вот когда я там стою,
Стою я, тихо плача».

3

И Петер ослабел в конце,
Он робок, бледен, как мертвец,
То ступит шаг, то вновь стоит,
И на него народ глядит.

И хор девичий зашептал:
«Не из могилы ли он встал?»
«Нет, барышни, он не таков:
Не встал, а лечь в нее готов.

Он потерял заветный клад
И гробу был бы только рад.
Всего спокойней лечь туда
И спать до страшного суда».

ПЕСНЯ УЗНИКА

Как сглазила бабушка Лизу, решил
Народ ее сжечь в наказанье;
Судья хоть и много потратил чернил,
Но не добился сознания.

И бросили бабку в котел, и со дна
Проклятья слышались, стоны;
Когда же дым повалил, то она
Исчезла в виде вороны.

Бабуся пернатая, черная, знай —
Я в башне томлюсь в заключеньи:
Ты к внучку слети поскорей, подай
В решетку сыру, печенья.

Бабуся пернатая, черная, тут
Должна уж ты постараться:

Пусть сестры твои мне глаз не склюют,
Как в пѣтле я буду качаться.

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели,
И оба душой приуныли,
Дойдя до немецкой земли.

Придется им слышать, увидеть
В позоре родную страну.
И храброе войско разбито,
И сам император в плену!

Печальные слушая вести,
Один из них вымолвил: «Брат!
Болит мое скорбное сердце,
И старые раны горят!»

Другой отвечает: «Товарищ!
И мне умереть бы пора,
Но дома жена, малолетки,
У них ни кола, ни двора.

Да что мне? Просить Христа-ради
Пушу и детей и жену.
Иная на сердце забота:
В плену император, в плену!

Исполни завет мой: коль здесь я
Окончу солдатские дни,
Возьми мое тело, товарищ,
Во Францию, — там схорони!

Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое

И шпагой меня опояшешь,
И в руки мне вложишь ружье.

И смирно, и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу...
Заслышу я конское ржанье
И пушечный гром и трубу.

То он над могилою едет!
Знамена победно шумят...
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!

ГОНЕЦ

Слуга! вставай, взнуздай коня,
В седло скорей садись
И через лес, через поля
К Дункану в замок мчись.

Конюшего ты подождешь
И порасспросишь так:
«Скажи, какая из принцесс
Вступает нынче в брак?»

Коль «Черноокая», то ты
Мне привезешь ответ,
Коль «Златокудрая», то здесь
Такой уж спешки нет.

Тогда веревку для мана
У мастера сыщи
И с ней вернись, не торопись,
И мне без слов вручи-

ПОХИЩЕНИЕ

Один не уйду я, любовь моя!
 Со мною пойдешь ты
 В дом мой темный, старинный, унылый,
 В дом укромный, пустынный, милый,
 Где мать моя на пороге сидит
 И сына ждет, и вдаль глядит.

«Оставь меня, страшный человек!
 Оставь, незванный!
 Твой грозен вид, как лед рука,
 Твой взор горит, как мел щека; —
 Я здесь останусь, ждут меня
 Дыханье роз, сиянье дня».

Забудь про розы, про день забудь,
 Моя дорогая!
 Укройся к ночи фатою белой,
 По струнам, громче — рукою смелой,
 И песню венчальную мне спой —
 Подхватит ветер ее ночной.

ДОН РАМИРО

«Донья Клара! Донья Клара!
 Радость пламенного сердца!
 Обрела меня на гибель,
 Обрела без сожаленья.

Донья Клара! Донья Клара!
 Дивно сладок жребий жизни!
 А внизу, в могиле темной,
 Жутко, холодно и сыро.

Донья Клара! Завтра утром
 Дон Фернандо перед богом
 Назовет тебя супругой —
 Позовешь меня на свадьбу?»

«Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Речь твоя мне ранит сердце,
Ранит сердце мне больнее,
Чем укор светил небесных.

Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Отгони свое унынье;
Много девушек на свете —
Нам господь судил разлуку.

Дон Рамиро, ты, что мавров
Поборол с такой отвагой,
Побори свое упорство —
Приходи ко мне на свадьбу».

«Донья Клара! Донья Клара!
Да, клянусь тебе, приду я.
Приглашу тебя на танец, —
Я приду, спокойной ночи!» .

«Спи спокойно!» Дверь закрылась;
Под окном стоит Рамиро
И вздыхает, каменея,
И потом уходит в сумрак.

Наконец, в борьбе упорной,
День сменяет мглу ночную;
Словно сад, лежит Толедо,
Сад, пестреющий цветами.

На дворцах и пышных зданьях
Солида отсветы играют,
Купола церквей высоких
Пламенеют позолотой.

И гудит пчелиным роем
Перезвон на колокольнях,
И несутся песнопенья
К небесам из божьих храмов.

А внизу, внизу, смотрите! —
Там из рыночной часовни

Люди праздничным потоком
Выливаются на площадь.

Блещут рыцари и дамы,
Свита золотом сияет,
И со звоном колокольным
Гул сливается органа.

Но почтительно и скромно
Уступают все дорогу
Юной паре новобрачных —
Донье Кларе и Фернандо.

До ворот дворца Фернандо
Зыбь людская докатилась;
Там свершится брачный праздник
По старинному обряду.

Игры трапезу сменяют
В ликованьи беспрерывном,
Время мчится незаметно,
Ночь спускается на землю.

Гости званые среди зала
Собираются для танцев;
В блеске свеч сверкают ярче
Драгоценные наряды.

На особом возвышеньи
Сел жених, и с ним невеста;
Донья Клара, дон Фернандо
Нежно шепчутся друг с другом.

И поток людской шумнее
Разливается по залу,
И гремят победно трубы
И грохочут в такт литавры.

«Но скажи, зачем ты взоры,
Повелительница сердца,
Устремила в угол зала?» —
Удивленно молвит рыцарь.

«Иль не видишь ты, Фернандо,
Человека в черном платье?»
И смеется нежно рыцарь:
«Ах! То тень лишь человека!»

И, однако, тень подходит —
Человек подходит в черном,
И тотчас, узнав Рамиро,
Клара кланяется робко.

В это время бал в разгаре,
Все неистовсе в вальсе
Гости парами кружатся,
Пол грохочет, сотрясаясь.

«Я охотно, дон Рамиро,
Танцовать пойду с тобою,
Но зачем ты появился
В этом мрачном одеянии?»

И пронизывает взором
Дон Рамиро донью Клару;
Охватив ее, он шепчет:
«Ты велела мне явиться!»

И в толпе других танцоров
Оба мчатся в вальсе диком,
И гремят победно трубы,
И грохочут в такт литавры.

«Ты лицом белее снега!» —
Шепчет Клара, с тайным страхом.
«Ты велела мне явиться!» —
Глухо ей в ответ Рамиро.

Ярче вспыхивают свечи,
И поток людской теснится,
И гремят победно трубы,
И грохочут в такт литавры.

«Словно лед твое пожатье!» —
Шепчет Клара, содрогаясь.

«Ты велела мне явиться!»
И они стремятся дальше.

«Ах, оставь меня, Рамиро!
Смерти тлен в твоём дыханьи!»
Он в ответ, все так же мрачно:
«Ты велела мне явиться!»

Пол дымится, накаляясь,
И ликует альт и скрипка;
Словно в чарах смутной сказки,
Все кружится в светлом зале.

«Ах, оставь меня, Рамиро!» —
Не смолкает жалкий ропот.
И Рамиро, неизменно:
«Ты велела мне явиться!»

«Если так, иди же с богом!» —
Клара вымолвила твердо,
И, едва она сказала,
Без следа исчез Рамиро.

Клара стынет, смерть во взгляде,
На душе могильный холод;
Светлый образ, без сознанья,
Погрузился в царство мрака.

Наконец, туман редееет,
Раскрываются ресницы;
Но теперь от изумленья
Вновь хотят сомкнуться очи:

С той поры, как бал начался,
Клара с места не сходила;
Рядом с нею дон Фернандо,
Он участливо ей шепчет:

«Отчего ты побледнела?
Отчего твой взор так мрачен?» —
«А Рамиро?» — шепчет Клара,
Цепenea в тайном страхе.

И суровые морщины
Бороздят чело супруга:
«Госпожа, к чему — о крови?
В полдень умер дон Рамиро».

ВАЛТАСАР

Уж час полночный наступал,
Весь Вавилон молчал и спал.

Лишь окна царского дворца
Сияют: пир и пир без конца.

В блестящей зале стол накрыт;
Царь Валтасар за ним сидит.

С царем пирует множество слуг;
Не молкнет чаш говорливый стук.

Все шумно: раб за чашею смел.
И царь строптивый повеселел.

В лице румянец горит огнем;
Впивает дерзость он с вином.

И слово грешное его
Хулит высокое божество.

Безмерно буен царя язык,
И рабских хвал неистов клик.

Сверкая взором, пьяный царь
Рабов ограбить шлет алтарь.

И вот несут, склоняя главы,
Всю утварь из храма Иеговы.

И царь, преступною рукой
Наполнив, поднял сосуд святой.

Его он яростно осушил
И с пеной у рта возгласил:

«Плюю я, бог, на твой алтарь!
Я — Вавилона всемогущий царь!»

Еще не смолк греховный крик,
Как трепет в царскую грудь проник.

Мгновенно замер безумный смех,
И мертвый холод обнял всех.

И вдруг, о ужас! на стене
Рука является в огне —

И пишет. Буквы под перстом,
Горят, одна за другой, огнем.

Недвижим царь и взором дик;
Дрожат колени, мертвенен лик.

Рабов сковал могильный страх,
И слово замерло на устах.

И ни единый маг не смог
Истолковать тех пламенных строк.

И в ту же ночь — не взошла заря —
Рабы зарезали царя.

ПОД ОКНОМ

Шел Генрих, бледный и худой;
Склонясь на подоконник,
Гедвига молвит: «Боже мой,
Как бледен — совсем покойник!»

Он кверху возвел пылающий взор,
Взглянул на ее подоконник,
И вот от любви и она с тех пор
Совсем бледна — как покойник.

Она с него днем не сводит глаз,
 Усевшись на подоконник,
 А ночью в объятьях его — в тот час,
 Когда нас пугает покойник.

РАНЕНЫЙ РЫЦАРЬ

Есть старая песня; печальна,
 Уныла она, мрачна.
 Был рыцарь влюблен идеально,
 Но дама его неверна.

Он сам понимает ясно
 Порочность милой своей;
 Он сам считает напрасной
 Любовь беспредельную к ней.

Когда б на турнире иль в бое
 Он рыцарей стал вызывать:
 Кто смеет слово дурное
 О даме любимой сказать, —

То все б молчали в смущеньи,
 Но только не сердце его,
 И поднял бы меч в смятеньи
 Он против себя самого.

ОТПЛЫТИЕ

Стоял я, к мачте прислонясь,
 Следя валы глазами.
 Прости, родимая страна!
 Мой челн под парусами!

Вот милый дом на берегу,
 На стеклах ответ солнца;
 Гляжу я долго, но никто
 Не машет из оконца.

Не лейтесь, слезы, — вы глаза
Туманом мне застлали!
Больное сердце, не порвись
От горя и печали!

ПЕСЕНКА О РАСКАЯНЬИ

Граф Ульрих едет в лесу густом,
Смеются тихо клены,
Он видит: девушка с милым лицом
Таится в листве зеленой.

И думает он: как знаю я
Этот облик — цветущий, веселый!
Он так неотступно манит меня
В толпу, в охотничьи долы.

Как розы, дышат ее уста
И свежестью и любовью,
Но речь их лукава и пуста,
И отдана суесловью.

И можно сравнить этот милый рот
С прекрасным розовым садом,
Где змей ядовитых семья живет,
Листы отравляя ядом.

На свежих щечках, что ярче дня,
Мне ямочек видно дрожанье,
Но это — бездна, куда меня
Безумно влекло желанье.

Волна ее локонов так пышна
И нежно на плечи ложится,
Но это — сеть, что сплел сатана,
Чтоб мне с душою проститься.

В глазах ее нежная радость живет,
Волны голубая прохлада,
Я думал — буду у райских ворот,
А встретил преддверье ада.

Граф Ульрих едет в лесу густом,
А клены шумят по дороге,
И призрак другой — с омраченным лицом
Глядится в тоске и тревоге.

И думает всадник: «То мать моя,
Она беззаветно любила,
Но делом и словом печалил я
Всю жизнь ее до могилы.

О, если б мне слезы ее осушить
Всем горем своим и любовью,
О, если бы щеки ее оживить
Всей, взятой из сердца, кровью!»

И едет он дальше в густые леса,
Вокруг начинается смеркаться,
И в зарослях странные голоса
Под ветром стали шептаться.

И слушает Ульрих свои же слова,
В лесу повторенные эхом.
То полнится шепчущая листва
Чириканием птичьим и смехом.

Граф Ульрих прекрасную песнь поет,
Раскаяньем песнь зовется.
Когда он ее до конца доведет,
То сызнова песнь начнется.

ПЕВИЦЕ, СПЕВШЕЙ СТАРИННЫЙ РОМАНС

Я помню, как она, чаруя,
Предстала взору в первый раз.
Звенел волшебно голос сладкий,
И сердце билось в лихорадке,
И слезы тихие украдкой
Невольно полились из глаз.

Я был объят очарованьем;
Вернулись снова детства сны:
Мерцает лампа еле-еле,
И я, усевшись на постели,
Под шум и свист ночной метели
Читаю сказки старины.

И сказки дивно оживают,
Из гроба рыцари встают;
Турнир сегодня в Ронсевале,
Роланд спешит в броне из стали,
Герои в свите прискакали
И Ганелон меж ними, плут.

Он гнусно предал господина;
Роланд в крови, насмерть сражен;
Он рог берет, слабея, в руки,
И Карл Великий слышит звуки;
Бледнеет рыцарь в смертной муке —
И вместе с ним бледнеет сон.

Громовой гул рукоплесканий
Меня вернул из царства сна;
Померкла дней волшебных слава,
В ладоши бьет людская лава,
Шум без конца и крики «браво!»
И — всех благодарит она.

ПЕСНЯ О ЧЕРВОНЦАХ

Мои светлые червонцы,
Где блестите вы на солнце?

Иль у рыбок золотистых,
Беззаботной неги полных,
Кувыркающихся в вблнах?

У цветочков золотистых,
Что сверкают в свежих росах,
Рано утром на покосах?

Иль у птичек золотистых,
 Что парят над перелеском,
 Ослепляя нежным блеском?

Не у звезд ли золотистых,
 Что, качаясь в тверди зыбкой,
 Светят ночью нам с улыбкой?

Вы, червонцы золотые,
 Не ныряете в волнах,
 Не сверкаете в траве,

Не парите в синеве,
 Не смеетесь в небесах —
 Цепко держит вас рука
 Моего ростовщика.

РАЗГОВОР НА ПАДЕРБОРНСКОМ ЛУГУ

«Слышишь, к нам несутся звуки
 Контрабаса, флейты, скрипки?
 Это пляшут поселянки
 На лугу, под тенью липки».

— Контрабасы, флейты, скрипки!
 Уж не спятил ли с ума ты?
 Это хрюканью свиному
 Вторят визгом поросята.

«Слышишь, как трубит охотник,
 В медный рог свой, в чаще темной?
 Слышишь, как ягнят сзывает.
 Пастушок волынкой скромной?»

— Я не слышу ни волынки,
 Ни охотничьего рога,
 Вижу только свинопаса,
 Что идет своей дорогой.

«Слышишь пенье? Сладко в душу
 Льется песня неземная;

Веют белыми крылами
Херувимы, ей внимая».

— Бредишь ты! какое пенье
И какие херувимы!
То гусей своих мальчишки,
Распевая, гонят мимо.

«Колокольный звон протяжный
Раздается в отдаленьи;
В бедный храм свой поселяне
Идут, полны умиленья».

— Ошибаешься, мой милый,
И степенны, и суровы,
С колокольчиками идут
В стойло темное — коровы.

«Посмотри-ка, меж ветвями,
Платье белое мелькает.
То идет моя подруга:
Страстью взор ее блистает».

— Вот потеха! Иль не знаешь
Ты лесничихи-старушки?
Целый день с клюкою бродит
У лесной она опушки».

Ну, вопросы фантазера
Осмеял ты ядовито!
Одного ты не разрушишь, —
Что глубоко в сердце скрыто.

СОНЕТЫ

МОЕЙ МАТЕРИ, Б. ГЕЙНЕ,
РОЖДЕННОЙ ВАН-ГЕЛЬДЕРН

1

Я родился с упрямой головою,
Высоко я чело держать привык,
И, появивсь король передо мною,
Я и тогда бы взором не поник.

Но от тебя, о, мать моя, не скрою —
Хотя во мне дух гордости велик —
Смирялся я всегда перед тобою,
Взглянув на твой приветный, кроткий лик.

Не дух ли твой, великий, благородный,
Меня, стремясь к высокому свободно,
Благоговеть невольно побуждал?

Иль было то тяжелое сознание,
Что для тебя я был виной страданья
И любящее сердце огорчал?

2

Была пора — в безумном ослепленьи
Покинул я тебя и край родной;
Меня влекло души моей стремленье —
Пуститься в свет, искать любви живой.

И я пошел, и до изнеможенья
Ходил, искал, просил любви одной,
Но лишь одно холодное презренье
Встречал везде на зов сердечный мой!

Из края в край скитаясь, одинокий,
И не сыскав нигде любви святой,
Я, наконец, с печалию глубокой

Пришел домой и встречен был тобой...
И тут в твоих очах увидел ясно,
Чего искал так долго и напрасно.

ФРЕСКО-СОНЕТЫ ХРИСТИАНУ 3.

1

Пред истуканами в мишурной позолоте
Не стану я плясать, курить им фимиами,
И ни за что руки я не подам
Тем, кто грязнить готов меня в болоте

И к идолам толпы подъямля лъстивый взор,
Не побегу пред их победной колесницей,
Как не склонюсь пред наглою блудницей,
Что на показ несет золоченный позор.

Я знаю, под грозой могучий дуб валится,
Тростник же гибкий бурь нимало не боится,
И мимо пронеслась опасность в тот же миг;

Зато потом на трость он к фату попадает,
Да пыль из платья им служитель выбивает —
Что ж, много выиграл в конце концов тростник?

2

Дай маску мне! На пестром маскараде
Мне хочется явиться оборванцем,
Чтобы мерзавцы, тешась резвым танцем,
Вдруг не сочли меня «своим», в наряде.

Невеждой неотесанным так любо
Предстать мне будет перед этой сворой,
Игру ума откинув, ту, которой
Фатишка всякий хвастается грубо.

Средь рыцарей, монахов в бальной зале
Я заверчусь, в собраньи этом странном,
И пусть они с оружием деревянным

Гоняются, лишь только б не узнали!
Но стоит маску сбросить — и тогда
Вдруг онемеют эти господа.

3

Мне так смешны глупцы с козлиной мордой,
Что на меня глазают с любопытством,
Смиранные лисицы, что с ехидством
Обнюхивают вас. С осанкой гордой

Смешны мне обезьяны, что решают
Вопросы в сфере умственной так смело,
Как будто это их умишек дело!
И трусы те смешны, что угрожают

Отравленным клинком из-за угла.
Ах, если жизнь все лучшее взяла,
Что было нам и дорого, и свято,

Разбито сердце, счастьем нет возврата—
За неимением других утех,
Остался нам открытый, звонкий смех.

4

В мозгу засела сказочка упорно;
И песня есть в волшебной сказке той,
В ней девушка блистает красотой;
И сердце есть у девушки, бесспорно;

Но вот любви то сердце непокорно;
В нем обитает холод, и оно
Тщеславием и гордостью полно,
Проникнуто надменностью тлетворной.

Ты слышишь ли, как в голове больной
Звенит та сказка, сколько грусти вечной
В той песенке, как плутовски беспечно

Смеется девушка!.. Боюсь порой,
Что треснет череп. О, не дайте боги,
Чтоб разум мой сошел с своей дороги!

5

По вечерам, в часы печальных грез,
Плывут ко мне забытых песен звуки;
Я внемлю им; тускнеет взор от слез,
И сердце старые терзают муки.

Как в зеркале, всплывает предо мной
Возлюбленной моей изображение:
Она сидит; отрадной тишиной
Озарено прелестное виденье.

Вдруг милая порывисто встает
И прядь волос, отрезав, мне дает;
Я трепещу от счастья и боязни...

Злой дух меня жестоко проучил:
Из пряди той веревку он ссучил—
И дар любви стал горше лютой казни.

6

Расстались мы — и встретились опять.
«Захочешь ли ты ныне, как бывало,
О, милая, меня поцеловать?»
И милая меня поцеловала.

Потом она со смехом, как дитя,
Мне миртовый отросток протянула:
«Взлелей его и вырасти, а я
За ним приду!» — и головой кивнула.

Давным-давно засох отросток тот —
Все милой нет, все милая нейдет,
Но поцелуй все так же пламенеет,

И вижу я опять желанный дом,
И, недвижим, стою перед окном,
Пока восток зарей не заалет.

7

Улыбке злой не верь, мой друг, но знай,
Что добрые улыбочки страшнее:
Увидел я в одной улыбке рай,
Зато когтей не видывал острее.

И старой, черной кошке, друг, не верь,
Но знай, — опасней юные котята;
Вгляни, как весь истерзан я теперь
Лишь оттого, что полюбил когда-то.

Возможно ли, котенок милый мой,
Чтоб я так зло обманут был тобой?
И как твоих когтей я не заметил?

Пока твою я ручку целовал,
Как раненый, от боли я стонал.
О, ангел мой! Зачем тебя я встретил!

8

Не раз, мой друг, ты видела, как я
С разряженными куклами сражался,
И как они позорили меня,
Дивясь, что цел и жив я оставался.

Ты видела, как я изнемогал,
С кичливыми воюя болтунами,
И как не раз я кровью истекал,
Язвимый их змеиными речами.

Ты ж, твердая душою, как скала,
И маяком и пристанью была
Моей душе разбитой и томимой.

Пусть грозные валы вокруг встают,
И в пристань пусть немногие войдут:
Но кто вошел — тот спи невозмутимо.

9

Хотел бы плакать я, но не могу;
Хотел бы ввысь стремительно подняться —
Не в силах; здесь я должен пресмыкаться
Средь гадов мерзких, в гнусном их кругу.

Хотел бы я, исполненный любви,
К тебе взлететь, чудесное созданье,
Блаженно жить в божественном дыханьи —
Нет сил; смертельный яд в моей крови.

И жгучею течет она рекою;
Лежу, измучен темною тоскою,
Тускнеет взор; и жду с томленьем дня,

Когда судьба откроет мне ступени
В мир призраков, и дружеские тени
С приветом примут сладостным меня.



Лиричѣскоѣ
и хѣтрѣмѣ цѣо

ПРОЛОГ

Жил рыцарь на свете, угрюм, молчалив,
С лицом поблекшим и впалым;
Ходил он, шатаясь, глаза опустив,
Мечтам предаваясь вялым.
Он был неловок, суров, нелюдим,
Цветы и красотки смеялись над ним,
Когда брел он шагом усталым.

Почасту он дома сидел в уголке,
Боясь любопытного взора.
Он руки тогда простирал в тоске,
Ни с кем не вел разговора.
Когда ж наступала ночная пора,
Там слышались странное пенье, игра,
И у двери дрожали затворы.

И милая входит в его уголок
В одежде, как волны, пенной,
Цветет, горит, словно вся — цветок,
Сверкает покров драгоценный.
И золотом кудри спадают вдоль плеч,
И взоры блещут, и сладостна речь —
И в объятьях рыцарь блаженный.

Рукою ее обвивает он,
Недвижный, теперь пламенее;
И бледный сновидец от сна пробужден,
И робкое сердце смелее.

Она, забавляясь лукавой игрой,
Тихонько покрыла его с головой
Покрывалом снега белее.

И рыцарь в подводном дворце голубом,
Он замкнут в волшебном круге.
Он смотрит на блеск и на пышность кругом
И слепнет в невольном испуге.
В руках его держит русалка своих,
Русалка — невеста, а рыцарь — жених,
На цитрах играют подруги.

Поют и играют; и множество пар
В неистовом танце кружатся,
И смертный объемлет рыцаря жар,
Спешит он к милой прижаться —

Тут гаснет разом слепительный свет,
Сидит в одиночестве рыцарь-поэт
В каморке своей угрюмой.

Из слез моих много родится
Роскошных, пестрых цветов,
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.

Дитя, если ты меня любишь,
Цветы тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю.

Лилею, розой, голубкой, денницей
Когда-то и я восторгался сторицей.

Теперь я забыл их, пленяясь одною
Младую, родною, живою душою.

Она всей любви и желаний царица,
Мне роза, лилея, голубка, девица.

Когда гляжу тебе в глаза,
Стихает на сердце гроза;
Когда в уста тебя целую,
Душою верю в жизнь иную.

Когда склонюсь на грудь твою,
Не на земле я, а в раю.
Скажи «люблю» — и сам не знаю,
О чем я горько зарыдаю.

Твой образ кроткий, неземной
Во сне витает надо мной;
Как тихий ангел, ты нежна,
Но как бледна, — о, как бледна!

Лишь ярок пурпур губ твоих, —
Смерть заделует вскоре их.
Погаснет райский ток лучей,
Что льется из святых очей.

Ланитой к ланите моей прикоснись—
Тогда наши слезы сольются;
И сердцем теснее к сердцу прижмись —
Огнем они общим зажгутся.

И если в пламень прольются рекой
Те общие слезы мученья,
Я, крепко тебя охватив рукой,
Умру от тоски наслажденья.

Стоят от века звезды
Недвижно над землей

И смотрят друг на друга
С любовью и тоской.

Их языка — богат он
И так хорош! — не мог
Постигнуть ни единый
Ученый филолог.

Но я его изгибы
Все изучил вполне...
Ведь глазки милой были
Грамматикою мне.

Нимфея стан свой клонит
Над лоном сонных вод,
От солнца прячется робко
И ночи мечтательно ждет.

Нимфею будит месяц,
Он в сердце ее проник;
Ему открыты она рада
Свой скромный, девственный лик.

Цветя, дрожа, пылая,
Глядит на небо она,
И плачет, и благоухает,
Любовной тоски полна.

В волнах прекрасных Рейна,
Как в зеркале, видит взор
Венец чудесный Кельна —
Великий, дивный собор.

Есть образ в том соборе
На золототканной парче;
В пустынном жизненном море
Приветно сиял он мне.

Вокруг Мадонны — цветочки,
Крылатый рой детей...
Глаза и губы, и щечки —
Совсем как у милой моей.

Не любишь ты, не любишь ты,
Но мне совсем не больно.
Глядеть на милые черты —
С меня уже довольно.

Что ты мне враг, что ты мне враг,
Лепечешь ты невинно,
Но я прошу и боль и мрак
За поцелуй единый.

На глазки возлюбленной моей
Создал я чудо-канцоны;
На ротик, что так хорош у ней,
Создал живые терцины;
На щечки, что свежих роз свежей,
Создал роскошные стансы.
Как жаль, что у милой сердечка нет, —
Не то я славный сложил бы сонет.

Свет близорук, свет недалек,
И с каждым днем пошлет!
Представь, прелестный мой дружок:
Бранить твой характер он смеет!

Свет близорук, свет недалек,
Он глупо тебя отвергает:
Что твой поцелуй так блаженно-глубок,
Так сладостно-жгуч, — он не знает!

Тебя умчит далеко
На крыльях песня моя;

В долине Ганга знаю
Приют блаженнейший я.

Там сад цветет и алеет
Под тихою луной,
И ждут лилии свиданья
С сестрой своей родной.

Фиалки смотрят на звезды
И шепчутся, тихо смеясь;
Лепечут розы сказанья,
Друг к другу нежно склоняся

Глядят умно и пытливо
Газели исподтишка;
Вдали шумит и рокочет
Священная река.

Как сладко там приютиться
Под пальмою в тишине,
Вкушая любовь и негу,
В волшебном, сладостном сне.

Наконец, скажи, малютка,
Ты не призрачная ль тень,
Что в душе поэта чуткой
Родилась в палящий день?

Только где же? Эти губки,
Глазки дивные... о, нет,
Всей красы моей голубки —
Не создаст вовек поэт.

Василисков страшных, грифов,
Змей, вампиров всех сортов,
Страшных чудищ мира мифов
Создавать поэт готов.

Но твой облик лучезарный,
Что предательство таит,

Взор и скромный, и коварный —
Их порт не сотворит.

Как из пены волн рожденная,
И прекрасна и пышна,
С посторонним обрученная,
Дышит прелестью она.

Сердце многотерпеливое,
Не ропщи и не грусти,
И безумство торопливое
Глупой женщине прости!

Я не ропщу, — пусть сердце и в огне:
Навек погибшая, роптать — не мне!
Как ни сияй в алмазах для очей,
А ни луча во мгле души твоей.

Я это знал: ведь ты же снилась мне!
Я видел ночь души твоей на дне,
Я видел змей в груди твоей больной,
Я видел, как несчастна ты, друг мой.

Да, ты несчастна, — и мой гнев угас.
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.
Пока больное сердце бьется в нас,
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.

Пусть явный вызов на устах твоих,
И взор горит, насмешки не тая.
Пусть гордо грудь трепещет в этот миг,
Ты все несчастна, как несчастен я:

Улыбка — горем озарится вдруг;
Огонь очей — слеза зальет опять;

В груди надменной — язва тайных мук...
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.

Сегодня скрипкам поется,
И трубы гремят не зря —
В свадебной пляске вьется
Возлюбленная моя.

Сегодня и громы и звоны
Дудок и бубенцов,
Но в них врываются стоны
Ангельских голосов.

Когда бы цветы узнали,
Как ранено сердце мое,
Со мной они плакать бы стали,
Шепча утешенье свое.

Узнай соловьи, как мне трудно,
Какой я болью томим, —
О, как утешили б чудно
Они меня пеньем своим!

Узнай мое злосчастье
Звезды в небесной дали,
Они со слезами участия
Ко мне б радушно сошли.

Узнать мое горе им трудно,
И знает его лишь одна:
Мне сердце так бесрассудно
Сама ж и разбила она.

Отчего поблекла весной
Пышноцветная роза сама?

Отчего под зеленой травой
Голубая фиалка нема?

Отчего так грустно звучит
Песня птички, несясь в небеса?
Отчего над лугом висит
Погребальным покровом роса?

Отчего и солнце с утра
Холодно и темно, как зимой?
Отчего и земля вся сера
И угрюмей могилы самой?

Отчего я и сам грустней
И болезненней день ото дня?
Отчего, о скажи скорей,
Ты, мой друг, забыла меня?

Они наплели немало
Тебе и вкривь и вкось;
О том, что мне душу терзало,
Им все ж умолчать пришлось.

Они головой качали,
Мои разбирая черты,
И «злым» меня назвали, —
Всему поверила ты.

А худшего, к тому же,
Никто из них и не знал:
Что было глупей и хуже
Всего, — то в груди я скрывал.

Мы долго и много друг друга любили,
Но в добром согласьи и мире жили,
Мы часто в «мужа с женой» играли,
Но ссор и драки совсем не знали,
И тешились вместе, вместе смеялись,

И нежно ласкались, и целовались.
Раз, в жмурки играя, ради забавы,
Зашли мы далёко, в леса и дубравы...
И спрятаться так хорошо успели,
Что уж друг друга найти не сумели.

Была ты из самых верных,
Всегда за меня стояла,
Утехой мне бывала
В моих невзгодах безмерных.

Взаймы мне давала помногу,
Поила и кормила,
Бельем бескорыстно снабдила
И паспортом на дорогу.

Храни тебя бог, мое счастье,
От засухи, от замерзанья, —
Не дай лишь тебе воздаянья
За это ко мне участие!

Прекрасна земля, как сапфир небеса,
И овеяны ласковым ветром леса,
И мелькают всюду цветов глаза,
И искрится поутру роза,
И веселы людей голоса,
И все-таки брежу я могилой —
Лежать бы, обнявшись с моею милой.

Когда в гробу, любовь моя,
Лежать ты будешь безмолвно,
Сойду к тебе в могилу я,
Прижмусь к тебе любовно.

К недвижимой, бледной, к ледяной
Прильну всей силой своею!

От страсти трепещу неземной,
И плачу, и сам мертвею.

Встают мертвецы на полночный зов,
Несутся в пляске, ликуя,
А нас могильный укрыл покров,
В объятьях твоих лежу я.

Встают мертвецы на последний суд,
На казнь и мзду по заслугам,
А нам с тобой хорошо и тут,
Лежим, обнявшись друг с другом.

На севере кедр одинокий
Стоит на пригорке крутом;
Он дремлет, сурово покрытый
И снежным и льдяным ковром.

Во сне ему видится пальма,
В далекой, восточной стране,
В безмолвной, глубокой печали,
Одна на горячей скале...

Разлучен я с милой был, —
С той поры и смех забыл;
И меня плохой остряк
Насмешить не мог никак.

Лишь ее я потерял, —
И слезам отставку дал;
В сердце горе, в сердце мрак, —
Не заплакать мне никак.

Филистеры, в праздничных платьях,
Гуляют в поле, в лесу,
И прыгают, точно козлята,
И славят природы красу.

И смотрят, прищурив глазки,
Как все романтично цветет;
И длинные уши впивают,
Что птица в ветвях поет.

В моем покое все окна
Задернуты черным сукном;
Ночные мои привиденья
Ко мне приходят и днем.

Из царства мертвых былая
Ко мне прилетает любовь,
Садится со мной и сердце
Чарует мне вновь и вновь.

Картинки времен забытых
Встают из своих могил,
И вот я снова вижу,
Как близ тебя я жил.

Задумчив и нем я шатался,
Бродил по улицам всем,
И мне удивлялись люди —
Я был уныл и нем.

Когда ж становилось легче, —
С улиц ушел народ,
Вдвоем со своею тенью
Бродил я ночь напролет.

И звонко-звучащим шагом
На темный мост я входил,
И месяц с приветом строгим
Меж туч разорванных плыл.

Красавицу юноша любит,
А ей полюбился другой.
Другой этот любит другую,
И назвал своей женой.

За первого встречного замуж
Красавица с горя идет;
А бедного юноши сердце
Тоска до гроба гнетет.

Старинная сказка! Но вечно
Пребудет новой она, —
И лучше б на свет не родился
Тот, с кем она сбыться должна.

Слышу ль, как песня льется,
Что пела мне она,
Мне кажется, сердце рвется,
Так боль в груди сильна.

Я темным влекусь томленьем
Туда, где лес в горах,
Чтоб там мое мученье
Истаяло в слезах.

Обнявшись дружно, сидели
С тобой мы в легком челне;
Плыли мы к неведомой цели
По морю при тусклой луне.

И виден, как сквозь покрывало,
Был остров таинственный нам,
Светилось все и звучало,
И весело двигалось там.

И так нас неудержимо
Звало и манило вдали;
А мы — безутешно, мы мимо
По темному морю плыли.

Из старых сказок, мнится,
Кивает мне рукой,

Поет, звенит и снится
Волшебною страной,

Где все растенья юга,
Под золотым лучом,
Взирают друг на друга
На празднестве дневном,

Где говорят деревья
И правят дружный хор,
Где всех ручьев кочевье —
Как струнный перебор,

Где вольной страсти пенье,
Как никогда, звенит,
Где страстных чувств смятенье
В душе твоей горит!

Ах, если б мог туда я
Уйти, чтобы сердцем жить
И, муки забывая,
Блаженно-вольным быть!

Увы! Все страны эти,
Что снятся мне порой,
Уходят на рассвете,
Как пены снег пустой.

Тебя я любил и люблю еще,
И что мне гибель вселенной!
Над исплом ее заблестит горячо
Пламя любви неизменной.

В блестящее летнее утро
Один брожу я в саду;
Цветы что-то шепчут, лепечут,
Но мимо я молча иду.

Цветы что-то шепчут, лепечут
И смотрят умильно вслед;
«На нашу сестру ты не сетуй,
Унылый, бледный порт!»

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней —
Одни своею любовью,
Другие враждою своей.

Они мне мой хлеб отравили,
Давали яда с водой —
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.

Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она.

Твои пылают щечки
Румянцем вешних роз,
А в крошечном сердечке
Попрежнему мороз.

Изменится все это,
Увидишь ты сама:
На сердце будет лето,
И на щеках зима.

Когда разлучаются двое,
То руку друг другу дают,
И тяжело оба вздыхают,
И слезы горькие льют.

А мы с тобой не вздыхали,
Без слез прощанье снесли.

Тяжелые вздохи и слезы
Потом уж, позже пришли.

О страсти беседует чинно
За чаем целый синклит:
Эстетиком — каждый мужчина
И ангелом дама глядит.

Советник скелетоподобный
Душой парит в облаках,
Смешок у советницы злобный
Прикрылся сочувственным «ах!»

Сам пастор мирится с любовью,
Не грубой, конечно, «затем,
Что вредны порывы здоровью».
Девица лепечет: «Чем?»

«Для женщины чувство — святыня.
Хотите чаю, барон?»
Мечтательно смотрит графиня
На белый баронский пластрон.

Досадно — малютке при этом
Моей побывать не пришлось:
Она изучала с поэтом
Довольно подробно вопрос.

Отравой полны мои песни —
Иначе как же и быть?
Ты губительным ядом сумела
Мне светлую жизнь отравить.

Отравой полны мои песни —
Иначе как же и быть?
Немало змей в моем сердце, —
И ты в нем привыкла царить.

Опять мне приснилось: с тобою вдвоем
Сидим мы ночной порою
И в верности клятвы друг другу даем
Под сенью липы густою.

И длились вплоть до мерцания дня
И клятвы, и смех, и лобзанья;
И в руку ты укусила меня,
Чтоб памятно было свиданье.

О, милая, с дивной лазурью очей,
С улыбкой лукаво-ясной!
Я знаю, что клятвы в порядке вещей, —
Кусаться было напрасно.

Я тихо еду лесом,
Коляска везет меня
Веселой долиной, волшебю
Цветущей в блеске дня.

Сижу, люблюсь и грежу,
О милой мечту таю.
Вдруг вижу — три тени мелькают,
Кивая в коляску мою.

И скачут, и строят гримасы,
С насмешкой робкой глядят,
Свиваются в дымку тумана,
Хохочут и в чашу летят.

Я плакал во сне. Мне снилось,
Что друг мой во гробе лежит, —
И я проснулся, и долго
Катились слезы с ланит.

Я плакал во сне. Мне снилось,
Что ты рассталась со мной, —

И я проснулся, и долго
Катились слезы рекой.

Я плакал во сне. Мне снилось,
Что ты меня любишь опять, —
И я проснулся, и долго
Не в силах был слез унять.

Что ночь, я вижу тебя во сне,
Улыбка твоя, как живая,
И сладко, в рыданиях, броситься мне
К ногам твоим, дорогая.

Но горестно смотришь ты в этот час,
Качаешь грустно кудрями,
И крупные слезы из милых глаз
Скатываются жемчугами.

Ты шепчешь слово, дашь в ответ
Мне ветвь кипариса — и снова
Я просыпаюсь — и ветки нет,
И я не припомню слова.

Ветрено, хмуро, жутко,
Осень, и дождь, и мрак.
Где-то моя малютка
Ютится кое-как?

Стоит у оконной рамы,
А в комнате холод тоски;
Смотрят во тьму упрямо
Полные слез врачки.

Качает ветер деревья
Во мраке ночи сыром;

Закутанный в плащ свой серый,
Еду в лесу я верхом.

Я быстро еду, но мысли
Мчатся вперед быстрее;
Меня так легко, воздушно
Они уносят к ней.

Собаки лают, и слуги
С огнем выбегают на двор;
По лестнице знакомой
Лечу с бряцанием шпор.

Светло в покое ковровом,
И веет душистым теплом;
Там ждет меня дорогая, —
И вот мы с нею вдвоем...

Шумят беспокойные листья,
И шепчет дуб седой:
«Ну, что ты, всадник безумный,
С безумной своей мечтой?»

Звезда упала в бездну
С лучистых горних высот!
Звезду любви узнал я, —
Она уж не взойдет.

Вот с яблони цвет спадает,
И крутится листьев рой;
Их гонят дразнящие вихри
И тешатся этой игрой.

Кружа в заливе, лебедь
Тоскливо песнь поет;
Поет все тише, тише —
И тонет в глуби вод.

О, как темно и тихо!
Распалась в прах звезда,

Развеяны ветром листья,
И лебедь умолк навсегда.

Самоубийц хоронят
Меж четырех дорог;
Растет цветок там лиловый —
Погибших душ цветок.

Я плакал мертвою ночью
Меж четырех дорог,
В сиянии лунном кивал мне
Погибших душ цветок.

Глаза мне ночь сомкнула,
Рот придавил свинец,
В гробу с остывшим сердцем
Лежал я, как мертвец.

Как долго, уж не знаю,
Проспал я так, но вдруг
Проснулся я и слышу:
В мой гроб раздался стук.

«Вставай скорее, Генрих!
День вечный засиял,
И мертвые воскресли,
И счастья век настал».

— Любовь моя, не встать мне,
Горячая слеза
Давно уж ослепила,
Выжгла мои глаза.

«Дай с глаз твоих, о Генрих,
Лобзаньем ночь прогнать;
И ангелов, и небо
Ты должен увидеть».

— Любовь моя, не встать мне,
Струится кровь рекой,
Ты сердце уколола
Мне словом, как иглой.

«Тихонько сердце, Генрих
Рукой прикрыть позволи
И кровь не будет литься
Утихнет сразу боль».

— Любовь моя, не встать мне,
Пробит насквозь висок;
Стрелял в него я, знаешь,
Когда украл тебя рок.

«Я локонами, Генрих,
Висок могу зажать,
И кровь уйдет обратно,
И будешь здоров опять»

Так сладостно просила
Не мог я устоять,
Хотел навстречу милой
Подняться я и встать.

Тогда раскрылись раны,
Рванулся из груди
Поток бурлящей крови,
И я воскрес — гляди!

Былые, злые песни
Про темную судьбу,
Давайте, похороним
В большом-большом гробу.

Я кое-что намерен
Еще в тот гроб сложить
Так бочки гейдельбергск
Он больше должен быть.

Давайте и колесницу —
Тот гроб везти на ней,
И так, чтоб майнцского моста
Была она длинней.

Двенадцать великанов
Пусть явятся на сбор,
Сильнее всяк, чем в Кельне —
Блаженный Христофор.

И пусть они гроб опустят
В море, до самого дна;
По гробу и могила
Огромной быть должна.

К чему такой огромный
Мне гроб? Теперь скажу:
Туда уж и любовь я
И боль свою сложу.

Опыт народного



В этой жизни слишком темной
Светлый образ был со мной;
Светлый образ помутился,
Поглощен я тьмой ночной.

Трусят маленькие дети,
Если их застигнет ночь;
Дети страхи полуночи
Громкой песней гонят прочь.

Так и я, ребенок странный,
Песнь мою пою впотьмах;
Незатейливая песня,
Но зато разгонит страх.

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен.

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Над страшной высотой
Девушка дивной красы,

Одеждой горит золотою,
Играет златом косы;

Златым убирает гребнем
И песню поет она;
В ее чудесном пеньи
Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.

Печаль и боль в моем сердце,
Но май в пышноцветном пылу.
Стою, прислонившись к каштану,
Высоко на старом валу.

Внизу городская канава
Сквозь сон, голубя, блеснит.
Мальчишка с удочкой в лодке
Плывет и громко свистит.

За рвом разбросался уютно
Игрушечный пестрый мирок:
Сады, человечки и дачи,
Быки, луга и лесок.

Служанки белье расстилают
И носятся, как паруса.
На мельнице пыль брильянтов,
И дальний напев колеса.

Под серую башнею будка
Пестреет у старых ворот,

Молодчик в красном мундиро
Шагает взад и вперед.

Он ловко играет мушкетом,
Блеск стали, как солнце, ал.
То честь отдает, то делит.
Ах, если б он в грудь мне понал!

Я плачу в лесу безнадежно,
А дрозд спорхнул с высоты
И мне поет так нежно:
«Чем тоскуешь ты?»

«Спроси, дружок, об этом
Своих же братцев, стрижей,
Умно гнездившихся легом
У окон милой моей».

Сырая ночь и буря,
Беззвездны небеса;
Один средь шумящих деревьев
Молча бреду сквозь леса.

Светик далекий кажет
В охотничий домик путь;
Мне им прельщаться не надо,
Ведь скучно туда заглянуть.

Там бабушка в кожаном кресле,
Как изваянье, страшна,
Слепая, сидит без движенья
И слова не молвит она.

Там бродит, ругаясь, рыжий
Сын лесничего взад и вперед,
То яростным смехом залетя,
То в стену винтовку швырнет.

Там плачет красавица-пряжа,
И лен отсырел от слез;
У ног ее с урчаньем
Жметя отцовский пес.

Когда по дороге, случайно,
Мне встретилась милой родня,
И мать, и отец, и сестрицы
Любезно узнали меня.

Спросили меня о здоровьи,
Прибавив сами потом,
Что мало во мне перемены;
Одно — что я бледен лицом.

О тетках, золовках и разных
Докучных спрашивал я,
О маленькой также собачке
С приветливым лаем ее.

Спросил, между прочим, о милой —
Как с мужем она прожила?
И мне сказали любезно,
Что только на днях родила.

И я их любезно поздравил
И нежно шептал в ответ,
Проя передавать поздравленья
И тысячу раз привет.

Сестрица промолвила громко:
«С собачкой вышла беда:
Как стала большою, взбесилась —
Утоплена в Рейне тогда».

В малютке есть с милою сходство
Улыбку я узнаю,
И те же глаза, что сгубили
И юность, и душу мою.

С порога рыбачьей избушки
Мы видели море вдали.
Вечерний туман отделялся
Приметно от волн и земли.

Один за другим зажигались
Огни на большом маяке,
И лишний один разглядели
Еще мы корабль вдалеке.

Шла речь о крушениях и бурях,
О том, что матросу — беда,
Что он меж небом и бездной,
Надеждой и страхом всегда.

Про север и юг толковали —
Какие по тем берегам
Особые есть населенья,
Какие обычаи там.

В цветах берега у Ганга,
Леса-исполины растут,
И стройные, кроткие люди
Там лотос, склоняясь, чтут.

В Лапландии грязные люди,
Курносый, невзрачный народ:
К огню подберется, да рыбу
Готовя, пищит и орет.

Дослушали девочки жадно,
Никто ни полелова потом.
Корабль в отдалении скрылся,
Давно стемнело кругом.

Красавица рыбачка,
Оставь челнок на песке,
Посиди со мной, поболтаем,
Рука в моей руке.

Прижмись головкой к сердцу,
Не бойся ласки моей;
Ведь каждый день ты с морем
Играешь судьбой своей.

И сердце мое, как море,
Там бури, прилив и отлив,
В его глубинах много
Жемчужных дремлет див.

В волнах качается месяц,
Блестя от конца до конца,
А я у милой в объятьях,
И наши млеют сердца.

В объятьях милой покойно
Лежу на прибрежном песке.
«Что внемлешь ты ветру и буре,
И дрожь бежит по руке?»

«То звуки не ветра, не бури —
То пенье дев водяных,
То голос сестер любимых,
Погибших в волнах морских.

Над морем вихрь надел штаны,
Штаны из смерчей белых!
Он бьет, что силы, в гребень волны,
Все взвыло, ревет, закипело.

Из темной выси во всю ночь
Потоком туча прорвалась,
И вышло так, что древняя ночь
С пучиной древней смешалась.

На мачту чайка занесена
И с хриплым визгом хлопочет,
И кружит, и в ночь кричит она
И гибель нам пророчит.

Играет буря танец,
В нем свист и рев и вой;
Эй! Прыгает кораблик,
Веселый паяц ночной.

Вздывает гулкое море
Живые горы из вод;
Здесь пропасти чернеют,
Там белая башня растет.

Молитвы, рвота и ругань
Слышны из каюты в дверь;
Мечтаю, схватившись за мачту:
Попасть бы домой теперь!

Вечер пришел безмолвный,
Над морем туманы свились;
Таинственно ропщут волны,
Кто-то белый тянется ввысь.

Из волн встает Водяница,
Садится на берег со мной;
Белая грудь серебрится
За ее прозрачной фатой.

Стесняет объятия, душит
Все крепче, все больней —
Ты слишком больно душишь,
Краса подводных фей.

«Душу тебя с силою нежной,
Обнимаю сильной рукой;
Этот вечер слишком свежий,
Хочу согреться с тобой».

Лик месяца бледнеет,
И пасмурны небеса;
Твой сумрачный взор влажнеет,
Подводных фей краса!

«Всегда он влажен и мутен,
Не сумрачней, не влажней; —
Когда я вставала из глуби,
В нем застыла капля морей».

Чайки стонут, море туманно,
Глухо бьет прибой меж камней —
Твое сердце трепещет странно
Краса подводных фей!

«Мое сердце дико и странно,
Его трепет странен и дик,
Я люблю тебя несказанно,
Человеческий милый лик».

Когда я ранним утром
Мимо окна прохожу,
Я радуюсь, малютка,
Когда на тебя гляжу.

Внимателен и долог
Твой взгляд из-под темных в
«Кто ты и чем ты болен,
Чужой, больной человек?»

«Я немецкий писатель,
Известен в немецкой стране.
Расскажут тебе о лучших —
Услышишь и обо мне.

А чем я болен, малютка,
Болеют в немецком краю;
Расскажут про худшие боли —
Услышишь и про мою».

На той на горе высокой
Есть замок, на замке шпиц.

Живут в нем три девицы,
А я люблю трех девиц.

В субботу целует Иетта,
В воскресенье Евфимия,
В понедельник Кунигундя.
И жмет к груди меня.

А во вторник был там праздник.
На горѣ, у моих девиц;
В возках, верхом, в каретах
Наехало много лиц.

Меня туда не позвали,
А тут-то и вышел грех:
Замстили тетки и дяди
И подняли их на смех.

На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман.

Играет влажный ветер
На серой быстрине;
Траурно плещут весла
Гребца на моем челне.

В последний раз проглянуло
Над морем солнце в крови,
И я узнал то место —
Могилу моей любви.

Привет тебе, громада
Таинственных домов!
Моей голубке, город,
Давал ты приют и кров.

Ну, что ж, ворота и башни,
Где мне ее искать?
Я вам бесценную вверил, —
Извольте ответ мне дать!

А впрочем, башням было б
Трудненько гнаться ей вслед,
Когда с чемоданами в бегство
Она пустилась, чуть свет.

Но вы, дураки-ворота,
Зачем открылись вы ей?
Всегда-то распахнется
Пред душой дуралей!

Дорогою старой бреду я опять,
По улице старой, знакомой,
И мимо дома желанной прошел,
Пустого, ветхого дома.

Как улицы тесны — уж чересчур!
Неснсна как мостовая!
Вот-вот раздавят меня дома!
Иду я, шаг ускоряя!

Тихая ночь, на улицах дрема,
В этом доме жила моя звезда;
Она ушла из этого дома,
А он стоит, как стоял всегда.

Там стоит человек, заломивший руки,
Не сводит глаз с высоты ночной;
Мне страшен лик, полный смертной муки —
Мои черты под неверной луной.

Двойник! Ты, призрак! Иль не довольно
Ломаться в муках тех страстей?
От них давно мне было больно
На этом месте столько ночей!

Ты знаешь, что живу я,
И спишь спокойным сном?
Мой старый гнев проснется,
И я сломя мой ярем.

Ты знаешь — в старой песне:
Однажды в час ночной
Подругу юноша мертвый
В могилу взял с собой?

Поверь, краса и диво,
Ты, чистое дитя,
Я жив, у меня есть сила,
Сильней всех мертвых я!

Уснула дева в светлице,
В окно к ней смотрит луна.
И вдруг мелодию вальса
Сквозь сон услышала она.

«Пойду, посмотрю в окошки
Кто это спать не дает?»
Скелет там на скрипке игра
И пляшет, и так поет:

«Ты танец мне обещала,
Но я обманут тобой;
Теперь у нас бал на кладбище
Пойдем, потанцуй со мной».

Какая-то тайная сила
Из дома деву влечет,
Выходит она за ворота
И вслед за скелетом идет.

Поет, играет и пляшет,
Костями гремит скелет
И черепом голым кивает
Под жуткий месяца свет.

Объятый смутными снами,
Глядел я на твой портрет,
И в нем промелькнул как будто
Таинственной жизни след.

Как будто улыбкой грустной
Раскрылись твои уста,
И жемчугом слез блеснула
На миг очей красота.

Я сам невольно заплакал —
Заплакал, тихо скорбя...
Поверить страшно! Ужели
Я впрямь утратил тебя?

Я Атлас злополучный! Целый мир,
Весь мир страданий на плечи подымяю,
Подымяю непосильное, и сердце
В груди готово разорваться.

Ты сердцем гордым сам того желал!
Желал блаженств, блаженств безмерных сердцу,
Иль непомерных — гордому — скорбей.
Так вот, теперь ты скорбен!

Племена уходят в могилу,
Идут, проходят года,
И только любовь не вырвать
Из сердца никогда.

Только раз бы тебя увидеть,
Склониться к твоим ногам,
Сказать тебе, умирая:
Я вас люблю, Madame!

Мне снилось: печально глядела луна,
Печально звезды светили;

В тот город, где оставалась она,
Я мчался, многие мили.

Примчался, и каменный дома порог
Стал пламенно целовать я —
Те камни, что милых касались ног,
Касались краев ее платья...

Длинна, холодна была ночь; холодны
Немые камни порога...
И бледный образ при свете луны
Смотрел из окна так строго.

Что нужно слезе одинокой?
Она мне туманит взор.
Она в глазах моих бедных
Дрожит с незапамятных пор.

У ней были светлые сестры —
И много было... они
Исчезли, как радость и муки,
Как ночи мои и дни.

И синие звезды исчезли,
В туман далекий ушли,
Те звезды, что радость и муки
С собой когда-то несли.

И нет любви моей! Тоже,
Как дым, распались. Слеза,
Слеза одинокая, что же
Туманишь ты мне глаза!

Сквозь облак месяц осенний
Пробился бледным серпом.
Стоит одинок у кладбища
Пастора-покойника дом.

Вдова над Библией дремлет,
Сын тупо на свет глядит,
Зевает старшая сонно,
А младшая говорит:

«Ах, господи! дни-то, дни-то:
Сидишь — и нету конца,
Одно развлеченье, что в церковь
Отпеть принесут мертвеца!»

Старуха, читая, молвит:
«Не ври, схоронили всего
Троих с тех пор, как зарыли
В могилу отца твоего!»

«Здесь с голоду ноги протянешь! —
Зевает старшая дочь. —
Я к графу пойду — он богатый
И любит... А мне невмочь!»

Троих я молодчиков знаю! —
Смеясь, объявляет брат. —
Умеют денежки делать
И в тайну меня посвятят».

В худое лицо ему книгу
Швырнула бледная мать:
«Так будь ты проклят, разбойник,
Коль стал грабежи замышлять!»

Вдруг стукнуло что-то в окошко,
И кто-то рукою грозит...
Глядят — в облачении черном
Покойник-отец стоит.

Погода! Изморозь, ветер,
Слякоть — быть октябрю...
От скуки сел я к окошку,
Во мглу ночную смотрю.

Вдали огонечек тусклый
Во мраке виден сыром:
Старушка это из лавки
Бредет себе с фонарем.

Муцицы, верно, купила,
Масла, яичек пяток:
Большой своей дочке хочет
Сдобный испечь пирожок.

А дочка дома уселась
И сладко дремлет ей...
Лицо прелестное скрыли
Золотые волны кудрей.

Каждый палец твой лилейный
Раз еще поцеловать бы,
К сердцу раз еще прижать
И в слезах потом расплыться.

А твои глаза-фиалки
День и ночь передо мной,
И я мучусь, что же значат
Эти синие загадки?

Неужели ты ни разу
Ей в любви не объяснился
И в глазах ее взаимность
Прочитать не потрудился?

В душу ей до дна проникнуть
Неужель не стало силы?
Но ведь ты в делах подобных
Не осел же, друг мой милый!

Они любили друг друга,
Но каждый упорно молчал;

Смотрели врагами, но каждый
В томленьи любви изнывал.

Они расстались — и только
Встречались в виденьи ночном.
Давно они умерли оба,
И сами не знали о том.

Когда я про горе свое говорил,
То каждый зевал да молчанье хранил,
Когда же в стихи я его нарядил,
То много великих похвал получил.

Я чорта позвал, и он пришел,
И я изумлен был до самых глубин:
Он вовсе не страшен, вовсе не гол,
Он милый, любезнейший господин,
Господин в наилучшей поре, в расцвете,
Обходительный, ловкий, бывалый в свете.
Он очень тонкий дипломат,
Говорит прекрасно про церковь, сенат.
Бледен слегка, но по ясной причине —
Санскритом и Гегелем занят ныне.
Любимый поэт его тот же Фуке.
Но критика нынче ему надоела,
И он ее передал всецело
Дорогой своей бабушке Некате.
Он похвалил мои штудии права,
Когда-то и он занимался им, право.
Сказал, что дружба мбя совсем
Не так важна, кивнул затем
И спросил: как будто бы мы уже раз
Встречались с ним у посла-японца?
И когда я взгляделся, прищуря глаз,
Узнал я в нем старого знакомца.

Не глумись над чортом, смертный:
Краток жизни путь у нас,
И проклятие навеки —
Не пустой народный глас.

Расплатись с долгами, смертный:
Долог жизни путь у нас,
И занять тебе придется,
Как ты делывал не раз.

Три светлых царя из восточной страны
Стучались у всяких домишек,
Справлялись: как пройти в Вифлеем? ---
У девочек всех, у мальчишек.

Ни старый, ни малый не мог рассказать,
Цари прошли все страны:
Любовным лучом золотая звезда
В пути разгоняла туманы.

Над домом Иосифа встала звезда,
Они туда постучали;
Мычал бычок, кричало дитя,
Три светлых царя распевали.

Дитя, мы детьми еще были,
Веселой парой детей;
Мы лазили вместе в курятник,
К соломе, и прятались в ней.

Поем петухами 'бывало —
И только что люди идут —
Кукуреку! — им сдается,
Что то петухи поют.

На нашем дворе ухитрились
Мы ящики пышно убрать,
И жили вместе, стараясь
Достойно гостей принимать,

Соседская старая кошка
Нередко бывала у нас;
Мы кланялись ей, приседал,
Твердя комплименты подчас;

Спешили се о здоровьи
С любезным участием спросить.
С тех пор приходилось все то же
Не раз старой кошке твердить!

Мы чинно сидели, толкуя
Как старые люди тогда,
И так сожалели, что лучше
Бывало в наши года,

Что веры с любовью и дружбой
Не знает нынешний свет,
Что кофе дорог ужасно,
А денег почти и нет.

Промчались детские игры,
И все пронеслось вослед:
И вера, с любовью и дружбой,
И деньги, и время, и свет.

Порой взгрустнется мне невольно
О милой, доброй старине,
Когда жилося так привольно
И в безмятежной тишине.

Теперь возня, везде тревога,
Такой во всем переполох,
Как будто нет на небе бога,
А под землю чорт издох.

Все мрачно, злобой одержимо,
В природе холод и в крови,
И жизнь была б невыносима,
Не будь в ней крошечки любви

Как луна, светя во мраке,
Прорезает пар густой,
Так из темных лет всплывает
Ясный образ предо мной.

Все на палубе сидели.
Гордо Рейн судно качал.
Поздний луч младую зелень
Берегов озолочал.

И у ног прекрасной дамы
Я задумчиво сидел,
Бледный лик ее на солнце
Ярким пламенем горел.

Струп томленья, хоров пенье,
Жизнь, как праздник, хороша!..
Небо тихо голубело,
Расширялася душа.

Чудной сказкою тянулись
Замки, горы мимо нас,
И светились мне навстречу —
В паре ясных женских глаз.

Во сне я милую видел:
Во взоре забота, испуг;
Когда-то цветущее тело
Извел, обессилил недуг.

Ребенка несла, а другого
Вела злополучная мать;
Во взоре, походке, платье
Нельзя нищеты не признать.

Шатаясь, брела она к рынку,
И тут я ее повстречал.
Она посмотрела... И тихо,
И горестно я сказал:

«Пойдем ко мне. Невозможно
И бледной, и хворой бродить:
Я стану усердной работой
Тебя кормить и поить.

Детей твоих стану лелеять,
Всю нежность на них обратя,
Но прежде всего на тебя-то,
Больное мое дитя!

Тебе никогда не напомню
Ничем о любви своей,
И если умрешь, я буду
Рыдать на могиле твоей».

Не замечено ли всеми:
Ты поешь о новом редко,
И сидишь на нежной теме,
Как на яйцах наседка.

Спорить я с тобой не буду:
Из скорлуп ползут цыплятки,
И пищат, и лезут всюду,
И съешь ты их в тетрадки.

Будьте только терпеливей!
Ничего, что в песнях новых
Все еще так внятны звуки
Старой боли, дней суровых!

Дайте срок! Замолкнет скоро
Эхо прожитых мучений, —
И в расцветшем сердце песен
Пробудится рой весенний.

Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора вернуться к рассудку!

Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку!

Расписаны были кулисы пестро,
Я декламировал страстно,
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства, — все-было прекрасно.

Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму!

И что я поддельной болью считал,
То боль оказалась живая —
О, боже! Я, раненый насмерть, играл,
Гладиатора смерть представляя!

Царь Висвамитра тщился
То каяться, то разить:
Корову у Васишты
Хотелось ему отбить.

О, мудрый Висвамитра,
Каким ты стал быком,
Одной добываясь коровы
И дракою, и постом!

Полно, сердце! что с тобою?
Покорись своей судьбе,
И весна вернет тебе
Все, что отнято зимою.

Так прекрасен божий свет!
Так чудесна жизни сила!
Все, что любо, все, что мило,
Все любви — запрета нет!

Ты — как цветок весенний —
Чиста, нежна, мила;
Любуюсь я, но на сердце
Скорбная тень легла.

Скрестить мне хочется руки
С молитвой над тобой:
Боже, храни ее чистой,
И нежной, и святой!

За тебя, дитя, боюсь я
И стараюсь сам немало,
Чтобы ты ко мне любовью
Никогда не вспылала.

На свои успехи в этом
Все же я гляжу уныло
И порой мечтаю все же:
Если б все же ты любила!

Лежу ли бессонной ночью
Один, во тьме, без огня, —
Лицо твое с кроткой лаской
Глядит, глядит на меня.

Сомкну ль усталые веки,
Забудусь тяжелым сном,
Твой нежный, ласковый образ
Со мной в виденьи ночном.

И даже утро не в силах
Развеять ночную тень:
Со мной она неразлучно,
В душе у меня, весь день.

О твоих пурпурных губках,
О глазах, светлее дня;

О тебе, моя малютка,
День и ночь мечтаю я.

Долог нынче зимний вечер...
Я б хотел, друг милый мой,
В нашей комнатке уютной
Посидеть теперь с тобой.

Я к устам своим прижал бы
Ручку белую твою,
Оросил бы я слезами
Ручку белую твою.

Пусть на землю снег валится,
Вьюга бешеная злится
И стучится у окна.
Сердца бури не пугают:
В нем цветут и расцветают
Образ милой и весна.

Кто мольбы несет Мадонне,
Кто их шлет Петру и Павлу,
Я в своей молитве славлю
Лишь тебя одну, о солнце!

Будь добра и благосклонна
Дай уста мне, дай блаженство,
Солнце лучшее среди дев прелестных,
Дева лучшая под этим солнцем!

Ужель не выдал мой бледный лик
Сердечного страданья?
Ты ждешь, чтоб гордые уста
Просили подаянья?

О, нет, удел столь гордых уст —
Лишь целовать и глумиться;

Шутить они будут, даже когда
В сердце смерть воцарится.

Милый друг мой! Ты влюблен,
Новых мук познал ты жало,
В голове твоей темней
И светлее в сердце стало.

Милый друг мой! Ты влюблен,
Не скрывай, мне все открылось:
Пламя сердца твоего
Сквозь жилет уже пробилось.

Хотел я с тобой остаться,
Забиться, моя красота, —
Но было нам должно расстаться:
Ты чем-то была занята.

Тебе я сказал, что связала
Нам души незримая связь,
Но ты от души хохотала
И мне присела, смеясь.

Страданья прибавить сумела
Ты чувствам влюбленным моим
И даже польстить не хотела
Прощальным лобзаньем своим.

Не думай, что я застрелюся,
Как мне ни горек отказ:
Все это, друг, признаюся,
Со мной бывало не раз.

Твои глаза — сапфиры; взгляд
Их ясен безмятежно.

О, трижды счастлив тот, кого
Они встречают нежно.

И сердце у тебя — алмаз,
Который ярко блещет.
О, трижды счастлив тот, пред кем
Оно в груди трепещет.

Рубины у тебя уста;
Их краше не видали.
О, трижды счастлив тот, кому
Они «люблю!» шептали.

О, если бы счастливеец тот
Мне где-нибудь попался
В лесу, — со счастьем своим
Он тут же б распрощался.

Я шутил любви речами
И пленил тебя, дитя;
Но своими же сетями
Я опутан, не шутя.

Если ныне с полным правом
Ты, шутя, уйдешь, — боюсь,
Буду схвачен я лукавым
И не в шутку застрелюсь.

Уж слишком отрывочны жизнь и вселенная;
К профессору-немцу пойду непременно я;
Верно, уж их не оставит он так:
Системы придумает, даст им названия.
Свой шлафрок изрезав и спальный колпак,
Заштопает дырки всего мироздания.

Ломая голову дни и ночи,
Гадал я и думал, — как мне быть?
Но взгляд очей твоих благосклонный
Помог мне быстро вопрос решить.

В сияньи очей останусь ныне,
В их умном блеске буду жить...
Но мог ли я себе представить,
Что суждено мне вновь любить!

Сегодня у вас вечеринка,
И в комнатах будто день;
Вверху, сквозь яркие стекла,
Мелькает стройная тень.

Меня ты не видишь: в потемках
Стою внизу, под окном;
А в сердце моем и подалю
Не видишь ты — мрачно в нем.

Но сердце во мраке этом
И любит, и в страшной борьбе
Дрожит, обливаясь кровью...
Да это не видно тебе.

Хотел бы в единое слово
Я слить и грусть и печаль
И бросить слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль;

И пусть бы слово печали
По ветру к тебе донеслось,
И пусть бы оно повсюду,
Всегда тебе в сердце лилось!

И если б усталые очи
Сомкнулись в тиши ночной,

О, пусть бы слово печали
Звучало во сне над тобой!

Ты вся в жемчугах и алмазах,
Вся жизнь для тебя — благодать,
И очи твои прелестны,
Чего ж тебе, друг мой, желать?

К твоим очам прелестным
Я создал целую рать
Бессмертием дышащих песен,
Чего ж тебе, друг мой, желать?

Очам твоим прелестным
Дано меня терзать,
И ты меня ими сгубила,
Чего ж тебе, друг мой, желать?

Тот, кто любит в первый раз,
Хоть несчастливо, тот бог,
А кто любит во второй,
Безнадежно, тот — дурак.

Я — дурак такой: люблю я
Без надежды вновь. Смеются
Солнце, месяц, звезды; с ними
Я смеюсь — и умираю.

Давали советы и наставленья
И выражали свое восхищенье,
Говорили, чтоб только я подождал,
Каждый протекцию мне обещал.

Но при всей их протекции, однако,
Сдох бы от голода я, как собака,

Если б один добряк не спас.
Он за меня взялся тотчас.

Вот добряк! За мною он в оба.
Я не забуду его до гроба.
Жаль — не обнять мне его никак,
Потому что сам я этот добряк.

Что за юноша милейший!
Вот уж впрямь отрада взорам;
Как меня он угощает
И рейнвейном и ликером!

Что за фрак, и что за брючки!
Что за галстучки он носит!
Как войдет ко мне, сейчас же
О моем здорovia спросит.

Говорит, что я прославлен
Далеко, по всей округе,
Остротам моим дивится,
Предлагает мне услуги.

Перед дамами в гостиной,
Задыхаясь от волненья,
Декламирует мой он
Несравненные творенья.

Встретить юношу такого
Столь отрадno в наше время:
С каждым днем ведь убывает
Добрых душ на свете племя!

Мне снился сон, что я господь,
Сажу на небе, правя,
И ангелы сидят кругом,
Мои поэмы слава.

Я ем конфеты, ем пирог,
И это все без денег,
Бенедиктин при этом пью,
И долгу — ни на пфенниг.

Но скука мучает меня,
Не лезет чаша ко рту,
И если б не был я господь,
Так я пошел бы к чорту.

Эй, длинный ангел Гавриил,
Лети, поворачивай пятки,
И милого друга Эугена ко мне
Доставь сюда без оглядки.

Его в деканской не ищи,
Ищи за рюмкой рома;
И в церкви Девы не ищи,
А у мамзели, дома.

Расправил крылья Гавриил
И на землю слетает,
За ворот хватъ, и в небо, глядь,
Эугена доставляет.

Ну, братец, я, как видишь, бог,
И вот землю правлю!
Я говорил ведь, что себя
Я уважать заставлю.

Что день, то чудо я творю, —
Привычка, друг, господня, —
Я осчастливить, например,
Хочу Берлин сегодня.

И камень должен на куски
Распасться тротуарный,
Но в каждом камне пусть лежит
По устрице янтарной.

Да окропит лимонный сок
Ее живой рососою,

Да растекается рейнвейн
По улицам рекою.

И как берлинцы веселы,
И все спешат на ужин;
И члены земского суда
Припали ртами к лужам.

И как поэты веселы,
Найдя жратву святую!
Поручики и фендрики
Оближут мостовую.

Поручики и фендрики
Умнее всех на свете,
И думают: не каждый день
Творятся дива эти.

В почтовой карете ночью
Мы ехали вместе, дитя,
Прижавшись нежно друг к другу,
Болтая, смеясь, шутя.

А утром мы удивились
Нежданной вещи с тобой:
Сидел меж нами в карете
Амур, пассажир даровой.

Бог весть, где она скрылась,
Сумасбродная моя!
С сильной бранью, в дождь и слякоть,
Город весь обрыскал я.

Все трактиры я обегал
За беглянкою моей,
Но спрашивал напрасно
Грубых кельнеров о ней.

Вдруг — извольте-ка — кивает
С звонким смехом из окна.
Мог ли знать я, что попала
Во дворец такой она!

Как сны полунощные, зданья
Стоят в бесконечном ряду;
Я мимо, в плащ завернувшись,
По улицам молча иду.

И слышу — на башне собора
Двенадцать колоколов бьет.
С объятьями, с тысячью ласок
Меня желанная ждет!

Мой спутник — месяц; он светит
Приветно в дорогу мою;
Но вот я у двери знакомой
И месяцу говорю:

«Спасибо, добрый товарищ,
Что ты посветил мне итти;
Теперь тебя отпускаю,
Теперь другим посвети.

И если увидишь скитальца
С немой сердечной тоской,
Утешь его так же, милый,
Как я утешен тобой!»

Как только ты станешь моей женой,
Ты зависть всюду возбудишь;
Вся жизнь потечет как праздник сплошной,
И веселиться ты будешь.

Начнешь ли шуметь, начнешь бранить ---
Стерплю хоть какую невзгоду.

Но вздумай стихов моих не похвалить, —
Потребую тотчас разводу.

Я к белому плечу милой
Прижался ухом плотней:
Послушать хочется очень
Что в сердце сейчас у ней.

Трубят голубые гусары
Въезжая в город толпой.
Я знаю, придется, голубка,
Расстаться завтра с тобой.

Пожалуй, покинь меня завтра,
Зато ты сегодня моя,
Зато в объятиях нежных
Вдвойне блаженствую я.

Трубят голубые гусары,
И едут из города вон:
Опять я с тобой, голубка,
И розу принес на поклон.

Какая была передряга!
Гусары — народ лихой!
Пришлось и твое сердечко
Гостям уступить на постой.

Я и сам в былые годы
Перенес любви невзгоды,
И сгорал не раз;
Но дрова все дорожают —
Искры страсти угасают...
Ma foi! — и в добрый час.

Поняла? Отри же слезы;
Прогони смешные грезы

С глупою тоской;
Будь похожа на живую
И забудь любовь былую —
Ma foi! — хоть бы со мной!

Ах, опять все те же глазки,
Что так нежно улыбались,
И опять все те же губки,
Что так сладко целовались.

Этот голос, — мне когда-то
Дорогой, — не изменился;
Только сам уже не тот я,
Измененным воротился.

Вновь меня объемят страстно
Бледно-розовые руки,
Но лежу у ней на сердце,
Полон холода и скуки.

Вы меня не понимали,
Редко мог я вас понять;
Лишь в грязи валяясь, стали
Мы друг друга понимать.

А ведь кастраты плачут,
Стоит мне песнь начать;
И плачут и судачат,
Что это — не петь, а кричать.

И нежно поют хоралы
Малые голоски;
Колокольчики, кристаллы,
Они высоки и легки.

Поют о любовных муках,
Любви и влиянии грез;

Дамы при этих звуках
Пускаются вплавь от слез.

По бульварам Саламанки
Воздух благорастворенный.
Там в прохладный летний вечер
Я гуляю с милой доньей.

Я рукой нетерпеливой
Обнял стройное создание
И блаженным пальцем слышу
Гордой груди колыханье.

Но по липам слышен шорох,
Полный чем-то невеселым,
И ручьи внизу плотины
Злобно грезит сном тяжелым.

«Ах, синьора, чует сердце:
Скоро буду я в изгнаньи!
По бульварам Саламанки
Не ходить нам на гуляньи».

Он живет со мною рядом,
За тончайшею стеною,
Дон Энрикес, повсеместно
Знаменитый красотою.

Млеют дамы в Саламанке,
Если он проходит мимо,
Ус крутя, бряцая шпорой
И с собакою любимой.

Вечер он проводит дома
И в тиши уединенья.
У него в руках гитара,
В сердце сладкие виденья.

И в раздумьи на гитаре
Он фантазии выводит...
До морской меня болезни
Он игрой своей доводит!

Есть в Галле рынок; там
Два льва стоят большие.
Эх ты, галлезский львиный дух!
Совсем тебя смирили!

Есть в Галле рынок; там
Гигант стоит огромный.
Хоть меч при нем, недвижим он, —
Окаменел от страха.

Есть в Галле рынок; там
Стоит огромная церковь.
Студенчеству и землячествам
Есть место, где помолиться.

Гаснет летний вечер; тенью
Лес и нивы облекает;
Воздух свеж. В лазури неба
Месяц золотом сверкает.

У ручья запел кузничик
И летит к воде зеркальной;
Всюду тихо. Путник слышит
Всплеск воды и вздох печальный.

Там в ручье, одна купаясь,
Эльфа нежится нагая
И белеет над водою,
Лунным светом облитая.

Ночь среди чужого края.
Я устал, и сердце юет.

Но взойдет луна, блистая,
И тревоги успокоит.

О, луна, твое сиянье
Гонит страхи жуткой ночи.
Прочь бегут мои страданья,
В умиленьи плачут очи.

Смерть — освежающая ночь,
Жизнь — душный и тяжелый день.
Смеркается, я дремлю,
Не в силах сон превозмочь.

Над ложем моим высокий клен,
Там свищет юный соловей;
Все про любовь он свищет,
Мне слышно даже сквозь сон.

«Где, скажи, твоя подруга,
Что воспел ты так прекрасно
В дни, когда огнем волшебным
Пламенело сердце страстно?»

«Ах, угасло это пламя,
Сердце скорбное остыло...
Эта книга — урна с пеплом
Догоревшей страсти к милой».

СУМЕРКИ БОГОВ

Май наступил с лучами золотыми,
С дыханьем пряным, воздухом атласным,
И весело, приветливо кивает
Из милых глаз фиалок голубых

И широко раскидывает пышный,
Весь протканый росой и блеском солнца,
Цветами разукрашенный ковер, —
И на него манит людское племя.
Послушен зову первому народ:
Мужчины надевают сюртуки
Воскресные и нанковые брюки,
Прекрасный пол облекся в белый цвет,
Юнцы усы весенние подвили,
Девицы кажут груди томной пышность,
Поэты городские запаслись
Карандашом, бумагой и лорнеткой, —
И за город идет толпа, ликуя,
Ложится там на мягкую траву,
Дивится, как кусты растут прилежно,
И пестрыми цветочками играет,
И слушает веселых птичек пенье,
И светлого веселья громкий клик
Шлет в вышину, до голубого неба.

Май и ко мне пришел. Три раза стукнул
Он в дверь мою и крикнул мне: «Я — май!
Хочу поцеловать тебя, мечтатель!»
Не отомкнул я двери и ответил:
«Не в пору гость, напрасно ты манишь!»
Насквозь тебя я понял; я проникнул
Строение вселенной; глубоко
И много видел; радость отошла,
И вечная печаль терзает сердце.
Я вижу все сквозь каменные стены,
Сквозь мрак людских жилищ и их сердец.
В тех и других я вижу ложь и горе;
И в лицах я читаю злые мысли:
В румянце целомудрия у девы
Желаний страстных трепет вижу я,
На вдохновенно-гордой голове
У юноши колпак дурацкий вижу —
И ничего-то, кроме рож нелепых
И испитых теней, по всей земле
Не нахожу, и что она — не знаю.
Больница ли, или сумасшедший дом.
Сквозь старую кору земли проникнул

Я взорами, как будто бы она
Из хрустала — и ужас созерцаю,
Который май напрасно хочет скрыть
Под зеленью веселой. Вижу мертвых:
Там, под землей, лежат они в гробах,
Раскрыв глаза, скрестивши руки. Белы
Их саваны и белы лица их,
И по губам ползут, желтея, черви.
Я вижу — сын на гроб отца пришел
Потешиться с любовницей своею;
Хор соловьев насмешливо поет;
Кругом глумятся скромные цветочки;
Старик-отец в могиле шевельнулся;
Болезненно вздохнула мать-земля.

О, бедная! Всю боль твою я вижу,
Кипучий жар в груди твоей; я вижу,
Как льется кровь из тысяч бедных жил,
И как из ран, раскрывшихся широко,
Бьют с силой вверх огонь и дым, и кровь;
И вижу я сынов твоих — гигантов,
Издравле сущих: вот из темных бездн
Встают они и факелами машут,
И лестницы железные влекут,
И бешено по ним взлезают к небу.
За ними вслед свирепых, черных карл
Ползут толпы. И звезды золотые
Ломаются и вниз валятся с треском..
С шатра господня дерзкою рукой
Рвут пришлецы завесы золотые
И с ревом мечут книзу светлых духов.
Сидит на троне бледный бог; волосы
Он растрепал и рвет с чела венец.
И ближе подступает буйный рой;
В бескрайнюю небесную обитель
Гиганты пламя факелов заносят,
А карлики бичами из огня
Бьют ангелов, за волосы схватив,
И ангелы, от боли изгибаясь,
Летят стремглав от бешеных толчков.
И собственный мой ангел тоже здесь,
С прелестным ликом, в золоте кудрей,

С любовью вековой на устах
И благостью в лазурно-светлом взоре.
И вижу я, как черный, гадкий карлик
Хватает, бедный ангел мой, тебя,
Любуется тобою, скаля зубы,
И в пылкие объятья заключает...
Объемлет мир единый, страшный вопль,
Все рушится — земля и небо — с треском,
И всюду ночь извечная царит».

ДОНЬЯ КЛАРА

Вечер. По саду гуляет
Одинокó дочь алькада;
А из замка раздаются
Звучно трубы и литавры.

«Мне несносны стали танцы,
Приторные комплименты,
Рыцари, что лишь умеют
Сравнивать меня и солнце.

Ах, мне стало все докучно
С той поры, как ночью лунной
Рыцарь тот поющей лютней
Приманил меня к окошку.

Как стоял он горд и строен,
Как глаза метали пламя,
Благородно-бледен ликом,
Был он, как святой Георгий».

Так мечтает донья Клара,
Опустив глаза в раздумьи;
Вдруг глядит: пред ней прекрасный
Неизвестный этот рыцарь.

Руки сжав, воркуя нежно,
Бродят вместе в лунном свете;

Им зефир лукаво шепчет,
Сказочно кивают розы.

Сказочно кивают розы
И, любовь суля, алеют. —
«Но скажи мне, дорогая,
Отчего ты вдруг краснеешь?»

«То меня москиты мучат,
Милый, а москиты летом
Ненавистны мне, как будто
Длинноносые евреи».

«Брось москитов и евреев», —
Шепчет ей, ласкаясь, рыцарь.
С миндалей летит на землю
Тысячи цветочных хлопьев.

Тысячи цветочных хлопьев
Разливают запах сладкий.
«Но скажи мне, дорогая,
Отдасшь ли ты мне сердце?»

«Я люблю тебя, любимый,
Будь свидетель в том спаситель.
Тот, кого распяли злобно
Богомерзкие евреи».

«Что спаситель, что еврей...», —
Шепчет ей, ласкаясь, рыцарь.
Вдалеке мерцают сонно
Озаренные лилеи.

Озаренные лилеи.
В тишине на звезды смотрят. —
«Но скажи мне, дорогая,
Ты моя, ты не обманешь?»

«Нет во мне обмана, милый,
Как в груди моей ни капли
Крови нет от крови мавров
Или гнусного еврейства».

«Брось ты мавров и евреев», —
Шепчет ей, ласкаясь, рыцарь.
В сумрак миртовой беседки
Он уводит дочь алькада.

И цепями страсти сладкой
Тайно он ее опутал.
Кратки речи, долги ласки,
И сердца полны до края.

Точно трели брачной песни
Соловей прелестный сыплет,
Точно факельную пляску
Светляки в траве заводят.

Тихо все в беседке темной,
Только слышится украдкой
Легкий шопот умных миртов
И цветов душистый шорох.

Но литавры вдруг и трубы
Загремели в замке снова,
И, очнувшись, донья Клара
Из объятий ускользает.

«Чу! Зовут меня, любимый,
Но, пока уйду, ты должен
Милое назвать мне имя,
Что так долго ты скрываешь».

И, смеясь лукаво, рыцарь
Пальцы доньи вновь целует,
Вновь целует лоб и губы,
Отвечая напоследок:

«Я, синьора, ваш любимый,
Сын ученейшего старца,
Что столь славен в Сарагоссе,
Сын раввина Израэля».

РАТКЛИФ

Бог сна меня в далекий край принес,
Где длинными зелеными руками
Приветно мне махали ивы; где
Цветы умно в глаза глядели мне;
Где птицы так радушно щебетали,
Где даже лай собак знакомым мнился,
И голоса и лица улыбались
Как другу старому, и где однако все
Казалось чуждым, странно, дивно чуждым.
Пред сельским домом, убранным красиво,
Стоял я; что-то в сердце трепетало,
Но голова была спокойна.
Спокойно я стяхнул с одежды пыль
И стукнул в дверь, и отперлась она.

Там было много женщин и мужчин,
Знакомых мне; на лицах тень печали
И тайная, пугливая тоска.
В смущении, с глубоким состраданьем
Все на меня смотрели; вздрогнул я
В предчувствии неведомого горя,
И тотчас же старуху Маргариту
Узнал; взглянул пытливо, но она
Молчала. «Где Мария?» — я спросил.
Она мне не ответила, и молча,
Взяв за руку, с собою повела
Через длинный ряд великолепных комнат,
Где роскошь, свет и мертвое молчанье.
Мы очутились в сумрачном покое.
И, отвернувшись от меня лицом,
Она мне показала на софу.
«Мария, вы?» — спросил я, удивившись
Сам твердости, с которой говорил.
И каменный, беззвучный и глухой,
Раздался голос: «Так меня зовут».
Боль едкая меня оледенила.
Ведь этот звук холодный, гробовой,
Был некогда — Марии сладкий голос!

И женщина в лиловом смятом платье,
С отвисшей грудью, со стеклянным взором
И с бледной, вялой кожей на щеках —
Она Марией некогда была,
Цветущею и милою Марией!
«Вы долго путешествовали, друг, —
Она сказала с жуткой и холодной
Развязностью. — Теперь не так вы хилы;
Поздоровели, пополнили вы;
Здоровая упругость бедр и икр
Доказывает это». Бледный рог
Подернулся слащавою улыбкой.
Б смущеньи тяжком я проговорил:
«Сказали мне, что вышли замуж вы...»
«Ах, да! — она сказала равнодушно
И с громким смехом: — у меня теперь
Полено есть, обтянутое кожей,
И мужем называется. Конечно,
Полено — все полено». И опять
Беззвучно и противно засмеялась.
Холодный страх мне душу охватил.
Я думал: это ль чистые уста,
Невинные уста моей Марии?
И вдруг она взяла со стула шаль,
Набросила на плечи торопливо,
Ко мне на руку крепко оперлась
И в дверь пошла, открытую, со мною
Через луга, кустарники, поляны...

Уж солнца шар, пылая, заходил
И пурпуром окрасил лучезарным
Деревья и цветы, и вдалеке
Величественно лившийся поток.
«Как блещет это око золотое
В лазури вод!» — воскликнула Мария.
«Несчастное созданье, успокойся»,
Сказал я ей, и в сумраке увидел
Волшебное какое-то движенье
Туманные с полей вставали лики,
Сплетаясь нежно белыми руками,

Фиалки друг на друга любовались,
Горели розы негой сладострастной,
Одна к другой клонились чаши лилий,
Гвоздики загорались ароматом,
В благоуханьях млели все цветы,
И плакали блаженными слезами,
И пели все: «Любовь! Любовь! Любовь!»
В траве жучки жужжали золотые
Напевом эльф, порхали мотыльки,
Шумел высокий дуб, шептались ветры,
И страстно изливался соловей.
Под этот шопот, шелест, звон и пенье
Мне женщина увядшая болтала,
Склоняясь к моему плечу, несносным,
Холодным, будто оловянным тоном:
«Я знаю, в ночь вы бродите по замку;
Высокий призрак — малый недурной;
На все сквозь пальцы смотрит он; а тот,
Что в голубом, — небесный ангел. Только
Вот этот красный очень вас не любит».
И много слов таинственных, несвязных
Она мне наболтала и уселась,
Уставая, на ишистую скамью,
Стоявшую под дубом величавым.

И так сидели оба мы безмолвно,
Смотрели друг на друга, и грустнее
Все делались... Высокий дуб шумел,
В нем слышался как будто вздох предсмертный,
И скорбь звенела в песне соловья.
Но сквозь листья пробился алый свет
И осветил Марии бледный образ,
И вызвал блеск в застывшем взоре. Прежде,
Мне милым голосом она сказала:
«Как ты узнал, что так несчастна я?
Прочла я все в твоих безумных песнях!..»

Мороз прошел по телу у меня;
Я ужаснулся своего безумья,
Прозревшего в грядущее; мой мозг
Как будто вдруг погас, — я я проснулся.

НА БОГОМОЛЬЕ В КЕВЛАР

I

Мать у окна стояла,
В постели сын лежал.
«Процессия уж близко,
Ты лучше бы, милый, встал!»

«Так болен я, родная!
В глазах — туман и мгла,
Все сердце мое изныло,
Как Гретхен умерла».

«Вставай, пойдем с тобой в Кевлар,
Возьмем из роз венки:
Боль сердца магерь божья
Излечит, мой сынок!»

Хоругви святые веют,
Церковный хор поет,
И вьется берегом Рейна
Из Кельна крестный ход.

В толпе бредет старушка,
И с нею сын больной:
«Хвала тебе, Мария!»
Поют они с толпой.

II

Мария в Кевларе нынче
Вся в лентах и цветах,
И идут к ней больные
С молитвою на устах.

И, вместо дара, члены
Из воска ей несут,
Тот руку, а этот ногу, —
И все исцеленья ждут.

Принес ей из воска руку —
И зажила вмиг рука;
Принес ей из воска ногу —
И зажила вмиг нога.

Кто в Кевлар пришел на клюшках,
Тот нынче прыгать стал,
А тот, кто рукой не двигал,
На скрипке вдруг заиграл.

Слепила старушка сердце
Из свечечки восковой.
«Снеси к пречистой! — снимет
Твой недуг как рукой!»

Сын взял восковое сердце
Пред девой с вздохом пал;
Из глаз заструились слезы.
И плакал он и шептал:

«Пречистая! святая!
Слезам моим вонми,
Небесная царица,
Мольбу мою прими!»

Я в Кельне жил на Рейне
С родимою моей,
В том городе, где сотни
Часовен есть и церквей.

Там Гретхен жила. Не встать ей
Из-под сырой земли!..
Прими восковое сердце
И боль мою исцели!

Сними мой недуг с сердца.
И чистою душой
Я вечно петь тебе буду
Хвалу, Марии святой!»

III

В каморке убогой спали
Старушка и сын больной.
Вошла к ним мать божья
Неслышной своей стопой.

К больному она склонилась,
С улыбкой провела
Рукой ему по сердцу —
И, благостная, ушла.

А мать во сне это видит...
Проснулась на заре,
Встает, и слышит — лают
Собаки на дворе.

Сын нем и неподвижен —
Следа в нем жизни нет;
На бледные ланиты
Ложится утренний свет.

Мать тихо скрестила руки,
Покорна теперь, ясна:
«Хвала тебе, Мария!» —
Модилась она.

Путешествие

в

Гарц



ПРОЛОГ

Сюртуки, чулки из шелка.
С тонким кружевом манжеты,
Речи льстивые, объятья —
Если б сердце вам при этом!

Если б сердце в грудь вложить вам.
В сердце чувство трепетало б, —
Ах, до смерти мне противна
Ложь любовных ваших жалоб!

Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет ветер
И легко усталой груди.

Я хочу подняться в горы,
К елям шумным и могучим,
Где поют ручьи и птицы
И несутся гордо тучи.

Мир вам, гладкие паркеты,
Люди с гладкими сердцами!
Я хочу подняться в горы,
Чтоб смеяться там над вами!

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

I

На горе стоит избушка,
В ней шахтер живет седой,
Шумны темные там ели,
Светел месяц золотой.

У окна резное кресло,
Чудо-кресло, не скамья,
Кто сидит в нем, тот счастливец,
И счастливец этот — я!

На приступочке малютка
У моих уселась ног;
Глазки — звезды голубые,
Ротик — аленький цветок.

Глазки-звездочки раскрыты
Широко, как небосвод,
И лукаво к пухлым губкам
Свой лилейный пальчик жмет.

«Нет, не бойся, мать не видит:
Села с прялкою к окну,
А отец взял в руки цитру
И поет про старину».

И малютка продолжает
Тихо в уши мне шептать;
Много тайн за это время
Довелось мне услышать.

«С той поры, как тетки нету,
Не приходится уж нам
Ездить в Гослар на гулянье,
А чудесно, право, там!

Здесь, на этом горном склоне,
Так тоскливо жить одним,

А зимою мы под снегом,
Как схоронены, сидим.

И притом же я трусиха,
Как дитя, впадаю в страх,
Только вспомню злобных духов,
Промышляющих в горах».

Точно слов своих пугаясь,
Прерывает вдруг рассказ
И обеими руками
Прикрывает звезды глаз.

Все шумнее шелест ели,
Громче треск веретена,
И в звенящих струнах цитры
Оживает старина.

«Не страшись, моя малютка,
Злые духи скрылись прочь,
Божьи ангелы на страже
Над тобою, день и ночь!»

II

Ель протягивает пальцы
И стучится под окном,
Месяц, бледный соглядатай,
Льет сиянье в тихий дом.

Мать с отцом храпят негромко
В ближней спальне за стеной,
Мы же время коротаем
За блаженной болтовней.

«Будто часто ты молился?
Нет, меня не проведешь, —
Неужели от молитвы
На губах такая дрожь?»

Эта дрожь, такая злая,
Страх наводит на меня,

Но в глазах твоих сиянье
Благодатного огня.

Сомневаюсь, чтоб ты верил,
Как священник нас учил,
Чтобы ты отца и сына
И святого духа чтил».

«Милый друг, еще ребенком,
У родимой на руках,
Верил я, что правит миром
Бог-отец на небесах.

Тот, кто дивно создал землю,
Человека сотворил,
Кто звездам, луне и солнцу
Их пути определил.

А когда я вырос, крошка,
Много больше я узнал
И, постигнув человека,
В сына верить тоже стал;

В сына божьего, что людям,
Дал любовь и чистоту
И, как водится, в награду
Пригвожден был ко кресту.

Я теперь созрел, начитан,
Видел дальние края,
И в святого духа верю
Всей душой своею я.

Сотворил чудес он много
И еще творить готов;
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.

Раны лечит, обновляет
Право древней старины:
Все мы, люди, от рожденья
Благородны и равны.

Гонит он туманы злые
И рассеивает гнет,
Что вкушать любовь и радость
День и ночь нам не дает.

Сотня рыцарей отважных,
В броне панцырей и лат,
Служат 'духу всеблагому,
Волю высшую творят.

Гордо веют их знамена,
И мечи блестят у них,
Ты хотела бы, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так гляди смелей мне в очи,
Поцелуй меня! Взгляни!
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь духа, как они!»

III

За зеленой хвоей ели
Месяц тихо прячет лик,
В нашей комнате мерцает
Догорающий ночник.

Только звезды голубые
Светят ярче в поздний час,
И пылает алый ротик,
И она ведет рассказ:

«Эти крошки-домовые
Поедают нашу снедь,
Накануне полон ящик,
Поутру — пустая клеть.

Эти крошки слижут ночью
Наши сливки с молока,
А остатки выпьет кошка
Из открытого горшка.

Да и кошка наша — ведьма,
Ночью вылезет на двор
И гуляет в дождь и вьюгу
По развалинам среди гор.

Там стоял когда-то замок,
В пышных залах яркий свет,
Дамы, рыцари и свита
Танцевали менуэт.

Но однажды злая фея
Нашептала злобных слов,
И теперь среди развалин
Гнезда филинов и сов.

Впрочем, тетка говорила:
Стоит только слово знать
И его в урочном месте
И в урочный час сказать, —

И опять из тех развалин
Стены гордые взойдут,
Дамы, рыцари и свита
Танцевать опять начнут;

Тот, кто скажет слово, станет
Обладателем всего,
Звуки трубные прославят
Светлость юную его».

Так цветут волшебной сказкой
Алых губок лепестки,
И сверкают в глазках-звездах
Голубые огоньки.

Нижег кудри мне на пальцы
И дает им имена.
И смеется, и целует,
И смолкает вдруг она.

И с таким приветом тихим
Смотрит комната на нас;

Этот стол и шкаф как будто
Я уж видел много раз.

Мирно маятник болтает,
Струны цитры на стене
Еле слышно зазвенели,
И сижу я, как во сне:

«Вот урочный час и место,
Вот когда пора сказать.
Ты, малютка, удивисься,
Как я слово мог узнать.

Лишь скажу, и ночь поблекнет,
Не дождавшись до утра,
Зашумят ручьи и ели,
Вздрогнет старая гора.

Из ущелья понесутся
Звуки, полные чудес,
Запестреет, как весной,
Из цветов веселый лес.

Листья, странные как в сказке,
Небывалые цветы,
Полны чар благоуханья
И пьянящей пестроты.

Розы красные, как пламя,
Загорятся здесь и там,
И колонны белых лилий
Вознесутся к небесам.

Звезды крупные, как солнца,
Запылают над землей,
В чаши лилий исполинских
Свет вливая голубой.

Мы с тобой, моя малютка,
Всех изменимся сильней;
Окружат нас шелк и бархат,
Вспыхнет золото огней.

Ты принцессой станешь гордой,
Замком сделается дом —
Дамы, рыцари и свита
Пляшут весело кругом.

Все мое — и ты, и замок
В этом сказочном краю,
Славят трубы и литавры
Светлость юную мою!»

ПАСТУШОК

Пастушок — король над стадом,
Холм зеленый — гордый трон.
Над его головкой солнце
Лучезарней всех корон.

В красных бантиках барашки
Нежно ласться к ногам,
А телята — кавалеры —
Гордо бродят по лугам.

Средь козлят, придворной труппы,
Каждый — чудо, не актер,
А коровьи колокольцы,
Флейты птиц — оркестр и хор.

Он поет, играет нежно;
Тих и нежен дальний гул
Водопадов, стройных елей,
И король слегка вздремнул.

В это время министерством
Управляет верный пес,
Чье сердитое рычанье
Ветер по полю разнес.

А король сквозь сон бормочет:
Что за бремя эта власть!

Хорошо бы к королеве
Поскорей домой попасть!

Головой прилечь державной
К ней на грудь хотел бы я!
В нежном взоре королевы --
Вся монархия моя!

НА БРОКЕНЕ

Все светлее на востоке,
Тлеет солнце, разгораясь,
И кругом поплыли горы,
Над туманами качаясь.

Мне надеть бы скороходы,
Чтобы с ветром поровняться
И над этими горами
К дому милой резво мчаться,

Тихо полог отодвинуть
В изголовьи у голубки,
Целовать тихонько лобик
И рубиновые губки.

И в ушко ее чуть слышно
Молвить: пусть тебе приснится
Сон, что мы друг друга любим
И что нам не разлучиться.

ИЛЬЗА

Зовусь я принцессой Ильзой,
И в Ильзенштейне живу;
Пойдем со мной в мой замок,
К блаженству наяву.

Чело твое я омою
Прозрачною волной,
Забудь про скорбные мысли,
Унылый друг мой, больной.

В объятьях рук моих белых,
На белой груди моей
Ты будешь мечтать и грезить
О сказках прошлых дней.

Обниму тебя, зацелую,
Как зацелован был
Мной император Генрих,
Что вечным сном почил.

Не встать из мертвых мертвым,
И только живые живут;
А я цветка прекрасней,
И сердце бьется — вот тут.

Вот тут смеется сердце,
Звенит дворец средь огней,
Ганцуют с принцессами принцы,
Ликует толпа пажей.

Шуршат атласные шлейфы,
И шпоры звенят у ног,
И карлики бьют в литавры,
И свищут, и трубят в рог.

Усни, как спал мой Генрих,
В объятьях нежных рук;
Ему я прикрыла уши,
Как трубный раздался звук.



ПЕРВЫЙ ЦИКЛ

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО

Песни, вы, добрые песни мои!
Вставайте, наденьте доспехи,
Трубите в трубы
И на щите подымите
Мою красавицу!
Огнине в сердце моем
Всевластно царить она будет.

Слава тебе, молодая царица!

От солнца далекого я оторву
Алого золота клочок
И скую из него
Венец на чело твое царское;
От ткани лазурной небесного полога.
Где алмазы блестят в ночи,
Отрежу кусок драгоценный
И им, как порфирию царской,
Одену твой царственный стан.
Я дам тебе свиту
Из безупречно-нарядных сонетов,
Терции горделивых и вежливых стансов:
У тебя скороходами будут
Мои остроты; придворным шутом —
Моя фантазия; важным герольдом,

С смеющейся слезкой в щите —
 Мой юмор.
 А сам я, царица,
 Сам я колени склоню пред тобой
 И, присягая тебе, поднесу
 На бархатной алой подушке
 Ту малую долю рассудка,
 Какая оставлена мне состраданьем
 Царицы, предшедшей тебе.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ

Огненно-красное солнце сходит
 В глубь, в далеко шумящее,
 Серебром окаймленное море;
 Облики света, прозрачны и алы,
 Несутся вслед; а напротив,
 Из хмурых, осенних облачных гряд,
 Ляком грустным и мертвенно-бледным
 Смотрит луна; а за нею,
 Словно мелкие искры,
 В дали туманной мерцают звезды.

Некогда в небе сияли,
 В брачном союзе,
 Луна-богиня и солнце-бог;
 А вокруг них роились звезды.
 Невинные дети-малютки.

Но злым языком клевета зашипела,
 И разделилась враждебно
 В небе чета лучезарная.

И нынче днем, в одиноком величьи,
 Ходит по небу солнце,
 За гордый свой блеск
 Многомолимое, многовещное
 Гордыми, счастьем богатыми смертными.
 А ночью
 По небу бродит луна,

Бедная мать,
Со своими сиротками-звездами
И светит в безмолвной печали своей.
И девушки с любящим сердцем
И с кроткой душою поэты
Ей посвящают слезы и песни.

Женским незлобивым сердцем
Все еще любит луна красавца-мужа,
И под вечер часто, дрожащая, бледная,
Глядит потихоньку из тучек прозрачных
И скорбным взглядом своим провожает
Уходящее солнце,
И, кажется, хочет крикнуть ему: «Погоди!
Дети зовут тебя!»
Но упрямое солнце,
При виде богини,
Вспыхнет багровым румянцем
Скорби и гнева
И беспощадно падет на свое одинокое
Влажно-холодное ложе вдовца.

Так-то шипящая злоба
Скорбь и погибель вселила
Даже средь вечных богов,
И бедные боги
Грустно свершают в небе
Свой путь безутешный и бесконечный,
И смерти им нет, и они влачат
Свое лучезарное горе.

Так мне ль — человеку,
Низко поставленному, смертью одаренному, —
Мне ли роиться на судьбу?

НОЧЬ НА БЕРЕГУ

Ночь холодна и беззвездна;
Море кипит,
А над морем, на брюхе лежа,
Неуклюжий северный ветер

Таинственным, прерывисто-хриплым
Голосом с морем болтает,
Словно брюзга-старик,
Вдруг разгулявшийся в тесной беседе.
Много у ветра безумных историй,
Сказок богатырских, смешных до уморы.
Норвежских саг стародавних...
Порой, среди рассказа,
Он вдруг захохочет, далеко мрак оглашая,
Или начнет завывать
Заклятья из Эдды и Руны,
Темно-упорные, чаро-могучие...
И моря белые чада тогда
Высоко скачут из волн и ликуют,
Хмельны разгулом.

Меж тем, по волной увлажненным пескам
Плоского берега
Проходит путник, и сердце кипит в нем
Мятежнее волн и ветра.
Куда он ни ступит,
Сыщлются искры, трещат
Пестрых раковин кучки.
Кутаясь в серый свой плащ,
Быстро идет он
Средь грозной ночи.
Вдаль манит его огонек,
Тот, что мерцает любовно и кротко
В одинокой хате рыбацкой.

На море брат и отец,
И одна-одинешенька в хате
Осталась дочь рыбака —
Дивно-прекрасная дочь рыбака.
Сидит перед пещью она, внимая
Сладостно-вещему пенью
Кипящей в котле воды,
И в пламя бросает
Трескучий хворост,
И дует на пламя.
И в трепетно-алом сиянии
Волшебно-прекрасны

Цветущее личико
И нежно-белые плечи,
Так робко глядящие
Из-под грубой серой сорочки,
И хлопотливая ручка-малютка,
Та, что сейчас управляет
Пеструю юбочку
На стройных бедрах.

Но вдруг растворяется дверь,
И в хижину входит ночной скиталец.
С любовью он смотрит
На белую, стройную девушку,
И девушка трепетно-робко
Стоит перед ним — как лилея,
От ветра дрожащая.
Он наземь бросает свой плащ,
А сам, смеясь, говорит:

«Видишь, дитя, как я слово держу!
Вот я пришел, и со мною пришло
Старое время, как боги небесные
Сходили к дочерям людским,
И дочерей людских обнимали,
И с ними рождали
Скипетроносных царей и героев,
Землю дививших.
Впрочем, дитя, моему божеству
Не изумляйся ты много!
Дай-ка лучше мне чаю — да с ромом!
Ночь холодна; а в такую погоду
Зябнем и мы,
Вечные боги, — и ходим потом
С наибожественным насморком
И с кашлем бессмертным!»

ПОСЕЙДОН

Солнце лучами играло
Над морем, катящим далеко валы;

На рейде блистал в отдаленьи корабль,
Который в отчизну меня поджидал;
Только попутною не было ветра,
И я спокойно сидел на белом песке
Пустынного берега.
Песнь Одиссея читал я — старую,
Вечно юную песнь. Из ее
Морем шумящих страниц предо мной
Радостно жизнь подымалась
Дыханьем богов,
И светлой весной человека,
И небом цветущим Эллады.

Благородное сердце мое с участием следило
За сыном Лаэрта в путях многотрудных его.
Садилось с ним в печальном раздумьи
За радушный очаг,
Где царицы пурпур прядут,
Лгать и удачно ему убежать помогало
Из объятий нимф и пещер исполинов,
За ним в Киммерийскую ночь, и в ненастье,
И в кораблекрушение неслоь,
И с ним несказаннос горе терпело.

Вздыхнувши, сказал я: «Злой Посидаон,
Гнев твой ужасен,
И сам я боюсь
Не вернуться в отчизну!»

Едва я окончил, —
Запенилось море,
И бог морской из белеющих волн
Главу, осокой венчанную, поднял,
Промолвив в насмешку:

«Что ты боишься, поэтик?
Я нимало не стану тревожить
Твой бедный кораблик,
Не стану в раздумье о жизни любезной тебя
Вводить излишнею качкой.
Ведь ты, поэтик, меня никогда не сердил:
Ни башенки ты не разрушил у стен

Священного града Приама,
Ни волоса ты не спалил на главе
Полифема, любезного сына,
И тебе не давала советов ни в чем
Богиня ума — Паллада Афина».

Так воззвал Посейдон
И в море опять погрузился,
И над грубой острою моряка
Под водой засмеялись
Амфитрита, женщина-рыба,
И глупые дочери Нерея.

ПРИЗНАНИЕ

Тихо с сумраком вечер подкрался;
Грозней бушевало море.
А я сидел на побережьи, глядя
На белую пляску валов,
И сердце мне страшной тоской охватило —
Глубокой тоской по тебе.

Прекрасный образ,
Всюду мне предстающий,
Всюду зовущий меня,
Всюду, всюду —
В шуме ветра и в рокоте моря.
И в собственных вздохах моих!

Легкою тростью я написал на песке:
«Агнеса! Люблю тебя!»
Но злые волны плеснули на нежное слово любви —
И слово то стерли и смыли.

Ломкий тростник, зыбкий песок и текучие волны,
Вам я больше не верю!
Темнеет небо — и сердце мятежней во мне.
Мощной рукою в норвежских лесах
С корнем я вырву самую гордую ель
И ее обмакну в раскаленное Эгны жерло.

И этим, огнем напоенным,
Исполинским пером напишу
На темном своде небесном:
«Агнеса! Люблю тебя!»

И каждую ночь будут в небе
Неугасимо гореть письма золотые,
И все поколения внуков и правнуков
Будут, ликуя, читать слова неземные:
«Агнеса! Люблю тебя!»

МОРСКОЙ ШТИЛЬ

Штиль. Сияющие стрелы
Солнце на воду бросает.
В самоцветах зыбких судно
Означает путь смарагдом.

У руля улегся боцман,
Чутко спит, на брюхе лежа,
И, смолою весь испачкан,
Старый парус чинит юнга;

Щеки грязные румянцем
Налились, дрожат в испуге
Губы, и глаза большие
Смотрят жалко и тревожно.

Капитан над ним бушует,
Проклиная и ругаясь:
«Жулик, жулик, ты из бочки
У меня украл селедку».

Штиль. Всплывает на поверхность
Рыбка умная, головку
Под лучами солнца греет,
Плещет хвостиком игриво;

Только чайка, точно камень,
Сверху падает на рыбку
И с трепещущей добычей
Вновь в лазури исчезает.

МОРСКОЕ ВИДЕНИЕ

А я лежал у самого борта
И, словно сквозь сон, смотрел
В зеркально-чистую воду...
Смотрел все глубже, глубже, —
И вот предо мной, на дне,
Сперва в тумане каком-то,
Потом все красочней, ярче,
Куполы очертились и башни,
И город, наконец, как солнце светлый,
Древне-фламандский,
Полный людей.
Мужчины важные, в черных платьях,
В белых брыжжах, с цепями на шее,
С длинными мечами и лицами длинными,
Шагают к ратуше с крыльцом высоким,
Где статуи кесарей из камня
Стоят, с мечом и скиптром, на страже.
Невдалеке, там где ряд домов,
Где стекла блестят, а липы
Острижены под пирамиды,
Там шелком шурша, идут девицы;
Нежно-весенние личики скромно
Из-под шапочек черных смотрят,
В обрамленьи светлых кудрей.
В испанских платьях юные франты
Отдают, рисуясь, поклоны.
Женщины в летах,
В коричневых и увядших платьях —
Молитвенник в руках и четки, —
Спешат, семеня ногами,
В соборный храм,
Под звон колокольный
И органа строгие звуки.

Я сам содрогаюсь втайне,
Заслышав далекий звон!
Тоской глубокой, безмерной грустью
Мое сдавилось
Больное все еще сердце;

Мне мнится, милые губы
Целуют раны его.
И вновь точит оно кровь,
И капли, жгучие капли текут
Струею медленной, долгой
На старый дом, вон там, внизу,
В подводном городе этом,
На старый, с высокою кровлею дом,
Без людей как будто грустящий;
Вот только девушка у окна
Сидит внизу,
Рукой лицо подперев —
Ребенок брошенный, бедный —
Да, это ты, ребенок брошенный бедный!

Так вот куда, на морское дно,
Укрылась ты от меня
По прихоти детской,
И выйти потом не могла,
С чужими сидя, чужая.
А я меж тем, с печалью в душе,
Искал тебя всюду,
По всей земле,
Ты, вечно-любимая,
Павно потерянная
И вновь обретенная.
Тебя нашел я, смотрю опять
На милый образ.
Умные, верные очи,
Улыбку милую.
Теперь с тобой не расстанусь больше,
Сойду к тебе на морское дно
И кинусь, раскрыв объятия,
К тебе на грудь...

Но во-время за ногу
Схватил меня капитан
И оттащил от борта,
И крикнул, сердито смеясь:
«Да что вы, доктор, взбесились?»

ВТОРОЙ ЦИКЛ

ПРИВЕТ МОРЮ

Талатта! Талатта!
Привет тебе, вечное море!
Привет тебе десять тысяч раз,
От ликующего сердца —
Такой, как некогда слышало ты
От десяти тысяч сердец греческих,
С бедами боровшихся, по отчизне томившихся,
Всемирно славных греческих сердец!

Вставали волны,
Вставали, шумели,
И солнце их обливало
Игривым румяным светом;
Стаи вспугнутых чаек
Прочь отлетали с громкими криками;
Били копытами кони, гремели щиты,
И разносилось далече кликом победным:
Талатта! Талатта!

Привет тебе, вечное море!
Родным языком шумят твои воды,
Точно грезы детства встают предо мной
Над твоим зыбучим простором,
И снова приводит мне память былые рассказы
О дорогих и милых игрушках,
О святочных пышных подарках,
О красных деревьях коралловых,
О златочешуйчатых рыбках,
О жемчуге желтом, о грудях раковин пестрых,
Что таинственно ты хранишь
В прозрачном своем, хрустальном доме.

О, как я в чужбине томился!
Словно увядший цветок
В жестянке ботаника,
Блекло в груди моей сердце,

Мне кажется, будто я целую зиму, больной,
Был заперт в темном больничном покое
И вдруг неожиданно его покинул —
И мне ослепительно блещет навстречу
Весна изумрудная, солнцем разбуженная,
И шумит белый цвет на деревьях,
И молодые цветы глядят на меня
Душистыми, пестрыми глазками,
И все благовонием дышит, гудит, живет и смеется,
И в небе лазурном птицы пьют.

Талатта! Талатта!
О, храброе, и в отступлении храброе сердце!
Как часто, как горестно часто
Тебя теснили варварки севера!
Сыпали жгучие стрелы в тебя
Из больших победительных глаз;
Грозили мне грудь раскроить
Кривыми мечами слов;
Гвоздеобразными письменами
Бедный мой, оглушенный мозг разбивали.
Напрасно я крылся щитом...
Стрелы свистали, и падал удар за ударом.
И вот оттеснили меня
Варварки севера к самому морю,
И полною грудью дыша, я море приветствую,
Спасительно-чудное море...
Талатта! Талатта!

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Любовь и надежда! погибло все!
И сам я, как труп —
Выброшен морем гневным —
Лежу на пустынном,
Унылом берегу.
Преодо мной водяная пустыня колышется;
За мною лишь горе и беды,
А надо мною тучи плывут,
Безлично-серые дочери воздуха,

Что черпают воду из моря
Туманными ведрами,
И тащат и тащат ее через силу,
Чтоб снова над морем пролить —
Труд печальный и скучный
И бесполезный, как жизнь моя.

Волны рокочут, чайки кричат,
Воспоминанья старинные веют мне в душу . .
Забывшие грезы, печальные образы,
Мучительно-сладкие, вновь встают.

Живет на севере женщина
Прекрасная, царственно-пышная . . .
Стан ее, стройный, как пальма,
Страстно охвачен белой одеждой;
Темные, пышные кудри,
Словно блаженная ночь,
С головы, увенчанной косами,
Разливаясь, змеется волшебю
Вдруг чудного, бледного лика;
И величаво-могуче горят ее очи.
Словно два черные солнца.

О черные солнца! как часто,
Как восторженно-часто я упивался
Диким огнем вдохновенья из вас
И, цепenea, стоял,
Полон блаженным хмелем.
И тогда голубино-кроткой улыбкой
Вдруг оживлялись гордые губы,
И с гордых губ срывалось слово
Нежнее лунного света,
Отраднее запаха розы,
И душа ликовала во мне,
И к небу орлом взлетала.

Молчите, волны и чайки!
Все миновало! Любовь и надежда,
Надежда и счастье! Лежу на земле,
Одинокий, морем ограбленный,
И к сырому песку
Горячим лицом припадаю.

ЗАКАТ СОЛНЦА

Прекрасное солнце
Спокойно склонилось в море;
Зыбкие волны окрасила
Темная ночь,
И только заря осыпает их
Золотыми лучами;
И шумная сила прилива
Белые волны теснит к берегам,
И волны скачуг в поспешном весельи,
Как стада белорунных овец,
Что вечером к дому
Гонит пастух, распевая.

— Как солнце прекрасно! —
Сказал мне по долгом молчаньи друг,
Со мною у моря бродивший.
И полугрустно, полусутоливо
Стал уверять меня,
Будто солнце — прекрасная женщина,
Которой пришлось поневоле
Выйти замуж за старого бога морей.
И днем она радостно по небу ходит
В пурпурной одежде,
Блестая алмазами.
И все ее любят, и все ей дивятся —
Все земные созданья,
И всем созданьям дарят утеху
Тепло и свет ее взгляда,
А вечером нехотя, грустно
Она возвращается
Во влажный дворец, на холодную грудь
Мужа седого.

— Поверь! — прибавил мой друг
И засмеялся, вздохнул и вновь засмеялся. —
Это одно из нежнейших супружеств:
Они или спят, иль бранятся —
Так бранятся, что море вскипает,
И в шуме волн мореходы

Слышат, как старый жену осыпает
Страшную бранью:
«Круглая ты потаскушка вселенной!
Лучеблудница!
Целый ты день горяча для других;
А ночью
Для меня холодна, устала!»
После таких увещаний постельных, конечно,
Ударяется в слезы
Гордое солнце — и рок свой клянет...
Клянет так долго и горько,
Что бог морской
С отчаянья прочь из постели кидается
И поскорее наверх выплывает —
Воздухом свежим дохнуть, освежиться.

Я сам его видел прошедшей ночью:
По пояс вынырнул он из воды
В байковой желтой фуфайке,
В белом, как снег, ночном колпаке,
Нависшим над старым
И истощенным лицом.

ПЕСНЬ ОКЕАНИД

Меркнет вечернее море,
И одинок, со своей одинокой душой,
Сидит человек на пустом берегу
И смотрит холодным, мертвенным взором
Ввысь, в холодное, мертвое небо,
И на широкое море, волнами шумящее.
И по широкому, волнами шумящему морю
В даль, как пловцы, несутся вздохи его —
И к нему возвращаются грустно:
Закрытым нашли они сердце,
Куда пристать хотели...
И громко он стонет, так громко,
Что белые чайки с песчаных галетают гнев
И носятся с криком.
И он говорит им, смеясь:

«Черноногие птицы,
 На белых крыльях над морем вы носитесь,
 Клювом своим кривым пьете воду морскую
 Жрете ворвань и мясо тюленье...
 Горька ваша жизнь, как и пища!
 А я, счастливец, вкушаю лишь сласти,
 Питаюсь сладостным запахом розы, соловьиной
невесты.

Вскормленной месячным светом;
 Питаюсь еще сладчайшими
 Парожками с взбитыми сливками;
 Вкушаю и то, что слаще всего —
 Сладкое счастье любви и сладкое счастье
взаимности!

Любит она меня! любит! дивная дева!
 Теперь она дома, в светлице своей у окна,
 И смотрит в вечерний сумрак, вдаль, на дорогу
большую.

И ждет, и тоскует по мне, — ей богу!
 Но тщетно и ждет и вздыхает...
 Вдыхая, идет она в сад, гуляет по саду
 Среди ароматов, в сиянии луны,
 С цветами ведет разговор, и им говорит,
 Как я, ее милый, хорош,
 Как мил и любезен, — ей богу!
 Потом и в постели, во сне перед нею,
 Даря ее счастьем, мелькает мой милый образ;
 И даже утром, за кофе, она
 На бутерброде блестящем
 Видит мой лик дорогой
 И страстно съедает его, — ей богу!»

Так он хвастает долго,
 И порой раздается над ним,
 Словно насмешливый хохот, крик порхающих чаек.
 Вот наплывают ночные туманы;
 Месяц, желтый, как осенью лист,
 Грустно сквозь сизое облако смотрит;
 Волны морские встают и шумят.
 И из пучины шумящего моря
 Грустно, как ветра осеннего стон,

Слышится пенье. Океаниды поют,
Милосердные, чудные девы морские...
И слышнее других голосов ласковый голос
Серебро-ногой супруги Пелея...
Океаниды уныло поют:

«Безумец! хвастливый безумец!
Скорбью истерзанный!
Убиты надежды твои,
Души игривые дети,
И сердце твое, словно сердце Ниобы,
Окаменело от горя!
Сгущается мрак у тебя в голове,
И вьются во мраке безумья молнии,
И хвастаешь ты от боли!
Безумец! хвастливый безумец!
Упрям ты, как древний твой предок,
Высокий титан, что похитил
Небесный огонь у богов и людям принес его,
И коршуном мучимый, к утесу прикованный,
Олимпу грозил и стонал, и ругался,
Так что в море мы слышали голос его
И с утешительной песнью всплыли.
Безумец! хвастливый безумец!
Ты ведь бессильней его,
И было б умней для тебя жить в мире с богами,
Влача терпеливо тяжелое бремя скорбей,
Влача его долго, так долго,
Пока не утратит терпенья сам Атлас,
И тяжкого мира не сбросит
В вечную ночь!»

Долго так пели в пучине
Милосердные, дивные девы морские,
Но валы, зашумев, заглушили их пенье —
В тучи спрятался месяц; раскрыла
Черную пасть свою ночь.
Долго сидел я во мраке и плакал.

ВОПРОСЫ

У моря, у бурного моря полночного
Юноша-муж одиноко стоит.
В груди его скорбь, сомненьем полна голова,
И мрачно волнам говорит он:

«О, разрешите мне жизни загадку,
Древнюю, полную муки загадку!
Уж много мудрило над нею голов —
Голов в колпаках с иероглифами,
Голов и в чалмах и в черных беретах,
Голов в париках, и тысячи тысяч других
Голов человечесьих, потеющих, жалких.
Скажите волны, что есть человек?
Откуда пришел он? Куда идет?
Кто там нам нами живет на звездах золотых?»

Волны журчат своим вечным журчаньем;
Веет ветер; бегут облака;
Блещут звезды, безучастно-холодные,
И дурак ожидает ответа.

В ГАВАНИ

Блажен, кто гавани мирной достиг
И, за собою оставив и море и бури,
Сидит безмятежно в тепле
Старого погреба бременской ратуши.

Как светло и уютно
В бокале моем отражается мир!
Как солнечно жизнь
Вливается в сердце, томимое жаждой! —
Все вижу в бокале:
Историю древних и новых народов,
Турок и греков, Гегеля, Ганса,
Лимонные рощи и вахтпарады,

Берлин и Шильду, Тунис и Гамбург.
Но образ милой ясней всего —
Ангельский профиль на дне золотого рейнвейга.
О, любовь моя, как ты прекрасна!
Ты прекрасна, как роза!
Не роза Ширази,
Гафизом воспетая роза, любовь соловья;
Не роза Сарона,
Священно-пурпурная, пророком воспетая;
Ты, как роза бременской ратуши,
Роза роз:
Чем старше она, тем ярче цветет.
Я блажен от ее неземного дыханья,
Оно меня воскресило, оно меня опьянило,
И если б меня не схватил за вихор
Хозяин погреба бременской ратуши.
И б полетел.

Славный малый! Мы рядом сидели
И пили, как братья.
Мы рассуждали о разных высоких предметах,
Вдыхали, сжимали друг друга в объятьях.
И он склонил меня к вере любви —
Я пил за здоровье своих жесточайших врагов,
Простил всем скверным поэтам,
Как мне когда-нибудь тоже простится.
Я плакал от умиленья, и вот, наконец,
Врата спасения вдруг предо мной распахнулись,
Где двенадцать апостолов, в образе бочек,
Проповедуют молча, но все же понятно
Всем земным племенам.

Это мужи!
Скромные с виду, в дубовых камзолах,
Они изнутри прекрасней и ярче
Всех гордых левитов храма,
Всех придворных и телохранителей Ирода
Золотом украшенных, в пурпур облеченных.
Я ведь всегда говорил,
Что царь наш небесный
Жил окруженный избранным обществом,
А не простыми людьми.

Осанна! Как нежно меня обвевают
 Вефильские пальмы!
 Как ароматны хевронские мирты!
 Как, кружась от восторга, шумит Иордан!
 Дух мой бессмертный тоже кружится,
 И я с ним кружусь, и, кружась,
 Тащит меня вверх по лестнице к свету днесьному
 Добрый хозяин бременской ратуши...

Добрый хозяин бременской ратуши!
 Смотри! Вон пьяные ангелы
 Сидят на крышах домов и поют.
 А жаркое солнце над ними —
 Это красный от пьянства нос,
 Нос духа вселенной...
 И вокруг него, захмелев,
 Вся вселенная тихо кружится.

ЭПИЛОГ

Будто на ниве колосья,
 Зреют, колеблясь, в душе человека
 Помыслы;
 Но между них прорываются ярко
 Помыслы нежно-любовные, словно
 Алые да голубые цветы.

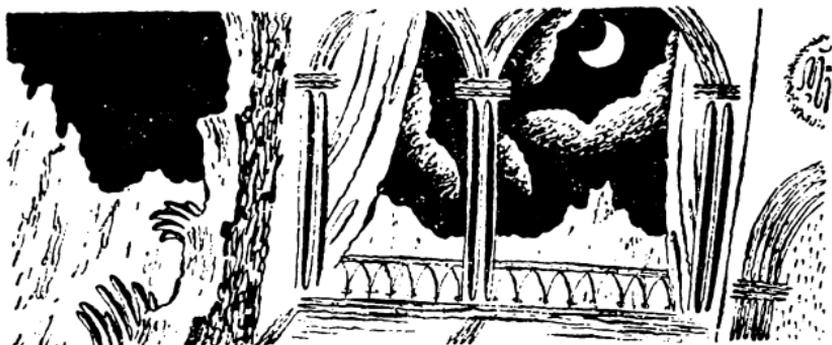
Алые да голубые цветы!
 Брезгают вами жнецы, как травой бесполезной,
 Нагло затем вас молотят дубины;
 Даже бездомный прохожий,
 Вдоволь насытив и взоры и сердце
 И покачав головой,
 Даст вам название плевел прекрасных...
 Но молодая крестьянка
 Вас на веночек
 Ищет заботливо,
 Вами убрать золотистые кудри,

И в этом уборе спешит в хоровод,
Иль под развесистый вяз,
Где голос любезного слаще манит
Дудок и песен.





**Не думайте, что слишком фантастична
Та песнь, что предлагаю вам с приветом!
В ней эпос есть, она и драматична,
И лирика цветет в ней нежным цветом;
Романтика по форме здесь пластична,
А в целом все воссоздано поэтом.
С Христом Ислам боролся, Север с Югом,
Пришла любовь, и с ней конец недугам.**



Внутренние покои старого, опустелого мавританского замка. В боковые окна падают лучи заходящего солнца.

Альмансор, один.

Альмансор.

Все тот же он, любимый старый зал,
Ковер давно знакомый, пестро-тканый,
Следы отцов священные хранящий!
Но червь гнездится в шелковых цветах,
Как будто он с испанцами в союзе.
Все тот же он, колонн старинных ряд,
Жилища гордых гордая опора!
Как часто, мальчиком, я к ним склонялся!
О, если б наши Гомелы, Ганзулы,
Абенкераги, Зегров род надменный
Такою же надежной были трону
Опорою в Альгамбре лучезарной!
Все также стены старые стоят,
Блестящие, расписанные стены,
Что путникам усталым кров давали!
Хранят они свое гостеприимство,
Но гости их — лишь филины да совы.

Подходит к окну.

Молчание! Лишь ты мне внимлешь, солнце,
Последний луч участливо ты шлешь мне
И озаряешь в сумерках мой путь!
Услышь моей признательности зов:
Беги и ты на берег мавританский,
К приветливым Аравии полям; —

О, бойся дон Фернандо, слуг его,
 Что поклялись враждою вечной свету;
 О, бойся гордой доньи Изабеллы,
 Что мнит блистать в лучах своих брильянтов
 Одна средь всех, когда наступит ночь;
 Оставь и ты Испании пределы,
 Где уж однажды закатилось солнце,
 Родная, златоверхая Гренада!

Отходит от окна.

На сердце тяжело, словно придавил
 Усталую, измученную грудь
 Плавающий в лучах закатных шар.
 Как пепел, тело хрупкое мое,
 Земля дрожит и из-под ног уходит.
 Мне так уютно здесь и вместе страшно!
 Тот ветерок, что освежил лицо,
 Принес с собой привет забытых дней.
 И в колыханьи тех теней воздушных
 Я узнаю, как прежде, сказки детства;
 Они зовут, кивают мне с улыбкой
 Приветливой, как бы дивясь тому,
 Что старый друг так робок и так чужд им.
 Вот милый образ матери покойной —
 Она глядит в тревоге и слезах,
 И манит, манит белою рукою.
 Вот и отец — сидит он на подушках
 Зеленых бархатных, и тихо дремлет.

*Останавливается в задумчивости. Совсем темно.
 Видно, как в глубине проходит кто-то с факелом в руках.*

Но что за тень мелькнула там, вдали?
 Иль призрак то, безумием рожденный?
 Мне кажется, прошел старик Гассан?
 Быть может, сам Гассан лежит в гробу,
 И только дух его блуждает в замке,
 Который он при жизни сторожил?
 Я слышу шорох, шум глухой все ближе,
 Как будто из могил восстали предки
 Мне протянуть с приветом кости рук,

Облобызать холодными губами —
Они идут — привет ваш смерть сулит мне...

*Несколько мавров бросаются к нему с обнаженными
саблями.*

Первый мавр.

Да, смерть твоя близка!

Альмансор (*обнажает меч*).

Так помоги,
Блестящий мой, чудесный амулет,
И защити от этих злых духов!

Второй мавр.

Как. незнакомец, в замок ты проник?

Альмансор.

Вопрос я возвращаю. Замок — мой,
Мой управитель (*указывая на меч*) это подтвердит
На вашей коже красными рубцами.

Первый мавр.

Э! Вступит с ним наш управитель в спор;
Не деревянный у него язык,
Заговорит он языком из стали.

Сражаются.

Первый мавр.

Эге! Твой управитель горячится
И рассыпает огненные искры.

Альмансор.

Молчи! В твоей крови он их потушит!

Третий мавр.

Конец игре! Сдавайся поскорей!

*Гассав, с факелом в левой руке, с саблею в правой,
неистово бросается к ним,*

Г а с с а н.

Ого! А с арика-то позабыли?
Ведь я живу одной кровавой мезтью,
Он — мой, по праву, я его убую.

Сражается уже с обессилевшим Альмансором, но в тот миг, когда хочет сразить его, различает при свете факела лицо Альмансора и, пораженный, бросается к его ногам.

Аллах! Аллах! Альмансор Бен-Абдулла!

А л ь м а н с о р.

Да, это я, а ты — старик Гассан.
Встань, преданный слуга родного дома.
Нас ослепил тяжелый мрак ночной,
Отцовский дом могилой мог мне стать
И колыбель младенческая — гробом.

П е р в ы й м а в р.

Берет и плащ надел ты, как испанец,
А наши сабли всем испанцам рады.

Г а с с а н (*медленно поднимается и говорит строгим голосом*).

Альмансор Бен-Абдулла! Отвечай мне:
Зачем надел испанский ты костюм?
Кто вздумал берберийского коня
В покров змеинный, пестрый обрядить?
Сбрось ядовитый облик, сын Абдуллы,
Попри змею ногами, гордый конь!

А л ь м а н с о р (*улыбаясь*).

Все тот же ты, усердный мой Гассан,
Как встарь, наряда держишься и цвета.
Покров змеинный — мне от змей защита;
Ведь и ягненок робкий защищен,
Когда он в волчью шкуру облачится.
Я — мусульманин, несмотря на платье,
А свой тюрбан ношу с собою в сердце.

Г а с с а н.

Хвала Аллаху! Милостив Аллах!
Ложитесь, братья, я на страже стану,
Помолодел опять старик Гассан.

Мавры уходят.

А л ь м а н с о р.

Кто те, кого сейчас ты назвал «братья»?

Г а с с а н.

Последние из тех, кто сохранил
Аллаху верность в нашей стороне.
Ах! Мало их, и с каждым днем все меньше.
И с каждым днем растет число неверных.

А л ь м а н с о р.

Как низко пала ты, моя Гренада!

Г а с с а н.

И как не пасть, коль враг двойной тревожит:
Внутри — раздоры, а извне — коварство.
Проклятье ночи той, что сочетала
В один союз коварство и корысть!
Проклятье ночи той, когда решилась
В объятьях жарких гибель всей Гренады!
Проклятье ночи той, когда возлег
Фернанд на ложе брака к Изабелле!
Коль их чета костер вражды зажжет,
То пламенем охвачен будет дом.
Не от копья отважного леонца
И не от гордой пики аррагонской,
Не от меча дворян кастильских, нет, —
Лишь от своей руки Гренада пала!
Когда родитель душит в колыбели
Своих детей невинных, беззащитных,
И сын преступно подымает руку
На голову священную отца,
И всходит брат чрез труп родного брата
По ступеням кровавым на престол,
И сильные, забыв свой долг, бесчестно
Под знаменем скрываются враждебным, —

Тогда бегут, прикрыв стыдливо лица,
Те ангелы, что охраняли входы,
И с торжеством враги вступают в город.

А л ь м а н с о р .

Мне памятен тот злополучный день;
Я у ворот стоял, когда внезапно
На вороном коне примчался всадник.
Со взором мутным, диким, чуть дыша,
Спросил отца; потом взбежал наверх
И пал отцу в раскрытые объятия.
Тут я узнал, что то был добрый Али...

Г а с с а н (*с горечью*).

Да, добрый Али!

А л ь м а н с о р .

— Али, с чем пришел ты? —

Спросил отец мой. — Хлынули потоком
Из Али глаз, мутнее крови, слезы,
И он сказал, рыдая, что в Гренаду
Дон Фердинанд и донья Изабелла
При звуках труб торжественно вступили,
Что Боабдил на блюде золоченом
Поднес ключи им, преклонив колени,
И на стенах Альгамбры водружен
Кастильский стяг и с ним Мендозы крест.

Г а с с а н (*прикрывая глаза*).

Аллах! Одной лишь милости прошу!
Дай мне забыть ужасную картину!

А л ь м а н с о р .

Мне помнится еще, как эта весть
Грозовая сковала языки.
Отец стоял недвижим, нем и бледен,
Безжизненные руки опустив;
Колени затряслись. Потом упал он.
Тут поднялся унылый женский вой.

Г а с с а н .

Дай мне забыть ужасную картину!

Альмансор.

Меня привлек в объятья добрый Али,
 Прикрыл рукою влажные глаза,
 Чтоб от такого зрелища избавить,
 Увел меня и поднял на коня —

Гассан (*горько улыбаясь*).

И в замок свой увез тебя потом,
 Где встретила тебя твоя Зюлейма.
 Улыбкой нежной слезы осушила,
 Иль поцелуем даже —

Альмансор.

Злой Гассан!

Не забывай, что я ребенком был.
 Ошибся ты, Зюлеймы милой взоры
 Не осушили слез моих тогда.
 Из замка Али вырвавшись тайком,
 Я в тот же день вернулся в дом, к отцу.
 Он на полу лежал и былся в муках,
 В лохмотьях — платье, в пепле — голова,
 И борода всклокочена седая.
 И мать моя лежала тут же, плача,
 И с ней рабыни, в черных покрывалах.
 Смолкало все порой, но вот со словом
 «Гренада!» вырывался чей-то вздох,
 И вопли вновь неслись с двойною силой.

Гассан (*плача*).

Да не иссякнет слез источник вечный!

Альмансор.

Не сокрушайся так. Подходит больше
 К тебе упорство львиное твое,
 С каким предстал ты взорам изумленным,
 Оружием звеня и блеща, в зале.
 Мне не забыть, как ты сказал отцу:
 «Я больше не слуга тебе, Абдулла,
 Аллах меня к служенью призывает».
 Ты твердою стопой покинул замок,
 И с той поры тебя уж я не видел.

Г а с с а н.

Примкнул тогда я к доблестным борцам,
Которые на высях гор холодных
Укрыли пылкие свои сердца.
И как хранят вершины гор свой снег,
Так мы хранили жар в своей груди;
И как они стоят непоколебимо,
Так были мы непоколебимы в вере;
И как порой с утесов тех обломки
Свергаются и рушат все в долине,
Так мы порой свергались вниз с высот
И сокрушали силу христиан;
И вот, тогда предсмертный хрип неверных,
И дальний звон колоколов печальный,
И скорбные напевы их — звучали
У нас в ушах восторгом сладострастья.
Но раз, недавно, тем же нам ответил
Граф Аквилар с своей дружиной храброй.
Нас на последний танец пригласив.
Под звуки труб пронзительно-победных,
Под грохот оглушающий орудий,
При взмахах шпаг кастильских, легкокрылых,
Под свист веселый пуль над головами,
Переселилось в небо много мавров,
Осталась горсть одна на месте танца.
А как, Альмансор, ты с твоей семьею?
Недавно мы с друзьями были здесь,
Но залы опустели, и на нас
Уныло стены скорбные глядели,
И мрачный замок поселял в нас мрак.

А л ь м а н с о р.

Не требуй песен скорбных, пусть в могиле
Спят мертвецы и все мои страданья.
Ты помнишь, как на вороном коне
Примчался Али с горестною вестью.
Несчастье без свиты не приходит!
Одна другой печальней доходили
К нам вести из Гренады; и, как путник
Бросается стремглав лицом к земле,
Когда самум навстречу жаркий дует,

Так мы бросались в горести на землю,
 Чтобы глетворной вести не услышать.
 Узнали мы, что и жрецы отпали —
 Альфакисы и с ними Моравиты.

Г а с с а н.

Коль нужно где продать за деньги веру,
 То первые в делах таких попы.

А л ь м а н с о р.

Узнали мы, что и великий Зегри
 За тот же крест трусливо ухватился,
 Что их пример увлек толпы народа,
 И тысячи людей креститься стали.

Г а с с а н.

Спасенье видит грешник в новом небе.

А л ь м а н с о р.

Пришла к нам весть, что Хименес ужасный
 Посередине площади, в Гренаде, —
 Я не могу, язык немеет, — бросил
 Коран священный на огонь костра.

Г а с с а н.

Вступленье это. Там, где книги жгут,
 Там и людей в огонь потом бросают.

А л ь м а н с о р.

Дошло до нас известье, всех ужасней,

(запинаясь)

Что добрый Али принял христианство.

Пауза.

Тут мой отец не проронил слезинки,
 Ни звука жалобы не произнес,
 Ни волоска из головы не вырвал.
 Лишь судорожно жилы натянулись,
 И вырвался внезапно из груди
 Безумный стон с провзительною силой.
 Когда же я, в слезах, к нему склонился,

Схватил кинжал он, бешенством охвачен,
«Змеиное отродье», закричал
И заколоть хотел меня, — но тут же
Вкруг уст сомкнулась складка кроткой грусти.
«Ребенок неповинен», он промолвил
И медленно побрел в свои покои.
Там он сидел без пищи и питья
Три долгих дня. Когда же появился,
То был неузнаваем. Стал спокоен
И приказал рабам, собрав добро,
Навьючить все на мулов и телеги;
А женщинам велел вино и хлеб
На дальнюю дорогу заготовить.
И сам понес, из рук не выпуская,
Сокровище всех драгоценней — свиток
Законов Магометовых святых,
Тот самый древний и святой пергамент,
В Испанию отцами привезенный.
Так мы страну покинули родную
И двинулись, спеша и все ж колеблясь,
Как будто бы невидимые руки
И нежный голос нас влекли назад,
А волчий вой нас гнал неудержимо.
Как матери прощальный поцелуй,
Впивали мы чудесный аромат
Испанских миртов и лимонных рош:
Уныло вслед деревья шелестели,
И веял ветер сладостно и скорбно,
И птички грустно реяли вкруг нас,
И свой привет прощальный щебетали.

Г а с с а н.

У вас в руках надежный посох был
Для путников — завет отцовской веры.

А л ь м а н с о р.

Прибыв в тот край, где Тарика скала,
Мы быстро переправились в Марокко,
Куда бежали лучшие из нас.
Но, лишь пристали к берегу, зачхла
И в гроб легла, устав от горя, мать.

Г а с с а н.

Да, должен был увянуть цвет лилейный,
Так грубо пересаженный в чужбину.

А л ь м а н с о р.

Все облеклись мы в траурное платье
И двинулись, примкнувши к караванам,
Что держат путь в священный город Мекку.
И в Йемене, в стране своих отцов,
Сомкнул Абдулла горестные очи,
Чтобы потом в отчизне пробудиться,
Где Хименеса нет и Изабеллы.

Г а с с а н.

И не нашел в Аравии ты места,
Чтобы отца оплакивать кончину?

А л ь м а н с о р.

О, если б знал ты муки беспокойства,
Когда огонь невидимый снедает!
Прижать уста к родной земле испанской...

Г а с с а н.

А кстати и к устам своей Зюлеймы.

А л ь м а н с о р (сурово).

Слуга отца — не господин над сыном;
Оставь свои обидные попреки.
Да, сознаюсь, Зюлеймы жажду я,
Как утренней росы — песок пустыни.
Сегодня же иду я в замок Али.

Г а с с а н.

Нет, не ходи! И, как чумы, беги
Тех мест, где новой веры семсна.
Там сладостно-пленительною речью
Исторгнут сердце из твоей груди,
Чтоб заменить его потом змеей.
Там станут лить на голову тебе
Свинцовую струю, чтоб бедный мозг
Не мог от дикой боли отдохнуть.

Там имя прежнее твое подменят
И новое дадут, чтобы твой ангел,
Когда тебя по имени окликнет,
Остался без ответа. Не ходи,
Обманутый ребенок, в замок Али,
Альмансора признают — ты погиб!

А л ь м а н с о р .

Спокоен будь; никто меня не знает.
В лице моем следы бывшего горя,
Мой взор слезами скорби омрачен,
Походкой я подобен бледной тени,
И голос мой надтреснут, как и сердце. —
Кто ж прежнего Альмансора признает?
Да, да, Гассан, люблю я Али дочь!
Еще хогь раз прелестную увидеть!
Мне только раз любовью опьянеть
При виде стана нежного ее,
В ее глаза душою погрузиться,
И аромат вдохнуть ее дыханья, —
И я вернусь в Аравии пустыню
И снова сяду на скале отвесной,
Где некогда Мэдшун вздыхал о Лейле! —
А потому спокоен будь, старик.
Никем неузнанный в плаще испанском,
Я незаметно замок обойду;
Союзницей моею будет ночь.

Г а с с а н .

Коварна ночь, под черным покрывалом
Она таит кошмары, змей и гадюк,
И тайно их к ногам твоим подбросит.
Не верь и спутнику ее, что в небе
Средь туч блистает в трепете любовном,
И так коварно льет свой свет дрожащий
На призрачные тени вдоль дороги.
Не верь ее лукавому отродью,
Тем золотым звездам, что так приветно
Мигают нам, так нежно разгораясь,
И все же, словно тысячами пальцев,
Насмешливо указывают сверху.
Нет, не ходи! Сидят у входа в замок .

И ждут тебя три женщины, все в черном,
 Чтоб задушить тебя в своих объятьях,
 Из сердца поцелуем выпить кровь.

А л ь м а н с о р .

Останови вращающийся жернов,
 Напор потока грудью задержи
 И прегради дорогу водопаду, —
 Но только не удерживай меня.
 Туда влекут меня миллионы нитей,
 Причудливо в мозгу переплетенных
 И в жилах сердца моего. — Гассан,
 Спокойно спи! Мой спутник — старый меч.

Г а с с а н .

А светочем да будет вера предков!

*Замок Али. Освещенный кабинет с большой дверью по-
 середине. Слышна музыка танцев. Дон Эрик
 лежит у ног Зюлеймы.*

Д о н Э р и к е (напыщенно).

Я опьянен чудесным ароматом,
 Теряюсь я, весь трепетом объятый!
 Молитвенно колени я склоняю,
 В тебе святую деву обожаю!
 Ты королева в небесах лучистых,
 Не смею я коснуться рук пречистых —
 Пусть суждены нам узы Гименея —
 У ног твоих лежу, благоговея!

*Музыка умолкла. Дон Диэго прокрался во время
 этого объяснения и открыл обе половинки двери. Виден
 великолепный, переполненный людьми танцевальный зал.
 Танцующие пары останавливаются и смотрят приветливо
 на дон Эрикe и Зюлейму. Несколько голосов
 восклицает:*

Да здравствует прекрасная чета!

*Трубные звуки. Дон Эрикe встает. Дон Диэго
 украдкой удаляется. Двери остаются открытыми.*

З ю л е й м а (сурово).

Пойдемте в залу.

Дон Э н р и к е (*подает ей руку, смущенно*).

Мой слуга, синьора,

Виной тому.

З ю л е й м а.

Пойдемте, хорошо.

Али и Рыцарь встречаются с ними в дверях.

А л и.

Нет, Клара, нет, позволь мне разлучить вас.

Тебя проводит Дон Родриго в зал.

Дверь затворяется.

Зюлейма в сопровождении Рыцаря уходит.

Д о н Э н р и к е.

Я удивляюсь...

А л и (*серьезным тоном*).

Вспомните, синьор,

Что у меня от вас хранится тайна,

Которую я обещал до свадьбы

Открыть вам.

Д о н Э н р и к е (*с любопытством и льстиво*).

Ах, ведь я уже и так

Обязан многим вам...

А л и.

Вы — мне? Ничем!

Зависело от Клары лишь одной

Согласием ответить.

Д о н Э н р и к е.

Нет, ваш голос

Родительский решил ее судьбу.

А л и.

Имел причины я, чтоб отказать вам

В ее руке. Но права не имел.

Узнайте: донье Кларе не отец я.

Дон Эрикe (смущенно).

Вы не отец?

Али (улыбаясь).

Синьор, не беспокойтесь,
Соблюдены закон и завещанье,
Ее своей я дочерью признал.
Теперь вы видите, что только Клара
Располагать могла своей рукой.
Заметьте, что никто не знает тайны,
И даже Клара.

Дон Эрикe.

Я дивлюсь, синьор...

Али.

Вам, жениху, я тайну открываю,
Но вы должны молчание хранить,
И даже пред невестой, чтоб ее
Не огорчить такой тяжелой вестью
И сохранить ее покой душевный.

Дон Эрикe (подает ему руку).

Клянусь вам честью, что молчать я буду.

Али.

Я не всегда Гонзальво назывался.

Дон Эрикe.

Не менее прекрасно было имя
И прежнее: вас звали добрый Али.

Али.

Да, добрым Али звали все меня!
Но правильнее было бы назвать
Счастливым. Али был когда-то счастлив
В любви и дружбе.

Друга мне послал,
Редчайшее сокровище, господь.
Он дал жену мне, кроткую жену —
Нет, грех именовать ее жеңою —

Я ангела в объятья заключил;
 И радости отца познал я тоже.
 Мне мальчика супруга подарила;
 Сама же начала бледнеть и вянуть,
 И умерла.

 Меня утешил друг;
 И так как в то же время у него
 Дочь родилась, то добрая супруга
 Взяла осиротевшее дитя,
 Взрастила и лелеяла, как мать.
 Когда ж его я снова в замок взял,
 То каждый раз, когда глядел на сына,
 Опять я чувствовал былую скорбь
 И горевал о матери. От друга
 Не скрылось это. Как-то он сказал:
 Не думаешь ли, Али, что пора нам
 Их обручить, как жениха с невестой,
 Чтоб закрепить прочнее узы дружбы?
 Я обнял друга, громко зарыдав,
 И в тот же час мы вместе порешили,
 Что друга дочь возьму к себе я в замок,
 Приставлю к ней кормилицу, и буду
 Воспитывать, чтоб сыну своему
 Достойную супругу приготовить,
 И что мой сын воспитываться будет
 У друга, с тем, чтоб из него он сделал
 Достойного для дочери супруга.
 Так и сбылось.

 Д о н Э н р и к е.

 Г о р ю о т л ю б о м ы т с т в а.

 А л и.

Они росли, встречались и любовь
 Их сблизила, — но грянула гроза.
 Вы помните, как гром ударил с неба
 И порашил Альгамбрские твердыни,
 И как дома знатнейшие Гренады
 Восприняли религию креста.
 Вы знаете, что няня-христианка
 Сумела сердце кроткое Зюлеймы
 Привлечь к Христу, и что Зюлейма вскоре

Спасителя признала перед всеми,
 И, восприняв крещения благодать,
 Как христианка, Кларой нареклась.
 Я тот же путь избрал, влеченью сердца
 Последовав и дочери примеру.
 Не сомневался я, что старый друг
 Рассудит и поступит точно так же.
 Но горе мне! Слепой слуга Ислама,
 Он принял эту весть с холодным гневом
 И отвечал, что ненавидит он
 Врагов Аллаха, как своих врагов,
 Что не желает видеть никогда
 Он дочери-отступницы в лицо,
 Что он страну змеиную покинет,
 И что питомца, сына моего,
 Он в жертву принесет Аллаха гневу,
 Чтоб искупить родителя вину.
 Безумец слово страшное сдержал.
 Я в замок поспешил к нему, но тщетно:
 Он скрылся вместе со своей добычей.
 Мне сына больше не пришлось увидеть;
 Купцы, прибыв недавно из Марокко,
 Сказали мне, что нет его в живых.

Дон Энрике (*с притворным состраданием*).
 Ужасно, право! Страшно я взволнован!
 Все сердце кровью облилось! Но вы
 Ему не захотели отомстить?
 Ведь все-таки осталась дочь злодея
 У вас в руках? Как поступили вы?

Али (*гордо*).

Синьор, я поступил, как христианин.

Уходит.

Дон Энрике (*один*).

Сказать о том Диего? Да, скажу.
 Пусть видит, что не знает он всего.
 Он дураком меня считает. Пусть!
 Теперь посмотрим, кто из нас умней.

Вновь начинается музыка танцев.

Довольно. Я иные слышу звуки,
Я слишком долго ждать заставил донью.

Уходит.

Ночь. Перед замком Али. Окна освещены. Веселая музыка танцев. Альмансор стоит в задумчивости. Музыка умолкает.

Альмансор.

Да, музыка прекрасная. Но грустно,
Что стоит только зазвенеть цимбалам —
И сердце жалят сотни скорпионов;
При мягких и протяжных звуках скрипок
Вонзается мне в сердце острый меч;
Заслышу я победных труб раскаты,
И тело все охватывает дрожь;
Когда ж, гремя, литавры загрохочут,
Мне молоты раскалывают мозг.
Что общего меж мной и этим домом?

Указывает на замок и на грудь.

Веселье там и звуки арф певучих;
Здесь — только боль с ее змеиным жалом.
Там — светлый день и лампы золотые,
Здесь — ночь с ее раздумьем тяжким, черным.
Там — милая, прекрасная Зюлейма.

Задумывается, потом показывает на грудь.

Есть общее — Зюлейма также здесь.
Душа Зюлеймы — в этом тесном доме,
В пурпурно-красных комнатках, и с сердцем
Играет в мяч, или бренчит на струнах
Моей певучей грусти, как на арфе,
И свитою мои ей служат вздохи, —
И бодрствует на страже у ворот,
Как черный евнух, черное унынье.

Указывает на замок.

А та, что в светлом зале наверху
Расхаживает в царственном наряде

И шлет привет головкою кудрявой
 Мошеннику в шелках, что к ней склонился, —
 Она лишь тень бесплотная Зюлеймы,
 Лишь кукла со стеклянными глазами
 На восковом, безжизненном лице,
 Которая под действием пружин
 Пустую грудь поднимет и опустит.

Трубные звуки.

Увы! Подходит шелковый мошенник
 И приглашает куклу танцовать.
 Стеклянный глаз приветливо оверкает!
 На милом восковом лице улыбка!
 Пружинная приподнялася грудь!
 Мошенник грубо трогает руками
 Искусственную, хрупкую игрушку...

Шумная музыка.

Он нагло обхватил ее, влечет
 С собой, в толпу неистовых танцоров!
 Стой! Стой! Вы, демоны моих страданий,
 Отторгните мошенника от милой!
 Разьте, громы гнева моего!
 Обрушьте на злодея, стены замка,
 И раздробите голову ему!

Пауза. Музыка тише.

Попрежнему недвижны эти стены;
 О плиты их моя разбилась ярость.
 Вы сложены так крепко, прочно, стены,
 Но слабая у вас, плохая память!
 Альмансор я, и был любимцем Али,
 Сидел почасту на его коленях,
 И говорил мне Али «милый сын»,
 И гладил ласково по голове, —
 И вот, как нищий, я стою у входа.

*Музыка смолкла. В замке слышны смутный говор
 и смех.*

Они смеются. Посмеюсь и я!

Стучится в дверь.

Откройте дверь. Ночлега просит странник!

Двери замка отворяются. Появляется Педрильо с подсвечником; он останавливается в дверях.

Педрильо.

Клянусь Пилатом! Вы стучите крепко;
На бал вы опоздали, кончен он.

Альмансор.

Я не на бал. Нуждаюсь я в приюте;
Устал с дороги дальней; ночь темна.

Педрильо.

Клянусь пророка бороною, то есть
Клянусь Елизаветою святою...
Не принимают больше здесь. Но близко
Отсюда дом, гостиницей зовется.

Альмансор.

Здесь не живет уж, значит, добрый Алл,
Коль странникам отказывают в крове.

Педрильо.

Клянуся Яго де... де Компостелла!
Приходит дон Гонзалво в сильный гнев,
Когда его по-старому зовут.
Одна Зюлейма...

Хлопает себя по лбу.

То есть донья Клара,
Так смеет звать его. И Али часто
Ей по ошибке говорит «Зюлейма».
И я теперь уж больше не Гамама, —
Педрильо я; так назывался в детстве
Апостол Петр, а старая кухарка,
Теперь уж не Габаба — Петронелла,
Так звали в древности жену Петра;
А старое гостеприимство — вздор,
Языческий обычай устаревший,
И не по нраву добрым христианам.
Спокойной ночи. Посвечу гостям,
Иные очень далеко живут.

Возвращается в замок и захлопывает двери. В замке движение.

Альмансор (один).

Вернись, о странник, здесь уж не живут
 Ни добрый Али, ни гостеприимство;
 Вернись, о мусульманин, вера предков
 Покинула давно уж этот дом;
 Вернись, Альмансор, старую любовь
 С презрением отвергли, посмеявшись
 Над жалобным ее, предсмертным стоном.
 Все изменилось — имена и люди;
 И ненавистью нареклась любовь.
 Выходят, слышу, гости дорогие,
 И я смиренно уступаю путь.

Уходит.

*Двери замка раскрываются; сутолока и смутный говор.
 Слуги с факелами вперед.*

Голос Али.

Нет, нет, синьор, нельзя, не допущу.

Другой голос.

Но эта ночь так хороша, светла,
 Невдалеке и лошади и мулы,
 И мягкие носилки нежным дамам.

Третий голос (успокаивающе).

Ведь здесь совсем недалеко, синьора;
 Для ваших пожек путь не так велик.

*Дамы, рыцари, слуги с факелами, музыканты и пр. вы-
 ходят из замка. Каждую из дам сопровождает рыцарь.*

Первый рыцарь.

Вы поняли намек его, синьора?

Дама (улыбаясь).

О, как вы злы сегодня, дон Антонио.

Проходят.

Другая дама (горячо).

Нет, слишком все же вычурно шитье,
 И что-то мабританское в покрое.

Ее рыцарь (с деланной серьезностью).

А что же бедной девушке поделаты
С таким запасом мавританских платьев?

Дама.

На что же маскарады, злой насмешник?

Проходят.

Двое рыцарей идут под руку.

Первый.

Заметно недоволен был старик,
Когда предстал слуга, скрестивши руки,
И доложил о неладах на кухне

Второй (насмешливо).

Нет, это что! Как закусил он губы,
Когда дон Карлос стал хвалить скинину
И на пророка в шутку нападать
За то, что это блюдо запретил он.

Первый (добродушно).

Сболтнул кутила старый, видно, с дуру,
Вино с жарким рассудок помutilи.

Второй (хитро подмигивая, в сторону).

Нередко дурь живет в ладу со злостью.

Проходят.

Два других рыцаря подходят, разговаривая.

Первый рыцарь (осторожно озираясь).

Из мавров-христиан лишь мы с тобою
У Али были, и когда дон Карлос...

Второй рыцарь.

Да, дрогнули черты его от боли,
На нас взглянул он — как узнать, кто друг!

Медленно проходят.

Музыканты идут, настраивая инструменты.

Молодой скрипач.

Струна опять сегодня порвалась.

Старик.

Да, да, а в голове-то не порвется;
В мозгу ты не натягиваешь струн
И глухие вопросы задаешь.

Молодой скрипач (*льстиво*).

В последний раз! Ведь ум-то у тебя
Тончайший — словно волосок смычка;
Ведь ты у нас бесспорно самый умный,
Ты среди нас, как контрабас среди скрипок, —
Зато же и сердит, как контрабас, —
Скажи мне, почему сорвался с места
И нас испуганно остановил
Хозяин наш, когда играть мы стали
Веселый мавританский танец — замбру,
И почему он приказал сыграть
Взамен его испанское фанданго?

Старик (*с самодовольной хитростью*).

Эге! Я знаю, только не скажу:
Политикой попахивает тут.

Проходят.

Из замка доносится голос дон Энрике.

Дон Энрике.

Мне факельщика одного довольно,
Осел Диего будет мне светить.

Нежно.

А впереди две звездочки зажгутся
Приветливые — очи доньи Клары!

Смутный говор. Двери закрываются. Появляются дон Энрике и дон Диего; последний в одежде слуги с факелом.

Дон Диего.

Теперь мы можем поменяться ролюю,
Теперь уж вы — слуга мой и осел.

Дон Энрике (*берет факел*).

Старался я, как мог. Не придирайтесь.

Дон Диего (*величественно*).

По чести, вы другим мне показались,
Совсем другим, когда знакомство с вами
Я свел в тюрьме Пуэнте дель Саурро.

Дон Энрике (*успокаивающе*).

Не гневайтесь, я верный ваш питомец.

Дон Диего.

Нет, мой питомец должен поискусней
Располагать к себе синьор богатых:
Сравнили вы со звездочками очи, —
Такую прелесть вам сравнить бы с солнцем!
Внимательней поэтов изучайте
И смажьте хорошенько свой язык,
Ведь он у вас ко рту прилип как будто,
Когда вы молча с Кларою сидели.

Дон Энрике (*тая*).

Я восхищался белоснежной ручкой!

Дон Диего (*громко смеется*).

Коль блеск перстней бриллиантовых прельстил вас,
Сковал язык и ослепил глаза,
Готов простить я ваше онеменье.

Медленно, с иронией.

Ее рука вас приведет в восторг,
Когда старик ее позолотит.
Я разделю тогда восторг ваш с вами,
Из золота восторг, блестящий, звонкий!

И вам предоставляю — любоваться
 Широю сладкой пальцев белоснежных,
 И пышною упругостью фигуры,
 И голубыми жилками под кожей!

Д о н Э н р и к е (обидчиво).

Без шуток! Добиваюсь я богатства,
 Но, признаюсь, и красотой пленен.

Д о н Д и е г о .

Избави бог разрыть копну навоза!
 Разрой ее — так амброй не запахнет.
 Люби не изнутри, а лишь снаружи!
 В делах любви плохой союзник — чувство,
 Полезней слово, мимика, подвижность.
 А если не помогут и они,
 Помогут нарумяненные щеки,
 Искусственные икры из Мадрида,
 Тугой корсет и накладная грудь —
 Оружье из портновских арсеналов;
 А если нет, то уж помогут верно
 Ножи, отмычки...

Смoтрит на него с холодной улыбкой.

Помните, синьор,
 Подделанные мною документы —
 Старинный шрифт и бледные чернила —
 Те, будто бы потерянные письма,
 В которых дон Гонзальво прочитал...

Смеется.

Лишь мне, синьор, обязаны вы честью
 Считаться принцем; будьте же разумны
 И говорите так, как я учил;
 Толкуйте о религии, морали,
 Следы кнута показывайте чаще
 Тюремного; зовите их рубцами,
 Которые получены в борьбе
 За дело правды; к мужеству зывайте,
 А главное, бородку завивайте.

Д о н Э н р и к е.

Синьор, я преклоняюсь перед вами,
Но не возьму я в толк, каким манером
Пспа втянуть вам в дело удалось?

Д о н Д и е г о.

И у попов есть ремесло на свете;
Но у святых отцов — святые цели,
Им нужно золото для чаш церковных
И вина разные, чтоб их наполнить.
Заметили, как передернул я?
Я ловко сдал, вам нужно козырнуть
По даме — сердцем, а по королю,
По-старому, конечно, уж — крестом.
И ваши карты выиграли, и завтра
Я принесу вам свадебный привет.

Д о н Э н р и к е (*набожно смотрит в небо*).
Отец всевышний мой! Благодарю!

Д о н Д и е г о.

Да, он всевышний, он в Сан-Сальвадоре
На виселице вздернут высоко.

Уходят.

Альмансор выходит.

А л ь м а н с о р.

Рассеялись нетопыри и совы,
Вся стая пестрая. Их хриплый крик
Мой слух наполнил жутким содроганьем,
Дыхание мое остановил.
И ты, Зюлейма, в этой черной стае?
Средь воронья ты, белая голубка?
Червями роза дивная покрыта?
Неужто ты во власти чар, Зюлейма?
Альмансора тоскующего образ
В душе твоей рассеялся бесследно?
И о любви его воспоминанье
В груди не возникает с нежным вздохом?

Там, наверху, блещут любви посланцы.
 Я тысячи к ним посылал приветов,
 И сладостно моя точилась кровь
 Из тысячи любовных ран сердечных.
 И ни один посланец не доставил
 Моей любимой от меня привет!
 Стыдитесь же, неверные посланцы,
 Вы так умно мигаете нам сверху
 И хвалитесь, что судьбы вам подвластны!
 Моих вы не доставили приветов,
 А голуби приносят неизменно
 Слова любви от пастухов пустыни!
 Давно уж улеглась в постели челядь,
 Заботливо погашены огни,
 И лишь единственный горит в окне;
 Оно знакомо мне: там спит Зюлейма.
 Под ним, что ночь, стоял я дивным летом.
 Играл на лютне, и моя подруга
 С улыбкой выходила на балкон.

Вынимает лютню.

Вот лютня старая. Ее напевы
 Еще звучат в душе; я испытаю,
 Подействует ли власть старинных чар.

Играет и поет.

Блещут звезды голубые,
 Озаряя землю светом,
 И цветочки полевые
 Смотрят с радостным приветом.

Месяц с неба вниз глядится
 В воды темные потока,
 И любовью он томится,
 Погружаясь в них глубоко.

Голубки воркуют жарко
 В душном зное ночи юга,
 И, поблескивая ярко,
 К светлячку летит подруга.

Ветерочек налетает,
Шелестит, резвясь, листвою,
Поцелуи посылает,
Грезой зыблется ночьюю.

Ждут цветы, поток струится,
Вот звезда с небес скатилась,
Все смеется, веселится,
Все любовью озарилось.

Г о л о с З ю л е й м ы (из замка).

Не сон ли то меня чарует грезой
И навевает позабытый звук?
Не дух ли зла, чтоб обольстить меня,
Поет ту песню голосом любимым?
Не мертвый ли Альмансор здесь блуждает
И призраком является в ночи?

А л ь м а н с о р .

Нет, то не сон тебя чарует грезой,
Не злобный дух готовит обольщенье,
И не Альмансор мертвый здесь блуждает —
Нет, это сам Альмансор, сын Абдуллы.
Он возвратился и хранит, как прежде,
В живой груди любовь к тебе живую.

З ю л е й м а со свечкою выходит на балкон.

З ю л е й м а .

Привет тебе, Альмансор бен-Абдулла,
Привет тебе, восставший из могилы!
Была нам весть печальная: погиб
Альмансор — и глаза Зюлеймы стали
Источниками слез неосушимых.

А л ь м а н с о р .

О звезды светлые, глаза-фиалки!
Вы и тогда мне верными остались,
Когда душа Зюлеймы изменила.

З ю л е й м а .

Глаза — души светящиеся окна,
И слезы — кровь прозрачная души.

А л ь м а н с о р .

Коль кровь сочилась из души слезами,
 Когда отца и мать похоронил я,
 То истечет душа и вовсе кровью
 Здесь, над могилою любви Зюлеймы.

З ю л е й м а .

О, горькие слова, и горше — весть!
 Вы тяжко грудь терзаете мою,
 Душа Зюлеймы истекает кровью.

Плачет.

А л ь м а н с о р .

О, нет, не плачь! Не плачь! Смолой кипящей
 На сердце слезы падают твои.
 Тебя уж я не огорчу отныне!
 В тебе святыню сердцем буду чтить,
 Вблизи которой нет кровавой мести,
 И острие ломается кинжала,
 Вблизи которой голубь и газель
 Защищены от смертоносных стрел,
 Вблизи которой хищник беспощадный
 Молитвенно свои скрещает руки.
 Ты для меня священная Кааба,
 Тебя лобзал я, жаркими устами
 Священный камень Мекки лобызая, —
 Ты и сладка, и холодна, как он!

З ю л е й м а .

Когда во мне ты чтить свою святыню,
 То облом кинжал своих речей;
 Держи в колчане яростные стрелы,
 Которые пронзают больно сердце;
 И рук не прижимай, как на молитве,
 Чтоб тем верней похитить мой покой.
 Я ранена и так ужасной вестью
 О смерти бен-Абдуллы и Фатимы;
 Обоих я любила, как родных,
 И дочь Зюлейму оба звали!
 О, расскажи, как умерла Фатима?

А л ь м а н с о р .

Безмолвно мать покоилась на ложе,
 И слева плакал, преклонив колени.
 Стоял Абдулла справа, недвижим,
 И ангел смерти с пальмовою ветвью
 Уже витал над ложем наяву.
 И не хотел со смертью примириться
 И в страхе руку матери схватил.
 Но, как песок в часах течет все тише,
 Так замедлялся жизни ток в руке.
 В лице ее сменялись непрестанно
 Боль и улыбка, и, когда я тихо
 Склонился к ней, промолвила она,
 Вздыхнув глубоко: «Поцелуй Зюлейму».
 При этом слове застонал Абдулла,
 Как стонет насмерть пораженный зверь.
 Умолкла мать и лишь в руке холодной
 Мою держала руку в знак обета.

З ю л е й м а .

О мать моя, Фатима, до конца
 Любила ты несчастное дитя!
 Но ненависть Абдулла сохранил,
 Сходя в свой темный и глубокий дом.

А л ь м а н с о р .

Он не унес ее с собой. Хотя
 При случае, когда он слышал имя
 «Зюлейма» или «Али», то в груди
 Рождалась буря, собирались тучи
 Вокруг чела, глаза его сверкали,
 И он проклятье дико извергал.
 Но как-то раз, волнением разбитый,
 Отец упал и погрузился в сон.
 Я ожидал, пока отец проснется.
 Я поразился! Он ресницы поднял,
 И отразились у него во взоре
 Не гнев, а только нежность и участие;
 Веселая улыбка заиграла
 Вкруг уст его, взамен безумной скорби;
 И вместо прежних яростных проклятий
 Он тихим, кротким голосом сказал:

«Так хочет мать, я изменить не в силах,
А потому сядь на корабль, мой сын,
И возвратись в Испанию, поди
В дом Али, разыщи мою Зюлейму,
И ей скажи» —

Но бледный ангел смерти
Пресек своим пылающим мечом
Абдуллы жизнь, а с ней и речь Абдуллы.

Пауза.

Я схоронил его, но положил
Лицом не к Мекке, как велит Коран;
Я положил покойника лицом
К Гренаде — так, как он хотел при жизни.
Там он лежит с раскрытыми глазами
И смотрит вслед мне.

Медленно оборачивается назад.

О, отец покойный,
Ты видел, как я брел песком пустыни,
Ты видел, как я плыл к земле испанской,
Ты видел, как спешил я к замку Али,
И видишь здесь меня.

Я здесь, с Зюлеймой.
Открой мне, дух Абдуллы, что сказать?

Появляется тень в черном плаще.

Тень.

Ты ей скажи: «Сойди, сойди, Зюлейма,
Покинь покой мраморные замка
И на коня с Альмансором садись.
В стране, где тени пальм дают прохладу,
Где от земли струятся ароматы,
И с песнею пастух пасет овец,
Там есть шатер роскошный, полотняный,
Там есть газели с умными глазами,
И кроткие верблюды с длинной шеей,
И девушки там черные в венках
Стоят у разукрашенной палатки
И ждут свою царицу; — о, Зюлейма,
Туда, туда с Альмансором беги!»

Сад перед замком Али, весь в цветах, освещенный утренним солнцем. Зюлейма распростерлась с молитвою перед распятием. Она медленно встает.

Зюлейма.

И все же грудь заботой стеснена!
Трепещет сердце. Или это радость,
Что жив, кого оплакивала я?
Не радость, нет, ее не совместить
С моей священной клятвою, с обетом,
Который я духовнику дала.
Альмансор возвратился. Но, когда
Отец узнает, разразится гнев
Над сыном смертного врага. Обиды
Он не забыл. Еще гнездятся в сердце
Те демоны, что ярость возбуждают,
Когда Абдуллы имя слышит он.
В чем виноват Абдулла? Мой родитель
Всегда так кроток. Замечала я:
Он по ночам по замку часто бродит
И все зовет: «Абдулла, выходи
Со мной сразиться, кровь за кровь» — Альмансор!
Не попадайся на глаза, беги!
Вражда отцов приносит детям смерть.
Я на тебя накину покрывало,
Чтоб взор отца не встретился с тобой.
Тебе грозит опасность, и проснулись
Те чувства, что меня так волновали,
Когда играли мы, жених с невестой,
И ты на ветви яблони взбирался,
А я тебя просила со слезами,
Чтоб ты спустился с страшной высоты.

Задумавшись.

«Альмансор мертв», сказали злые люди.
Поверило злой вести злое сердце,
И стала я невестою другого!
Тебя любить я буду так, как брата, —
Будь братом мне, мой дорогой Альмансор!

*Погупляет взор и со вздохом произносит «Альмансор»
Альмансор между тем появился незаметно, он при-*

ближается к Зюлейме, кладет ей руки на плечи и, улыбаясь, произносит со вздохом, как и она: «Зюлейма».

Зюлейма (испуганно оглядывается и долго смотрит на него).

Ты сильно изменился, мой Альмансор.
Ты стал мужчиной взрослым, но привычки
Ребяческой доньне не оставил.
Попрежнему пугаешь ты меня,
Когда я разговор веду с цветами.

Альмансор (с веселой улыбкой).

Какой цветок, скажи мне, дорогая,
«Альмансором» зовется? Это имя
Подходит только к мрачному цветку!

Зюлейма.

Скажи сначала, друг унылый, хмурый,
Какая тень являлась к нам в ночи?

Альмансор.

То старый друг, он и тебе знаком,
То был старик Гассан, который ходит,
Как верный пес, за мною по пятам.
Оставь, мой милый друг, свою суровость
И сбрось покров, что омрачает взоры.
Как мотылек личинку отряхает
И расправляет радужные крылья,
Так и земля покров стряхнула черный,
В который мрак ночной ее укутал.
Склоняясь к ней, ее целует солнце,
В лесу зеленом песня раздается,
Учей шумит и рассыпает жемчуг,
Роса кропит цветы слезами счастья,
Как будто свет дневной — волшебный жезл,
Что, пробудив цветы и песни, даже
В душе Альмансора рассеял мрак.

Зюлейма.

Не верь цветам, что ласково кивают,
Не верь и песням, что звучат так нежно,
Дни тебя к гибели зовут.

Альмансор.

Не отступлю, и смерти не боюсь.
 Так хорошо мне, так отрадно здесь!
 Проснулись золотые грезы детства!
 Вот сад, где было сладко мне играть,
 Я узнаю цветы, что мне кивали,
 И чиж поет, как прежде по утрам, —
 Но где же мирт, скажи мне, дорогая?
 Где он стоял, там ныне кипарисы.

Зюлейма.

Погиб тот мирт, и на его могиле
 В саду посажен кипарис печальный.

Альмансор.

Еще стоит беседка из жасминов,
 Где мы с тобой рассказывали сказки
 Про Лейлы страсть и Мэдшнуна безумье,
 Про их любовь взаимную и смерть.
 И фиговое дерево стоит,
 Его плоды за сказки ты дарила;
 И виноград, как прежде, здесь, и дыни, —
 Мы освежались ими, наболтавшись;
 Но где гранат, скажи мне, дорогая,
 На нем сидел когда-то соловей
 И изливался страстью к красной розе.

Зюлейма.

С той розы ветер лепестки сорвал,
 И соловей с своею песней умер,
 И топором срубили стройный ствол
 Цветущего, прекрасного граната.

Альмансор.

Здесь хорошо! Так твердо я стою
 На этой почве, будто к ней прикован;
 Я неподвижен в этом нежном круге,
 Которым обвела меня ты, фея;
 Здесь веет ароматами бальзама,
 Здесь говорят цветы, поют деревья,
 Знакомые картины воскресают.

Увидев распятие, изумляется.

Но, что за чуждый образ там, скажи?
Он смотрит кротко так и так печально,
И горькая слеза катится в чашу
Покоя и блаженства моего.

З ю л е й м а.

Тебе неведом лик святой, Альмансор?
В блаженных снах тебе он не являлся?
Ты на путях своих его не встретил?
Опомнись поскорей, мой брат заблудший!

А л ь м а н с о р.

Да, этот образ на пути я встретил
В тот день, когда в Испанию вернулся.
Там, по дороге к Хересу, стоит
Роскошная, чудесная мечеть.
И там, где с башни муэдзин взывал:
«Аллах — единый бог и Магомет
Пророк его!» — там колокольный звон
Услышал я, густой, протяжный, гулкий.
Из врат ко мне, как темная река,
Неслись могучие органа звуки,
Взлетая ввысь и бурно клокоча,
Как будто бы смола в котле волшебном.
И, как руками длинными, меня
Те звуки в дом насильно увлекли,
И грудь мою обвили, словно змеи,
И больно в сердце жалили меня,
Как будто Кафф сдавил меня собою
И клюв Симурга сердце мне терзал.
И в доме том, как похоронный гимн,
Звучало пенье странных незнакомцев,
На вид суровых, с бритой головою,
В цветных одеждах; отроки, то в белом,
То в красном платье, вторили им звонко,
Порою в колокольчики звонили,
И ладаном кадили благовонным.
И тысячи свечей сиянье лили
На этот блеск, на эту позолоту.
Куда бы взор очей ни проникал,
Повсюду, в каждой нише, он встречался
С тем образом, что вижу здесь опять.

Но бледен был и полон тяжкой скорби
 Страдальца лик, глядевший с тех картин.
 То сыпался на тело град ударов,
 То падал он под бременем креста,
 То на него с презрением плевали
 Или венчали тернием чело,
 То распинали на кресте и острым
 Копьем пронзали ребра — кровь, кровь, кровь
 Лилась повсюду. Видел я еще
 Печальную жену, она в руках
 Держала тело мертвое страдальца,
 Поблекшее, нагое, в страшных ранах, —
 Тут голос я пронзительный услышал:
 «Се кровь его» — и, оглинувшись, вижу —

(содрогаясь)

Из чаши пьет какой-то человек.

Пауза.

Зюлейма.

Ты в храм любви вступил тогда, Альмансор,
 Но слепотою омрачились очи.
 Ты не нашел в нем светлого приволья,
 Что красит так языческие храмы,
 И чужд ему тот будничнй уют,
 Что свойственен мечетям мусульманским.
 Иной приют, суровее и чище,
 Любовь себе в сем мире избрала.
 Ребенок взрослым делается там,
 И взрослые становятся, как дети;
 Богатство обретает в нем бедняк,
 И в нищете богатч блаженство видит;
 В нем радость претворяется в печаль,
 Уныние сменяется восторгом.
 Сама любовь на землю к нам сошла,
 Как скорбный образ нищего дитяти.
 Ей ложем ясли тесные служили,
 Солома изголовьем ей был;
 Она была гонима, словно лань,
 Ученостью и глупостью людскою.
 И продана была любовь за деньги,

И преарели, и распяли ее, —
 Но от ее семи предсмертных вздохов
 Раскрылись семь замков железных, — их
 Сам сатана привесил к райской двери, —
 И, точно семь отверстых ран любви,
 И семь небес отверзались чередою
 И приняли и праведных, и грешных.
 Ты зрел любовь, как хладный труп в объятьях
 Жены печальной на святой картине.
 О, верь, весь род людской согреться может
 Близ этого безжизненного тела;
 Из крови той выросли цветы, чудесней,
 Чем все цветы в садах у Аль-Рашида;
 О, верь, что из очей жены печальной
 Струится сладкий розовый елей,
 Душистее, чем все Шираза розы.
 И ты вкусишь, Альмансор бен-Абдулла,
 От вечной плоти и от вечной крови,
 Ты с ангелами в трапезе участник,
 Ты причастишься и вина, и хлеба,
 И для тебя открыт чертог блаженства,
 И от могучих козней сатаны
 Твоя защита — Иисус Христос,
 Коль ты вкусишь от «хлеба и вина».

А л ь м а н с о р .

Ты слово дивное произнесла,
 Оно творит миры, миры объемлет,
 И это слово дивное — «любовь!» —
 Ликуя, вторят ангелы тебе,
 И небеса созвучным эхом вторят.
 Ты слово молвила — и облака
 Сгрудились, словно купол над собором.
 И вязы зашумели, как орган,
 И песни птиц — как тихая молитва,
 И от земли струится благовонье,
 И луг в цветах стал божьим алтарем,
 И вся земля — как храм любви единой.

З ю л е й м а .

Великая Голгофа — вся земля,
 Любовь царит, но истекает кровью,

А л ь м а н с о р .

О, не вплетай в венец надгробный мирт,
 Любви не облакай покровом черным.
 Любви ты жрица на земле, Зюлейма,
 Сама любовь живет в груди твоей,
 Из светлых окон глаз твоих глядит;
 От нежных уст ее дыханьем веет; —
 На вас, пурпурно-розовые губы,
 На вас любовь воздвигла царский трон,
 Вы для души моей приют отрадный; —
 Что молвила Фатима, умирая:
 «Мой поцелуй отдай моей Зюлейме».

Они долго и скорбно смотрят друг на друга. Торжественно обмениваются поцелуем.

З ю л е й м а .

То был предсмертный поцелуй Фатимы,
 Прими же поцелуй живой Христа.

А л ь м а н с о р .

Любви впитал я дивный аромат
 Из чаши уст рубиновых твоих.
 Я прикоснулся к пламенной струе,
 Мне сладостный бальзам наполнил жилы,
 И сердце освежил и опалил.

Обнимает ее.

Нет, не покину я тебя, Зюлейма!
 Пусть золотой чертог Аллах раскроет
 И гурии манят меня очами,
 Я буду тверд, останусь я с тобою
 И крепче стан твой нежный обниму.
 Отныне только небеса Зюлеймы —
 Альмансора приют, Зюлеймы бог —
 Альмансора господь, Зюлеймы крест —
 Альмансору защита, твой Христос —
 Альмансора спаситель, и молиться
 Я буду там, где молится Зюлейма.
 В волнах любви я плаваю блаженно,
 И звуки дивных арф мой нежат слух.

Деревья водят странный хоровод,
 И ангелы в меня лучами мечут
 И осыпают пылью от цветов.
 Отверзались небеса в сияньи славы.
 И я несусь на крыльях золотых
 К блаженству вечному!..

*Издали доносятся колокольный перезвон и церковное
 пение.*

З ю л е й м а (в испуге отворачивается).

Иисус — Мария!

А л ь м а н с о р .

Кто разорвал покровы золотые,
 Что мне соткали радостные грезы?
 Любимая, ты побледнела вдруг,
 И стала роза лилии белее, —
 Скажи, не смерть ли увидала ты,
 Которая нас разлучить явилась?

З ю л е й м а .

Смерть не разлучит, смерть соединит нас,
 И только жизнь разлукой нам грозит.
 Ты слышишь колокольный звон, Альмансор?
 Вещает он:

(прикрывает лицо)

«Зюлейма в брак вступает,
 Но не Альмансор мужем будет ей».

Пауза.

А л ь м а н с о р .

Так, значит, самый страшный яд влила
 Ты в сердце мне, царица страшных змей!
 Его пары мертвяг цветов дыханье,
 Окрасилась вода фонтана в кровь,
 И падают отравленные птицы.
 Ты вовлекла меня напевом льстивым
 В застенки тот что церковью зовется
 И прыгвоздила к своему кресту.
 Ты в колокол звонишь теперь усердно,
 Игрой органа заглушить ты хочешь

Раскаянье мое, мольбы к Аллаху!
 Меня ты, злая фея, заманила
 В жемчужную коляску с голубками
 И к облакам взнесла меня высоко,
 Чтобы оттуда вниз внезапно сбросить.
 Я падаю, я смех твой слышу громкий.
 И вижу, что волшебная коляска
 Вся в пламени и превратилась в гроб,
 Что голубки в драконов обратились,
 Что правишь ты змеинными вожжами —
 И я лечу, проклятье изрыгая,
 Все ниже, ниже — прямо в бездну ада,
 И дьяволы бледнеют от испуга,
 Проклятиям моим безумным внемля.
 Прочь! Прочь отсюда! Знаю я проклятье
 Ужасней всех, сам Эблис побледнеет,
 И солнце вспять в испуге обратится,
 И мертвецы поднимутся из гроба,
 И станут камнем зверь и человек.

Убегает.

Зюлейма, которая стояла неподвижно, с прикрытыми руками лицом, простирается перед распятием. Слышно церковное пение; проходит процессия монахов с хоругвями и иконами.

ЛЕС.

Хор.

Испания — большой, прекрасный сад.
 В нем дивные деревья распустились,
 Плоды, цветы; — но мавров города
 Цветы пышнее в их великолепьи,
 Когда своею мощною рукою
 Их насадил в земле испанской Тарик.
 Возвысилась держава их, росла
 И расцвела в величьи громких дел,
 И светом славы вскоре превзошла
 Отчизны древней почести и блеск.
 Когда бежал последний Омайяд
 От трапезы ужасной Абассида,

Который завалил, смеясь, столы
Кровавыми телами Омайадов;
Когда, затем, в Испанию он спасся,
Собрав всех мавров, верность сохранивших
Последней ветви царственного дома, —
Вражда возникла ярая меж ними
И братьями по вере на Востоке;
Нить порвалась, что от земли испанской
Шла по морю до самого Дамаска,
Кончаясь там, где был калифов трон;
И в раззолоченных дворцах Кордовы
Повеял дух и чище и живей,
Чем тот, что был в гаремах на Востоке.
И письмена на стенах заменились
Картинами, где в светлом сочетаньи
И звери и цеты являлись взору;
Где тамбурин с цимбалами бренчали.
Там раздались напевы под гитару,
И зазвучали страстные романсы;
И где владыки мрачный, строгий взор
На ложе звал рабыню, там жена
Явилась с поднятою головою
И нежною рукой смирила грубость
Обычаев суровых мавританских,
И расцвело прекрасное в прекрасном.
Искусство, знанье, слава и любовь
Взрасли тогда, лелеемые пышно
Абдерраимов царственной рукой.
Из Византии стали прибывать
Ученые и привозили свитки;
И мудрость их дала плодов избыток;
Тогда в Кордову начали стекаться
Из разных стран толпой ученики,
Чтоб наблюдать течение светил
И разрешать загадки этой жизни.
Кордова пала, и на смену ей
В величии Гренада вознеслась.
Еще поется в песнях до сих пор
О рыцарях Гренады благородных,
О чести их, о их великодушьи,
О том, как билось у красавиц сердце,
Когда те рыцари вступали в бой.

Но наступил иной, кровавый бой,
 И пала светозарная Гренада,
 И победитель, чести бранной чуждый,
 Коварно слову изменил, которым
 Свободу веры маврам обещал,
 И побежденным предоставил выбор
 Испанию для Африки покинуть.
 Иль веру христианскую принять.
 Крестился Али. Он не захотел
 Вернуться снова в дикую страну.
 Его влекли искусство, красота,
 Наука, здесь расцветшие так пышно.
 Он о судьбе заботился Зюлеймы,
 Которая могла увянуть вскоре
 В покоях тесных душного гарема.
 Его влекла любовь к отчизне милой,
 К Испании прекрасной и цветущей.
 Но более всего его влекло
 Чудесное виденье, дивный сон,
 В котором вихрь и буря, стонет ветер,
 Звенит оружие и несется клич:
 «Квируга и Риэго!» — клич безумный! —
 Струится кровь ручьями, и темницы
 И замки угнетателей — в дыму
 И в пламени, и восстает в дыму
 И в пламени глагол святой, извечный,
 Сиянье благодати излучая.

Удаляется.

Альмансор появляется в задумчивости.

Альмансор (холодно и вяло).

В старинных сказках — замки золотые,
 Под звуки арф красавицы там пляшут,
 Блестят одежды праздничные слуг,
 Благоухают розы и жасмины.
 Но стоит слово вымолвить одно,
 И в миг исчезнет все очарованье,
 Останутся развалины в пыли,
 И карканье болотных птиц в трясине.
 Так я одним своим, единым словом
 Цветущий мир расколдовал в мгновение.

Недвижим он, я холоден, и вил.
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян
И в руки вложен скипетр величавый,
Но губы вянут блеклой желтизной —
Забыли их, как щеки, нарумянить,
И мышцы нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь...
Не наша ль кровь слепит порой нам очи
И розовым сияньем озаряет,
И красит так чудесно листья розы,
Ланиты дев и облака над нами,
И прочий вздор, что нас в восторг приводит?
Но вот я снял волшебные очки —
И что за скверный мир передо мной!
Фальшивят птицы, и крихтят деревья,
Как древние старухи; не лучи
Льет солнце с неба, а одни лишь тени;
Бесстыжие фиалки, как блудницы;
Тюльпаны и гвоздики, и левком
Наряд воскресный, пестрый снимали
И облеклись в заштопанные платья.
Во мне всего заметней перемена:
Девичий нрав, и тот не так изменчив!
Я превратился в костяной скелет;
Мои слова — порыв холодный ветра,
Что дребезжит по ребрам обнаженным.
Бесследно сгинул, выселился умник
Из головы, и в черепе моем
Паук спокойно тянет паутину.
И плачу я лишь внутренно: во сне
Глаза мои украдены, взамен
Мне вставили пылающие угли.

Ты, ангел, о котором говорила
Мне няня встарь, что будто счет ведешь ты
Слезам, которые ронял Альмансор,
Ты отдохнешь теперь. Тяжел был труд,
Твой каждодневный труд, мой бедный счетчик, —
Не просчитался ль ты? И как ты мог
Запомнить наизусть такие числа?
Ты утомился, да и я устал.

Устало сердце биться непрерывно.
Мы отдохнем.

Ложится под каштановым деревом.

Я очень утомлен,
Я очень болен, более, чем болен!
Ведь наша жизнь болезней всех страшней;
Нас исцелит лишь смерть одна. Она —
Последнее, хоть горькое, лекарство,
И под рукой всегда, и дешева.

Вынимает кинжал.

Лекарство из металла, ты глядишь
С сомнением. Поможешь ли ты мне?

Г а с с а н подходит незаметно.

Г а с с а н.

Аллах тебе поможет!

А л ь м а н с о р (*не замечая его, обращается к кинжалу*).

Что бормочешь?

Ужель нуждаешься ты в остром слове,
Чтобы пронзить измученное сердце?

Г а с с а н.

Все благо, что Аллах творит.

А л ь м а н с о р (*продолжая обращаться к кинжалу*).

Ха, ха!

Кинжал пустился, кажется, в мораль!
Своим молчаньем больше скажешь ты,
Чем моралист своею болтовнею.

Г а с с а н (со вздохом).

Альмансор бен-Абдулла, что ты хочешь?

А л ь м а н с о р (увидев Гассана).

А! Это ты, двуногий умник, ты!
С глазами ты и с бородой Гассана?
Ты — сам Гассан? Вот это хорошо.

С тобою мы расстанемся. Прощай!
Я уйду.

Показывает кинжал.

Вот этот узкий мостик
Ведет из края скорби в край улады.
Пускай при входе в этот край стоит
С мечом в руках гигант, как уголь, черный, —
Он только трусам страшен, а отважный
Пройдет спокойно мимо, в край улады.
Да, там улада истинная, или —
Что все равно — там истинный покой.
Не слышно там докучного жужжанья,
Несносно мошки не щекочут носа,
И яркий свет очей нам не слепит;
Неведомы жара там, стужа, голод
И жажда; что всего важней, там спишь
День напролет и ночью также спишь.

Г а с с а н.

Нет, сын Абдуллы, только малодушный
Страданию противиться не в силах
И кажет тыл, и в ужасе бежит,
Оставив поле битвы; — встань Альмансор!

Альмансор (*поднимает каштан с земли*).
По чьей вине упал каштан на землю?

Г а с с а н.

Червяк волокна подточил каштана,
И вихрем наземь сбросило его.

Альмансор.

Как удержаться может человек,
Плод всех слабей, когда ему червяк

(показывая на сердце)

И самый злой червяк подточит силы,
И вихрь отчаяния его колеблет?

Г а с с а н.

Альмансор, встань скорей! Презренный червь
Пускай во прахе корчится — орел
Вдвигает ввысь, к лучам извечным солида.

Альмансор.

Обрежь орлу могучих два крыла,
И он, как червь, падет во прах на землю.
Отчаянье меня лишило крыльев,
Тех крыльев золотых, что в раннем детстве
Меня вносили к небу высоко.

Г а с с а н.

Коль скажут мне про камень неподвижный
«Альмансор это!», я готов поверить.
Но не Альмансор ты, глядящий тупо
Раскрытыми, застывшими глазами,
Как брата твоего позорит враг,
Как нагло и надменно он смеется
Над лучшими, знатнейшими из нас,
Как разоряет их и на чужбину,
Беспомощных, бичами гонит прочь, —
Будь ты Альмансор, ты бы услышал
Стенанье жен и старцев беззащитных,
И наглый смех врагов, и вопль ужасный
Их жертв в дыму и пламени костров.

Альмансор.

Альмансор я. Я вижу этих псов!
Они собратьям в бороду плюют
И попирают их затем ногой.
Я слышу женщины несчастной плач:
Она в посту отведала жаркого
И жарится теперь во славу божью.
Вот, девушку прекрасную связали —
Ее влюбленный пламень обнимает
И огненными лижет языками;
Она кричит и рвется, вся зардевшись
От пламенных поклонников, и плачет,
Несчастливая! и в яростное пламя
Роняет жемчуг светлых слез своих.
Однако же. какое дело мне?
Все сердце исколола мне судьба,
И нет в нем места для уколов новых.
К пчелиным жалам равнодушен тот,
Кто, окровавленный, лежит на плахе,
Альмансор я, поверь, и грудь открыта

Моя, как прежде, для чужих страданий;
 Но узкими вратами в эту грудь
 Уж слишком много тяжких мук проникло,
 И грудь полна...

(с тихою робостью)

А кой-какие гости
 И в мозг проникли в поисках приюта.

Г а с с а н.

Вставай скорей! Не то скажу я слово,
 Которое тебя встряхнет, и кровь
 Наполнит новым жаром...

Наклонясь к нему.

Знай, Зюлейма

В объятиях испанца ночью будет.

А л ь м а н с о р *(судорожно вскакивает).*

Обрушилось мне на голову солнце
 И расколело бедный мозг, и гости,
 Что там гнездились, выползли на свет
 И надо мною кружат нетопырями,
 Жужжат и вьются, и туманят мысли
 Дыханием смертельным, ядовитым!

Хватается за голову.

О, горе мне! Колдунья сорвала
 Мой череп и забросила его
 В тот зал, где свадьба, где испанский пес
 Целует, лая, милую мою,
 И языком пощелкивает. — Ужас!

Бросается к ногам Гассана.

Приди на помощь голове моей,
 В крови, без рук она — кто пса задушит? —
 Гассан! Гассан! отдай свои мне руки!

Г а с с а н.

Да, руки я отдам тебе, Альмансор,
 И руки всех друзей отдам я также.
 Испанского мы уничтожим пса.

Что захватил сокровище твое.
Вставай! Твоей Зюлейма будет скоро.

Альмансор встает.

Подслушав ваш вчерашний разговор,
Бежать я вам советовал, но тщетно;
Однако же отчаянью нет места.
Я всех своих друзей сюда созвал;
По знаку моему они ворвутся
В дом Али, как непрошенные гости;
Невесту схватишь ты и отведешь
На тот корабль, что в пристани стоит;
Любовь Зюлеймы быстро возвратится.

Альмансор.

Любовь! Любовь! Ха, ха! Пустое слово,
Которое сказал спросонья ангел,
Зевнув притом. Потом опять зевнул,
И тысячи глупцов, и стар, и млад,
Разинув рты, кричат: «Любовь! Любовь!»
Нет, нет! Я больше не зефир влюбленный.
Целующий девические щечки;
Я вихрь, что ей взметает волоса
И увлекает яростно с собой.
Нет, больше я не тонкий аромат,
Что девушке щекочет обонянье;
Я ядовитый пар, который жжет
И ей дурманит голову и сердце.
И не ягненок больше кроткий я,
Что ласково к ногам пастушки жметя;
Я тигр, в ее вцепляющийся стан
И тело разрывающий в куски;
Теперь я тела требую Зюлеймы,
Я только зверь счастливый, только зверь;
И, в опьянении чувства, я забуду,
Что кроткие над нами небеса.

Стремительно хватает Гассана за руку.

Останусь я с тобой, Гассан! Средь моря
Пустынного мы оснуем державу.
И данником испанец будет гордый;
Его богатства будут нам добычей.

На палубе мы рядом будем биться
 И черепа испанские дробить —
 Собак поганых за борт! Судно — наше!
 Ну, а теперь, чтоб отдохнуть от битвы,
 К Зюлейме я в каюту поспешу,
 Сожму ее в объятиях кровавых
 И поцелуями сотру с груди
 Кровавый след. — Противится она?
 К ногам моим, рабыня! Пресмыкайся!
 Ничтожество! Удел твой — охлаждать
 Кровавый пыл бойца! К ногам, рабыня,
 Покорна будь, и остуди мой жар!

Оба поспешно уходят.

Зал в замке Али. Рыцари и дамы сидят в праздничных нарядах за столом. Али, дон Энрике, Зюлейма, Патер. Музыканты. Слуги разносят кушанья.

Рыцарь (встает, с бокалом в руке).

Я царственное имя возглашу:
 За здравие Кастильской Изабеллы!

Пьет.

Часть гостей.

За здравие Кастильской Изабеллы!

Звон бокалов и трубные звуки.

Патер.

Архиепископ Хименес Толедский
 Да здравствует! Я возглашаю тост.

Пьет.

Часть гостей.

Да здравствует Хименес из Толедо!

Звон бокалов и трубные звуки.

Второй рыцарь.

Я предлагаю тост всего прекрасней!
 Да здравствуют невеста и жених!

Пьет.

Все.

Да здравствуют невеста и жених!

Звон бокалов и трубные звуки. Зюлейма и Эрике кланяются.

Дон Эрике.

Благодарю.

Второй рыцарь.

А что ж молчит невеста?

Дон Эрике.

Да, донья Клара мало говорит,
Но ведь сегодня и немного нужно:
Лишь «да» пред алтарем — и счастлив я.

Зюлейма.

Синьор, тоска ужасная на сердце.

Третий рыцарь.

Недобрая примета, дон Эрике:
Вы опрокинули на стол солонку.

Четвертый рыцарь.

Гораздо худшей было бы приметой —
Бокал с вином на скатерть опрокинуть.

Третий рыцарь.

Дон Карлос мастер вышить.

Четвертый рыцарь.

Это так.

И, к счастью, не неженка, как вы,
Которому обед пересолен,
Коль кто-нибудь солонку опрокинет.
Когда я пью, в своей стихии я!
В струях вина живых и золотистых
Бальзам целебный для больного духа;
И мне всегда смешно, когда я вспомню
Про трезвого пророка...

Да, синьор,

Вино, да, я хотел сказать, вино
Чудесное...

Али.

Педрильо! Эй, Педрильо!

Педрильо.

Синьор, я здесь.

Али.

Позвать сюда певцов,
Шутов, комедиантов и танцоров,
Арфистов — всякий сброд из Барселоны.
Позвать скорей!

Педрильо.

Я, слушаю, синьор.

Уходит.

Пятый рыцарь (*разговаривает с дамой*)
Жениться не намерен я, синьора.

Дама.

Вы шутите, конечно, дон Антонио,
Ведь вы угодник дамский, друг любви.

Пятый рыцарь.

Люблю, конечно, мирты я, отрадны
Очам моим и зелень их и свежесть.
Приятен сердцу нежный аромат;
Но супа и из них варить не стану
И есть не буду их — уж очень горек,
Синьора, слишком горек этот суп.

Патер (*разговаривает с соседом*).

То было чудное ауто-да-фе!
Отрадная для христиан картина,
А грешникам в горах внушает ужас.

К Али.

Вы знаете, что наши победили,
Неверные раббиты и бежали,

Рассеялись и рыщут по горам,
Невдалеке от нас...

Али (*посмотрев на дверь*).

И слава богу!

Об этом слышал я, святой отец, —
Ну, а теперь шуты нас позабавят...

Пляды, шуты, плясуны и арфисты входят. Комический балет.

Арфист (*поет*).

Во дворе перед Альгамброй,
На двенадцати колоннах,
Львы из мрамора поднимают
Алебастровую чашу.

В ней вода колышет розы
Ослепительного цвета;
Это кровь бойцов отважных,
Светлых рыцарей Гренады.

Али.

Нет, эта песня чересчур печальна.
Спой свадебную нам, повеселее!

Арфист (*поет*).

Жил рыцарь на свете, угрюм, молчалив,
С лицом поблекшим и впалым;
Ходил он, шатаясь, глаза опустив,
Мечтам предаваясь вялым.
Он был неловок, суров, нелюдим,
Цветы и красотки смеялись над ним,
Когда бред он шагом усталым.

Почасту он дома сидел в уголке,
Боясь любопытного взора.
Он руки тогда простирает в тоске,
Ни с кем не вел разговора.
Когда ж наступала ночная пора,
Там слышались странное пенье, игра,
И у двери дрожали затворы.

И милая входит в его уголок
 В одежде, как волны, пенной,
 Цветет, горит, словно вся — цветок,
 Сверкает покров драгоценный.
 И золотом кудри спадают вдоль плеч,
 И взоры блещут, и сладостна речь —
 И в объятьях рыцарь блаженный.

Рукою ее обвивает он,
 Недвижный, теперь пламенеет,
 И бледный сновидец от сна пробужден,
 И робкое сердце смелее.
 Она, забавляясь лукавой игрой,
 Тихонько покрыла его с головой
 Покрывалом, снега белее.

И рыцарь в подводном дворце голубом,
 Он замкнут в волшебном круге.
 Он смотрит на блеск и на пышность кругом
 И слепнет в невольном испуге.
 В руках его держит русалка своих,
 Русалка — невеста, а рыцарь — жених,
 На цитрах играют подруги.

Поют и играют; и множество пар
 В неистовом танце кружатся.
 И смертный объемлет рыцаря жар,
 Спешит он к милой прижаться...

Педрильо врываясь в страхе.

Педрильо.

Аллах! Иосиф! Иисус — Мария!
 Они идут сюда, мы все погибли!

Все.

Кто, кто идет?

Педрильо.

Да наши там!

Все.

Как? Наши?

Педрильо.

Не наши, нет. Еретики подходят,
Презренные мятежники, из гор,
Разулись и подкрались незаметно...
Мы все погибли, слышите — идут!

*Слышно бряцанье оружия. Смутные крики: «Гремада!
Аллах! Магомет!»*

Несколько рыцарей.

Пусть подойдут!

Другие.

К оружию, скорей!

*Дамы в ужасе. Зюлейма лишается чувств. В зале
шум и движение.*

Али.

Прошу вас успокоиться, синьоры.
Ведь мавры вежливы, и даже в гневе
По-рыцарски встречать привыкли дам.
А мы, мужчины, встретим их, как должно...

Все рыцари (*обнажая мечи*).

За жизнь и честь сразимся мы! К оружию!

*Звон оружия. Смутный говор. Врываются мавры; но
главе их Гассан и Альмансор. Последний про-
кладывает себе дорогу к лежащей без чувств Зюлейме.
Сражение.*

*Лес. Издали доносится бряцанье оружия и боевые клики.
Педрильо появляется, в ужасе заломив руки.*

Педрильо.

Какое горе! Вот тебе и свадьба!
Теперь пропали шелковые платья.
Их растерзают, разорвут в клочки
И выпачкают кровью. Кровь течет
Взамен вина! Я не бежал, как трус,

Я только уступил бейцам дорогу,
 Управятся и без меня. Уже
 Врагов из залы вытеснили мы
 Ага!

Смотрит в сторону.

Теперь дерутся перед замком.
 А там-то! Ах! Как саблей машет он!
 Нет, был б худо, если б мне в лицо
 Заехал он такой кривою штукаю.
 Вон там кому-то отрубили нос,
 А вот вспороли толстому дон-Санчо
 Объемистый, упитанный живот.
 А это что за красный рыцарь? Странно!
 Одет в испанский плащ, а между тем
 За мавров бьется. — Иисус! Аллах!

Плачет.

Ах, бедная, прекрасная Зюлейма!
 Ввалил ее на плечи красный рыцарь
 И крепко держит левою рукой,
 А правую рукою саблей машет,
 И рубится, как бешеный... Он ранен...
 Упал! Нет! Нет! Лишь пошатнулся... встал,
 Опять дерется... побежал...

А я?

Опять я должен уступить дорогу.

Поспешно убегает.

Альмансор проходит, шатаясь от усталости. На плече у него бесчувственная Зюлейма, он волочит за собою меч и восклицает: «Зюлейма! Магомет!» Появляются мавры и испанцы, сражаясь. Мавров теснят. Гассан и Али яростно дерутся. Гассан ранен. Появляются дон Эрикке, Диэго и испанские рыцари.

Гассан (падая).

А! Я змеей ужален христианской!
 И прямо в сердце — о, Аллах, ты спишь?
 Нет, праведен Аллах, и он творит

Лишь благо. — Ты забыл Гассана? — Нет,
 Лишь человек способен позабыть
 И господя, и друга своего,
 И лучшего слугу. — Ты помнишь, Али.
 Слугу Абдуллы, старого Гассана?
 Абдулла...

Али (*разражаясь гневом*).

Да, его зовут Абдуллой.
 Предателя, трусливого злодея,
 Кровавого убийцу, что лишил
 Меня отрады драгоценной — сына.
 Альмансора убийца — он, Абдулла...

Гассан (*умирая*).

Абдулла не злодей и не предатель,
 Альмансора Абдулла не убил!
 Альмансор жив, он жив, он здесь, вот он,
 Похитивший Зюлейму красный рыцарь,
 Вот он...

Али.

Мой сын, Альмансор, жив? Он здесь?
 Он — красный рыцарь, что унес Зюлейму?

Гассан.

Да, да! Он не отдаст того, что взял.
 Ты лжешь, Абдулла не убийца гнусный,
 Он не предатель, не христианин.
 Оставь меня — я вижу дев прекрасных,
 Уже я вижу гурий чернооких...

Блаженно улыбается.

Старик Гассан и девы молодые!

Умирает.

Али.

Благодарю, о боже! Сын мой жив!
 Явил ты знак святого милосердия!
 Он жив, мой сын! За мной, друзья, скорей,
 За сыном вслед! Он здесь, недалеко,

С собой он взял добычу дорогую,
Невесту, что назначена ему.

*Все удивляются, кроме дон Энрике и дон Диэго,
которые долго смотрят друг на друга в молчании.*

Дон Энрике *(плаксиво)*.

Ну, что же, дон Диэго?

Дон Диэго *(передразнивая его)*.

Что же, дон
Энрико дель Пуэнта, дель Саурро?

Дон Энрике.

Что ж делать нам теперь?

Дон Диэго.

Как, что нам делать?

Теперь должны расстаться мы, синьор.
Вам не везет. Истратил я две сотни
Дукатов. Денег нет. Труды пропали.

Злобно смеется.

Я с юных лет придумываю штуки,
Измучен, поседела голова;
Брожу тропой неверной по лесам,
Колючки рвут мне кожу и костюм;
Карабкаюсь на скалы, на вершины
Взбираюсь — и уж если провалюсь.
Мои мозги воронам на рагу
Достанутся. И все же — я бедняк!
И все ж церковной мыши я бедней!
А мой товарищ школьный, круглый дурень,
Идущий напрямиком, без задних мыслей,
Протоптанной, широкою дорогой,
Валит все дальше поступью воловьей
И стал богатым, толстым и ученым.
Нет, нет, синьор, простимся, я устал!

Уходит.

Дон Энрике *(долго смотрит в задумчивости)*.
Не даст ли дон Гонзальво мне взаймы?

Уходит.

Горы. Альмансор, измученный и окровавленный, выбирается на вершину утеса, с бесчувственной Зюлеймою на руках.

Альмансор.

О, помоги, Аллах! Я так устал,
Я добыл козочку мою в тот миг,
Когда охотник угрожал ей смертью.

Садится на вершину утеса с Зюлеймою на коленях.

И — бедный Мэдшун, на скале сижу я
И забавляюсь с козочкой моей.
Ведь козочкою обернулась Лейла,
Глядит в глаза мне ясными глазами.
Сомкнулись глазки, спит теперь она.
Потише! Чижик, не свисти так громко,
Гуди потише, жук! Ты, ветерок,
Не шелести листвою так громко, — тише!
Я песенку спою моей Зюлейме.

Укачивает Зюлейму на коленях и поет.

Оделось солнце в свой ночной,
В свой розовый наряд;
Пора и птичкам на покой.
В постель они хотят.
Спи, моя козочка, спи.

Спит козочка, да что-то очень долго.
Прекрасные, чарующие глазки
Сомкнулись крепко, накрепко сомкнулись, —
И навсегда? Иль козочка мертва?

Заливается слезами.

Мертва! Нет белой козочки моей!
Навек погасли звездочки-глаза!
О, козочка! Тебя я упокою
Средь лилий, роз, фиалок, гиацинтов.
Из света лунного покров сотку я
На гроб тебе. Малиновка споет
Отходный гимн, двенадцать золотых
Жуков весь день стоять на страже будут
У беленькой твоей кровати: ночью

Засветятся двенадцать светлячков,
Как свечи погребальные; а сам я
У гроба буду плакать день и ночь.

Зюлейма открывает глаза.

Но что я вижу? Вадрогнула она!
Пошевельнулась. Шелковым покровом
Уж больше не задернуты глаза!
Не козочка, не Лейла предо мною,
Дочь Али предо мной, моя Зюлейма...

Зюлейма открывает глаза.

Передо мной раскрылись небеса!

Зюлейма.

Уж я — на небе?

Альмансор.

Нет, сейчас восстала

Из мертвых ты.

Зюлейма.

Да, знаю, умерла,

И вот теперь с тобой на небе я.

Озирается кругом.

Как хорошо, легко, как воздух чист,
Какой на всем здесь розовый наряд.

Альмансор.

Да, милая, на небе мы с тобой, .
Вгляни, как там, внизу, цветы пестреют,
И мотыльки порхают над цветами,
И пеструю бриллиантовую пыль,
Резвись, цветочкам бедным сыпят в глазки.
Ты слышишь, ручеек внизу журчит.
Над ним стрекозы вьются голубые,
И плещутся и плавают русалки
В его волнах багряно-золотистых?
Ты видишь, облака над нами ходят?
То тени праведных спешат толпой
В сады неувядающей весны.

З ю л е й м а.

Коль здесь обитель праведных, Альмансор,
Скажи мне, как ты очутился здесь?
Мне говорил благочестивый патер,
Что небо для одних лишь христиан.

А л ь м а н с о р.

Не думай о блаженстве ты моем.
Тебя держу я, милая, в объятьях,
И я блажен, стократ блажен Альмансор.

З ю л е й м а.

Так он солгал! Ведь он мне говорил,
Что полюбить должна я дон Энрике.
Ему была послушна я. Старалась
Альмансора забыть. Но не могла.
Я с жалобой к пречистой обратилась;
Она мне кротко, нежно улыбнулась,
Окутала меня своим покровом
И вознесла на светлую вершину.
В пути звучала музыка. Трубили
Архангелы в чудесные рога
И пели песни... Как здесь хорошо!
Я в небесах — и радостней всего,
Что мой Альмансор здесь, и что в притворстве
Здесь, в небесах, уж больше нужды нет,
И я могу сказать: «Люблю тебя,
Люблю тебя, люблю тебя, Альмансор!»

Догорающий закат озаряет их обоих.

А л ь м а н с о р.

Я знал давно, меня ты только любишь,
И больше, чем себя. Мне соловей
Об этом спел, и розы аромат
Донес о том, и ветерок поведал,
И по ночам твердили мне об этом
Златые буквы в книге голубой.

З ю л е й м а.

Нет, не солгал благочестивый патер:
Здесь, в небесах, так дивно хорошо!
Сожми меня любимыми руками

И на коленях укачай меня,
 Дай мне лежать, блаженством опьяненной,
 На небесах, с тобой, тысячелетья.

А л ь м а н с о р .

Мы в небесах, и ангелы поют,
 И слышен шелест их атласных крыльев, —
 Сам бог живет здесь, в ямках этих щечек...

Звон оружия в отдалении. Альмансор вздрагивает.

А там внизу, там — Эблис; он ужасным
 Из глубины взывает к небу воплем,
 И руки простирает он за мной.

З ю л е й м а (в с т р а х е) .

Ты задрожал! Чего ты испугался?

А л ь м а н с о р .

То Эблис или дьявол, или люди,
 Не все ль равно, — они сюда стремятся
 В мой светлый рай, за мной.

З ю л е й м а .

Тогда бежим

В долину, где цветы пестреют ярко,
 Порхают мотыльки, журчит ручей,
 Жужжат стрекозы, соловьи поют,
 И облаков гряды блаженно ходят, —
 Возьми с собой, прижми меня к груди!

Прижимается к нему.

А л ь м а н с о р (в с к а к и в а е т , д е р ж а в о б ъ я т ь я х З ю л е й м у)

Скорее, вниз! Цветы кивают в страхе,
 Манит пугливой трелью соловей,
 И тени праведных средь облаков
 Протягивают руки и вонзут
 Туда, туда...

Мавры бегут, гонимые.

Охотники бегут,

Зарезать козочку! За ними — смерть,
 А жизнь внизу, в долине, расцветает,
 И небо я держу в своих объятьях.

Бросается с утеса вместе с Зюлеймою.

Испанские рыцари, преследующие мавров, увидев это, испуганно останавливаются. Голос Али.

Найти его, он здесь, недалеко!

Али появляется.

Несколько рыцарей.

Ужасно!

Али.

Что ж, нашли обоих вы?

Рыцарь (*указывая на утес*).

Мы их нашли, но в пропасть соскочил
Безумец, вместе с ношей дорогой.

Пауза.

Али.

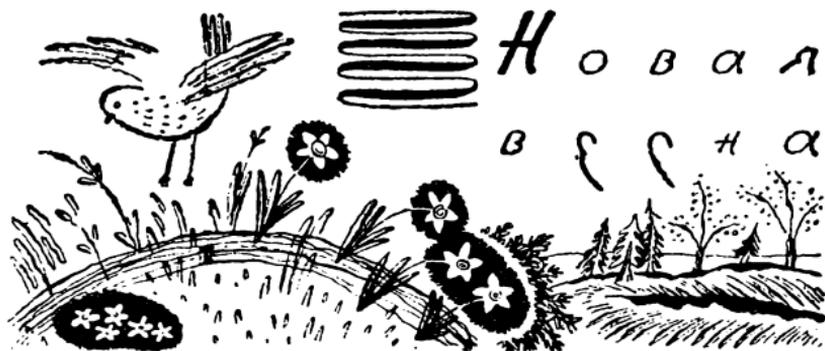
В твоём теперь нуждаюсь я глаголе,
В примере, в утешеньи, Иисус.
Мне не постигнуть воли всемогущей,
Но чувствую: заглохнуть суждено
И лилии и мирту на пути,
Где золотая божья колесница
В величии победном прогремит.





Новые
Стихотворения





ПРОЛОГ

Чуть не в каждой галлерее
Есть картина, где герой,
Порываясь в бой скорее,
Поднял щит над головой.

Но амурчики стащили
Меч у хмурого бойца
И гирляндой роз и лилий
Окружили молодца.

Цепи горя, пути счастья
Принуждают и меня
Оставаться без участия
К битвам нынешнего дня.

Липа вся под снежным пухом,
Ветер ходит по полянам,
Облака немые в небе
Облекаются туманом.

Лес безжизнен, дол пустынен,
Все кругом темно, уныло;
Стужа в поле, стужа в сердце;
Сердце сжалось и застыло.

Вдруг качнулись ветви липы,
С них пушинки полетели.

Весь обсыпан, грустно молвишь:
«Дождался опять мятели!»

Но взглядишь — и сердце вздрогнет:
То не снег, не иней льдистый.
То цветов весенних, белых
Рой пушистый, рой душистый.

Чары чудные свершились!
Дышит маем зимний холод,
Снег оттаял вешним цветом, —
И опять ты сердцем молод!

Снова роща зеленеет,
Неги девственной полна;
Солнце весело смеется.
Здравствуй, юная весна!

Соловей! и твой унылый,
Страстный голос слышен вновь;
Звуки плачут и рыдают,
И вся песнь твоя — любовь!

Взор ночи весенней так кротко вновь
С высот меня утешает:
Принижен ты любовью, — любовь
Опять тебя возвышает.

В ветвях зеленой липы поет
Так сладко Филомела;
Мне в душу песнь ее течет, —
И, ширясь, душа запела.

Люблю я цветок, но какой — не знаю;
Томлюсь, грущу...
К цветочным чашам взор склоняю —
Сердца ищу.

Поет соловей в аромате нежном
 Угасшего дня.
 О сердце грежу чудно-мятежном,
 Как у меня.

Поет соловей, — мне слышен в пеньи
 Подавленный стон;
 И плачу я, и он в томленьи —
 И я, и он.

Вот май опять повеял,
 Цветы зацвели и лес,
 И тучки, розовея,
 Цдывают в синеве небес.

И соловьев раскаты
 Опять звучат в листве,
 И прыгают ягнята
 В зеленой мураве.

Прыгать и петь не могу я,
 Я лег больной в траву,
 Далекий звон слежу я,
 Я грежу наяву.

Тихо сердца глубины
 Звоны пронизали,
 Лейся, песенка весны,
 Разливайся дале.

Ты пролейся, где цветы
 Расцветают томно,
 Если розу встретишь ты, —
 Ей привет мой скромный.

В красавицу розу влюблен мотылек,
 Он долго кружит над ней,

А жаркое солнце его самого
Ласкает в неге лучей.

Но кто же — хотел бы я знать — любим
Царицей розой самой:
Певец-соловей, иль она увлеклась
Вечерней звездой немой?

Не знаю, кого она любит, но всех
Люблю без различья я:
Солнечный свет, мотылька, звезду
И розу, и соловья.

Все деревья зазвучали,
Гнезда все запели хором, —
Кто ж в лесном концерте этом
Выступает дирижером?

Или важный серый чибис,
Что кивает носом вечно?
Или тот педант, что долго
В тон кукует безупречно?

Или аист? Он серьезно,
С капельмейстерской хваткой,
Длинной хлопает ногою
В общей песне — стройной, сладкой . . .

Нет, в моем укрылся сердце
Дирижер лесного пенья, —
Слышу, такт он отбивает:
Это Эрос, без сомненья.

Весенней ночью, в теплый час,
Так много цветов раскрылось!
За сердцем нужен глаз да глаз,
Чтоб снова оно не влюбилось.

Теперь каким же из цветов
Я мог бы вновь увлечься?
Велит мне дружеский хор соловьев
Лилей остеречься.

Грозит беда, набат раздается, —
И, ах! я голову теряю!
Весна и два красивых глаза, —
Вы против меня в заговоре, знаю!

Весна и два красивых глаза
Внушат мне новую глупость вскоре!
Я думаю, что соловьи и розы
Весьма замешаны в их заговоре...

Слез любви и тихой скорби
Страстным сердцем жажду вновь
И боюсь, что эту жажду
Утолит теперь любовь.

Сладкой скорби, горькой неги,
Мук божественных полна,
В грудь мою, еще больную,
Тихо крадется она.

Глаза весны синеют
Сквозь нежную траву:
То милые фиалки, —
Из них букет я рву.

Я рву их и мечтаю,
И вздох мечты моей,
Сокрытый в глуби сердца,
Подслушал соловей.

Да, песнью громкой, звучной
Мечту он разболтал;

Разгадку нежной тайны
Весь лес теперь узнал.

Только платьем мимоходом
До меня коснешься ты, —
По твоим следам несутся
Сердца бурные мечты.

Обернешься ты, вперится
Глаз огромных синева —
С перепугу за тобою
Сердце следует едва.

Из вод подымая головку,
Лилея в раздумьи глядит;
С высот, улыбаясь, месяц
К ней тихой любовью горит,

Лилея стыдливо склонила
Головку к зеркалу вод, —
А он уж у ног ее, бледный,
Трепещет и блеск свой льет.

Если только ты не слеп, —
Погляди в мои напевы:
Ты увидишь, там блуждает
Дивный образ юной девы.

Слушай, если ты не глух, —
Там и голос раздастся:
Вздохи, смех ее и пенье, —
Сердце у тебя забьется!

Взором, голосом ее,
Как и я, замороженный,
Будешь ты в мечтах весенних
По лесам бродить, влюбленный.

Что мечешься ночью весенней ты?
Ты свел с ума в саду цветы,
Дрожат в испуге фиалки,
И розы краснеют от стыда,
И лилии бледней, чем всегда,
Они оробели и жалки!

О, милый месяц, скромность цветов
Известна всем! Я к суду готов,
Заслужены мной укоры!
Но мог ли я знать, что следят за мной,
Когда, от страсти я сам не свой,
Со звездами вел разговоры?

Глаза свои голубые
Подняла ко мне ласково ты.
Я слова сказать не смею
Во власти смутной мечты.

Глаза твои голубые
Вспоминаю повсюду я,
Голубым океаном мыслей
Наводнилась душа моя.

Снова сердце покорилось,
Гнев и злоба — все минуло;
Снова нежных чувств истому
Ты, весна, в меня вдохнула.

По излюбленным аллеям
Снова я весь день слоняюсь
И под каждой женской шляпкой
Милый лик найти стараюсь.

На мосту торчу я снова
Над зеленою рекою, —
Может быть, проедет мимо,
Переглянется со мною.

Снова в шуме водопада
Слышу тихое стенанье,
Чутким сердцем понимая
Этих белых волн журчанье.

И в мечтах блуждаю снова
По тропинкам потаенным;
Птицы и кусты смеются
Над глупцом, опять влюбленным.

Тебя люблю я — неизбежна
Разлука наша, — не сердись!
Ведь облик твой, цветущий нежно,
И мой, печальный, не сошлись!

Да, от любви к тебе я вяну,
Я тощ и бледен стал, — взглядишь!
Тебе я вскоре гадок стану,
Я удаляюсь, — не сердись!

Гуляю меж цветами
И сам цвести могу;
Как сонный, спотыкаюсь
Почти на каждом шагу.

Держи меня, голубка!
Пожалуй, с пьяных глаз
К твоим ногам свалюсь я, —
А в саду ведь народ, как раз.

Как луна дрожит на лоне
Моря, полного тревогой,
А сама, ясна, спокойна,
Голубой идет дорогой, —

Так, любимая, спокойна
И ясна твоя дорога,

Но дрожит твой образ в сердце,
Потому что в нем тревога.

Альянс священный прочно
Связал нам теперь сердца;
Прижавшись тесно, друг друга
Постигли они до конца.

Ах! Жаль, что юной розой
Украсила ты грудь,
Союзница бедная наша
Едва могла вздохнуть.

Скажи, кто первый часы изобрел,
В минуты, секунды время расчел?
Печальный и зябкий то человек,
У печки он просидел весь век
И думал, и исчислял от скуки
Мышиный писк и шорох и стуки.

А кто изобрел поцелуй, скажи?
То были уста — горячи, свежи,
Без дум, без слов целовали они.
То было в чудные майские дни,
Цветы, из земли выходя, атели
И солнце смеялось, и птицы пели.

Чудный запах льют гвоздики,
Звезды трепетным огнем,
Словно пчелки золотые,
Блещут в небе голубом:

Меж каштанами белеют
Стены милого жилья;
Слышу звон стеклянной двери,
Милый голос слышу я.

Робкий шопот, сладкий трепет,
Ласки нежные любви, —
И подслушивают розы,
И рокочат соловьи.

Тот же сон, что снился прежде!
Прежним счастьем вновь живу я.
В той же вешней мир одежде,
Та же нега поцелуя.

Тот же месяц все двурогий
Светит нам; беседка та же;
Те же мраморные боги
У дверей стоят на страже.

Сладкий сон — увы! минует;
Так бывает год от году:
Осень холодом обдует
И сердца и всю природу.

Да! цвести не долго счастью:
И поблекнет, и сомнется;
И, покинутое страстью,
Сердце к сердцу не прижмется.

Поцелуй, что мы крадем
В темноте, в ночной тиши —
Сколько чудного блаженства
В них для любящей души!

В жажде вспомнить то, что было,
И вперед взглянуть, она
Дум о днях давно минувших,
Грез о будущем полна.

Но, целуя, много думать —
Часто сущая беда.
Нет, душа, уж лучше плачь ты:
Плакать легче нам всегда.

Жил-был король суровый
 В седых кудрях, угрюм душой,
 И жил король суровый
 С женою молодой.

И жил-был паж веселый,
 В льняных кудрях и смел душой,
 Носил он шлейф тяжелый
 За юной госпожой.

Верь песенке старинной —
 Поет она, звенит она,
 Они погибли оба —
 Любовь была слишком сильна.

Опять воскрешает мне память
 Развеянный ветром образ.
 Зачем меня волнует
 Так глубоко твой голос?

Не говори — «люблю!»
 Позор не минует, я знаю,
 Прекраснейшего в мире —
 Любви весны и мая.

Не говори — «люблю!»
 Целуй без слез, без клятвы,
 Посмейся увядшим розам,
 Когда принесу их завтра.

«Лунным светом упоенный,
 Липы цвет благоухает.
 Соловей любовной песней
 Лес и воздух оглашает.

О, как сладостно, моей милой,
 Здесь под липами сидится
 Той порой, когда сквозь ветви
 Ясный месяц к нам глядится.

Видишь липовый листочек?
Формой — сердце; и понятно,
Что сидеть под тенью липы
Для влюбленных так приятно.

Улыбнулся ты, однако,
Весь уйдя в свои мечтанья.
Милый мой, скажи, какие
У тебя в душе желанья?»

Ах, скажу весьма охотно,
Что я думаю, подруга:
Мне б хотелось, чтоб внезапно
Нанесла нам снегу вьюга.

Чтобы, сев в резные сани,
В теплых шубах, резвым бегом,
С колокольчиком мы мчались
По полям, покрытым снегом.

Раз в лесу, при лунном свете,
Видел я, как эльфы мчались;
Колокольчики с рожками
Вперегонку заливались.

Кони белые сквозь воздух,
Словно лебеди, летели
И оленьими рогами,
Золочеными, блестели.

И с улыбкой королева
Мне кивнула головою.
Что же будет? Вновь влюблюсь я
Или смерть придет за мною?

Утром шлю тебе фиалки,
В роже сорванные рано;
Для тебя срываю розы
В час вечернего тумана.

Знаешь, что хочу сказать я
Аллегорией цветною?
Оставайся днем мне верной
И люби порой ночьюю.

Своим письмом напрасно
Ты хочешь напугать;
Ты пишешь длинно ужасно,
Что нам пора порвать.

Страниц двенадцать, странно!
И почерк так красив!
Не пишут так пространно,
Отставку дать решив.

Не страшись — скрывать от света
Я любовь свою привык,
Хоть красу твою в поэмах
Превозносят мой язык.

Нет! Под лесом роз душистых
Глубоко я схоронил
И пылающую тайну,
И сердечный тайный пыл.

Пусть сомнительная искра
Из-под роз порой блеснет, —
Ты не бойся: это пламя
Свет поэзией сочтет.

Дни мои и даже ночи
Наполняет вешний звон,
И ко мне зеленым эхом
Проникает даже в сон.

Но во сне напевы птичек
Как-то сказочней звучат,

Воздух мягче, от фиалок
Слаще льется аромат.

Розы кажутся краснее,
И вокруг головок их
Точно разлито сиянье,
Как у ангелов святых.

Сам себя уподобляю
Я в ту пору соловью;
В чудных песнях этим розам
Про любовь свою пою.

Про любовь пою, доколе
Блеском солнечного дня
Иль другими соловьями
Не разбужен буду я.

Звезды ножками золотыми
Тихо ходят в вышине,
Чтоб земля спала спокойней
В полуночной тишине.

И зеленым ухом листьев
Чутко внемлет темный бор,
И далеко протянулись,
Точно руки, тени гор.

Чу, поют! И чутким сердцем
Этим звукам внемлю я.
Голосок ли это милой,
Или трели соловья?..

Цветут желанья дивно,
Чтоб снова отвести;
Цветут, отцветают, — и будет
До гроба так идти.

И мне омрачает это
 Всю радость и любовь;
 Мое остроумное сердце
 Источает по каплям кровь.

Небо старцем красноглазым
 Смотрит мрачно с вышины;
 Облака на нем повисли,
 Как густые седины.

Под его суровым взором
 Вянут листья на цветах,
 Вянут чувства, вянут песни
 В человеческих сердцах.

Осень, мгла. Холмы и доли
 Сон холодный усыпил;
 Жертвы бурь, деревья голы,
 Словно призраки могил.

Лишь одно из них вздыхает
 И дрожит живой листвою, —
 Скорбно слезы льет, качает
 Изумрудною главой.

Ах, мой дух — пустыня эта!
 Деревцо же, чьи листы
 Сохранили зелень лета,
 Дорогая, — это ты!

Небо серо беспробудно,
 А на город не глядел бы —
 Он все тот же, жалко, нудно
 Отраженный в водах Эльбы.

Здесь носы все так же длинны
 И сморкаются уныло —

Или прячась слишком чинно,
Или думая что есть силы.

Юг прекрасный, как тоскую
Я по солнечному свету,
Снова эту мразь людскую
Видя и погоду эту.



Разные



СЕРАФИНА

В лес задумчивый вхожу я
Предзакатною порой, —
И в лесу всегда со мною
Бродит нежный образ твой:

Не твоя ль вуаль белеет?
И не твой ли вижу лик?
Или в чащу темных елей
Только лунный свет проник?

И моих ли слез журчанье
Где-то близко слышу я?
Иль, любимая, ты вправду,
Плача, ходишь близ меня?

Ночь плывет над тихим взморьем
И покоем мирным дышит;
Месяц, выйдя из-за облак,
Шопот волн прибрежных слышит:

«Кто там бродит — полоумный
Иль любовник неудачный?
Мрачен он и вместе весел —
Весельчак какой-то мрачный».

С неба месяц, засмеявшись,
Говорит им громко: «Хуже!
Он влюблен и полоумен,
Да еще поэт к тому же!»

С каким любопытством чайка
Глядит, снижаясь к нам:
Зачем я ухом крепко
Прильнул к твоим губам?

Ей надо узнать, что в ухо
Уста твои мне льют:
Туда слова ли только,
Иль поцелуи текут?

Я сам не понимаю
Журчания в душе моей!
Слова и поцелуи
Смешались странно в ней.

Как серна робкая, она
Летела предо мною,
По скалам прыгая легко,
С распушенной косою.

Ее догнал я на краю
Крутой скалы прибрежной;
Там сердце гордое ее
Смягчил я речью нежной.

Сидели мы, как в небесах, —
Высоко и блаженно;
Под нами солнце в бездне волн
Тонуло постепенно.

И потонуло в бездне волн
Прекрасное светило,
И море шумное над ним
Восторженно бурлило.

Не плачь о солнце! Никакой
Беды с ним не случилось:
Оно со всем своим огнем
В груди моей укрылось.

Мы здесь построим, на скале,
Заветной церкви зданье;
Нам новый, третий дан завет —
И кончено страданье.

Распался двойственности миф,
Что нас морочил долго,
Не стало глупых плотских мук
И слез во имя долга.

Ты слышишь бога в безднах? Там
Его вещает сила!
Над нашей видишь головой
Все божии светила?

Повсюду бог: во тьме ночей,
В блестящих света красках;
Во всем он сущем и живом —
И даже в наших ласках.

Тень любви, лобзаний тени,
Тени жизни, — как чудно!
Разве, глупая, мгновенье
Было нам навек дано?

Что так дорого нам было,
Тает, как мечтаний дым,
Сердце все уже забыло,
И глаза уснули с ним.

Девница, стоя у моря,
Вздыхала сто раз под ряд,

Такое внушал ей горе
Солнечный закат.

Девуца, будьте спокойней,
Не стоит об этом вздыхать;
Вот здесь оно спереди тонет
И всходит сзади опять.

Как низко ты поступила,
Людям шептать не стал я.
Я вышел на лодке в море
И рыбам все рассказал я.

Доброе имя оставил
Тебе я только на суше;
Теперь во всем океане
Знают про стыд твой гнетущий.

У моря сижу, на утесе крутом,
Мечтами и думами полный;
Лишь ветер да тучи, да чайки кругом, -
Кочуют, пенятся волны.

Знавал друзей я и ласковых дев —
Их ныне припомнить хочу я:
Куда вы сокрылись? Лишь ветер да рев,
Да пенятся волны, кочуя.

АНЖЕЛИКА

В день господней благодати,
Чтоб уста мои молчали?
Те усга, что так некстати
Столько пели в дни печали?

Помню я, как все мальчонки
Лезли петь за мной в то время;

Я страдал, а их книжонки
Лишь удваивали бремя.

Соловьиный хор волшебный,
Что в душе моей таится,
Пусть в гармонии хвалебной
Нынче чудно разразится!

Ты быстро шла, но предо мною
Вдруг оглянулася назад,
Как будто спрашивали гордо
Уста открытые и взгляд.

К чему ловить мне было белый,
По ветру бившийся покров?
А эти маленькие ножки —
К чему искал я их следов?

Теперь исчезла эта гордость,
И стала ты тиха, ясна,
Невыносимо так покорна
Со мной и — даже влюблена!

Нет, прелестная, не верю
Строгой речи уст твоих:
Добродетель не имеет
Черных глаз таких больших.

Я люблю тебя, — молчи же,
Брось прикрашенную ложь!
Сердцем белым дай лобзанье, —
Сердцем белым ты поймешь!

Закрыв глаза ей, алый рот
Люблю я целовать;
Она покоя не дает, —
Причину хочет знать.

И с вечера не устает
До утра приставать:
«Зачем, когда целуешь рот,
Глаза мне закрывать?»

Какой тут у меня расчет, —
Сам не могу понять:
Закрыв глаза ей, алый рот
Целую я опять.

Когда я в твоих объятиях страстных
Вкушаю блаженство, в миг этот дивный
Молчи ты о нашей немецкой отчизне:
На то есть причины — мне это противно.

Оставь, бога ради, немцев в покое,
Без них довольно на сердце кручины;
Ну, что толковать о родне, отчизне?..
Мне это противно — на то есть причины.

Там зелены дубы, глаза голубые
У женщин немецких, сердца наивны
И бьются лишь верой, надеждой, любовью.
На то есть причины — мне это противно.

Между тем как я, блуждая,
Сторожу чужие клады
И к дверям чужих любовниц
Устремляю тайно взгляды, —

Может быть другие люди
У моих окошек бродят
И с моей неоцененной
Переглядку тоже водят.

Совершенно человечно
Эта милая потеха!
Дай же бог на всех дорогах
Всем нам счастья и успеха!

Да, ты, конечно, мой идеал, —
Ведь это же без счета
Божбой и объятьями я скреплял;
Но нынче мешает работа.

Вот завтра после двух часов
Приди, — я вновь, по чести,
Влюбленность доказать готов!
Потом пообедаем вместе.

И если билеты мы найдем,
То буду я сарable
Сводить тебя в Opéga потом
Дают «Robert-le-Diable» —

Смесь обольщений и химер
Чертовского пошиба;
Музыку создал Мейербер
На текст нелепый Скриба.

Хоть жажду утолила ты
И не горишь в огне,
Но дай мне срок и не гони —
Там надоест и мне.

Влюбленною не можешь быть,
Так другом назовись;
Когда долюблена любовь,
Взлетает дружба ввысь!

Эта масленица страсти,
Этот хмель сердец безумных, —
Все прошло; мы вновь спокойны
И зеваем, отрезвев.

Чаша выпита до дна,
Переполненная влагой,
Одуряющей, кипучей;
Чаша выпита до дна.

Замолчали тоже скрипки,
Вовлекавшие нас в пляску,
Пляску бешеных страстей;
Скрипки тоже замолчали.

И погасли лампы тоже,
Свет свой лившие зловеще
На собранье пестрых масок.
Лампы тоже все погасли.

Завтра пост начнется; пеплом
Я главу твою посыплю
И скажу тебе, прощаясь:
Помни, женщина, ты — прах.

ИАНА

Эта масса чудо-тела,
Эта женственность-колосс
Мне без споров и без слез
Отдалась теперь всецело.

Если б к ней я самовольно
С пылом дерзостным приник,
То раскаялся бы в миг!
Да, побит я был бы больно.

Что за грудь, какая шея!
(Выше мне не разглядеть.)
Прежде чем такой владеть,
Позабочусь о душе я.

Залив Бискайский был ей
Отчизной, говорят;
Она уж в колыбели
Замучила двух котят.

Потом через Пиренеи
Бежала она босиком.

Глазеть на великаншу
Валил Перпиньян валом.

Теперь же нет дамы выше
В предместьи Сен-Дени;
И стоит она сэр Вильяму
Тринадцать тысяч луи.

Посещая часто вас,
Благороднейшая донья,
Вспоминаю всякий раз
Рынок с площадью Bologna.

Там огромный есть фонтан —
Del gigante — загляденье!
И Нептуном мастер Жан
Увенчал свое творенье.

ГОРТЕНЗИЯ

Верил я в былом далеком
В то, что поцелуй жен
Предназначены нам роком
От начала всех времен.

Поцелуй я в те годы
Строго так давал и брал,
Словно сам завет природы
Неизбежный исполнял.

Ныне я отлично знаю
Поделуев суету, —
В них не верю, не мечтаю
И целую на лету.

Вдвоем на уличном углу
Мы целый час стояли
И о союзе наших душ
Так нежно толковали.

В любви взаимной сотни раз
Друг другу признавались;
И так на уличном углу
Стоять мы и остались.

Богиня Случая близ нас
Субреткою шмыгнула, —
Увидела, как мы стоим,
И, приснув, упорхнула.

Первая говорит:

Посредине сада яблонь,
Видно яблоко на ней;
Вкруг самой же, в светлых кольцах
Обвился блестящий змей.
От змеиных сладких взоров
Глаз не в силах я отнять —
Так заманчиво шипит он,
Искушает плод сорвать.

Вторая говорит:

Это жизни плод прекрасный;
Ты отведай, что за сок,
И тогда уж не напрасно
Проживешь житейский срок.
Да, голубушка-малютка,
Съешь, не бойся, я права:
Ты увидишь, что не шутка
Тетки опытной слова,

Строю вновь я струны цитры,
И звучит она так ново.
Текст же стар: «Жена — не сладость»,
Это — Соломона слово.

Как обманывает мужа,
Так и другу изменяет!

И полынь в любовной чаше
Напоследок оставляет.

Справедливо, значит, было
Древней книги предсказанье,
Что готовит змей проклятье
За грехи нам в наказанье?

Змей в кустах ползет на брюхе
И высматривает жадно;
Речь заводит, как бывало, —
Слушать свист его отрадно.

Ах, как холодно и мрачно!
Солнце вороны затмили
И кричат. Любовь и радость
Долго будут спать в могиле.

Недолго счастья был обман
Обещанного ложно,
И образ твой, как лживый сон,
В душе прошел тревожно.

Блеснуло солнце, и туман
Бесследно разогнало,
И мы покончили с тобой,
Едва познав начало.

КЛАРИСА

Оробев, моих признаний
Словно ты не замечаешь;
На вопрос: отказ ли это? —
Горько плакать начинаешь.

Редко я молюсь, — так слушай,
О, создатель! Помоги ей,
Осуши девице слезы,
Просвети чуть-чуть мозги ей!

Чорт возьми твою мамашу
И папашу кстати тоже:
Из-за них вчера весь вечер
Я тебя не видел в ложе.

Впереди они сидели,
Развалясь, почти вплотную,
От моих влюбленных взоров
Скрыв малютку дорогию.

Созерцала эта пара
Двух влюбленных злоключенья,
И, когда они погибли,
Оба были в восхищеньи.

Не ходи по переулку,
Где те очи квартируют;
Хоть щадят тебя их взоры,
Но они восторжествуют.

Смотрят крайне благосклонно
Из-под дуг оконных арок;
Чорт возьми, какая нежность,
Как их пламень дивно-жарок!

Но ведь ты на полдороге,
И усилия все напрасны;
С грудью, полною страданья,
Ты домой придешь, несчастный.

Твоя улыбка запоздала,
И запоздал твой жаркий вздох,
И чувств, отвергнутых тобою,
Забывший след давно заглох!

Напрасна поздняя взаимность,
И поздний взор напрасно жгуч;

Он светит мне на сердце так же,
Как на могилу солнца луч.

Но знать хотел бы я — со смертью
Куда уносится наш дух?
И где тот ветер, что затихнул?
И где тот пламень, что потух?

ИОЛАНТА И МАРИЯ

Эти дамы, понимая,
Что поэта чтут едой,
Отобедать пригласили
Нас — меня и гений мой.

Ах, как суп был превосходен!
И каких я вин вкусил!
Дичь божественной казалась,
Нашпигован заяц был!

Говорили, сколько помню,
О поэзии; и вот
Я и сыт, и благодарен
За оказанный почет.

В которую из двух влюбиться
Моей судьбой мне суждено?
Прекрасна дочь и мать прекрасна,
Различно милы, но равно.

Неопытно-младые члены
Так сладко ум тревожат мой,
Но гениальных взоров прелесть
Всесильна над моей душой.

В раздумьи, хлопая ушами,
Стсю, как Буриданов друг
Меж двух стогов стоял, глаза,
Который лакомей из двух.

Бутылки пусты, был вкусен обед.
У дамочек щеки пылают,
Задорно они распустили корсет
(Его кружева украшают).

Лилейные плечи, прелестная грудь!
Гляжу в испуге немало...
Кидаются дамы в постель отдохнуть,
Укутавшись одеялом.

Задернули занавес. Тишь. полумрак.
И взпуски захрапели.
Один среди спальни стою, как дурак,
В смущеньи смотрю на постели.

Юность быстро исчезает,
Но, в возмездье, дух бодрей,
И рука теперь ласкает
Тальи стройные смелей.

Хоть порою нрав пугливый
И вступает за честь —
Милый гнев и страх стыдливый
Успокаивает лезть.

В торжестве моем победном
Лучшего, однако, нет:
Не пропавшей ли бесследно
Сладкой дури юных лет?

ЭММА

Как ствол древесный стоит он
И в зной, и в лютый мороз;
Воздеты руки к небу
И в землю пятою врос.

Так страждет Багирата годы,
Но тронулся Брама, и вот

Велит он Гангу пролиться
На землю с горных высот.

А я, дорогая, напрасно
Один скорблю в тишине;
Из глаз твоих небесных
Хотя бы капелька мне.

Сутки ждать я должен счастья.
Это счастье без границ
Посулил твой взгляд, украдкой
Мне блеснув из-под ресниц.

Слово — слишком неуклюже,
Слишком беден наш язык,
Молвишь только — и умчится
Мотылек прекрасный вмиг.

Взор один лишь беспределен
И блаженство мне сулит,
Беспредельное, как небо,
Где созвездий блеск разлит.

Месяц тянется любовь —
И еще ни поцелуя!
Сохнут жаркие уста,
В одиночестве тоскуя.

Был так близок счастья миг,
Я дыхание любимой
Ощущал у самых уст, —
И промчалось счастье мимо!

Молви, Эмма, без раздумья:
От любви ли я безумен,
Иль сама любовь — наследство
Моего, увы, безумья!

Ах, меня, друг милый Эмма,
Наряду с любовью глупой,

Кроме глупости любовной,
Мучит самая дилемма!

Быть с тобою — свыше силы:
Крик и спор! Бегу я прочь.
Без тебя мне жить не в мочь,
Жизнь — подобие могилы.

Бьюсь я ночи напролет
Между смертью и геенной.
Эта мука несомненно
Хоть кого с ума сведет.

Все опаснее и глуше
Подползает злая ночь;
И устали наши души,
И зевков не превозмочь.

Ты стара, и я старее,
От весны далеки мы,
Оба стали холоднее
С приближением зимы.

Ах, в конце не жди победы!
Вместо бед любовных, верь,
Подойдут иные беды,
И на смену жизни — смерть.

ФРИДЕРИКА

Оставь Берлин, где воздух густ и пылен,
И жидок чай; где над умом людским
Один лишь Гегель царствует, всемогущ,
И жизни смысл для всех указан им.

Умчимся в край, где аромат обилен,
В край солнечный, который мной любим,
Там льется Ганг, и вдоль его извилин
Идет в одежде белой пилигрим,

Там в пальмовой, священной людям сени
Блестят волна, и лотоса цветок
Стремится в Индры голубой чертог;

Там преклоню перед тобой колени,
И прозвучит из уст моих привет:
«Прекрасней вас, madame, на свете нет!»

Струится Ганг. Разумными очами
Глядит газель, отважно с высоты
Сбегая вниз, и яркими цветами
Павлинов чванных искрится хвосты.

Из недр лугов, невиданные нами,
Являются роскошные цветы.
Несется песнь кокиласов волнами.
Красавица! Всех жен прекрасней ты!

В твоих очах сам бог великий Кама,
И он, твоей душою овладев,
Вложил в уста чарующий напев;

Вассант твои уста взял вместо храма.
В твоих глазах — мне новые миры,
И собственный мне тесен с той поры.

Струится Ганг и плещет. Гималайя
Сверкает весь в лучах прощальных дня.
Слоны, из рощ тенистых выбегая,
Спешат на блеск вечернего огня.

Где образ? Я за образ дам коня!
С чем я сравню тебя, о дорогая?
Но для тебя, прекрасная, благая,
Сравнений нет достойных у меня.

За образом гоняясь без успеха,
С любовью я и с рифмою — в борьбе,
А ты сдержать не в состоянии смеха.

Но смейся! Ведь, чтоб угодить тебе,
Коснутся цитры струн Гандарвы — боги
Там, в высоте, где блещут их чертоги.

КАТАРИНА

Звезда взошла во тьме моей ночи,
Отраду неба льют ее лучи,
Суля мне новой жизни дни...
Не обмани!

Как море притягается луной.
Так поднимают дух оживший мой
Твои чудесные огни...
Не обмани!

В объятьях моих, у сердца
Готова лежать ты всегда!
Твое я родное небо,
Моя ты родная звезда.

Под нами внизу копошится
Дурацкое племя людей;
Кричат, бранятся, и каждый
Уверен, что всех умней.

Звенят на них погремушки;
Все спорят; спор бестолков;
Вот-вот разобьют друг дружке
Дубинками головы в кровь.

Как счастливы мы с тобою!
От нас далека их вражда —
Ты в небе родном головку
Покоишь, моя звезда!

Люблю я эту бледность тела,
Покров души изящной, — очи
Огромные, и эти кудри
Вокруг чела, как крылья ночи!

Жену как раз такого сорта
Искал я долго повсеместно;
Я тоже оценен тобою,
И это мне, конечно, лестно.

Найдя во мне, чего хотелось
Тебе самой, ты щедро станешь
Меня лобзаннями счастливить;
Потом, как водится, обманешь.

Цветов подбавила весна
К цветистому наряду.
Кругом теперь в цветах страна,
И вся подобна саду.

Сижу с красавицей моей;
Как вихрь, дормез несется;
Глаза так ласковы у ней,
А сердце сильно бьется.

И свист, и блеск, и аромат,
И горы, и долины,
И у деревьев шелестят
Цветущие вершины.

В траве любятся цветы,
На злачном нежась ложе,
Богатством женской красоты
И мной, счастливецом, тоже.

Но счастье — призрак! Вот коса,
Шутя, пройдет по лугу —
И нет весны! А ты, краса,
С весной изменишь другу.

Мне недавно сон приснился,
Будто я в раю гуляю,
Разумеется, с тобой;
Без тебя мне рай — геенна.

Видел праведных я там,
И смиренных, и избранных,
Плоть губивших на земле
Для спасенья душ на небе.

Там апостолов я видел,
Капудинов и аскетов, —
Все старье, а молодые
Видом хуже, чем старье.

Много там седых бород,
Длинных лиц, широких лысин,
(Между ними и евреи)
Мимо нас прошло рядами.

Но от них тебе — ни взгляда,
Как к плечу ты мне ни жалась,
И шала, и улыбаясь,
И кокетничая мило.

Лишь один тебя заметил; —
Он, единый между всеми,
Был божественно прекрасен,
Дивен обликом и взором.

Кротость смертного в улыбке,
Мир божественный во взоре,
И взглянул он на тебя,
Как тогда — на Магдалину.

Знаю, помысел был чист —
Выше нет и благородней —
Но меня, увы, увы!
Все ж коснулась тайно ревность.

Каюсь — господи, прости! —
Стало мне в раю неловко:

От присутствия Христа
Я почувствовал стеснение.

Так долго, будто бессловесен,
Я все молчал; но вновь пою!
Приходит в очередь свою
И время слез и время песен.

Теперь опять поется звучно
О днях любовных нег и мук,
И о томлени в дни разлук
Сердец, которым вместе скучно.

Порой мне кажется, что веет
Германский вяз над головой,
Шепча: «увидимся с тобой»;
Но это сны — их день рассеет.

Порой мне мнится — распевает
Немецкий старый соловей.
И сладко так в душе моей.
Но это сон — и в миг он тает!

Завяли розы, чья любовь
Дарила счастье мне когда-то,
И только душу, вновь и вновь,
Мутят мерцаньем аромата.

НА ЧУЖБИНЕ

Из края в край твой путь лежит;
Идешь ты — рад не рад.
По ветру нежный зов звучит —
И ты взглянул назад.

Твоя любовь в стране родной;
Манит, зовет она:
«Вернись домой! Побудь со мной!
Ты радость мне одна».

Но путь ведет и в даль и в тьму —
И остановки нет.
Что так любил — навек к тому
Запал возвратный след.

Сегодня ты такой печальный,
Каким уж не был много дней!
На щеках тихий след хрустальный.
И вздохи сердца все слышней.

Иль вспомнил родину, в далеком,
В туманно-призрачном былом?
Ведь ты бы рад был ненароком
Побыть в отечестве своем.

Иль вспомнил даму, что так мило
Бывала гневною подчас?
Сердился ты, — ей грустно было,
Потом смеялись всякий раз.

Иль вспомнил тех, что обнимали
Тебя как друга в важный миг?
На сердце мысли бушевали,
Но оставался нем язык.

Иль вспомнил мать, сестру родную?
Ведь вы же были хороши.
Мой милый, дрогнула, я чую,
Решимость дикая души.

Иль вспомнил щебет птиц и сени
Густого сада, где вкушал
Блаженство юных сновидений,
Где ты робел, где ты мечтал?

Уж поздно. Дали серебрятся
Сквозь мокрый снег белесой мглой.
Однако, время одеваться
И ехать в гости. Боже мой!

ТРАГЕДИЯ

1

Беги со мной! Будь мне женой!
На сердце отдохни моим!
Оно тебе в стране чужой —
Родимый край, родимый дом.

Иль лягу я в земле сырой,
И будешь в мире ты одна,
И будет дом родимый твой —
Тебе чужая сторона!

2

(Это подлинная народная песня, которую я слышал на
Рейне. Г. Гейне.)

Как ночью вешнею иней пал,
Он пал на цветочки, на синие, —
Они поблекли, погибли.

Подругу так любил паренек!
Они бежали из дома прочь,
Отец-то и мать и не знали.

Они блуждали, где пришлось,
Лишь горе-злосчастье за ними шло, —
Они пропали, скончались.

3

На их могиле липа стоит,
В ней птицы поют и ветер свистит;
В траве зеленой сидят под ней
Веселый мельник с милой своей.

Ветер в листве шуршит лениво,
Птицы в ветвях поют тоскливо,
А те, кто под липой сидят вдвоем,
Плачут и сами не знают о чем.

ПЕСНИ БЫТИЯ

1

Бог вначале создал солнце
После — сонмы звезд полунощных;
Капал пот с чела, — из пота
Сотворил быков он мощных.

И животных создал диких,
Львов когтистых, хищно-гро^зных;
А по львиному подобию —
Кошек милых, грациозных.

Человека сотворил он,
Как царя пустынь окрестных;
А по образу людскому —
Обезьянок интересных.

«Сам себе, — смеялся дьявол, —
Вторит всемогущий тонко:
Под конец еще, пожалуй,
По быку создаст теленка!»

2

И господь ответил чорту:
«Сам себе я вторю тонко, —
После солнца создал звезды,
По быку создам теленка;

После львов в косматых гривах
Создал кошек шаловливых,
Обезьян — как человека;
Ты ж бездарен был от века!»

3

Да, солнце, львов, людей красивых
Я сотворил себе во славу;

А звезды, кошек, мартышек игривых
Я создал себе самому на забаву.

4

Едва лишь я начал труд творенья,
Как через неделю мир был готов;
Но план глубочайший миростроенья
Я обсуждал века веков.

По плану всякий действует смело
И быстро работу мастерит;
Но самый план — иное дело:
Здесь дух художника сокрыт!

Я должен был один, нахмурясь,
Лет триста каждый день размышлять, —
Как лучше важных *doctores juris*
И самых маленьких блох создать».

5

В день шестой сказал создатель:
«Я закончил, наконец,
Это чудное творенье, —
Вот мечты моей венец!

Как лучи в волнах играют!
Словно золото в них льют!
Как деревья зеленеют!
Да не живопись ли тут?

Не белеют ли барашки
Алебастром на лугу?
Да, назвать натуру эту
Натуральной я могу!

И земля, и небо дивно
Отражают образ мой;
Петь хвалу мне будет вечно
Иаумленный род людской!

6

Из пальца высосать кто бы мог
Для звучных песен сюжеты?

Из ничего не творит и бог,
Равно как земные поэты.

В мужчину предвечной грязи комок
Легко претворен был мною;

Ребра же мужского жирный кусок
Прекрасною стал женою.

Для неба взял я земное зерно,
Лик ангелов — женщин цветенье;
Законченность формы — вот чем сильно
И ценно любое творенье!

7

Зачем я, в сущности, решил
Творить, — охотно я открою:
Призвание овладело мною,
Порыв безумно-пылких сил.

Да, я болезнь считать готов
Причиной творческого рвения;
Творя, я ждал выздоровленья, —
Творя, я стал опять здоров.

ТАНГЕЙЗЕР

(Легенда)

1

Страшитесь козней сатаны,
Честные христиане!
Пою Тангейзера судьбу,
Чтоб вас остеречь заране.

Тангейзер, рыцарь молодой
И в счастье полный веры,

Решил вселиться и любви
Искать в горах Венеры.

Он пробыл там семь долгих лет.
«Венера, будь здорова!
Я больше жить с тобой не хочу;
Даруй мне волю снова».

«Тангейзер, славный рыцарь мой,
Меня целуешь ты мало!
Целуй скорее и скажи:
Чего тебе не достало?»

Не лучшим разве тебя вином
Я каждый день поила?
И не венками ли из роз
Я каждый день тебя чтила?»

«Венера, ласки и вино
Невыносимы стали;
Я болен сердцем и всей душой
И жажду теперь печали.

Наскучили мне веселье и смех,
Теперь пужны мне слезы;
Колючих терний ищу я себе
На место душистой розы».

«Тангейзер, милый рыцарь мой
Ведь ты заводил ссору;
А сам поклялся не покидать
Меня и эту гору.

Пойдем-ка в комнату мою,
Понезимся там с тобою;
Лилейно-белым телом я
Чудесно успокою».

«Венера, милая жена,
Ты вечно не увянешь;
Пленила многих ты досель
И впредь пленять не устанешь.

Но чуть лишь я вспомню царей и богов,
Что встарь тобою владели, —
И тошно думать мне о твоём
Лилейно-белым телом».

Подумать даже страшно о том,
Скольких ещё будет уделом —
В веках градущих владеть твоим
Лилейно-белым телом».

«Тангейзер, славный рыцарь мой,
Не говори так едко,
А лучше, пожалуй, меня припей,
Как и бивал нередко.

Побей, пожалуй, но гордость мою
Насмешкой своей коварной
Не оскорбляй, христианин,
Сухой, неблагодарный!

Любила уж слишком я тебя, —
За это мне такую
Ты платишь бранью... Ну, ступай,
Сама я двери открою».

2

Звонками и звоном, и пеньем Рим
Зовёт богомольцев к святыне:
Церковное шествие тянется там,
И папа посередине.

Смиренного Урбана чело
В лучах триединой короны;
Он пурпурной мантией облачен,
Идут у шлейфа бароны.

«Святейший отец наш, папа Урбан,
Хоть шествия чин нарушу,
Но исповедь примешь ты здесь мою,
Из ада спасешь мою душу».

Духовное пение смолкло; народ
Отхлынул, в круг расступился;
Кто он, усталый, больной пилигрим,
Что к папским ногам свалился?

«Святейший отец наш, папа Урбан,
Ты разрешаешь и вяжешь;
Ты можешь из ада меня спасти,
Лишь слово прощенья скажешь.

Я — рыцарь Тангейзер; задумал жизнь
Любви посвятить и веселью,
И в гору Венеры пошел, и там
Сем лет провел с этой целью.

Венера — красавица; равной ей нет;
Весь в локонах пышный волос;
Как роз аромат, как солнечный свет,
Ее упоительный голос.

Как ищущий меду мотылек
Порхает над цветами,
Так я витаю своей мечтой
Над розой — ее устами.

В лице благородство; глаза ее
Глядят прельстительно мило;
Но лишь упал на тебя этот взор, —
И дух у тебя захватило.

Но лишь упал на тебя этот взор, —
Стоишь, прикованный чудно;
Расстаться с нею, уйти из горы
Так трудно было, так трудно!

Я спасся, ушел из этой горы,
Но дивный взор, неотвратный,
Меня преследует везде
И шепчет: вернись обратно!

Бесплотным призраком днем брожу,
И ночью лишь сердце бьется.

И я Венеру вижу: она
Сидит со мной и смеется.

Смеется блаженно, бешено так,
Так сладко и так здорово;
А зубы как жемчуг! Лишь вспомню смех,
Все плачу, снова и снова.

Всесильна моя любовная страсть,
И тщетно борюсь я годы.
Она — водопад, свергающий с гор
Неудержимые воды!

По кручам, с одной на другую, вниз,
Он, прядая, грохочет,
И пусть даже шею себе свернет,
Паденья сдержать не хочет.

Когда б я властителем неба был,
Венере, в виде подарка,
Поднес бы я небо, солнце, луну
И звезды, что блещут ярко.

Всесильна моя любовная страсть
И сердце она сжигает;
Не ею ль свои мучения ад
Уж здесь, на земле, начинает?

Святейший отец наш, папа Урбан,
Ты разрешаешь и вяжешь;
Ты можешь из ада меня спасти,
Лишь слово прощенья скажешь».

Но папа руки к небу воздел
И рек, со скорбью и с жаром:
«Тангейзер, злосчастна твоя судьба,
Подпал ты всепильным чарам.

Тот дьявол, что Венерой зовут,
Из всех на свете худший,
Не вырваться из его когтей
Тебе, о сын мой заблудший.

Душой оплатишь ты теперь
Греховные наслажденья;
Ты небом отвержен и обречен
На вечные мученья».

3

Поспешно и долго Тангейзер идет;
У рыцаря ноги в ранах.
К горе Венериной он подошел
В полночный час, уж в туманах.

Венера услышала и тотчас
С постели соскочила
И к милому бежит, и его
В объятья заключила.

Пошла у ней из носу кровь; из глаз
Струились слезы; с любовью
Лико дорогого друга она
Кропила слезами и кровью.

Но рыцарь молчал. Он прилег на постель —
Усталому отдых нужен;
Венера на кухню пошла и сама
Ему состряпала ужин.

Она подала ему хлеб и суп,
И ноги больные обмыла,
И волосы причесала, и так
Смеялась сладко и мило.

«Тангейзер, возлюбленный рыцарь мой,
Давно ты со мной расстался;
Ты снова здесь; расскажи теперь,
В каких ты странах скитадся?»

«Венера, дивная жена,
Я был по делу на юге,
Дошел до Рима и поспешил
Обратно, к своей подруге.

Рим на семи расположен холмах,
И Тибр меж них протекает;
Там папу Урбана я видел; он
Поклон тебе посылает.

Флоренцию видел я и Милан,
Когда к тебе возвращался,
И по горам швейцарским потом
К вершинам смело взбирался.

Когда я высей альпийских достиг,
Метель поднялася скоро.
Вверху надо мной кричали орлы,
Внизу смеялись озера.

С высот Сен-Готтарда услышал я
Германии спящей храпенье;
Ее убаюкало в сладкий сон
Трех дюжин монархов правленье.

У швабов я в «школе портов» был;
Милейшие все мальчонки —
Сидят на горшочках, и колпачки
Надеты на головенки.

Во Франкфурт я к шабашу прибыл, ел
Там клецки и шалет; вашей
Нет лучше религии! Тоже люблю
Вареного гуся с кашей.

Пса видел я в Дрездене; прежде был
Хорош; теперь выпадают
У бедного зубы один за другим,
Он мочится лишь да лает.

А в Веймаре, муз овдовелых гнезде,
Немало слышал я жалоб, —
Что Гёте умер, а Эккерман жив,
Хоть жить не ему надлежало б.

В Потсдаме услышал я шум и крик.
Что это, — спросил, — означает?

«А это в Берлине, — сказали, — Ганс
Про наше столетье читает».

В Геттингене наука цветет,
Но фруктов там не родится;
Пришел я глубокой ночью туда
И света не мог добиться.

А в Целль, в арестном доме, нашел
Ганноверцев лишь. О, дети
Отчизны! Нет нам общей тюрьмы
И общей для нации плети!

На улицах в Гамбурге страшная вояь.
Спросил я: в чем тут причина?
Жиды, христиане — один ответ:
Воняет, мол, просто тина.

Хоть в Гамбурге честный живет народ,
Но я мошенников много;
На бирже я думал, что все еще
Я в Целль, в стенах острога.

Из Гамбурга я в Альтову попал,
Доволен ее красюю;
В другой раз как-нибудь расскажу.
Что было там со мною».



ЖЕНЩИНА

Любовь их была глубока, сильна,
Был вором он, потаскушкой — она.
Когда ему сплутовать удавалось,
Она, упав на кровать, смеялась.

Летели шумно и буйно дни;
Ночами целовались они.
В тюрьму попал он. Она не прощалась;
Глядела из окна и смеялась.

Послал сказать он: «Зайди ко мне!
С ума нейдешь наяву, во сне;
Душа моя по тебе стосковалась!»
Качала она головой, смеялась.

Чем свет его вешать повели,
А в семь часов в могилу снесли.
А в восемь уж она спозналась
С другим, пила, и вновь смеялась.

ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬД

Крепкий, черный, челн просторный
Мрачно режет лоно вод.

В нем с угрюмой, тихой думой
Стража смертная плывет.

Бледный ликом, в сне великом,
Недвижим лежит поэт.
Голубые, как живые,
Смотрят очи в горний свет.

Словно жалкий клич русалки,
Звонко стонет глубина.
Это волны, скорбью полны,
Мерно плещут вокруг челна.

ЗАКЛИНАНИЕ

Безмолвен, сидит монах молодой
Один в каморке убогой
И старую книгу волшебных чар
Читает с тайной тревогой.

Бьет полночь. Не в силах он удержать
Томящего грудь желанья;
И, бледный, взывает к исчадьям тьмы,
Творит обряд заклинанья.

О, духи! верните из гроба прах
Умершей девы прекрасной,
Вдохните жизнь ей на эту ночь, —
Отдамся я неге страстной.

Едва заклятье он произнес,
Как вдруг задрожал всем телом,
Он видит — безмолвно пред ним встает
Краса умершая в белом.

Но взор печален. Из хладных уст
Исходят вздохи, стенанья.
Садится мертвая рядом с ним,
И оба глядят в молчаньи.

ЗЛОСЧАСТЬЕ

Звезда сверкала так смело —
И вниз кувырком полетела.
Любовь — в ответ на твой вопрос: —
Звезда, упавшая в навоз.

Как пес издыкающий, гнойный,
Лежит она в яме помойной.
Кричит петух, свинья — вблизи,
Звезда валяется в грязи.

О, если бы в час урочный
На ковер мне пасть цветочный!
О, как хотелось мне всегда
В душистой могиле почить без стыда!

ANNO 1829

Чтоб кровью изойти легко,
Дай благородный мне простор!
Не дай мне задохнуться здесь,
Средь этих лавочничьих нор.

Едят во-всю и пьют во-всю,
И каждый жизни рад, как крог,
А добра их широка,
Как дырка в кружке для сирот.

Сигару каждый сжал в зубах,
В карманы руки заложил;
Пищеваренье их легко, —
Кто б их самих переварил!

Торгуют пряностью они
Со всей вселенной, — почему ж
За пряностью всегда стоит
Душок от их тресковых душ?

О, если бы порок большой,
Кровь, преступление, печаль, —
Лишь бы не этот сытый стыд
И счетоводная мораль!

О, туча в небе, я с тобой,
И все равно мне, в день, иль в ночь!
В Лапландию, иль в Африку,
Иль хоть в Штетин — но прочь лишь,
прочь!

О, мчи меня — не слышишь ты —
Ах, туча в небе так умна!
Перелетая горюд наш,
Робко торопит лет она.

ANNO 1839

Тебя, Германию родную,
Почти в слезах мечта зовет!
Я в резвой Франции тоскую,
Мне в тягость ветреный народ.

Сухим рассудком, чувством меры
Живет блистательный Париж.
О, глупый бубен, голос веры,
Как сладко дома ты звучишь!

Люди учтивы. Но с досадой
Встречаю вежливый поклон.
В отчизне истинной отрадой
Была мне грубость испокон.

Дамы прелестны. Как трещотки,
Не знают устали болтать;
Милей немецкие красотки,
Без слов идущие в кровать.

Здесь, каруселью иступленной,
Все кружится, как дикий сон.

У нас порядок заведенный
Навеки к месту пригвожден.

Мне словно слышится дремливый
Ночного сторожа рожок,
Ночного сторожа призывы
Да соловьиных песен ток.

В дубравах Шильды безмятежной
Таким счастливым был поэт!
Там в звуки рифм вплетал я нежно
Фиалки вздох и лунный свет.

РАННИМ УТРОМ

Над предместьем Сэн-Марсо
Пал туман сегодня утром —
Поздней осени туман,
Словно хлопья белой ночи.

Проходя сквозь эту ночь,
Я увидел женский образ,
Промелькнувший предо мной,
Странно схожий с лунным светом.

Да, она, как лунный свет,
Проскользнула мягко, нежно.
Стройной женщины такой
Никогда я здесь не видел.

Или то сама луна
Средь латинского квартала
Задержалась на груди
Своего Эндимиона?

Возвращаясь, я гадал —
Почему она таилась?
Иль богине я предстал
Фебом, солнечным возницею?

РЫЦАРЬ ОЛАФ

1

У дверей собора двое,
И в кафтанах оба красных,
И один из них властитель,
А другой — палач придворный.

Палачу король промолвил:
«По поповским песням слышу,
Что кончается венчанье, —
Будь с секирой на готове».

Перезвон. Органа ропот,
И поток из церкви хлынул.
Толпы пестрые народа
Окружают новобрачных.

Словно смерть бледна, тосклива
Молодая королева.
Смело смотрит рыцарь Олаф,
Алых уст дерзка улыбка.

Королю он, усмехаясь,
Молвит алыми устами:
«Здравствуй, тесть, падет сегодня
Голова моя на плаху.

Я умру сегодня. Дай же
Лишь до полночи пожить мне,
Чтобы свою я справил свадьбу
Пир с пляскою веселой.

Дай пожить мне, дай пожить мне,
Чтоб последний выпить кубок,
Чтоб сплясать последний танец,
Дай пожить мне до полночи».

Палачу король промолвил:
«Зятю нашему дарую

Жизнь его до полуночи, —
Будь с секирой наготове».

2

Рыцарь сидит за брачным столом,
Последний кубок полон вином.
К плечу его, бледна,
Припала жена.
Палач стоит перед дверью.

Бесчисленных факелов блещут огни,
И в круг гостей вступают они,
И пляшут в полночный час
В последний раз.
Палач стоит перед дверью.

Несется скрипок веселый звон,
Несется флейты печальный стон,
У всех, кто на пляску глядит,
Сердце щемит.
Палач стоит перед дверью.

И пляска длится, и зал дрожит,
И рыцарь, склонясь к жене, говорит:
«Тебя люблю я так сильно,
Ждет холод могильный».
Палач стоит перед дверью.

3

О, рыцарь Олаф, час настал,
Окончены с жизнью расчеты,
Ты королевскую дочь люби
Свободно и без заботы.

Во тьме ночной блестит топор,
Псалмы бормочат монахи.
В кафтане красном человек
Стоит у черной плахи.

Выходит рыцарь из дворца.
Весь двор блестит огнями,

Смеются алые губы его,
Он алыми молвит устами:

«Я славлю солнце, славлю луну
И звезд небесных сиянье
И славлю птиц я в вышине
Веселое щебетанье.

Я славлю море, славлю твердь,
Я славлю цветы полевые,
Я славлю фиалки, они — как глаза
Жены моей голубые.

Глаза-фиалки моей жены,
За вас моя жизнь пропала;
И славлю бузинную чашу я,
Где ты моею стала».

БЕРТРАН ДЕ БОРН

Высокий дух во взоре смелом,
В лице прозрения печать.
Бертран де Борн избрал уделом
Сердца людские покорять.

Над львицею Плантагенета
Явил он, в звуках, власть свою
И песней заманил в тенета
Ее и всю ее семью.

Как он отца провел проворно!
В слезах вся ярость изошла,
Как только речь Бертран де Борна,
Чаруя сердце, потекла.

ВЕСНА

Сверкают волны — волна за волной,—
Как сладко нам любится в мае!

Пастушка сидит над рекой,
Венки золотые сплетая.

Кругом цветы, кругом аромат —
Как сладко нам любится в мае!
Вдохнула она, потупив взгляд:
Кому же венки сплела я?

Вот едет всадник над той рекой,
Поклон исполнен привета.
Пастушка глядит вослед с тоской —
Колышатся перья берета.

И вся в слезах, каменеет она,
Венки в поток бросая.
Поет соловей, любовь, весна —
Как сладко нам любится в мае!

АЛИ-БЕЙ

Али-бей, поборник веры,
Дремлет в сладостных объятьях.
Он по милости Аллаха
На земле уж рай вкушает.

Одалиски краше гурий
И стройнее, чем газели, —
Эта бороду щекочет,
А другая гладит темя.

Третья пляшет пред владыкой
И поет под звуки лютни,
И, смеясь, целует сердце,
Исходящее блаженством.

Но внезапно раздаются
Звон мечей и трубный грохот,
Крики, выстрелы из ружей, —
Господин, подходят франки!

И герой в седло садится,
В бой спешит — сквозь сон как будто;
Все-то, кажется, он дремлет,
Дремлет в сладостных объятьях.

Под ударами героя
Франки дюжинами гибнут —
На устах его улыбка
Кроткой неги и блаженства.

ПСИХЕЯ

Со светильником зажженным,
Страсти пламенной полна,
К ложу юного сопливца
Наклоняется она.

В краску, в дрожь ее бросает
Красоты бессмертной вид; —
Бог любви, лишен покровов,
Пробудился и бежит.

Восемнадцать столетьям
Смертных мук не побороть!
И постом казнит Психея
Соблазнившуюся плоть.

НЕЗНАКОМКА

Златокудрую красотку
Я встречаю ежедневно
На дорожках тюильрийских,
Под навесами каштанов.

Что ни день она гуляет,
С ней две страшные старухи —
Это тетки? Иль драгуны,
Нарядившиеся в юбки?

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

И никто не мог сказать мне,
Кто она? Друзей об этом
Я расспрашивал, но тщетно;
И от страсти начал чахнуть.

Я напуган был усами
Двух ее суровых спутниц,
Но еще сильнее был я
Сердцем собственным напуган.

Не отваживаясь слова
Прошептать ей мимоходом,
Я едва решался взором
Пламень выразить сердечный.

Лишь сегодня я услышал,
Что ее зовут Лаурой,
Как и ту, что покорила
Сердце славного поэта.

Так — Лаура! Это значит,
Нынче стал я в ряд с Петраркой,
Что в канцонах и сонетах
Красоту ее прославил.

Так — Лаура! Как Петрарка,
Платонически могу я
Растекаться в дивном звуке, —
Он ведь дальше не пошел!

СМЕНА

Я с брюнетками покончил.
Вновь пришел на этот год
Русых кос, очей лазурных
Своевременный черед.

Мной любимая блондинка
Так чиста кротка, нежна!

Дайте лилию ей в руки, —
Станет ангелом она.

Члены тонкие воздушны;
Пропасть чувства, тела нет,
Чистый дух любовью, верой
И надеждою согрет,

Утверждает, что не знает
По-немецки. Нет, дружок,
Я не верю: неужели
Не знаком тебе Клопшток?

ФОРТУНА

Нет, Фортуна, как ни стой,
Верх возьму я над тобой;
Благосклонностью твоею
С бою, силой овладею.

Я тебя превозмогу,
Я в ярмо тебя впрягу;
Ты оружие положишь —
Для чего ж ты раны множишь?

Видишь, кровь моя течет,
Дух отважный устает,
И, победу торжествуя,
Вместе с нею в гроб сойду я.

ЖАЛОБА СТАРО-НЕМЕЦКОГО ЮНОШИ

Отраднa доблести стези,
Горька ее утрата!
Меня заманили злые
Товарищи в сети разврата.

Они все деньги мои сперва
Забрали в карты, в кости.

Потом, чтобы меня утешить,
Свели к девицам в гости.

Потом, меня напоив допьяна,
Все платье на мне изорвали,
И — ах, я бедный, бедный! —
За дверь меня прогнали.

А после, под утро, — до сих пор
Дивлюсь я случайности странной:
Я в Касселе, несчастный,
Проснулся под охраной.

ОСТАВЬ!

Влюбился свет в ночную тьму,
Весна влюбилась в зиму,
Жизнь в смерть безумно влюблена, —
И любишь ты меня.

Ты любишь — пали на тебя
Зловещие тени ночи,
И блекнет нежный цвет,
Душа истекает кровью.

Оставь меня, отдай любовь
Одним мотылькам веселым,
Что порхают в сияньи дня, —
Оставь меня — я несчастен!

МЕТТА

(С датского)

Петер и Бендер сидят за вином,
И Бендер молвит, угрюмый:
«Ты песнею можешь весь мир прельстить,
Но Метту прельстить и не думай».

А Петер: «Ставлю коня я в заклад,
А ты — собак своих свору,
Что Метта на песню мою придет
Сегодня, в ночную пору».

И вот, когда пробил полночный час.
Раздалась Петера песня;
Звенит над рской, летит через лес,
Песется напев чудесный.

Притихли ели под песни звук,
Струи в реке застыли,
Трспещет месяц в небесах,
И звезды слух наострили.

Проснулась Метта, смущена:
Что там за дивные звуки?
Оделась быстро и вышла в ночь, —
На горе вышла, на муки.

Идет через лес и рекою вброд,
Все дальше, на звук призывный;
К себе ее Петер в ту ночь завлек
Своею песнею дивной.

А утром, когда вернулась домой,
Уж ждал ее муж суровый:
«Куда ты ходила сегодня в ночь?
Течет с твоей юбки новой!»

«Ходила я на русалочий пруд,
Гадать туда ходила;
Русалка, плескаясь в пруду, меня
Забрызгала, замочила».

«Там, у пруда, сухой песок,
Ты шла не по той дороге,
Изранены щеки твои, смотри,
И в кровь изодраны ноги».

«Я ночью к эльфам ходила в лес
Смотреть всеселье ночное,

Изранили ноги мне и лицо
Шипы и колкая хвоя».

«Танцуют эльфы лишь весной
На мягких цветных полянах,
А нынче ветер в лесу свистит,
И осень идет в туманах».

«У Петера Нильсена я была,
Прельстившись песнею дивной;
Шла через лес и рекою вброд,
Все дальше, на звук призывный.

Сильна его песня, сильна как смерть,
Зовет во мглу гробовую.
Доныне звенит еще в сердце жар;
Я знаю, теперь умру я».

Уныло колокол гудит,
И барков крепко одета;
И это значит, что обрела
Кончину бедная Метта.

А Бендер вздыхает от всей души,
Ступая за колесницей:
«Ну, вот, довелось и жены дорогой
И верных собак лишиться».

ВСТРЕЧА

Под липою музыка звучно гремит;
Танцует пар вереница:
И тут же двух пришельцев чета —
Стан строен, прекрасны лица.

Кружатся плавно вперед, назад
С какой-то странной повадкой;
Смеются и вертят головой,
И дама шепчет украдкой:

«Прекрасный танцор, на шляпе у вас
Цветок волшебной породы:
Растет он лишь в море, на самом дне;
Нет, вы не Адамова рода.

Вы — водяной; пришли на соблазн
Красавицам здешним невинным,
Я с первого взгляда узнала вас
По рыбьим зубам вашим длинным».

Кружатся плавно вперед, назад
С какой-то странной повадкой
Смеются и вертят головой;
Мужчина шепчет украдкой:

«Скажите, сударыня, почему
Как лед ваше рукопожатье?
Ответьте, зачем подмочен подол
Белого вашего платья?»

Я сразу узнал, когда предо мной
Присела, смеясь, девица.
Как я, не Адамова рода ты —
Русалочка ты, сестрица!»

Замолкли скрипки, окончен вальс.
Учтиво они расстаются:
Знакомы слишком друг другу они
И вновь уже не сойдутся.

КОРОЛЬ ГАРАЛЬД ГАРФАГАР

Король Гаральд на дне морском
Сидит под лазурным сводом
С прекрасной фесью своей;
А год проходит за годом.

Не разорвать таинственных чар,
И нет ни смерти, ни жизни;
Минуло двести зим и лет
Его последней тризне.

На грудь красавицы склонясь,
Король глядит в ее очи;
Дремотной негою он объят,
Проходят и дни и ночи.

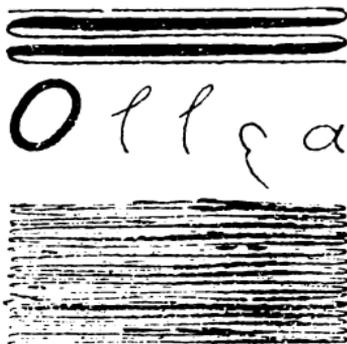
Златые кудри короля
Иссеклись и побелели;
В морщинах желтое лицо,
И слабость в поблекшем теле.

Порой тревожат страстный сон
Волнение и грохот дальний;
То буря на море шумит,
Трясется дворец хрустальный.

Порою мнится, что ветер донес
Норманнский крик родимый.
Поднимет радостно руки он
И никнет, вновь недвижимый.

Порой до слуха долетит
Песня пловца над морем,
Что про Гаральда сложена,
И сердце теснится горем.

Король застонет, и глаза
Наполнятся слезами;
И фея к устам его тогда
Веселыми льнет устами.



РОДОСЛОВНАЯ МУЛА

Добрjak-отец твой был осел,
Как всем известно безусловно;
Но мать кичливая твоя
Была кобылой чистокровной.

Итак, ты мул! И возражать
Нейдет на это с гордой миной.
Но говорить ты можешь всем.
Что ты породы лошадиной;

Что Буцсфал был предок твой;
Что в панцырях и латах деда
Твои, под знаменем креста,
Стяжали громкие победы;

Что благородный, гордый конь
Есть в родословной вашей тоже, —
Тот конь, что под Готфридом был,
Когда вступал он в город божий;

Что дядя твой весь век служил
Баярду славному с почетом;
Что тетка Россинанта в бой
Ходила храбро с Дон-Кихотом.

Конечно, отвергай родство
С ослом, возившим Санчо; тоже

И с тем, который вез Христа,
Признать родство тебе негоже.

Нет также нужды украшать
Тебе свой герб ослиным ухом;
Хвали лишь громче сам себя —
И знай, что все поверят слухам.

СТРАНСТВУЙ

Когда обманет тебя любовь,
Скорей опять влюбляйся,
Но лучше ранец приготовь
И странствовать вновь пускайся.

Найдешь плакучие ивы вдали,
Найдешь голубые воды,
Там выплачешь боль своей любви,
Свои смешные невзгоды.

В горах, пугаясь высоты,
Ты ахнешь, глядя в долины;
Но клекот орлиный услышишь ты,
Достигнув крутой вершины.

Почти орлом теперь ты стал,
И жизнь в душе занграла,
И ты поймешь, что потерял
В долине очень мало.

У КАМИНА

На дворе метель и вьюга,
Окна снегом занесло;
Здесь же, в комнатке уютной,
Так спокойно и тепло.

Я сижу в широком кресле,
Предо мной камин трещит,

С закипающей водою
Чайник песенку жужжит.

На полу лежит котенок,
Греет лапки у огня.
Думы странные наводит
Яркий пламень на меня.

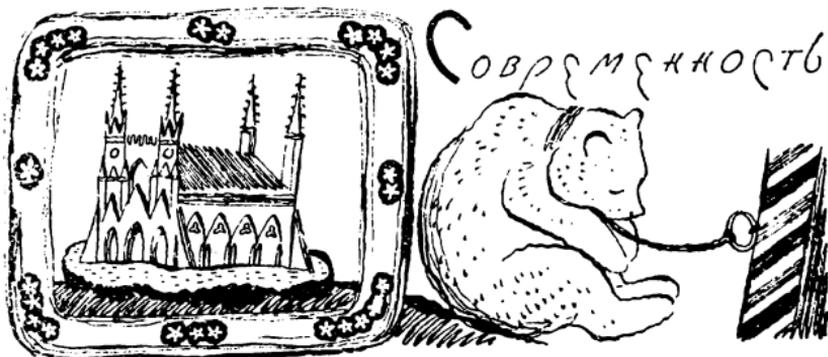
И забытые явленья
Возникают чередой,
С потускневшим их сияньем,
С маскарадной пестротой.

Вижу я, в толпе кивают
Мне красавицы тайком,
И, кривляясь, арлекины
Скачут с хохотом кругом.

Вот глядят в раздумьи важном
Лики мраморных богов,
И дрожат при лунном свете
Листья сказочных цветов.

Вот плывет волшебный замок,
А потом моим глазам
Предстает блестящий поезд
Храбрых рыцарей и дам.

Все проносится так быстро,
Тенью легкою скользит.
Ах! вода вскипела, льется
На котенка. — он пищит.



ТЕОРИЯ

Бей в барабан и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
Вот тебе смысл глубочайших книг,
Вот тебе суть науки всей.

Людей барабаном от сна буди,
Зорю барабань в десять рук,
Маршем вперед, барабания, иди,
Вот тебе смысл всех наук.

Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл наук прямой!
Я понял его, потому что умен,
Потому что я барабанщик лихой.

АДАМ 1-Й

Ты выслал с пламенным мечом
Небесного городского,
И выгнал меня из рая вон,
Не говоря ни слова!

И я пошел со своей женой
К землям другим и странам;
Но все, что и от знания вкусил,
Тебе не вернуть обманом.

Тебе не вернуть, что знаю тебя
Малым таким и бедным,
Хотя через гром и смерть на земле
И хочешь ты слыть победным.

О, боже! Как все-таки жалко твое
Consilium abeundi!
И это зовется Magnificus
Миров и Lumen Mundi!

Я знать не хочу ничего вперед
О райском саде этом;
Это был не подлинный рай —
Там были деревья под запретом.

Я права полной свободы хочу!
Малейшее ограниченье,
И для меня превращается рай
В ад и заточенье.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ты печатаешь такое!
Милый друг мой, это гибель!
Ты веди себя пристойно,
Если хочешь жить в покое.

Никогда не дам совета
Говорить в подобном духе —
Говорить о папе, клире
И о всех владыках света!

Милый друг мой, я не в духе!
Все попы длинноязычны,
Долгоруки все владыки,
А народ ведь длинноухий!

ТАМБУР-МАЖОР

Да, это старый тамбур-мажор,
В каком он нынче загоне!
А знал и счастье, и задор,
И блеск — при Наполеоне.

Как балансировал он жезлом,
Смеясь блаженно при этом!
Мундир, сверкающий серебром,
Был залит солнечным светом.

Когда, под бой барабанный, он
Вступал в города и села,
В ответ ему бились со всех сторон
Сердца прекрасного пола.

Придет, увидит и победит —
Легко и свободно очень;
И черный ус, бывало, блестит,
Слезой немецкою смочен.

Что ж, мы терпели, вражду тая!
Везде и всюду в ту пору
Сдавались Наполеону мужья,
А жены — тамбур-мажору.

И долго мы сносили насасть,
Тверды, как дубы родные,
Пока не дала нам высшая власть
Приказ разогнуть наши выи.

Тогда-то, как дикие зубры, рога
Мы подняли, налетели
На франков, и сбросили иго враг
И Кернера песни запели.

Ужасные песни, терзавшие слух
Тиранов сплошным укором!
От них во весь устремились дух
Император с тамбур-мажором.

Обоих возмездья настиг закон,
И оба кончили скверно.
Попался в руки Наполеон
Британцам жестокосердным.

На острове Елены они
Терзали пленника жутко,
Пока не пресек его скорбные дни
Мучительный рак желудка.

Тамбур-мажор был тоже смещен
И долго был не при деле.
Чтоб с голоду не подохнуть, он
Работает в нашем отеле.

Он топит печи, носит дрова,
На кухне моет посуду;
Трясется седая его голова
На лестницах и повсюду.

Приятель Фриц, заходя за мной,
Всегда уж выберет случай
Беднягу, с походкой такой смешной,
Подергать и помучить.

Оставь свои насмешки, о Фриц!
Противно германским приличьям
Глумиться тупо над павшим ниц,
Поверженным в прах величьем.

Ты лучше, Фриц, придержи язык,
С почтеньем его приветствуй:
По линии матери этот старик,
Весьма возможно, отец твой.

ВЫРОЖДЕНИЕ

Ужель растлилась и природа,
И властен грех людской и тут?
По мне, и звери, и растенья
Теперь, как все и каждый, дгут.

Не верю в лилии невинность:
К ней поцелуем нежно льнет
Франт-мотылек; а напоследок
С ее стыдом и упорхнет.

Готов и в скромности фиалок
Я усомниться. Все они,
Маня нарядным ароматом,
О славе грезят в наши дни.

Не знаю, чувствует ли также
То, что поет он, соловей.
Он бредит, стонет и рыдает
Лишь по привычке, ей же ей.

Исчезла правда в этом мире,
И верности не видит свет.
Псы пахнут и хвостом виляют,
Как встарь, но верных больше нет.

ГЕНРИХ

Пред Кэносским замком ночью,
И дождливой, и холодной,
Ждет германский кесарь Генрих,
Босиком, во власянице.

Из окошка, сверху смотрят
Две фигуры: в лунном свете
Плешь Григория седьмого
И Матильды грудь мерцают.

Генрих бледными губами
Кротко шепчет: «Pater noster»,
Но в душе озлоблен кесарь,
И в душе другие речи:

«Далеко, в моих владеньях,
Вознеслись крутые горы,
И растет, от всех сокрыто,
В них железо для секиры.

Далеко в моих владеньях,
Разрослись леса из дуба,
И растет в крепчайшем дубе
Рукоятка для секиры.

Ты, мой край родной и верный,
Ты родишь на свет и мужа,
И змею моих мучений
Уничтожит он секирой».

ОБЕТОВАНИЕ

Вольность рейнская! Не надо
Бегать босиком среди ночи, —
Дожила ты до чулочек,
До подметок, до наряда.

Облачить должны свободу
В шапку теплой шерсти козьей,
Чтоб ушей не отморозить
Ей в январскую погоду.

Принесут тебе и кушать,
Заживешь на зависть миру.
Только разных там сатиров
Не должна ты больше слушать.

И не будь в решеньях быстрой,
Не показывай нахальства,
Чти высокое начальство,
Господина бургомистра!

ТЕНДЕНЦИЯ

Бард немецкий, пой достойно
Вольность нашу, чтоб она
Косность преодолевала,
Душу к делу вдохновляла
Марсельезы глянцем стройным.

Нет, не Вертером усталым
 Перед Лоттой у окна, —
 Словно колокол народу
 Должен ты вещать свободу,
 Быть мечом и быть кинжалом.

Но не пой ты мягче флейты,
 Что идилии полна,
 Будь в страпе своей тимпаном,
 Пушкой, трубами, тараном,
 Пой, труби, звени и бей ты!

Пой, труби, звеня тревожно,
 Гнев к тирану пей до дна,
 Лишь таким и стань поэтом,
 А в стихах держись при этом
 Общих мест — насколько можно!

ПОДКИДЫШ

Ребенок с тыквой-головой —
 Ус русский, но с седой косой, —
 С паучьи-цепкою ручонкой,
 Брюхатый, но с кишкою тонкой —
 Подкидыш! Эту дрянь капрал
 Взамен того, что он украл,

Подбросил в люльку в нашем доме.
 Сей выродок зачат в Содоме
 Шпионом, в сраме и грязи,
 С ищейкой-сукою в связи.
 Вам всем известен он, уродец, —
 В костер его или в колодец!

КИТАЙСКИЙ БОГДЫХАН

Отец мой трезвый был чужак
 И пьянства не любитель;

А я усердно пью коньяк
И мощный я властитель.

Питье волшебнее! Моя
Душа распознала это:
Чуть только вдоволь напился я, ---
Китай стал чудом света.

Цветет срединное царство; весна
Кругом благоухает;
Я сам — почти мужчина; жена
Ребенка зачинает.

Болезням настает конец;
Богато все и счастливо;
Конфуций, первый мой лейб-мудрец,
Вещает мысли надиво.

Сухарь солдатский на войне
Становится слаще конфеты;
И нищие в моей стране
Все в бархат и шелк одеты.

У мандаринов, у моей
Команды инвалидной,
Дух полон жара юных дней
И свежести завидной.

А пагода, веры надежный щит,
Достроена: в ней евреи
Крестятся — это им сулит
Дракона орден на шею.

Разведлся дух мятежей, как дым,
И громко кричат манджуры:
«Мы конституции не хотим,
Хотим бамбуков для шкуры!»

Чтоб начисто страсть убить к пью.
Врачи дают мне лекарства;
Я их не слушаю — и пью
Для блага государства.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

За чаркою чарка! Веселит
И вкусно, точно манна!
Народ мой, сам как пьяный, кричит
Восторженно: «Осанна!»

К УСПОКОЕНИЮ

Мы спим, как некогда Брут. — Но все ж
Проснулся он, и холодный нож
Цезарю в грудь вонзил средь сената!
Тираноедом был Рим когда-то.

Не римляне мы, мы курим табак.
Каждый народ устроен так, —
Свой у каждого вкус и значенье;
В Швабии варят отлично варенье.

Германцы мы: каждый смел и терпим.
Здоровым, растительным сном мы спим.
Когда же проснемся, мы жаждою страждем,
Но только не крови тиранов жаждем.

Каждый у нас верен, как дуб,
Как липовый луб, и сам себе люб;
В стране дубов и лип как будто
Трудно когда-нибудь встретить Бруга.

А если б у нас и нашелся Брут,
Так Цезаря он не сыскал бы тут,
Искал бы Цезаря он напрасно;
Пряники наши пекутся прекрасно.

У нас есть тридцать шесть владык
(Не много!), и каждый из них привык
Звезду у сердца носить с опаской,
И мартовы иды ему не указка.

Отцами зовем мы их всякий раз,
Отчизна же — та страна у нас,
Которой владеет их род единый;
Мы любим также капусту с свиняшой.

Когда наш отец гулять идет,
Мы шляпы снимаем — отцу почет;
Германия — набожный ребенок,
Это тебе не римский подонок.

МИР НАВЫВОРОТ

Да это ж мир стал на дыбы,
Мы ходим вверх ногами!
В лесах подстреливает дичь
Охотников стадами.

Телята жарят позаров,
И доют баб коровы;
В бой за свободу науки и свет
Идут христианские совы.

Геринг стал уже санкюлот,
Правду пишет Беттина,
И кот в сапогах представленье даст
Софокла на сцене Берлина.

Шимпанзе строит пантеон
Героям и поэтам,
А Масман причесался на днях,
Если верить газетам.

Германский медведь атеистом стал,
Не хочет больше молиться,
Тогда как французский попугай
Христианская ныне птица.

А укермаркский Монитёр
Более всех был колок:
Мертвый живому там написал
Ехидный самый некролог.

Против течения не стоит плыть,
Братья! Право, довольно ж!
Давайте пойдёмте на Темпловский холм
Кричать: «Живи, король наш!»

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Михель! С глаз упали шоры?
Замечаешь, простота,
Как прекрасный суп твой воры
Вырывают изо рта?

А в награду праздносят:
Будет в небе сыт твой труп,
Там, где ангелы готовят
Всеблаженный постный суп...

Что же, вера не слабее?
Не сильнее твой аппетит?
Кубок жизни в рот смелее,
Пусть героя песнь гремит!

Ешь, не бойся, Михель мпый,
Набивай живот теперь —
В тишине, на дне могилы,
Переваришь все, поверь.

ПОДОЖДИТЕ!

«Твой дар — блистать молниеносно;
Греметь — нет дара от богов».
Вы слепо судите и косно, —
Мне дан талант и для громов.

Когда-нибудь мой день настанет, —
Я должен вас предостеречь, —
Тогда мой голос грозно грянет,
Как гром, моя раздастся речь.

И много дубов те раскаты
Размечут в щепы по лесам.
И не одни падут палаты,
И не один погибнет храм!

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной:
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.

Проходят годы чередой.
С тех пор, как матери родной
Не видел я, прошло их много!
И все растет во мне тревога.

И грусть растет день ото дня.
Околдовала мать меня:
Все б думал о старушке милой —
Господь, храни ее и милуй!

Как любо ей ее дптя!
Пришлет письмо, — и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.

Забуть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет, —
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.

Крепка родная сторона.
Вовек не сломится она,
И будут в ней, как в оны годы,
Шуметь леса, катиться воды.

По ней не стал бы тосковать;
Но там живет старушка-мать;
Меня не родина тревожит,
А то, что мать скончаться может.

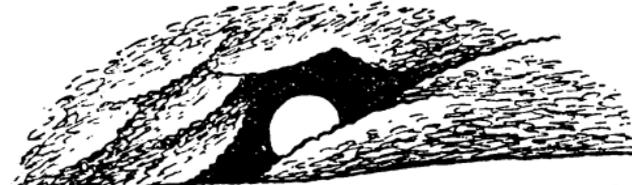
Как из родной ушел земли.
В могилу многие легли.

Кого любил я. Числить стану —
И бережу за раной рану.

Когда начну усопшим счет,
Ко мне на грудь, как тяжкий гнет,
За трупом новый труп ложится...
Болят душа, и ум мутится.

Но — слава богу! в щель окна
Пробился свет. Моя жена,
Ясна, как день, глядит мне в очи
И гонит прочь тревоги ночи.





Атта Троллв

Сон в летнюю ночь

МОТТО

Из мерцающего в мраке белого шатра
Мавританский князь выходит, встав на
бой с овра.

Из мерцающих во мраке белых облаков
Там проглядывает месяц, мрачен и суров,

„Мавританский князь“.

Ф Фрейлиграт





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Окруженное горами,
Улегающими в небо,
Убаюканное мирно
Шумом диких водопадов,

Эlegantное, в долине
Отдыхает Котерэ —
Белых домиков балконы,
А на них смеются дамы.

И, смеясь, глядят на площадь,
Переполненную людом,
Где танцуют два медведя
Под ревущую волынку.

Атта Троль с его супругой,
Именуемою Муммой, —
Те танцоры, и довольны,
И дивятся танцам баски.

С благородством и величьем
Пляшет славный Атта Троль,
Но косматой половине
Не хватает воспитанья.

Да и я смущен, что Мумма
Кашканирует, пожалуй,

И, вертя бесстыдно задом,
Grand'-Chaumière напоминает.

И вожатый благородный,
Что ее на цепи водит,
Тоже, кажется, заметил
Непристойность этих танцев.

Он вытягивает часто
По спине ее кнутом,
И ревет от боли Мумма,
Пробуждая отзвук в скалах.

Медвежатник этот носит
Шесть мадонн на круглой шляпе
Голову его хранящих
И от пули и от вшей.

Чрез плечо его накинут
Вышитый покров алтарный;
Он, болтаясь, как пальто,
Пистолет и нож скрывает.

Был он в юности монахом,
Был затем вождем бандитов.
Совместив две службы, он
Стал служить у дон Карлоса.

И когда за дон Карлосом
Рыцарство его бежало,
И взялися палладины
За пристойные ремесла

(Пан Шнаппанский стал поэтом),
Витязь наш благочестивый
Медвежатником пустился
С Муммою и Атта Тролем.

Он плясать их заставляет
Пред народом на базарах;
Ах! На рынке Котеря
Атта Троль в цепях танцует.

Атта Троль, когда-то живший,
Точно гордый царь лесов,
На свободных горных кряжах,
Нынче пляшет перед чернью!

Да, теперь для гнусных денег
Пляшет он, а ведь когда-то
В потрясающем величьи
Ощущал себя могучим.

Только вспомнит он о прошлом,
О своих лесных владеньях,
Как летят глухие звуки
Из его косматой груди.

Мрачно смотрит он — как черный
Маврский вождь у Фрейлиграта.
Тот неважно барабанил,
Этот столь же плохо пляшет.

И, увы, он возбуждает
Только смех. Сама Жюльетта
Насмехается с балкона
Над отчаяньем танцора.

Ах, француженка — Жюльетта,
Сердца нет в ее груди,
Но зато ее наружность
Изумительно прекрасна

И глаза ее большие —
Сеть лучистая, в которой
Наше сердце бьется нежно,
Точно пойманная рыбка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Черный князь у Фрейлиграта
Ударяет в нетерпенье
По большому барабану
И дерет его на части.

Потрясающая сцена
Для ушей и барабана. —
Но представьте вид медведя,
Обрывающего цепи!

Смолкли музыка и шутки,
Хлынул с площади базарной
С криком ужаса народ,
Дамы разом поблсднели.

От своих оков постыдных
Атта Троль освободился,
Вот он дикими прыжками
В узких улицах несется.

Все сторонятся учтиво, —
Он влетает на утесы,
Смотрит вниз, как бы с насмешкой,
И скрывается в горах.

И на площади пустынной
Остается только Мумма
С медвежатником. Вздвбесившись.
Он бросает наземь шляпу.

Топчет он ее, а с нею
И мадонн. Рвет одеяло
С гнусного нагого тела
И клянет неблагодарность.

Черную неблагодарность!
Ведь всегда он с Атта Тролем
Точно с другом обращался,
Научил его плясать.

Ведь ему он всем обязан,
Он обязан даже жизнью,
Ведь сто талеров хотели
Дать за шкуру Атта Троля!

На покинутую Мумму,
Что одна, с немой тоскою,

Млея и на задних лапах,
Пред разгневанным стоит,

Гнев высокий он обрушил.
Бьет ее и называет
Королевою Христиной,
Доньей Муньос и так дальше.

Это все случилось теплым
Летним вечером прекрасным.
Ночь, наследуя любовно
Дню, была, как он, чудесна.

Этой ночи половину
Простоял я на балконе,
И со мной была Жюльетта,
Наблюдающая звезды.

И она вздохнула: «Звезды
Всех прекраснее в Париже;
Зимним вечером мерцают
В лужах уличных они!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Летний ночи сон! Бесцельна
Песнь моя и фантастична,
Как любовь, как жизнь, бесцельна,
Как творенье и творец!

Лишь собою вдохновенный,
То несется, то летает
В царстве вымыслов чудесных
Мой возлюбленный Пегас.

Не полезный он, не кроткий
Водовоз гражданских чувств,
И не конь борьбы партийной
С патетическим копытом.

Нет, он золотом подкован,
Мой крылатый белый конь,

Удила его жемчужны,
Я их весело бросаю.

Мчи меня, куда захочешь! —
На воздушный горный путь,
Где от бездн остерегают
Резким ревом водопады!

Или в тихие долины,
Где дубы поднялись к небу,
И по их корням струится
Вековой источник саг!

Дай напиться и смочить
Мне глаза, — ах, я мечтаю
О воде, что превращает
Нас и в знающих и в зрячих.

Я прозрел! Мой взгляд проник
В глубочайшее ущелье,
Где берлога Атта Троля, —
Мне язык его понятен.

Удивительно знакомо
Мне звучит медвежья речь!
Не на родине ли милой
Я слышал уж эти звуки?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ронсеваль, долина славы,
Чуть твое услышу имя,
В сердце вновь благоухает
Голубой цветок поблекший!

Поднимаются, мерцая,
Отошедшие столетья,
Смотрят очи привидений
На меня, и я пугаюсь!

Звон и грохот! Сарацины
Защищаются от франков;

Как отчаянно звучит,
Окровавлен, рог Роланда!

И в долине Ронсевала,
Возле трещины Роланда,
Окрещенной так затем,
Что герой, ища дорогу,

Верным старым Дюрандалем
Разрубил утес отвесный,
И следы его удара
Вплоть до наших дней остались —

Там, в ущельи каменистом
И кустарником обросшем,
В диком ельнике укрыт,
Атта Троль лежит в берлоге;

Он в кругу своей семьи,
Отдыхает от тревоги
Бегства дикого, от плена
И публичных выступлений.

О, оградное свиданье!
Он детей нашел в берлоге,
Где воспитывал их с Муммой:
Четырех сынков, двух дочек.

Две девицы белокуры,
Точно пасторские дочки;
Рыжи мальчики, но младший,
Карнаухий, тот брюнет.

Этот младший был любимцем
Муммы, и она, играя,
Откусила сыну ухо
И, любя, его сожрала.

Удивительнейший мальчик!
И к гимнастике способен,
Кувьркается не хуже,
Чем гимнаст великий Масман.

По природному воспитан,
Знает лишь родной язык,
И жаргона греков, римлян
Никогда не изучал.

Вольный, бодрый и беселый,
Мыла он не переносит,
Презирует умыванье,
Как гимнаст великий Масман.

Удивительнейший мальчик!
Он на дерево взлезает
Вдоль крутых отвесных скал,
Замыкающих ущелье.

Он ползет на ту вершину,
Где его семья ночамп,
Собираясь вокруг отца,
Наслаждается прохладой.

И старик свою охотно
Им рассказывает жизнь,
Сколько зрел людей, народов
И как много претерпел,

По примеру Лаэртида,
Что в одном лишь с ним не схож:
С ним блуждала Пенелопа,
Черная его супруга.

И рассказывает также
Об успехе несравненном,
Что своим искусством танцев
Он снискал среди людей.

Говорит, что стар и млад
Восхищались и дивились,
Как плясал он на базарах
Под сладчайший звук волынки.

И в особенности дамы,
Многоопытные в танцах,

Бурно так рукоплескали,
Так поглядывали нежно.

О, тщеславие артиста!
Ухмыляясь, грезит старый
О былом, когда являл он
Перед публикой талант.

Опьяненный вдохновеньем,
Он решает показать,
Что не жалкий хвастунишка,
А танцор он несравненный.

Поднимается внезапно
И стоит на задних лапах,
И танцует, как бывало,
Главный танец свой, гавот.

И, разинув пасти, молча,
Созерцают медвежата,
Как занятно их родитель
Скачет в месячном сияньи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Атта Троль лежит в берлоге
На спине и скорбен духом;
Он посасывает лапу
И, посасывая, воет:

«Мумма, Мумма, черный жемчуг,
Тот, что я в пустыне жизни
Взял и вновь в пучине жизни
Уж навеки потерял!

Не увижусь я с тобою,
Разве только за могилой,
Где, земные скинув космы,
Прах преобразится твой.

Ах! Как хочется еще раз
Мне лизнуть родную морду

Милой Муммы, что сладка,
Как помазанная медом!

Как хотелось бы вдохнуть
Запах редкостный, присущий
Несравненной черной Мумме,
Точно запах роз любимый!

Но, увы, томится Мумма
В кандалах того отродья,
Что зовется человеком,
Мнит себя царем творенья.

Смерть и ад! Ведь эти люди
Все архи-аристократы,
И на нас, зверей, взирают
Нагло, гордо, сверху вниз.

Крадут жен у нас и деток,
Садят на цепь, убивают
Иногда, чтобы продать
Наши шкуры, наши трупы!

И себя считают вправе
Преступленья совершать
Против нас, медведей бедных.
Человеческое право!

Человеческое право!
Кто его им даровал?
О, конечно, не природа,
Неестественно оно.

Человеческое право!
Кто его им даровал?
Разум, что ли? Но ведь он
Не поступит неразумно!

Люди, вы нас выше только
Тем, что кормитесь вареной
Или жареною пищей,
Мы ж свою едим сыром.

Но конец один и тот же
Там и тут, — и благородно
Не питанье; благороден
Тот, чье сердце благородно.

Люди, чем вы лучше нас?
Что и знанье и искусство
Применяете? Однако
Мы нисколько не глупее.

Разве нет собак ученых?
Разве лошадь не не считает,
Как коммерции советник?
Плохо заяц барабанит?

В гидростатике бобры
Отличаются искусством;
Аист выдумал для вас
Применение клистира.

А ослы не пишут критик?
Обезьяны не на сцене?
Разве есть артистка выше,
Чем батавская мартышка?

Не поет ли соловей?
Фрейлиграт ли не писатель?
Кто воспел прекрасней льва,
Чем верблюд, его сородич?

Да и я в искусстве танцев
То же, что в писаньи Раумер;
Разве Раумер пишет лучше,
Чем танцую я, медведь?

Люди, разве тем вы лучше,
Что возносите надменно
Вашу голову, хоть в ней
Мысли низкие таятся?

Люди, разве тем вы лучше,
Что блестяща ваша шкура

И гладка? Но этим счастьем
Поделитесь со змеей.

Да, двуногие вы змеи!
Понимаю я, зачем
Вы в штанах! Чужою шерстью
Наготу змеи вы скрыли.

Берегитесь, дети, этих
Безволосых негодяев!
Дочки, замуж не идите
За чудовища в штанах!»

Не хочу писать я дальше,
Как медведь, в своем нахальном
Вольнодумстве, рассуждал
О природе человека.

Потому что сам я тоже
Человек и повторять
Не хочу все эти бредни,
Что в конце концов обидны.

Человек я и, конечно,
Лучше всех других зверей:
Никогда я прав рожденья
Отрицать теперь не стану.

И в борьбе с иною тварью
Буду преданно бороться
За людей и за святое
Человеческое право.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но, быть может, человеку,
Как ступени высшей в царстве
Твари, следует узнать,
Что внизу о нем толкуют.

Да, пониже, в этих темных
В необщественных кругах,

В низшем слое царства гвари
Гордость с ненавистью ждут.

Все, что волею природы
И обычаем земным
Искони существовало,
Эти морды отвергают.

Стариками молодежи
Там внушается ученье,
Угрожающее праву
И культуре человека.

«Дети! — Атта Троль рычит,
Переваливая с боку
На бок на постели жесткой, —
Дети, будущее — наше!

Если б думали медведи
И все звери так, как я,
Мы тогда усиьем дружным
Победили бы тиранов.

Если б был в союзе боров
С жеребцом, и если б слон
Обнял хоботом по-братски
Рог могучего быка,

Если б волк, медведь, козел,
Даже заяц с обезьяной
Согласились хоть на время,
То успех достигнут был бы.

Единенье, единенье —
Вот, что нужно. В одиночку
Передушат нас, а вместе
Мы тиранов победим.

Единенье! Единенье!
Монополию мы свергнем
И республику зверей
Справедливую устроим.

Основным законом будет
Равенство всех божьих тварей
Без различия их веры,
Или запаха, иль шкуры.

Слава равенству! Осел
Будет главным в государстве,
И на мельницу рысцою
Будет лев таскать мешки.

Что касается собаки,
То она лишь подлый пес;
Сотни тысяч лет с ней люди,
Как с собакой, обращались.

Только в нашем либеральном
Государстве мы и пса
Возвращеньем прав старинных
Без труда облагородим.

Между нас евреи даже
Право гражданства получают
И сравниются во всем
Со зверями остальными.

Только к танцам на базарах
Их не должно допускать;
Я вношу поправку эту
Ради нашего искусства.

Нет ни строгости, ни стиля,
Нету пластики движений
В их породе, и они
Вкусы публики испортят».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мрачно в сумрачной берлоге
Средь своих укрылся Троль,
Человеконенавистник;
Он рычит, скрипит зубами:

«Люди, злые каналы!
Смейтесь! От усмешек ваших
И от ваших притеснений
Нас великий день избавит.

Для меня всего обидней
Те слащавые движенья
Возле рта — не выношу
Человеческого смеха!

Ту улыбку роковую
Чуть замечу я на лицах
Этих белых, у меня
Все кишки воротит в брюхе.

И наглее, чем в словах,
Проявляется пред нами
В этом смехе человека
Все души его нахальство.

Да, всегда у них улыбка!
Даже в миг, когда приличье
Предписало бы серьезность,
В миг торжественный любви!

Да, всегда у них улыбка!
Даже в танцах оскорбляет
Их улыбка то искусство,
Что святыней быть должно.

Да, во время оно танцы
Были делом благочестья,
И жрецы тогда водили
Хоровод вокруг алтарей.

Пред своим ковчегом также
Танцевал и царь Давид,
Танец был богослуженьем,
Славословием ногами!

Да и сам я так же танец
Понимал всегда, танцуя

На базарах пред народом
Мне кричавшим похвалы.

Эти крики, признаюсь,
Часто мне ласкали сердце;
Восхищение врага
Возбуждать бывает сладко.

Но они и в восхищеньи
Улыбались. Неспособно
И само искусство танцев
Легкомысленных исправить».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Иногда почтенный бюргер
Дурно пахнет, а холопы
У князей надушены
И лавандою и амброй.

И от девственности часто
Отдает зеленым мылом,
А порочность умывает
Маслом розовым себя.

Потому не морщи носа,
Дорогой читатель, если
Из берлоги Атта Троли
Аравийский нард не веет.

Ты побудь со мною в этом
Смрадном запахе особом,
Где герой меньшому сыну,
Как из тучи, говорит:

«Сын, ты младший в нашем роде,
Ты прильни единым ухом
К морде старого отца
И внемли моим заветам.

Человечьих мыслей бойся,
Чтоб спасти и дух и тело;

Посреди людей не встретишь
Ты порядочных людей.

Даже лучшие меж ними,
Немцы, дети Туискиона,
Нам двоюродные братья,
Тоже выродились ныне.

Вольнодумны и безбожны,
Проповедуют безверье.
Сын мой, сын мой, берегись
Бауера и Фейербаха.

Берегись атеизма!
Не медведь, в ком нет почтения
Пред создателем, — создатель
Этот мир когда-то создал!

В небесах луна и солнце,
Также звезды (как с хвостами,
Так и те, что без хвостов) —
Только отблеск божьей власти.

Здесь, внизу, моря и земли —
Только эхо горней славы,
И величие творца
Хвалит каждое созданье.

Даже маленькая вошка
В бороде у пилигрима
С ним к святым местам стремится
И поет псалом творцу!

Там высоко, в звездном небе,
На престоле золоченом,
Всеми правя и блистая
Белизной, сидит медведь.

Беспорочно-белоснежна
Шуба; голову украсил
Бриллиантовый венец,
Освещающий все небо.

Гармоничное чело!
 В нем дела — немые мысли;
 Только скипетром махнет он,
 Слышны звон и пенье сфер.

Перед ним сидят святые —
 Те медведи, что внизу,
 На земле, терпели кротко —
 С пальмой мучеников в лапах.

Вот один, другой подпрыгнул
 Под наитием святого
 Духа. Видите! Танцуют
 Танец праздничный они.

В танце этом благодать неба
 Заменяет им талант,
 И от радости из кожи
 Хочет выскочить душа!

Буду ль, Троль я недостойный,
 Обладать подобным благом?
 Из земной юдоли скорбной
 Перейду ль в поля блаженства?

Неужели сам я буду,
 Увоенный, в звездном небе,
 Танцевать в сияньи, с пальмой,
 У престола божества?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как язык багрово-красный,
 Что из черных губ с издевкой
 Показал у Фрейлиграта
 Мавританский черный князь,

Так из темных туч выходит
 Месяц. Вдалеке бушует
 Водопад, всегда бессонный
 И тоскующий в ночи.

Атта Троль стоит над краем,
На своей скале любимой,
И ревет он, одинокий,
В пропасть, в ветер полуночный:

«Да, медведь я, я — тот самый,
Вами прозванный косматым,
Косолапым Изегримом,
И еще бог знает как.

Да, медведь я, я — тот самый,
Неуклюжая скотина,
Неотесанный предмет
Для смешков и шуток ваших!

Я — мишень острот, и я
То чудовище, которым
Вы страшаете под вечер
Непослушного ребенка.

Я — приправа шутовская
Ваших глупых, бабьих сказок,
И кричу я это в пропасть,
В ваш презренный мир людской.

Я — медведь, и не стесняюсь
Моего происхождения,
И горжусь им, словно внук я
Моисея Мендельсона».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Две угрюмые фигуры,
Вереща, на четвереньках,
Пролагают путь себе
Через темный ельник, в полночь.

Это Атта Троль с сынишкой
Самым младшим, одноухим.
Мрачен лес; у Камня Крови
Притаились они.

«Этот камень, — Троль рычит, —
Алтарем был, где друнды
Приносили суеверно
Человеческие жертвы.

О, постыднейшая гнусность!
Чуть подумаю, дыбом шерсть
Поднимается, — во славу
Бога кровь тогда лилась!

Нынче стали просвещенней
Эти люди: неспособны
Из-за ревности к небесным
Интересам убивать.

Нет, теперь не сумасбродство
И не бред, и не безумье,
А корысть и самолюбье
Их толкают на убийство.

Лишь к земным стремятся благам
Все они наперебой;
В этой драке бесконечной
Каждый крадет для себя.

Да, всеобщее наследье
Достается лишь немногим;
Собственность, права владенья
Проповедуют они!

Собственность! Права владенья!
Воровство они и ложь!
Так сплести обман и глупость
Человек лишь мог презренный.

Собственности не творила
Бескарманная природа:
Без карманов в наших шубах
Мы являемся на свет.

Ни один из нас, конечно,
Не рождается с мешком

На своем природном мехе,
Чтоб ворованное прятать.

Только человек бесшерстный,
Что сумел чужою шерстью
Прикрывать себя, сумел
И карман себе устроить.

О, карман! Он неестествен,
Как и собственность и право
Обладанья; — стали, люди,
Вы карманными ворами!

Я клянусь вас! Завещаю,
Сын мой, ненависть тебе.
Здесь, на алгаре, клянись мне
В вечной ненависти к людям!

Будь навек врагом презренных
Палачей, непримиримым
До скончанья дней твоих, —
Поклянись мне, сын мой, в этом!

И клянется сын, как древле
Ганнибал. Зловеще месяц
Озарлет Камень Крови
И обоих мизантропов.

Мы расскажем попозднее,
Как остался верен клятве
Молодой. В другой поэме
Лирой мы его прославим.

Что касается до Троля,
Мы его теперь покинем,
Чтобы тем вернее пулей
Поразить его потом.

Человечества изменник
И предатель! За такие
Козни против человека
Завтра будешь ты захвачен.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Горы, точно баядерки
Задремавшие, озябли;
Их туманные сорочки
Ветер утренний колышет.

Их разбудит лучезарный
Бог; последнюю одежду
С них сорвет он, озаряя
Их нагую красоту.

Рано утром я с Ласкаро
На медвежью встал охоту,
И к полудню мы добрались
До Испанского моста.

Так был назван мост, который
От французов вел на запад,
К этим варварам испанским,
Лет на тысячу отсталым.

Лет на тысячу они
В просвещении отстали;
Варвары ж мои родные
На востоке — только на сто.

Был я грустен, покидая
Почву Франции священной,
Этой родины свободы
И любимых мною женщин.

На мосту, посередине,
Сел испанец. Нищета
И в плаще его дырявом
И в глазах сквозила явно.

Он на старой мандолине
Тошним пальцем рвал струну;
Эхо резкое с насмешкой
Из ущелий отвечало.

Он над пропастью порою
Нагибался с громким смехом,
И, бренча еще безумней,
Напевал слова такие:

«У меня поставлен в сердце
Золотой красивый столик,
И четыре золотые
Стульчика стоят кругом.

И на них уселись дамы —
Золотые стрелы в косах —
И играют в карты; всех
Их обыгрывает Клара.

Обыграет и смеется;
Ах, в моем ты сердце, Клара,
Будешь в выигрыше вечном,
Все ведь козыри — твои».

Идя дальше, говорил я
Самому себе: безумный
На мосту сидит, ведущем
Из одной страны в другую.

Что он — символ ли обмена
Мыслями двух этих стран?
Иль народа своего
Он безумный лист заглавный?

Только к вечеру достигли
Мы разрушенной посадки,
Где на грязном блюде скверно
Пахла олlea-подрида.

Там я также ел гарбанцос,
Тяжелее пуль ружейных,
Несваримые и немцем,
Воспитавшимся на клецках.

Подходила к этой кухне
И постель. Вся в насекомых,

Как наперчена. Клопы —
Злейшие враги людские!

Ах, ужаснее, чем ярость
Тысячи слонов, вражда
Одного клопа, который
По твоей ползет постели.

Выноси его укусы,
Как ни трудно: будет хуже,
Если ты его раздавишь, —
Запах спать тебе не даст.

На земле всего ужасней
С тою гадиной борьба,
Для которой вонь — оружие;
Такова дуэль с клопом!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как мечтательны порты,
Даже тихие; они
Верят и поют: природа
Есть великий божий храм.

Храм, которого величье
Говорит о славе бога;
Солнце, месяц и созвездья
Светят в куполе, как лампы.

Вы — народ, конечно, добрый,
Но сознайтесь, в этом храме
Много лестниц неудобных,
Лестниц узких и крутых!

Эти спуски и подъемы,
И карабканья, с прыжками
Через утесы, утомляют
Дух мой столько же, как ноги.

Близ меня шагал Ласкаро,
Бледный, длинный, как свеча!

Все молчит, не улыбнется
Этот мертвый сын колдуньи.

Ходит слух, что он покойник
Уж давно, и только чары
Матери его, Ураки,
Держат сына на земле.

Ну, и лестницы у храма!
Мне доныне непонятно,
Как я шею не сломал,
Перепрыгивая пропасть.

Как ревели водопады!
Как хлестал по соснам ветер!
Те стонали! Вдруг прорвались
Тучи — скверная погода!

В бедной хижине рыбачьей,
Вовле озера де Гобе,
Мы нашли приют, и вместе —
Удивительных форелей.

В мягком кресле развалился
Старый, хворый перевозчик;
Как два ангела, за ним
Две племянницы ходили.

Флегматичны и дородны,
Точно вышли из картины
Рубенса; светлы глаза,
Кудри золотом пылают;

На щеках племянниц ямки,
В них смеется плутовство;
Крепки руки; стан упругий
Пыл и робость возбуждает.

И прелестные создания
Мило спорили друг с другом —
Что приятней и полезней
Выпить их больному дяде.

С цветом липовым одна
Подает больному чашку,
И бузиною настойкой
Напоить другая хочет.

«Ни того и ни другого
Пить не стану, — крикнул дядя, —
Дайте мне вина, чтоб гостя
Угостить питьем получше!»

Было ль точно то вином,
Что я пил у вод де Гобе,
Уж не знаю. В Брауншвейге
Счел бы я его за Мумме.

Был из лучшей козьей шкуры
Черный мех; вонял он славно,
Но старик, вином довольный,
Стал здоровым и веселым.

Он рассказывал проделки
Молодцов-контрабандистов,
Населяющих свободно
Пиренейские леса.

Помнил он старинных сказок
Очень много между прочим —
Как во время оно бились
С великанами медведи.

Великаны и медведи
Долго бились за господство
В этих скалах и долинах,
До прихода человека.

Но зато, когда пришел он,
Убежали великаны,
Озадаченные; ибо
В головах их мало мозга.

Говорят, что дуралеи.
Добежав до океана

И увидев свод небесный
Отраженным в синей влаге,

Море приняли за небо,
И с надеждою на бога
Сразу бросились туда;
Там они и потонули.

Что касается медведей,
То теснит их человек,
И число их год от году
Уменьшается в горах.

«Так один, — старик промовил —
На земле теснит другого!
За улодом человека
Царство карликов настанет,

Этих умных человечков,
Что живут в подземных недрах
И копаются прилежно
В золотых богатствах шахт.

Сам я видел в лунном свете,
Как они глядят из норок,
Видел хитрые головки,
И пред будущим дрожал!

Ах, от денежной их мощи,
Я боюсь, и наши внуки
Побегут, как великаны,
Чтоб укрыться в небе моря».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В мрачной горной котловине
Воды озера глубоки.
Звезды, бледны и печальны,
Смотрят с неба. Ночь и тишь.

Ночь и тишь. Удары весел.
Точно плещущая тайна,

Челн плывет. И перевозчик
Руль племянницам доверил.

И гребут они. Во мраке
Озаряются звездами
Руки голые, глаза
Голубые и большие.

Близ меня сидит Ласкаро,
Как всегда, немой и бледный,
И меня смущает мысль:
Может, вправду он — покойник

Может быть, я тоже умер
И плыву теперь, спускаясь
В царство призраков холодных,
В обществе немых видений?

Это озеро — не Стикс ли?
Не прислала ль Прозерпина,
За отсутствием Харона,
Для меня своих прислужниц?

Только я еще не умер,
Не угас, — в моей душе
Блещет, пышет и ликует
Жизнерадостное пламя.

Эти девушки со смехом
По течению гребут
И обрызгивают в шутку
Иногда меня водою.

Эти свежие девчонки
Не похожи на виденья
Камер-кошек преисподней,
На служанок Прозерпины.

Чтобы тверже убедиться,
Что они совсем живые,
Чтобы мне поверить тверже,
Что и я в расцвете жизни,

Я свои приблизил губы
К милым ямочкам их щек,
И сейчас же сделал вывод:
Я целую — значит, жив!

Выйдя на берег, опять
Славных девушек целую;
Только этою монетой
За провоз они берут.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В золотом от солнца небе
Блещут пики гор лиловых,
И на склоне — деревушка,
Птичье смелое гнездо.

И, когда туда взошел я,
Я увидел лишь птенцов,
Что еще не оперились;
Старики же улетели.

Лишь мальчишки и девчонки,
В платьях белых, ярко-красных,
Там разыгрывали свадьбу
На базарной площади.

Их игре не помешал я,
И увидел, как влюбленный
Принц мышинный на колени
Стал пред кошкою-царевной.

Бедный принц! Его венчают
С милой! Сердится она
И грызет его и треплет.
Мыши — смерть, игре — конец.

Целый день почти я пробыл
У детей, и мы болтали;
Все хотелось им узнать,
Кто я, чем я занимаюсь?

«Дети, — я сказал, — родился
Я в Германии, где много
Медведей, и потому
Стал охотником медвежьим.

Снял я с некоторых шкуры
Через их медвежьи уши,
Хоть и сам бывал порою
Цепкой лапою потрепан.

С плохо вылизанным дурнем
Состязаться ежедневно
В дорогой моей отчизне
Наконец мне надоело.

И тогда сюда я прибыл
• За охотою лучше;
Я хочу изведать силу
На великом Атта Троле.

Этот враг меня достоин,
А в Германии случалось
Мне вступать в такие битвы,
Что стыдился я победы».

И, когда я стал прощаться,
Вкруг меня собравшись, дети
Заплясали и запели:
«Жирофлино, Жирофлетта!»

Наконец, так мило, бойко
Вышла младшая, присела
Мне два, три, четыре раза,
Детским голосом запев:

«Если встретится король мне,
Я ему присяду дважды,
Повстречаю королеву,
Я присяду трижды ей.

А когда мне чорт с рогами
Повстречается, присяду

Я два, три, четыре раза.
Жирофлино, Жирофлетта!»

«Жирофлина, Жирофлетта!» —
Повторяет хор и дразнит,
И вокруг ног моих вертится
Хоровод с припевом звонким.

И, когда я стал спускаться,
Позади не умолкало,
Точно пчичье щебетанье:
«Жирофлино, Жирофлетта!»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Безобразны и огромны,
Скалы смотрят на меня,
Словно скопище чудовищ,
Что давно окаменели.

Странно! Точно двойники,
Тучи серые над ними,
Слабое отображенье
Этих каменных фигур.

Водопад вдали бушует,
Между сосен воеет ветер!
Слышен гул неумолимый,
Как отчаянье ужасный.

Место дико и пустынно!
На вершинах дряхлых елей
Стаи черных галок машут
Онемелыми крылами.

Близ меня идет Ласкаро,
Бледен, мрачен, молчалив;
Так в сопровожденьи смерти
Выступает сумасшедший.

Край пустынный, безобразный.
Или проклят он? Быть может,

Кровь я вижу на корнях
Дерева того, калеки?

Эта хижина наверно
От стыда зарылась в землю;
И соломенная крыша
Смочит робко на тебя.

Этой хижины хозяин —
Отпрыск племени каготов,
Что давно влекут впотьмах
Жалкое существованье.

В сердце басков и поныне
Отвращение к каготам
Сохраняется — наследье
Векового суеверья.

И в соборе их, в Баньере,
Есть калитка потайная,
Что была, как мне сказал
Сторож, дверью для каготов.

Им когда-то воспрещалось
Проходить в другие двери,
И они в обитель бога,
Только крадучись, входили.

Там, на низенькой скамейке,
Одинок, кагот молился,
Отделенный от других
Прихожан, как зачумленный.

Но зато святые свечи
Века нашего сияют,
Злую тень средисвековья
Разгоняет этот свет!

Бросив на дворе Ласкаро,
Я вошел под низкий свод
Хижины кагота. Руку
Дружески я подал брату.

И поцеловал ребенка
На руках его жены,
Что сосал ей грудь, похожий
На больного паука.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Если смотришь издалека
На вершины гор высоких,
То горит в сияньи солнца
Пурпур с золотом на них.

Но приблизься, и исчезнет
Красота; вот так порою,
И величие земное
Нас обманывает блеском.

То, что в золото и пурпур
Наряжал ты, был лишь снег,
Просто жалкий снег, который
В одиночестве сучает.

Наверху, вблизи я слышал,
Как похрустывает он,
Жалуюсь ветрам холодным
На сиротское житье.

«О, как медленно, — вздыхал он, —
Здесь, в глуши, часы плетутся,
Бесконечные, как будто
Замороженная вечность.

О несчастный снег я! Если б
Вместо этих горных высей
Мне упасть вон в ту долину,
Расцвеченную цветами!

Вот тогда бы я растаял,
Точно чистый ручеек,
Чтобы девушки со смехом
Мной обрызгивали лица.

Да, и может быть до моря
Пробежал бы я и в жемчуг
Превратился, чтоб украсить
Королевскую корону!»

Я на эту речь ответил:
«Милый снег, я сомневаюсь,
Чтоб ждала тебя в долине
Столь блестящая судьба.

Не печалься! Лишь немногим
Быть в долине жемчугами.
Ты же, может быть, в канаве
Грязью стал бы заурядной!»

И пока я в этом роде
Разговоры вел со снегом,
Грянул выстрел, и с лазури
Вниз сорвался рыжий коршун

Шутка то была Ласкаро.
Но лицо его, как прежде,
Было мрачно и недвижно,
Только ствол ружья дымился.

Из хвоста добычи вырвал
Он перо, воткнул его
Молча в войлочную шляпу
И пошел своей дорогой.

И немного жутко было
Наблюдать, как тень с пером
Удлинялась и чернела
На снегу вершины белом.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Есть, как улица, долина,
Имя ей — «ущелье духов»;
Поглядишь — в глазах темнеет
Скалы с двух сторон торчат.

Там, на самом страшном склоне,
Точно сторож на долину,
Смотрит хижина Ураки.
Я вошел туда с Ласкаро.

При посредстве тайных знаков
С матерью он совещаля,
Как нам лучше Атта Троля
Заманить и умертвить.

Потому что проследили
Мы его в горах. Уйти он
Уж не может. На исходе
Дни твои, о Атта Троль!

Что действительно Урака —
Настоящая колдунья,
Как то злые языки
В Пирененях утверждают,

Не решу я. Но ее
Подозрительна наружность;
Подозрительно слезятся
Красноватые глаза;

Взгляд их злобный и косой;
От него, по общей вере,
В вымени коровы тотчас
Молоко пересыхает.

Уверяют даже люди,
Что она, рукой костлявой
Прикоснувшись, убивает
Не свиной одних, — быков.

За такие преступленья
На нее порою в суд
С жалобами приходили,
Но судья был вольтерьянец,

Сын поверхностного века,
Чуждый веры и раздумья;

Со скептической насмешкой
Он отказывал истцам.

С виду делом очень честным
Занимается Урака:
Горным зельем промышляет
Или чучелами птиц.

И была полна товара
Хижина. Ужасно пахли
Белена и цвет кукушки,
Бузина и белладона.

Ястребы на видном месте
Красовались у колдуньи:
Угрожающие клювы
И распушенные крылья.

Может быть мне трав сушеных
Запах в голову ударил?
С чувством странным и нясным
Я смотрел на этих птиц.

Может быть передо мною
Околдованные люди,
Обреченные стоять
В виде жалких птичьих чучел?

На меня глядят они
Грустно, даже с нетерпеньем
А порою боязливо
Взор бросают на колдунью.

И на корточках Урака
У печи сидит с Ласкаро;
Из топленого свинца
Отливают оба пули.

Льют ту пулю роковую,
Что погубит Атта Троля.
Как таинственно мерцает
Пламя на лице колдуньи!

Шевелит она губами
Непрерывно и беззвучно;
Не бормочет ли заклятья,
Чтобы пуля удалась?

Иногда хихикнет, сыну
Головой кивнет. Но тот
Занят делом, молчаливо
И серьезно, точно смерть.

Этим ужасом подавлен,
Я пошел вздохнуть немного
У окна, и посмотрел
На далекую долину.

Что я видел в эту пору,
Между полночью и часом,
То правдиво, не спеша,
Ирложу в дальнейших главах.

ГЛАВА БОСЕМНАДЦАТАЯ

Было время полнолуны,
Ночь Иванова, когда
Привиденья на охоту
Вниз спешат, в «ущелье духов».

Из окна Ураки было
Мне смотреть великолепно.
Как их призрачное войско
Проносилось по дороге.

Да, для зрителя удобней
Места было не найти,
И вполне я наслаждался
Видом выходцев из гроба.

Свист бича. ура, ату!
Ржанье коней, лай собачий,
Звук охотничьего рога, —
Все так радостно сливалось!

Впереди стремилась стая
Королевской красной дичи —
Вепрей бешеных, оленей;
Свора следовала сзади.

И охотники из самых
Разных областей, веков;
Так, с Немвродом ассирийским
Ехал, ну, хоть Карл Десятый.

Высоко, на белых конях
Пронеслись они. Им в след
Егеря со сворой мчались,
Факела несли пажи.

В этой гонке сумасбродной
Много видел я знакомых.
В золотых доспехах рыцарь
Не был ли король Артур?

Или тот, Ожье, датчанин, —
Не в зеленом ли он мчался
Панцире и походил
На огромную лягушку?

Также и героев мысли
Видел я в охоте этой:
Узнан мною был наш Вольфганг
По живому блеску глаз.

Он, проклятый Генгстенбергом,
Мирно спать в гробу не может
И с языческою шайкой
Длит охоту бурной жизни.

По пленительной улыбке
Вильяма узнал я тоже;
Пуританское проклятье
И на нем; он тоже грешник —

Должен ночью на охоту
Вороного гнать коня.

Рядом на осле трисется
Человек... Святое небо!

По благочестивой мине,
По ночному колпаку,
По тревоге постоянной
Франца Горна я узнал.

Он Шекспира, чадо света,
Коментировал когда-то
И по смерти должен мчаться
На охоту с ним, несчастный!

Ах, мой тихий Франц, он мчится,
Он, кто смел едва ходить,
Он, который подвизался
Лишь в молитве да в столовой.

И толпа за ним ходивших
Старых дев ужель не будет
Ужасаться, услышав,
Что их Франц — охотник дикий!

И коня великий Вильям
Вскачь подняв, глядит с насмешкой,
Как его ослиной рысью
Догоняет комментатор.

Чуть не в обмороке, крепко
Уцепился за луку,
Но и в смерти, как при жизни,
Поспешает за поэтом.

Видел я и дам немало
В бешеном отряде духов,
И особенно прекрасны
Были нимфы с юным станом.

По-мужски они сидели,
Все мифологично-голы;
Лишь плащами золотыми
Кудри падали на них.

Все украшены венками;
И, откинувшись назад,
Так заносчиво махали
Тирсами с густой листвою.

Между них в закрытых платьях,
Мчались рыцарские дамы,
Наклонясь на дамских седлах,
С соколами на руке.

Сзади них, как бы в насмешку,
На хромых и тощих клячах
Ехали комедиантки
В изумительных нарядах;

Милovidные, но вместе
И нахальные чуть-чуть,
Все вопили, радувая
Наруживенные щени.

Как оливальней в ликованьи
Звук рогов и смех веселый!
Ржанье коней, лай орбачий!
Свист бича, ура, ату!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В середине, как трилистник,
Выделялись три фигуры.
Этих образов прелестных
Женских мне не позабыть.

Я великую богиню,
С полумесяцем в кудрях,
Гордую, как чистый мрамор,
Между них узнал тотчас же.

И короткая туника
Обнажала грудь и бедра.
Отсвет факельный и лунный
Сладострастно их ласкал.

И лицо ее как мрамор
Холодело; были страшны
Бледность и оцепененье
Этой строгой красоты.

Но в глазах ее огромных,
Черных разгорался страшный,
Жуткий, сладостный огонь,
Жгущий душу и спящий.

Как Диана изменилась!
Та, которая однажды
В целомудренном порыве
Затравила Актеона,

Искушает грех свой ныне
В этом обществе галантном;
По ночам простою смертной
С ним по воздуху летает.

Хоть и поздно, тем страшнее
В ней проснулось сладострастье,
И в глазах ее сверкает
Настоящий адский пламень.

О былом она жалеет,
О мужчинах, лучше наших,
И количество, быть может,
Качество заменит ей.

Рядом с ней неслась другая,
Но не эллинской племени
Красотой; в ней отразилась
Вся кельтическая прелесть.

В ней волшебницу Абунду
Так легко я распознал —
И по сладостной улыбке,
И по радостному смеху.

Щеки розовые, точно
Сам их Грез изобразил,

Рот сердечком, приоткрытый,
Ослепительные зубы.

В голубой одежде легкой
Ветер вздрагивал порою.
Даже в лучших снах моих
Я подобных плеч не видел.

Я чуть-чуть в окно не прыгнул,
Чтоб ее поцеловать!
Это кончилось бы плохо,
Мог себе сломать я шею.

Ах! Она б смеялась только,
Если б я, окровавленный,
Вниз, к ногам ее скатился.
Ах! Я знаю этот смех!

Третий женский образ сердце
Так глубоко взволновал мне!
Не была ли дьяволицей,
Как две первые, она?

Был то дьявол или ангел,
Я не знаю. Ведь у женщин
Не понять, где кончен ангел
И где дьявол начался.

На лице больном и страстном
Стран восточных колдовство,
Веют пышные одежды
Сказками Шехерезады.

Губы нежны, как гранаты,
И лилейный выгнут носик.
Тело гибко, свежо, стройно,
Точно пальма среди пустыни.

Высоко сидит на белом
Иноходце, как царица;
Двое мавров ухватили
Золоченую узду.

Да, она была и вправду
Иудейскою царицей,
Прода женой, просившей
Головы Иоканаана.

И была она за это
Тоже проклята; как призрак
Вплоть до страшного суда,
Будет мчаться на охоту.

У нее в руках всегда
Блюдо с головой пророка.
И она ее целует;
Да, целует упоенно.

Ведь она его любила,
Библия молчит об этом,
Но живет в народе сказка
О любви ее кровавой.

А иначе непонятно
Вожделенье этой дамы —
Что для женщин голова
Нелюбимого мужчины?

Может быть, она со зла
На любимого сболтнула,
Но, как только увидала
Эту голову на блюде,

Сразу сделавшись безумной.
Умерла в безумьи страсти.
(Страсть — безумье! Плеоназм!
Ибо страсть всегда безумье!

И она, не расставаясь
С головой окровавленной,
Скачет ночью на охоту,
В женском бешеном порыве.

Эту голову порой
Вдруг подбросит, засмеется,

И опять поймает ловко
Точно легкий детский мяч.

На меня она, промчавшись,
Посмотрела и кивнула
Мне кокетливо и томно,
Так что сердце задрожало.

Трижды с шумом предо мною
Мчался поезд, трижды мне,
Проносясь, кивал приветно
Милый призрак головой.

Окончательно сокрылись
Привиденья, шум затих,
Но привет ее манящий
Продолжал томить мне сердце.

Напролет всю ночь, бессонный,
Я вертелся на подстилке
(Так как не было перин
В бедной хижине Ураки).

Размышляя я, что бы значил
Тот таинственный привет?
Что так нежно ты взглянула
На меня, Иродиада?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Соляце всходит. Золотые
Стрелы бьют в туман молочный,
Он, как раненый, алест,
Испаряется в сверканьи.

Наконец, ясна победа
Торжествующего дня;
Он в слепительном величьи
На вершины гор восходит.

Песни вонные перчатых
Из сокрытых гнезд несутся,

Ароматы трав текут,
Как ковцерт благоуханный.

На рассвете спозаранку
Мы спустились с гор в долину,
И, пока ходил Ласкаро
След разыскивать медведа,

Я убить старался время
Мыслями. От дум, однако,
Утомился я, и даже
Стало мне немножко грустно.

Утомленный и печальный,
Я на мшистую постель
Лег под ясенем огромным,
Где струился ручеек.

Он таинственным журчаньем
Притупил меня так странно,
Что и думы, и тревоги,
И печали все рассеял.

Овладело мной стремленье
К смерти, грезе и безумью
И к наездникам, которых
Видел я среди привидений.

О, пленительные духа,
Перепуганные светом,
Вы куда теперь укрылись?
Где обитель ваша днем?

Под развалинами храма,
Где-нибудь в Романьи дальней,
Укрывается Диана
От дневной Христовой власти.

Лишь во мраке полунощном
Выходить она дерзает
И охотой наслаждаться
Средь языческих деревьев.

И прекрасная Абунда
Избегает назареев,
Целый день она проводит
На спокойном Авалуне.

Этот остров притаился
В тихом море романтизма:
И его достигнешь только
На коне крылатом сказок.

Не попасть туда заботе,
Не причалить пароходу,
Где филистер любопытный
Трубку длинную сосет.

Не раздаться там угрюмым,
Скучным звоном колокольным,
Этим «бум-бом», ненавистным
Для укрывшихся там фей.

Там живет в довольстве ясном.
В цвете молодости вечной,
Та улыбчивая дама —
Белокурая Абунда.

Целый день она гуляет
Под огромными цветами.
С разговорчивою свитой
Отошедших паладинов.

Ну, а ты, Иродиада,
Где ты? Молви! Ах, я знаю,
Мертвая лежишь в гробу
Ты у стен Иерушалайма.

Целый день холодным сном
Спишь ты в мраморной гробнице
Но тебя тревожат в полночь
Свист бичей, ура, ату!

И летишь ты на охоту
За Дианой и Абундой.

За друзьями, для которых
Ненавистны крест и муки!

Это общество прелестно!
Если б мог я с ним носиться
И с тобой, Иродиада,
Мчаться рядом на коне!

Ибо я люблю тебя
Больше эллинской богини,
Больше северной колдуньи,
Мертвая моя еврейка!

Да, люблю тебя! Я знаю
Это по биению сердца.
Будь возлюбленной моей,
Дивная Иродиада!

Будь возлюбленной моей,
Брось ту голову пустую
Вместе с блюдом, и отведай
Яств получше, повкуснее.

Я твой самый настоящий,
Верный рыцарь; нет мне дела,
Что мертва ты, проклята;
Я без всяких предрассудков,

И о собственном спасеньи
Уж не думаю нисколько;
Жив ли я, или тоже умер,
Временами сомневаюсь.

Рыцарем твоим я стану,
Стану cavalier-servente,
Понесу я за тобою
Плащ и все твои капризы.

По ночам с тобой я буду
Мчаться рядом на охоту,
Будем мы болтать, смеяться
Над моей безумной речью.

Так мы будем коротать
 Ночи; днем пройдет веселье:
 Буду я сидеть и плакать
 Над могилкою твоею.

Да, весь день сидеть и плакать
 Между царских усыпальниц,
 На возлюбленной могиле,
 Возле стен Иерушалайма.

И седые иудеи,
 Проходя, конечно, скажут,
 Что рыдаю я о храме
 Города Иерушалайма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Аргонавты, но без судна,
 Мы пешком в горах блуждаем
 За простой медвежьей шкурой,
 Не за золотом руна.

Ах! Несчастные мы парни,
 Современные герои,
 Нас классический поэт
 В песне не увековечит.

И однако мы терпели
 Тоже муки! Что за дождь
 Захватил нас на вершинке,
 Где ни дерева, ни фьякра.

Не бандаж ли грызный лопнул
 В тучах? Дождь, как из ведра!
 Верно сам Язон в Колхиде
 Под подобным не был душем.

«Зонтик, зонтик! -- я воскликнул. --
 Тридцать шесть князей отдам я
 За один-единый зонтик!» —
 Я кричал, а дождь шумел.

До смерти устав, не в духе,
Мокрые, как пуделя,
Поздней ночью мы вернулись
В обиталище колдуньи.

Отдыхала там Урака
Перед печью и чесала
Толстого, большого mopca,
Но дала ему отставку,

Чтоб заняться только нами.
Приготовила мне ложе,
Развязала вспадрильи,
Неудобнейшую обувь.

Помогла раздеться, брюки
Мне сняла; они к ногам
Прилипали тесно, прочно,
Точно дружба дурака.

«За халат, сухой халат
Тридцать шесть князей отдам я.»
Так вскричал я, и дымилась
Мокрая моя рубашка.

Перед печью постоял я,
Зябко щелкая зубами,
И, огнем ошеломленный,
Повалился на солому.

Но не спал. Смотрел украдкой,
Как колдунья к очагу
Села и раздела сына,
Как меня, и положила

На колени. Перед нею
Толстый mopc стоял на задних
Лапах и держал в передних
Повню маленький горшок.

Из горшка брала Урака
Красный жир и натирала

Им бока и грудь Ласкаро;
Натирала быстро, быстро;

Колыбельную гнусаво
Напевала тут же песню;
И потрескивало пламя
В очаге по временам.

Как мертвец, костлявый, желтый
Сын у матери в руках
Смотрит грустными, смертельно
Побелевшими глазами.

В самом деле, он покойник.
И лишь мазью колдовскою
Жизнь ему втирает ночью
Материнская любовь.

Лихорадочный, чудесный
Полусон, в котором члены
Как свинцовые, а чувства
Бодрствуют, возбуждены!

О, как запах этих зелий
Волновал меня! Я думал:
Где я прежде этот запах
Ощущал? Но думал тщетно.

Как пугал меня в трубе
Ветер! Звук, подобный стопам
Душ несчастных, осужденных,
Мне знакомым показался.

Но всего ужасней были
Чучела набитых птиц,
Установленных на полке
В изголовьи у меня.

Тихо, странно шевелились
Крылья; птицы наклоняли
Надо мною клювы, вроде
Человеческих носов.

Где же я носы такие
Видел? В Гамбурге, должно быть,
Иль во Франкфурте? Томяще-
Слабое воспоминанье!

Наконец, совсем усталость
Овладела мной, и, вместо
Всех фантазий, появился
Крепкий и здоровый сон.

Снилось мне, что бальным залом
Стала хижина внезапно;
Высоко занесли колонны,
И сияли жирандоли.

Исполнял оркестр незримый
Громко из Роберта танцы
Нечестивые монахинь;
И один я там скигался.

Наконец, открылись двери
И, торжественно шагая,
Предо мною появились
Удивительные гости.

Привиденья и медведи!
Из медведей каждый вводит
За собою привиденье,
Все закутанное в саван.

И вальсировать попарно
Взад, вперед они по залу
Начали. Смотреть на них
И смешно и страшно было!

Привидения носились,
Точно ветер, и медведям
Было трудно вслед за ними
Поспевать в стремленьи танца.

Незадачливые твари
Были жалостно влекомы;

Их сопение почти что
Заглушало контрабасы.

Иногда на пару пара
Налетала, и медведи
Несколько толчков внезапно
В зад давали привиденьям.

И порою в вихре танца
Наступал медведь на саван;
Обнажался голый череп
Над плечами танцовавшей.

Вдруг ликующе взревели
Вместе трубы и цимбалы.
Грохом грянули литавры,
И пустились все галопом.

До конца мне не доснилось, —
Наступил мне косолапый
На моволь; от страшной боли
Закричал я и проснулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Феб на дрожках лучеварных
Пламенных коней хлестал
И уже наполовину
Путь небесный свой закончил, —

Я же спал, и все мне снились
Привиденья и медведи —
В удивительных сплетеньях
Бредовые арабески!

Я проснулся только в полдень,
Сам с собой внаедине.
И хозяйка и Ласкаро
Рано вышли на охоту.

Только мопс остался дома.
Он стоял на задних лапах

У огня перед горшком
И держал в передних ложку.

Он отлично был приучен,
Если суп перекипает,
Помешать его, и пену
Ложкой сверху снять проворно.

Сам я, что ли, околдован?
Или голова горит?
Я ушам своим не верю:
Разговаривает мопс!

Что-то в говоре такое
Благодушное, от швабов;
Погружен в мечты и мысли,
Говорит он вот о чем:

«Бедный швабский я поэт!
Превращенный в мопса, должен
Я томиться на чужбине
И стеречь горшок колдуньи!

Что за гнусное злодейство —
Колдовство! Трагичен жребий —
Человеческие чувства
Сохранять в собачьей шкуре!

Лучше б я остался дома
Вместе с братьями по школе;
Им неведомо искусство
Очаровывать людей.

Лучше б я остался дома
С Карлом Майером, в отщипане
Славных желтеньких фиалок,
Супов с клецками спокойных.

Я умру с тоски сегодня, —
Хоть бы мне дымок увидеть
Кухни Штуккерта родимой
В час, когда лапшу готовят!»

Услыхав такие реча,
Я глубоко умилился,
Встал с постели, к очагу
Сел и молвил с сострадашем:

«Песнопевец благородный,
Как попал ты в дом колдуньи?
И за что тебя в собаку
Так жестоко превратили?»

Тот, обрадованный, вскрикнул:
«Как? Так, стало быть, вы немец?
Не француз вы, и понятен
Вам мой тихий монолог?»

Ах, земляк, какое горе,
Что советником посольства
Кёлле, с ксам мы за кружкой,
С трубками в пивных сидели,

Постоянно утверждалось,
Будто в странствиях лишь можн
Просветиться, как и сам он
Просветился на чужбине!

Чтоб расстаться поскорее
С грубостью своих манер,
Стать изысканным и светским,
Словно сам советник Кёлле,

Распростился я с отчизной
И, стремясь к образованию,
Скоро прибыл в Пиренеи,
Прямо к хижине Ураки.

К ней письмо Юстинус Кернер
Дал мне; я не мог подумать,
Чтобы этот мой приятель
Был с колдуньями в сношениях.

Я весьма любезно принят
Был Уракой; но, о ужас,

Та любезность, извратившись,
Стала чувственною страстью.

Да, горел огонь разврата
В груди мерзостной и вялой
Старой ведьмы; и она
Соблазнить меня решила.

Умолял я: «Пощадите!
Я, мадам, не гетеганец
Легкомысленный; я скромен
И писатель швабской школы.

Наша муза — добродетель,
У нее из толстой кожи
Панталоны, — ах, не троньте
Добродетели мои!

У одних поэтов гений,
У других воображенье,
Страсть у третьих; у поэтов
Швабской школы — добродетель.

Это все, чем мы владеем!
Так оставьте ж мне невинный
Бедный плащ религиозный,
Наготу мою прикрывший!»

Так молил я, но смеялась
Эта женщина; со смехом
Белой веточкой омелы
Головы моей коснулась.

Я почувствовал противный
Холод, точно обтянули
Члены мне гусиной кожей.
Но, увы, не кожей гуса

Было это, а скорее
Песьей шкурой; и с того
Злополучного мгновенья,
Как вы видите, я — мопс».

Вот бедняга! От рыданий
Говорить не мог он дальше
И рыдал безумно так,
Что истек почти слезами.

«Погодите, — я промолвил,
Нет ли средств освободить вас
Из собачьей этой шкуры
Для поэзии и света?»

Но, воядевши безнадежно
И с отчаянием ланы,
Воядыхая и степая,
Он ответил наконец:

«Нет, до страшного суда
Я останусь в шкуре мопса,
Если девушка не снимет
Чар с меня великодушьем.

Только девственница, вовсе
Не янававшая мужчины,
Может мне помочь, исполнив
Следующее условие:

Эта девушка должна
Накануне дня Сильвестра
Ночью Фицера стихи
Прочитать, не засыпая.

Не сомкнет она очей,
Будет бодрствовать над книгой —
Я вздохну по-человечьи,
Расколдован и размопсен!»

«Ах, — сказал я, — не помочь мне
Вашему освобожденью;
Потому уж, что, во-первых,
Я не девственница вовсе,

Во-вторых, — и это будет
Поважней, — не в состояньи

Фицера стихи читать я
И при этом не заснуть».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

От бесовских наводнений
Мы спускаемся в долину;
Наши ноги очутились
Вновь на почве позитивной.

Прочь, ночные привиденья,
Лихорадочные грезы!
Мы опять благоразумно
Обратимся к Атта Тролю.

Средь детей своих в берлоге
Старый, лежа, поживает
И, как праведник, храпит;
Наконец, зевнул, проснулся.

Рядом младший, карнаухий,
Чешет голову себе,
Как поэт, что ищет рифму;
И скандирует он лапой.

Тут же рядом, в нежных грезах,
На спине лежат фигуры
Двух четвероногих лилий,
Дочерей любимых Троля.

Что за грезы взволновали
Незапятнанные души
Этих девственниц медвежьих?
Ваоры их слеза туманит,

И особенно у младшей,
Самой томной. В юном сердце
Зуд почувствовав, она
Верит в силу Купидона.

Да, стрела малютки-бога
Шкуру ей процаила в миг,

Как явился ей — о, небо —
Человек, ее избранник!

Человек тот — пан Шнаппанский;
При великой ретираде
Он ей встретился, бегущий
Как-то утром по горам.

Скорбь героев мучит женщин,
А у нашего героя
На лице был отпечатан
Злой финансовый недуг.

Капитал его походный —
Двадцать два блестящих гроша,
Что в Испанию привез он,
Был захвачен Эспартеро.

Даже и часов фамильных
Он не спас. Они остались
В Пампелуне, в ссудной кассе,
Ценные, из серебра.

Улепетывая спешно,
Победил он много лучше,
Чем отряд враждебный, сердце,
Сам не ведая о том.

Да, медведица влюбилась
В вековечного врага;
Знай отец про эту тайну,
Как бы страшно заревел он.

Как тот старый Одоардо,
Что Эмилию Галотти
Заколот в своей мещанской
Гордости, так Атта Троль

Лучше дочь свою убил бы
Собственной своею лапой,
Чем дозволил ей склониться
На плечо такого принца!

Но сейчас так умиленно
Он настроен, не желает
Розу-дочь губить, покуда
Лепестков не свет вихрь.

Умиленный Атта Троль
Средь детей лежит в берлоге.
Чуя смерть, он размышляет
О потустороннем мире.

«Дети, — он вздохнул, и слезы
Навернулись на глаза, —
Дети, путь земной мой кончен,
Нам приходится расстаться.

Посетил сегодня в полдень
Сон пророческий меня,
И душа вкусила сладкий
Трепет близящейся смерти.

Я совсем не суверен,
Не простак. Но ведь бывают
Меж землей и небом вещи,
Непонятные и мудрым.

В размышлениях о мире
И судьбе, зевнув, заснул я.
И мне снилось, что лежу
Я под деревом огромным.

И с ветвей его катился
Вниз прозрачный белый мед
В пасть открытую мне прямо,
И блаженство ощущал я.

Вверх взглянул я, упоенный;
И увидел на верхушке
Семь или восемь медвежаток.
От сучка к сучку порхавших.

Эти нежные созданья
Были в розовато-красных

Шкурах, и за их плечами
Бились шелковые крылья.

Да, у розовых медведей
Были шелковые крылья;
Нежно пели их, как флейты,
Неземные голоса!

И от пенья холодела
Шкура, и душа из шкуры
Вылетела, словно пламя,
И в лучах умчалась в небо».

Так сказал дрожавшим, мягким,
Всхлипывавшим тоном Троль.
Смок тоскливо на мгновенье,
Но внезапно уши зверя

Вдрогнули и наострились:
С ложа он вскочил с блаженной
Дрожью, радостно рыча:
«Дети, слышите вы звуки?

Это ли не сладкий голос
Вашей матери? Конечно.
Я узнал рычанье Муммы!
Мумма, черная ты Мумма!»

Так сказал, и, как безумный.
Атта Троль рванулся прочь
Из берлоги на погибель!
Ах, на горе он рванулся!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Там, в долине Ронсевальской,
В том же месте, где когда-то,
Карла славного племянник,
Испустил свой дух Роланд,

Там и Атта Троль в засаде
Цал, с врагами встретясь, тучно

Тот, кого Иуда — рыцарь
Гавелон из Мэйнца — предал.

Ах! Одна любовь к супруге,
Чувство лучшее в медведях,
Западной была, куда
Завлекла его Урака.

Так подделала она
Ловко голос черной Муммы,
Что, заманен, Атта Троль
Из берлоги безопасной

На крылах любви помчался
По долине, замирая
И обнюхивая скалы,
Где, он думал, скрылась Мумма.

Ах! Там прятался Ласкаро,
Он и выстрелил ему
Прямо в радостное сердце, —
Заструился ток кровавый.

Головой мотает Троль
Раз иль два, и вот он рухнул,
Застонал и вздрогнул страшно;
«Мумма!» — был последний вздох.

Так погиб герой великий,
Так он умер; но, бессмертный,
Он воскреснет после смерти
В пенопении поэта.

И воскреснет в пенопении,
В колоссальной славе он,
И хорей четырехстопный
Разнесет ее по миру.

И ему потом в Валгалле
Будет памятник поставлен,
А на памятнике надпись
В лапидарном будет стиле:

«Троль, медведь тенденциозный,
Верующий, нежный муж,
Соблазненный духом века,
Был сначала санкюлотом.

Плохо танцевал, но веру
В самого себя имел;
Иногда вонял изрядно;
Не талант — зато характер!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Древних тридцать три старухи
В старо-баскских кашошонах,
Ярко алых, собрались
На дороге, у деревни.

И одна, точь-в-точь Дебора,
Была в бубен и плясала,
Песней славила Ласкаро,
Истребителя медведей.

И несли четыре парня,
Торжествуя, груз медведя;
Он сидел на креслах, точно
Гость расслабленный курорта.

А поодаль, как родные
Мертвого, брели Ласкаро
И Урака; вправо, влево
Кланялась она смущенно.

Перед ратушей, как только
Шествие ее достигло,
Речь держал помощник мэра
И сказал об очень многом.

Например, о свекловице;
О печати п о флоте
Развивающемся, также
О стоголовой гидре партий.

Перечислив все заслуги
Короля Луи-Филиппа,
Перешел потом к медведю,
После — к подвигу Ласкаро.

«Ты, Ласкаро! — так оратор
Воскликнул и отирал
Пот с лица трехцветным шарфом: —
Ты, Ласкаро! Ты, Ласкаро!

Ты, что Францию избавил
И Испанию от Троля,
Ты герой обеих наций,
Пиренейский Лафайет!»

И Ласкаро, в восхищеньи
От похвал официальных,
Покраснел и засмеялся
Про себя самодовольно.

В запянувшейся речи,
Перепутав все слова,
Изъявил он благодарность
За большую честь, большую!

Все глядели, удивляясь
Небывалому событию,
А старухи боязливо
И таинственно шептались:

«Ах, Ласкаро засмеялся!
Ах, Ласкаро покраснел!
Ах, Ласкаро слово молвил!
Он, покойник, сын колдуньи!»

В тот же день содрали шкуру
Атта Троля, с молотка
Продали. За сотню франков
Скорняку она досталась.

Тот ее отделал славно,
Красным бархатом роскошным

Всю подбил и перепродал
За двойную цену дальше.

Лишь из трстых рук Жюльетта
Наконец ее купила,
Чтоб в своей парижской спальне
Разостлать перед постелью.

О, как часто босиком
Ночью я стоял на бурой
Шкуре моего героя,
На останках Атта Троля,

И, охваченный тоскою,
Шиллера слова твердил:
«Должно в жизни сей погибнуть.
Чтобы в песне вечно жить...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ну, а Мумма? Что же, Мумма —
Женщина! Непостоянство
Имя ей! И, как фарфор,
Женщины бывают хрупки.

Разлученная судьбою
С благородным Атта Тролем,
Не скончалась Мумма с горя
И в уныние не впала.

Нет, жила она, как прежде,
Так же весело плясала
И у публики просила
Ежедневных одобрений.

Наконец, она в Париже
Обрела в Jardin des Plantes
Место с полным пансионом,
С обеспечением до смерти.

Позапрошлым воскресеньем
Я ходил туда с Жюльеттой,

Объясняя ей природу
И животных, и растений,

Дромадеров и жирафов,
И больших ливанских кедров,
Раззолоченных фазанов,
Также зебр; и в разговоре,

Наконец, мы задержались
У перил глубокой ямы,
Резиденции медведей, —
Боже, что я там увидел!

Там медведь сибирской тундры
С белоснежнейшею шерстью
Вел с медведицею черной
Страстно-нежную игру.

И медведица та — Мумма!
То — супруга Атта Троля!
Я узнал ее по блеску
Нежных, влажных глаз ее.

Нет сомнений, то она,
Черная дочь юга, Мумма!
И теперь живет с ней русский,
Варвар северный живет!

Ухмыляясь, негр какой-то
Подошел ко мне и молвил:
«Есть ли зрелище прекрасней
Нежной ласки двух влюбленных?»

Возразил ему я: «С кем
Говорить я честь имею?»
Он воскликнул изумленно:
«Вы меня не узнаете?»

Мавританский князь пред вами,
Барабанщик Фрейлиграта.
Одинок приходилось
Мне в Германии и скверно.

Здесь я сторожем служу,
И страны моей далекой
Вижу многие растенья,
Нахожу и львов и тигров.

Здесь мне лучше и приятней,
Чем на ярмарках немецких,
Где всегда я барабанил.
И меня кормили плохо!

Я женился на кухарке
Белокурой из Эльзаса
Мне теперь в ее объятьях,
Как на родине, отрадно.

Ноги дорогой супруги
Мне слонов напоминают,
А ее французский говор —
Черный мой язык родимый.

Обругается — и вспомню
Я про грохот барабана,
Что обвешан черепами
И пугает львов и змей

При луне она умильно
Слезы льет, как крокодил.
Из реки поднявший морду
Подышать ночной прохладой.

Много лакомых кусочков
Мне дает она! Со старым
Африканским аппетитом.
Как на Нигере, я жру!

И уже животик круглый
Я завел. Из-под рубашки
Он глядит, как черный месяц,
Вылезший из белых туч».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

(Августу Варнгагену фон Энзе)

«Боже мой, маэстро Людвиг,
Где вы нахватались этой
Сумасшедшей чепухи?» —
Кардинал воскликнул д'Эсте,

Прочитав повествованье
О Неистовом Роланде,
Что его пресвященству
Ариосто посвятил.

Да, мой старый друг Варнгаген,
С уст твоих готов сорваться.
Я уверен, тот же возглас
С той же самою улыбкой.

То смеешься ты, читая,
То вдруг делаешься грустным,
И порой воспоминанья
Гвой высокий лоб морщинят:

«Здесь не грезы ли звенят,
Те, что я делил с Шамиссо
И с Брентано, и с Фуке
Голубою лунной ночью?

Здесь не благовест ли тихий
Из часовни, в чаще леса?
И не звон ли погремушек
Шутовского колпака?

В соловьиный хор вступает
Контрабас порой медвежий
И сменяется глухим
Лепетаньем привидений!

Это мудрое безумье! —
Обезумевшая мудрость!

Вздох предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!» ...

Да, мой милый, это звуки
Отлетевших сновидений;
В них кривляются порою
Современные напевы.

Несмотря на их надменность,
Ты и робость в них услышишь —
Доброте твоей известной
Эти вверю я стихи!

То последняя, быть может,
Песнь свободная, лесная,
Романтизма! Ей замолкнут
В боевом пожаре дня!

День иной, иные птицы!
И у птиц иные песни!
Вот гогочат! Точно гуси,
Что спасали Капитолий.

Вот воробушки щебечут
С грошевою свечкой в лапах;
А представились орлами
С громовой стрелой Зевеса.

Вот воркуют голубочки!
Хватит с них любви, желают
Запрягаться в колесницу
Не Венеры, а Беллоны.

И жужжат, весь мир колебля!
Это все весны народов
Майские жуки-гиганты,
Как берсеркеры отважны.

День иной, иные птицы!
И у птиц иные песни!
Я любил бы их, быть может,
Если б мне другие уши!



Книга
первая



История

РАМПСЕНИТ

Только лишь царь Рампсенит
В терем дочери явился,
Рассмеялась дочь; и двор
Весь со смеху покотился.

Смеху вторили и негры,
И кастраты. Вот потеха!
Даже мумии и сфинксы
Чуть не догнули от смеха.

Говорит царевна: «Вора,
Мне казалось, я поймала;
Но в руке моей, представьте,
Мертвая рука лежала!»

Да, теперь я понимаю,
Как вам трудно сладить с вором:
От него уж не спасешься
Ни задвижкой, ни затвором!

Есть у вора ключ волшебный:
Он ко всем дверям подходит,
И нигде себе преграды
С тем ключом он не находит.

Это нынче и со мной
Совершилось воочью, —

И мою-то драгоценность
Он похитил нынче ночью».

Так промолвила царица
И танцует по светлице,
И смеются все кастраты,
И смеются все девицы.

Вместе с нею целый Мемфис
Хохотал, и крокодилы
Ухмылялись, подымая
Головы из грязи Нила,

Как на тинистом побережье
Барабаны зазвучали,
И герольды всенародно
Манифест такой читали:

«Рампсенит, небесной властью,
Царь Египта, посылает
Верноподданным любезным
Свой привет и объявляет:

До рождения Христова,
В лето тысяча шестое,
В ночь на пятое июня
Совершилось такое

Дело: в нашем казначестве
Вор украл брильянтов массу;
Обворовывать и после
Успевал он нашу кассу.

В кладовой мы приказали
Нашей дочери лечь на страже;
Но сей хищник драгоценность
У нее похитил даже.

Чтоб на будущее время
Прекратить сии хищенья,
Заявивши вместе вору
Нашу дружбу и почтенье,

Мы женить его на нашей
Дщери правильным находим
И, как будущего зятя,
В сан царевича возводим.

Так как адреса и чина
Зятя мы пока не знаем,
То ему свое желанье
Сим рескриптом объявляем.

Дан до рождеста Христова,
В лето тысяча шестое.
Рампсенит, монарх Египта,
Подписал своей рукою».

Царь сдержал обет свой. Отдал
Дочь свою он в жены татю,
И в духовном завещаньи
Отказал престол свой зятю.

Вор царил, как и другие,
Поощрял таланты даже;
Говорят, в его правленьи
Очень редки были кражи.

ШЕЛЬМ ФОН-БЕРГЕН

На Рейне, в Дюссельдорфе бал;
Сияет замок как в сказке,
И музыка звонкая там гремит,
И пляшут пестрые маски.

Танцует и герцогиня сама;
Смеется непритворно:
Изящен, ловок ее кавалер,
И все в нем светски-придворно.

Из черного бархата маска; взор
Под маскою оживленный;
И блещет он, как стальной кинжал,
Полу из ножей извлеченный.

Ликует, беснуясь, карнавал
И пару почетную славит;
Под руку с Коломбиной, Пьеро
Ей в ухо шутки картавит.

А трубы гремят меж тем и гремят,
Ревет контрабас полоумный.
Но кончился танец, и, наконец,
Замолк оркестр многошумный.

«Прошу вашу светлость, увольте меня:
Мне надобно быть уже дома».
Смешно герцогине: «О, нет, ведь я
Так мало с вами знакома!»

«Прошу вашу светлость, увольте меня,
Я ужас людям внушаю».
Смешно герцогине: «Не страшно мне,
В лицо вас видеть желаю».

«Прошу вашу светлость, увольте меня:
Исчадье я тьмы и ночи».
Смешно герцогине: «О, нет, кавалер,
Позвольте взглянуть вам в очи!»

Напрасно ее упрашивал он,
Угрюмый, мрачный, унылый;
Она в нетерпении сорвала
С лица его маску силой.

«Палач! — закричала кругом толпа: —
Из Бергена!» — и с перепугу
Отхлынула. Герцогиня сама
В объятья пала супругу.

Но герцог умен, и загладил вмиг
Супруги позор и пени.
Он меч обнажил и сказал ему:
«Любезный, стань на колени!

Ударом меча посвящаю тебя
В рыцари, в честь герцогини,

И благо ты шельма, так будь же Шельм, —
Но только фон-Берген, — отныне!»

И стал паладином палач, и род
Пошел от него именитый,
И цвел он на Рейне. А ныне всех
Укрыли тяжкие плиты.

ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

Аббат Вальдгэма тяжело
Вздохнул, смущенный вестью,
Что саксов вождь — король Гарольд —
При Гастингсе пал с честью.

И двух монахов послал аббат, —
Их Асгот и Айльрик звали, —
Чтоб тотчас на Гастингс шли они
И прах короля отыскиали.

Монахи пустились печально в путь,
Печально домой воротились:
«Отец преподобный, постыла нам жизнь
Со счастьем мы простились.

Из саксов лучший пал в бою,
И Банкерт смеется, негодный;
Отребье норманнское делит страну,
В раба обратился свободный.

И стали лордами у нас
Норманны — вшивые воры.
Я видел, портной из Байе гарцовал,
Надев золоченые шпоры.

О, горе нам и тем святым,
Что в небе наша опора!
Пускай трепещут и они,
И им не уйти от позора.

Теперь открылось нам, зачем
В ночи комета большая

По небу мчалась на красной метле,
Кровавым светом сияя.

То, что пророчила звезда,
В сражении мы узнали.
Где ты велел, там были мы
И прах короля искали.

И долго там бродили мы,
Жестоким горем томимы,
И все надежды оставили нас,
И короля не нашли мы».

Асгот и Айльрик окончили речь;
Аббат сжал руки, рыдая,
Потом задумался глубоко
И молвил им, вздыхая:

«У Гринфильда Скалу Певцов
Лес окружил, синея;
Там в ветхой хижине живет
Эдит, Лебязья Шея.

Лебязьей Шеей звалась она
За то, что клонила шею
Всегда, как лебедь; король Гарольд
За то пленился ею.

Ее он любил, лелеял, ласкал,
Потом забыл, покинул.
И время шло, шестнадцатый год
Теперь тому уже минул.

Отправьтесь, братья, к женщине той,
Пускай идет она с вами
Назад на Гастингс — и женский взор
Найдет короля меж телами. «

Затем в обратный пускайтесь путь.
Мы прах в аббатстве скроем, —
За душу Гарольда помолимся все
И с честью тело зароем».

И в полночь хижина в лесу
Предстала пред их глазами.
«Эдит, Лебязья Шея, встань
И тотчас следуй за нами.

Норманнский герцог победил,
Рабами стали бритты,
На поле Гастингском лежит
Король Гарольд убитый.

Ступай на Гастингс, найди его, —
Исполним наше дело, —
Его в аббатство мы снесем,
Аббат похоронит тело».

И молча поднялась Эдит,
И молча пошла за ними.
Неистовый ветер ночной играл
Ее волосами седыми.

Сквозь чащу леса, по мху болот
Ступала ногами босыми,
И Гастингса меловой утес
Наутро встал перед ними.

Растаял в утренних лучах
Покров тумана белый,
И с мерзким карканьем воронье
Над бранным полем взлетело.

Там на поле тела бойцов
Кровавую землю устлали,
А рядом с ними в крови и пыли
Убитые кони лежали.

Эдит, Лебязья Шея, в кровь
Ступала босою ногою,
И взгляды пристальных глаз ее
Летели острой стрелою.

И долго бродила среди бойцов
Эдит, Лебязья Шея,

И, отгоняя воронье,
Монахи брели за нею.

Так целый день бродили они,
И вечер приближался,
Как вдруг в вечерней тишине
Ужасный крик раздался:

Эдит, Лебязья Шея, нашла
Того, кого искала.
Склонясь, без слов и без слез она
К его лицу припала.

Она целовала бледный лоб,
Уста с запекшейся кровью,
К раскрытым ранам на груди
Склонялася с любовью.

К трем малым рубцам на плече его
Она прикоснулась губами, —
Любовной памятью были они,
Прошедшей страсти следами.

Монахи носилки сплели из ветвей,
Тихонько шепча молитвы,
И прочь понесли своего короля
С ужасного поля битвы.

Они к Вальдгэму его несли.
Спускалась ночь, чернея,
И шла за гробом своей любви
Эдит, Лебязья Шея.

Молитвы о мертвых пела она,
И жутко разносились
Зловещие звуки в глухой ночи.
Монахи тихо молились.

КАРЛ I

Угрюмый, сидит король в лесу,
В избе дровосека дальней,

Качает чужого ребенка он.
Качает, поет печально:

«Спи, мальчик! Кто там в соломе шуршит?
Овечки заблеяли где-то.
Недобрый знак на лбу твоём,
И страшно смеешься во сне ты.

Спи, мальчик милый. Кота уже нет,
Ты мечен пророческим знаком.
Вот подрастешь, возьмешь топор;
Деревья охвачены страхом.

Уж прежней веры в народе нет,
Не верят простые дети —
Спи, мальчик! — ни в бога, ни в короля,
И ни во что на свете.

Кота уже нет. Раздолье мышам.
Насмешкой для черни сонной
Мы стали — спи, мальчик! — на небе бог,
Здесь я, король ваш законный.

Мой дух угас, на сердце боль,
И жизнь подходит к краю.
Спи, сын дровосека, будешь ты
Моим палачом, — я знаю.

В твоей колыбельной я смерть пою.
Спи, мальчик мой! Не жалея,
Седые ты волосы срежешь мне.
Топор приподнят над шеей.

Спи, мальчик! Кто там в соломе шуршит?
Наследник леса и пашен,
Ты голову мне снесешь долой,
А мертвый кот не страшен.

Спи, мальчик, кто там в соломе шуршит?
То овцы лепечут спросонок.
Кота уже нет, раздолье мышам.
Спи крепко, мой палаченок!»

МАРИЯ-АНТУАНЕТА

Как весело в замке Тюильри
Зеркальные окна блистают.
И все же там средь бела дня
Старые тени гуляют.

Является в Pavillion de Floge
Мария-Антуанета.
Она справляет там утром lever
По всем статьям этикета.

Придворные дамы, одни стоят,
Другие сидят по праву.
Платья из шелка и парчи.
Кружево слева и справа.

Стан их тонок, фижмы пышны;
Подслушивают лукаво
Точеные ножки стройных дам...
Ах, если б им головы, право!

Где у одной нет головы,
Без головы вся свита.
Ее величество в том числе,
И в силу сего не завита.

Она, у которой был с башню шиньон
На всех королевских визитах,
Самой Марии-Терезии дочь
И внучка царей знаменитых, —

Она без прически, без головы,
Должна бродить среди свиты
Дам безголовых, и все наподбор,
Как и она, не завиты.

Это все революции плод,
Это ее доктрина,
Во всем виноват Жан-Жак Руссо,
Вольтер и гильотина.

Но, странное дело, сдается мне,
Что бедные дамы сами
Не знают, как они мертвы
И что с их головами.

Все те же ужимки, что и встарь,
И лесть, и вздор, и вести;
Безглавые поклоны их
Страшны и забавны вместе.

Присела первая дама d'atour,
Несет сорочку к постели,
Вторая протягивает ее,
И обе вместе присели.

И третья там и четвертая тут
На месте приседают,
И на коленях чулки ее
Величеству надевают.

Присела пятая, — подает
Кофту белее мела,
Шестая нижнюю юбку несет
И точно так же присела.

Обер-гофмейстерина стоит,
Веером машет рядом,
И, за отсутствием головы,
Она улыбается задом.

Сквозь занавески солнце порой
Бросает украдкой пятна,
Но, как заметит старую тень,
Прядает в страхе обратно.

ПОМАРЕ

1

У меня ликует в сердце
Бог любви, и на фанфаре

Возвещает он: «Привет
Государыне Помаре!»

Не про ту — не с Отаити,
Разных миссий ученицу,
Про другую говорю —
Про дикарку и царицу.

Дважды каждую неделю
Свой народ она чарует,
Польку там, в саду Мабиль.
И канкан она танцует.

В каждом жесте, в каждой позе
С бедр до икор — королева;
Вся — величье и краса,
Необузданная дева.

Пляшет, а во мне ликует
Бог любви, и на фанфаре
Возвещает он: «Привет
Государыне Помаре!»

2

Она танцует. Гибкий стан
Волнением страстным обуян!
И вот вспорхнула, полетела —
И рвется вслед душа из тела.

Танцует, вьется, как стрела;
Но вдруг застыла, замерла,
Призывно выгнула руки.
Спаси, о боже, меня от муки!

Танцует. Так была должна
Плясать пред Иродом она —
Дщерь молодая Иродиады.
Как молнии, смертоносны взгляды...

Сведет с ума меня она...
Скажи: чего тебе, жена?

Смеешься?.. Слуги, сюда, живее!
Казнить пророка в Иудее!

3

За кусок вчера она
Грязь месить была должна;
А сегодня пред толпою
Гордо мчится четвернею,

И к подушке шелковбй
Чернокудрой головой
Прислонилась, созерцая,
Как бежит толпа густая.

Эта роскошь, этот вид
Сердце мне в тисках щемит:
Ах, ты с этой колесницы
Ступишь прямо в дверь больницы!

Встретит смерть тебя косою
И покончит все с тобой,
И прожектор безобразный,
На больничной лавке грязной,

Неуклюжею рукой
Вскрост труп изящный твой.
Эти кони тоже скоро
Будут в лапах живодера.

4

Но не то судьба сулила
И не так гневна была;
Слава богу, ты почила,
Слава богу, умерла.

Ты в мансарде опочила
Бедной матери своей,
И она тебе закрыла
Звезды гаснувших очей.

Пелену тебе купили,
Гроб, могилку у стены.
Правда, похороны были
Как-то жалки и бедны:

Не с свечами гробовыми
Духовенства стройный хор, —
За носилками твоими
Шли твой пес и куафер.

«Ах, как часто я Помаре, —
Парикмахер прошептал: —
Неодетой, в будуаре,
Косу черную чесал!»

Пес доплелся до кладбища
И вернулся от ворот
К Rose Pomron; у ней он пищу
И приют себе найдет,

Rose Pomron, что так хулила
Королевский титул твой
И тебя всегда язвила
Самой низкой клеветой.

Оргий бедная царица!
И в грязи тебя спасла
Милосердная десница
Господа, — ты умерла.

И дана тебе награда
Этой вышней доброты
Оттого, — так думать надо, —
Что любила много ты.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Звуки флейт, цевниц, тимпанов...
Перед рядом истуканов
Дщерь Иакова танцует;
Вкруг тельца веселье, шум;

Брум-брум-брум —
Все поет, трубит, ликует.

И воскрыляя рубашек
Приподняв почти до ляжек,
Благороднейшие девы
Пляшут, пляшут без конца
Вкруг тельца.
Смех, тимпаны и напевы!

Аарон сам, увлеченный
Этой пляской исступленной,
Тоже бешено танцует;
Он, страж веры, в пляс пошел,
Как козел.
Все поет, трубит, ликует.

ЦАРЬ ДАВИД

Угасает мирно царь,
Ибо знает: как и встарь,
Самовластье на престоле
Будет чернь держать в неволе.

Раб, как лошадь или бык,
К вечной упряжи привык,
И ломает шею мигом
Не смирившийся под игом.

Соломону царь Давид,
Умирая, говорит:
Кстати, вспомни, для начала,
Иоава, генерала.

Этот храбрый генерал
Много лет мне докучал,
Но ни разу злого гада
Не пощупал я, как надо.

Ты, мой милый сын, умен,
Веришь в бога и силен,
И твое святое право
Уничтожить Иоава.

АЗРА

Каждый вечер в ту аллею,
Где фонтан серебристый блещёт,
Дочь прекрасная султана
На прогулку выходила.

Каждый вечер ждал в аллее,
Где фонтан серебристый плещет,
Юный раб и становился
С каждым днем бледней, бледнее.

Раз княжна к нему подходит
С повелительной речью:
«Знать хочу твое прозвание,
И твой род, твою отчизну!»

И ответил раб: «Прозванье —
Магомет, отчизна — Йемен,
Род мой — Азра, тот, в котором
Кто полюбит — умирает!»

НЕВЕСТЫ НЕБЕСНЫЕ

Ночью в окнах монастырских
Путник видит освещенье
Очень яркое: сошлись
На молитву привиденья.

Мрачно шествие. Идут
Тени мертвых урсулинок.
Видны лица молодые
Из-под белых капуцинок.

И зловеще, словно кровь,
В их руках мерцают свечи,
И звучат под сводом странно
Стоны тихие и речи.

Урсулилки входят в храм,
Ряд скамеек занимают

Деревянных, и на хорах
Петь молитвы начинают.

Их папев — вполне церковный,
Но в словах безумье ясно:
Это души бедных грешниц,
В рай стучащихся напрасно!

«Обручили нас Христу,
Но, узнав страстей тревогу,
Тò мы кесарю дарили,
Что отдать должны бы богу.

Как прельстителен мундир!
А усы-то завитые!
Но соблазн неодолимый —
Эполеты золотые!

На высокое чело,
То, что тернии язвили.
Мы наставили рога,
Иисусу изменили!

И оплакал Иисус
Душ погибших заблуждение.
«Будьте прокляты! — сказал он: —
Не дождетесь искупленья!»

Из могил поднявшись в ночь
За измену чистой вере,
Здесь мы бродим в наказанье —
Miserere! Miserere!

Ах, в могиле хорошо;
Но в небесной теплой сфере
Отдохнуть еще отрадней —
Miserere! Miserere!

О, прости нас, Иисус,
И, открыв пред нами двери
Рая теплого,пусти нас —
Miserere! Miserere!»

Так поет толпа теней,
И давно умерший кистер
Пробегает на органе
Быстро клавишей регистер.

ЖОФРУА РЮДЕЛЬ И МЕЛИСАНДА ТРИПОЛИ

Гобелены в замке Блэ
По стенам большого зала, —
Их графиня Триполи
Все рукой своею ткала.

Эти тканые картины
Все слезами оросила,
Душу выткала всю в них.
И представлено там было,

Как Рюделя на побережь
Мелисанда увидала
И мечту своих томлений
В умирающем узнала;

И Рюдель теперь впервые
И в последний раз встречался
С той, которой в сновиденьях
Он так часто восхищался.

Наклонясь над ним, графиня
Так любовно целовала
Те уста, с которых песнь
В похвалу ее слетала.

Поцелуй их первой встречи
Поцелуем был разлуки —
Оба выпили до дна
Чашу радостей и муки.

Каждой ночью странный шорох
Слышен в замковых покоех:
То внезапно оживают
Две фигуры на обоях.

Трубадур и дама тихо
Тени-члены расправляют,
Выступают из картины,
И по комнатам гуляют.

Слышен тихий страстный шопот,
Томно-сладостные вздохи —
Земогильный нежный звук
Миннесингерской эпохи.

«Жофруа! Твой голос мне
Сладко сердце согревает,
И в давно потухшем пепле
Пламя, слышу я, пылает».

«Мелисандра! Взор твой — счастье
И цветок роскошный мая.
Вновь живу я, а в могиле
Только скорбь моя земная».

«Жофруа! В одних мечтах
Знали мы любовь покуда,
А теперь узнали в смерти —
Тут Амура-бога чудо!»

«Мелисанда! Что есть сон?
Что есть смерть? Пустые звуки!
Лишь в любви дана нам правда,
В ней все счастье, в ней все муки!»

«Жофруа! При лунном свете
Здесь так тихо, так покойно,
Что нам день и что нам солнце,
Днем и шумно так, и знойно!»

«Мелисанда! Ты сама мне
Свет и солнце, дорогая!
Где пройдешь ты, там весна,
И любовь, и радость мая...»

Так болтая, долго бродит
Трубадур с своею дамой, —

А луна глядит на них
Сквозь окно с узорной рамой.

Но заря лучом пурпурным
Возвещает день весенний
И назад, в стенной ковер,
Ускользают робко тени.

ПОЭТ ФИРДУСИ

1

Если нищий речь заводит
Про томан, то уж, конечно,
Про серебряный томан,
Про серебряный — не больше.

Но в устах владыки, шаха, —
На вес золота томаны:
Шах томаны принимает
И дарует — золотые.

Так привыкли думать люди,
Так же думал и Фирдуси,
Сочинитель знаменитой,
Обожествленной «Шах-Наме».

По приказу шаха эту
Героическую песнь
Написал он; по томану
Шах за каждый стих назначил.

Уж семнадцатую вёсну
И цвела, и блекла роза,
И семнадцать раз ее
Соловей прославил песней.

В это время сочинитель,
За станком тревожной мысли,
Днем и ночью неустанно
Ткал ковер громадный песни.

Да, громадный: стихотворец
Вткал в него великолепно
Баснословие отчизны,
Патриархов Фарсистана,

Славных витязей народных,
Их деянья, приключенья,
И волшебников, и дивов —
Все в цветах волшебной сказки,

Все в цветах, и все живое,
Все проникнутое блеском,
Облитое, как с небес,
Светом благостным Ирана,

Тем предвечным, чистым светом,
Храм которого последний,
Вопреки корану, муфти,
Пламенел в душе поэта.

До конца допелась песнь,
И поэт ее тотчас же
К государю отослал;
А стихов в ней двести тысяч.

Так случилось, что в бане,
В бане Гасны отыскали
Сочинителя Фирдуси
Шаха черные посланцы.

Каждый нес мешок томанов
И коленопреклоненно
Положил к ногам Фирдуси,
Как почетную награду.

Он — к мешкам, спешит увидеть
Тот металл, которым взоры
Так давно не любовались, —
И отпрянул в изумленье:

Те мешки битком набиты .
Все томанами, да только

Все серебряными. Горько
Засмеялся стихотворец;

Засмеялся горько; деньги
Разделил он на три части:
Две из них он тотчас отдал
Черным шаховым посланцам,

Как награду за посылку,
Дал им поровну обоим;
Третью часть он слуге
За его услуги в бане.

Взял он страннический посох
И расстался со столицей,
У ворот ее встряхнув
Пыль и прах своих сандалий.

2

«Обманул бы просто он,
Из обычая людского,
Не сдержал бы просто слова —
Я бы не был возмущен.

Я сержуся на него
За два смысла обещанья;
А коварство умолчанья
Оскорбительней всего.

Величав, душой высок, —
Редкий мог бы с ним сравниться.
Да, — как это говорится, —
Царь в нем каждый был вершок.

Правды гордый муж, блеснул,
Словно солнце, он над нами,
Сжег огнистыми лучами
Душу мне — и обманул».

3

Шах Магомет оттрапезовал. Он,
Вкусно покушав, душой смягчен.

В сумерках сад, водометы в игре.
Шах возлежит на цветном ковре.

Одаль прислуга рядами немymi;
Шаха любимец, Анзари, с ними;

В мраморных вазах, под летним лучом,
Розы душистым кипят ключом;

Пальмы свои опахала колышат,
Как одалиски, и негой дышат.

И кипарисы застыли в покое —
Грезят о небе, забыв земное.

Пение дивное вдруг раздалось,
Под звуки лютни оно лилось.

И встрепенулся шах ото сна:
«Кем эта песня сложена?»

Шах ожидал от Анзари ответа, —
Тот говорит: «Фирдуси поэта».

«Песня Фирдуси! Да где ж, наконец, —
Шах вопрошает, — великий певец?»

И отвечает Анзари: «Поэт
Бедствует вот уже много лет;

Там, в родном городке своем, в Тусе,
Ходит за садиком Фирдуси».

Шах Магомет помолчал с добрый час;
И отдает Анзари приказ:

«Слушай! Скорей на конюшню иди;
Сто мулов из нее выводи.

Столько ж верблюдов. Навьючишь их
Всем, что отрадно для вкусов людских.

Всяких сокровищ и редкостей груды
Пусть они тащат: одежды, сосуды,

Кости слоновой, дерев дорогих,
В блеске роскошных оправ золотых.

Кубки, чаши литые и то же
Лучшие выборки барсовой кожи;

Лучшие шали, ковры и парчи,
Сколь б ни выткали наши ткачи.

Не позабудь положить во вьюки
Больше оружия и чепраки;

Не позабудь прибавить в избытке
Всяческой снеди, да и напитки,

Тортов миндальных, конфет, пирожков,
Всякого вкуса и всех сортов.

Также возьми с конюшни моей
Дюжину лучших арабских коней;

Выбери столько ж невольников черных
С телом железным, в труде упорных.

В Тус ты поедешь с этим добром,
Именем шаха ударишь челом».

И подчинился Анзари без слов;
Тяжко навьючив верблюдов, мулов

(Целая область платилась оброком),
Двинулся в путь, не замедлив сроком.

Третьи сутки еще не прошли, —
Был от столицы Анзари вдали

И направлял по пустыне на стан
Пурпурным знаменем караван.

Через неделю, вечерней порой,
Стали у Туса, под горой.

С запада ввел караван проводник,
В город вошли под шум и крик.

Бубны и трель пастушьих рогов,
Тысячеустый радостный рев.

«Ля-илля-илль Алла!» — ликуя, пели
Посланцы шаха, дойдя до цели.

А с востока, с другого конца,
В радостный час прибытья гонца

Тоже ворота раскрылись в Тусе:
Мертвого хоронили Фирдуси.

ВИЦЛИПУЦЛИ

ПРЕЛЮДИЯ

Вот она, Америка!
Вот он, этот новый свет,
Не теперешний, который,
Объевроясь, отцветает;

Это новый свет! В том виде,
Как его из океана
Кристоваль Колумб извлек.
Там свежи еще потоки,

И каскадов перлы блещут
В переливах ярких красок
От лобзаний жарких солнца.
Как здоров он, этот свет!

Не кладбище романтизма,
Не дрянная кучахлама —

Древних символов подгнивших,
Париков окаменелых.

На его здоровой почве
Все здоровые деревья;
Нет пресытившихся жизнью,
Нет больных спиной сухоткой!

Здесь качаются на ветках
Все большие птицы. Перья
Их блестяще-ярки, длинны
Их изогнутые клювы;

И глаза в оправе черной,
Как очки; то молчаливо
Смотрят вниз, то защебечут,
Словно кумушки, все разом.

Я их слов не понимаю,
Хоть известны мне все птичьи
Языки, как Соломону,
Мужу тысячи красавиц

И при этом знатоку
Всяких птичьих диалектов —
Не одних живых, но даже
Самых древних, мертвых, сгнивших

Грунт иной — цветы иные!
Цвет иной — иной и запах!
В нос бросается тот запах,
И неслышанный, и дикий,

И щекочет сладострастно,
И тревожит обонянье
Все одним вопросом: где я
Прежде слышал этот запах?

Может быть, на Реджент-Стрите,
Из паляще-желтых ручек
Той красавицы-яванки,
Что цветы всегда жевала?

Иль, быть может, в Роттердаме,
Подле статуи Эразма,
Под таинственной завесой
В белой вафельной лавчонке?

Но пока на Новый Свет
Я гляжу с таким смущеньем,
Сам его, как видно, вдвое
Я пугаю: обезьяна,

Увидав меня, юркнула
Прямо в куст, перекрестилась
И кричит, дрожа от страха:
«Призрак! Призрак! Старый свет!»

О, не бойся, обезьяна!
Я не пугало, не призрак;
Жизнь в моих клокочет жилах,
Жизни я вернейший сын.

Но так долго я возился
С мертвецами, что невольно
Их манеры приобрел,
Их таинственную странность.

Жизни лучшие года
Я провел в горе Венеры,
И в Кифгейзере, и в прочих
Катакомбах романтизма.

Не пугайся, обезьяна!
Я люблю тебя за то, что
Твой огузок безволосый
Трех цветов моих любимых:

Черный, красный, золотистый!
Дорогие краски зада
Обезьяны! Я с тоскою
Вспомнид знамя Барбароссы.

1

На челе носил он лавры,
У сапог блестели шпоры
Золотые — хоть и не был
Ни герой он и ни рыцарь.

Был он шайки атаманом;
И так нагло в книге славы
Кулаком своим отгиснул
Имя дерзкое «Кортес!»

Он под именем Колумба
Написал его, — и школьник
На скамейке школьной учит
То и это имя вместе.

И тотчас же за Колумбом
Называет и Кортеса,
Как второго из великих
В новосветском пантеоне.

Шутит зло судьба героев,
У людей в воспоминаньи
Наше имя ставя рядом
С именами проходимцев!

Уж не лучше ль оставаться
Совершенно безызвестным,
Чем в сообществе позорном
Вечность долгую влачиться?

Мессер Кристоваль Колумб
Был герой, и дух Колумба
Лучезарен словно солнце,
И, как солнце, так же щедр.

Миру многие дарили
Очень много, но Колумб

Целый мир прибавил к миру;
Назван он Америкой.

Нас Колумб не мог избавить
От оков земной темницы;
Но зато ее расширил
И длиннее сделал цепи.

Многим мир ему обязан!
Человечество Европой
Утомилось; да не меньше
Также Африкой и Азией.

Лишь один из всех героев
Дал нам лучше, дал нам больше,
Чем Колумб, — герой, который
Человечеству дал бога.

У него отца Авраамом
Звали; мать — Иохевефой,
Самого же — Моисеем;
Это лучший мой герой.

Но, пегас мой, слишком долго
Остаешься ты с Колумбом;
Путь лежит нам нынче к мужу
Поничтожнее, к Кортесу.

Расправляй цветные крылья,
Конь крылатый! Понесемся
В Новый Свет, в прекрасный край,
Тот, что Мексикой зовется.

Понесемся в замок тот,
Что державный Монтезума
Так радушно предоставил
Для гостей, своих испанских;

И не только кров и пищу
Этим чуждым побродягам
Дал он в щедром изобилии,
Но и ценные подарки.

Вещи золота литого,
Драгоценные камни, —
Все доказывало щедрость
Благодушного монарха.

Он, дикарь непросвещенный,
Суевер, слепой язычник,
Верил в честь еще и верность,
В святость прав гостеприимства.

И он принял благосклонно
Приглашение на праздник,
Что в дворце своем испанцы
В честь подарка дать хотели,

И со всем придворным штатом
Беззаботен, благосклонен,
Прибыл к нам, в испанский замок,
Где был встречен звуком труб.

Как та пьеса называлась,
Я не знаю. Может быть —
«Честь испанская»; но автор
Звался дон Фернанд Кортес.

Подал он сигнал, — и тут же
На дря напала стража,
И в цепях в темнице замка
Он заложником остался.

Но скончался Монтезума,
И прорвалась вдруг плотина,
Что от ярости народной
Пришлецов обороняла.

Страшен был прилива вал, —
Точно бешеное море,
Дико, злобно подступали
Волны гневного народа;

Хоть испанцы отражали
Каждый штурм, но ежедневно

Новый приступ, — и борьба
Утомительною стала.

С царской смертью прекратился
И подвоз съестных припасов;
Сократились рационы,
И длиннее стали лица.

И тоскливо друг на друга
Смотрят бедные испанцы
И, вздыхая, вспоминают
Христианскую отчизну,

Край родной, где с колоколен
Льется звон благочестивый
И где *ollea potrida*
Мирно булькает в кастрюле

Вместе с соусом «гарбанцос»,
Где припрятались сосиски,
Так лукаво испаряя
Чеснока любезный запах.

И решил совет военный
Отступить. Поутру рано
Осажденные испанцы
Собрались оставить город.

Путь туда им облегчила
Хитрость умного Кортеса,
Но обратная дорога
Представляла много риска.

Город Мексико построен
На озерном острове;
Это — гордая твердыня,
Окруженная водами.

Сообщаться с берегами
Можно только на паромах,
По мостам на плотных сваях,
Или бродом — островками.

Раньше солнышка поднявшись,
Маршем двинулись испанцы;
Барабаны их не били,
Не трубили трубы зорю, —

Не желали потревожить
Сладкий сон своих хозяев.
(А индейцев тысяч сто
Перед Мексикой собралось.)

Но на этот раз испанцы
В ожиданьи обманулись:
Мексиканцы нынче утром
Поднялись гораздо раньше.

По мостам, паромам, бродам
Собрались они затем,
Чтоб прощальный кубок выпить
Вместе с милыми гостями.

По мостам, паромам, бродам,
Гей! пирушка началась,
Спор пошел — кто выпьет больше,
И струилась кровь волнами.

Прижималось тело к телу,
И оттискивались кровью
На груди индейцев голой
Лат испанских арабески.

Это был не бой, а бойня;
И резня распространялась
С страшной медленностью дальше,
По мостам, паромам, бродам.

Мексиканцы пели, выли,
Но испанцы бились молча,
Завоевывая почву
Отступленья шаг за шагом.

Европейцам, в тесноте,
Не давало перевеса

Их военное искусство —
Ружья, панцыри и кони.

Да притом еще испанцы
Всей награбленной монетой
Нагрузились через меру;
Ах, и желтый груз грехов

Их стеснял во время боя,
Так что дьявольский металл
Погубил не только душу,
Но и тело вместе с нею.

Между тем по всем озерам
Плыли барки и пироги,
И стрелки из них стреляли
По мостам, паромам, бродам.

Правда, в этой суматохе
И в своих попасть случалось,
Но немало стрел попало
И в идальго благородных.

На втором мосту свалился
Храбрый Гастон, несший знамя,
На котором был шелками
Вышит лик пречистой девы.

Даже в этот образ стрелы
Мексиканцев попадали;
Шесть блестящих стрел вонзилось
Прямо в сердце и застряли,

Как мечи те золотые,
Что в страстной пяток пронзают
Грудь у Mater Dolorosa
На процессиях церковных.

И дон Гастон, умирая,
Знамя передал Гонсальву,
Но и тот, сраженный смертью,
Вскоре пал. Тогда схватил

Сам Кортес штандарт священный
И держал его высоко
Над конем до самой ночи,
Прекратившей страшный бой.

Сотни две испанцев пали
В этот дeнь на поле битвы,
Слишком семьдесят к индейцам
В плен попались живыми;

Много раненых смертельно
Скоро с жизнью распрощались;
Лошадей двенадцать было
Иль убито, или взято.

Только к вечеру испанцы
С полководцем добрались
До плакучих ив, даривших
Скудной тенью плоский берег.

2

За ужасным днем сраженья
Ночь иная наступила—
Ночь победы; сотни тысяч
Золотых огней зажглись.

Сотни тысяч ярких плошек,
Ламп и факелов смолистых
Обливают резким светом
Храмы, царские палаты,

А при этом и кирпичный
Храм кумира Видлипуцли,
Замок бога, что собой
Странно так напоминает

Колоссальные постройки
Вавилона, Ниневии
И Египта, как рисует
Их британец Энри Мартен.

Те ж широкие площадки
Круглых лестниц, по которым
Без труда теперь проходят
Много тысяч мексиканцев,

Между тем как на ступенях
Дико войны ликуют,
Упоевшие победой
И кокосовым вином.

Эти лестницы зигзагом
Извиваются к платформе —
Необъятной кровле храма,
Обнесенной парапетом.

Там, на троне-алтаре
Восседает Вицлипуцли,
Кровожадный бог войны,
Безобразно-страшный идол,

Но разряженный так пышно,
Так манерно, так по-детски,
Что, внушая тайный ужас,
Вызывает он и смех,

И при этом «Пляску смерти»
(Фреска в базельском соборе)
Или брюссельскую куклу
Mannken Piss — напоминает.

Справа идола — миряне;
Слева стало духовенство,
Щеголяя в ярких перьях
Пышной жреческой одежды.

А на мраморных ступенях
Сел столетний старикашка,
Безволосый, безбородый,
И в камзоле ярко-красном.

Этот старец — жрец верховный;
Он свой нож широкий точит,

Улыбаясь, и порою
Вверх на идола косится.

И как будто Вицлипуцли
Этот взор лукавый понял:
Он ресницами моргает,
Шевелит губами даже.

На ступенях алтаря
Разместились музыканты:
Рог коровий и литавры,
Грохот, треск и завыванье —

Грохот, треск и завыванье,
И запели целым хором
Мексиканское Те деум;
Замяукали, как кошки —

Замяукали, как кошки,
Только той породы крупной,
Называющейся тигром,
Что едят людей, не мышек.

И когда доносит ветер
Звуки на берег, к испанцам,
То на сердце у несчастных
Кошки жалостно скребут.

Под тщедушными ветвями
Ив плакучих грустно стоя,
Смотрят на город они,
Что, над ними издеваясь,

Всеми яркими огнями
Отразился в темной влаге.
Здесь они как бы в партере
Колоссального театра,

А платформа — кровля храма
Вицлипуцли — это сцена,
Где для праздника победы
Разыграют нынче драму:

«Человеческая жертва».
Содержанье очень древне,
Но не так ужасно в нашей
Христианской обработке.

Ибо кровь у нас мгновенно
Претворилась в вино,
И мучнистою облаткой
Стало мертвенное тело.

Но на этот раз у диких
Замышляется не шутка.
Мясом будет вправду мясо,
Кровью будет вправду кровь.

И теперь уж кровь польется
Христианская, ни разу
Не смешавшаяся с кровью
Гнусных мавров и евреев.

Возликуй же, Видлипуцли!
Нынче много этой крови,
И ее горячим паром
Усладишь ты вволю нос.

Целых семьдесят испанцев
Нынче в честь твою зарежут,
И роскошное жаркое
Будут есть твои жрецы.

Ведь жрецы такие ж люди,
Человек же плотояден
И, конечно, жить не может
Только запахом, как боги.

Чу! Гремят кимвалы смерти!
Рог коровий злобным воем
Возвещает приближенье
Обреченных на погибель.

И постыдно обнаженных,
Бедных семьдесят испанцев,

За спиной скрутив им руки,
Тащат вверх по ступеням.

Перед ликом Вицлипуцли
Силой ставят на колени
И плясать потешный танец
Заставляют истязаньем.

Эти пытки так ужасны,
Что стенания страдальцев
Покрывают вой и крики
Иступленных людоедов.

Жутко публике испанской!
И Кортес, и все в отряде
Голоса друзей узнали
В этих страшных воплях муки.

И на ярко освещенной
Сцене ясно видят лица,
И фигуры, и движенья;
Видят нож и видят кровь.

И с голов снимают шлемы,
Опустились на колени,
И звучит псалом умерших,
И поется De profundis!

Меж погибшими был также
И Раймондо де-Мендоза,
Сын прекрасной аббатисы —
Молодой любви Кортеса.

На груди его увидев
Медальон с портретом милой,
Юных лет своих подруги,
Залился Кортес слезами,

Но сейчас же он отер их
Жесткой кожаной перчаткой
И, вздохнув, запел с другими
В общем хоре: Miserege!

3

Все бледней мерцают звезды;
Волны утренних туманов
Поднялись, как привиденья,
Волоча свой белый саван.

Кончен пир, огни погасли;
На широкой кровле храма
В лужах крови спят миряне
И жрецы, храпя усердно.

Но не спит цветной камзол;
При огне последней лампы
Жрец, слащаво осклабясь,
С едким смехом молвит богу:

«Вицлипуцли, Пуцливицли!
Мой божочек Вицлипуцли!
Позабавился ты нынче
И понюхал благовоний!

Экий запах аппетитный
У испанской крови! То-то
Так зарделся сладострастно
Этот лакомка — твой носик!

Завтра мы тебе зарежем
И коней, чудовищ ржущих —
Порожденье духов ветра
В любодействе их с моржами.

Если умницею будешь,
Я тебе зарежу внуков,
Двух красавцев чистой крови.
Старых дней моих усладу.

Только умницею будь,
Дай нам новые победы,
Мой возлюбленный божочек,
Пуцливицли, Вицлипуцли!

Погуби врагов, пришельцев,
Переплывших из далеких
Стран, поныне неоткрытых,
К нам по морю-океану.

Что их из дому погнало?
Грех кровавый? Или голод?
Правду молвит поговорка:
Честно снискивай себе

Пропитанье, сидя дома.
Что им нужно? Напихали
Нашим золотом карманы
И сулят блаженство в небе!

Мы сначала их считали
За существ породы высшей,
За сынов бессмертных солнца,
Облеченных в божьи громы.

Но они такие ж люди,
Так же смертны, как и мы:
Смертность их сегодня ночью
Я ножом моим изведаль.

Люди — и ничем не лучше
Нашей братьи, а иные
Безобразны, как мартышки,
Так же точно волосаты.

И слышал я, что у многих
Под штанами хвостик спрятап,
А кому нужны штаны,
Если он не обезьяна?

Да и нравственно-то гадки;
Нет в их сердце пиэтизма:
Говорят, они съедают
Даже собственных богов.

Истреби сей род неверный,
Нечестивых богоедов,

Вицлипудли, Пуцливицли,
Дай победу, Вицлипудли!»

Так сказал первосвященник;
И ответ суровый бога
Зазвучал, как шелест ветра
В тростнике болот озерных:

«Красный, красный мой камзольчик!
Ты зарезал много тысяч;
Ныне жертвенной секирой
Самого себя срази!

И душа твоя поскачет
Из распоротого тела
По камням, кочкам, пням
На лягушечье болото.

Там моя родная тетка
Крыс царицей! «Здравствуй, — скажет: —
Здравствуй, душенька нагая.
Что племянник мой, здоров ли?»

Вицлипутствует ли мирно
В золотом медвяном блеске?
Все ль с чела его сгоняет
Мух и думы злые счастье?

Иль его в железных лапах,
Омоченных в яд ехидны,
Держит ведьма Кацлагара
И царапает когтями?»

Отвечай, душа нагая:
«Шлет поклон свой Вицлипудли
И желает язву в брюхо
Получить тебе, проклятой!

Твой совет вовлек нас в бездну;
Ты войну ему внушила,
И сбылось над нами злое,
Древне-злое предсказанье,

Что погибнет наше царство
От страшилищ бородатых,
К нам на птицах деревянных
Налетевших от востока.

Есть такая поговорка:
Воля женщин — воля божья;
Богоматери же воля —
Воля божия вдвойне.

Преисполненная гневом
На меня, царица неба,
Непорочная Марии
Покровительствует этим

Победителям испанцам,
И теперь погибнуть должен
Я, из всех богов жалчайший,
Вместе с Мексикой моей».

Скажешь это — и сейчас же
Пусть душа твоя нагая
Заползет в нору — и спит,
Чтоб моих не видеть бедствии

Этот храм падет, а вместе
С ним и я паду; исчезну
В грудях пепла и в дыму,
И никто меня не сыщет!

Но не сгину; долговечны
Боги, словно попугай;
Как они, и мы линяем,
Изменяя только перья.

И к врагам моим в отчизну
Что зовут они Европой,
Полечу я и начну
Вновь служебную карьеру.

Стану чортом; прежний бог
Превратится в «с нами бога»

А с врагами, злейший враг,
Буду действовать по-свойски.

Да, врагов я стану мучить,
Привиденьями пугать их;
Пусть геенну предвкушают,
Обоня запах серы.

Мудрецов, глупцов их буду
Соблазнять; их добродетель
Щекотать, пока не станет
Хохотать она, как девка.

Да, я в чорта превращусь;
Шлю привет моим собратьям —
Вельзевулу, Астароту,
Сатане и Велиалу.

И тебе, Лилит, привет,
Мать греха, змея соблазна!
Ты изящному искусству
Лжи и зла меня научишь.

Пусть, о Мексика родная,
Я спасти тебя не в силах:
Но зато уж отомщу
Я за Мексику родную».



ИСПАНСКИЕ АТРИДЫ

В лето тысяча и триста
Сорок третье, в день Губерта,
Королем мы были званы
В Сеговию на обед.

Все придворные обеды
Одинаковы; зевает
За столом, в чертогах та же
Коронованная скука.

Та ж посуда золотая,
Те же редкостные яства,
С тем же привкусом свинца —
Пахнет кухнею Локусты.

Та же шелковая челядь,
Точно пестрые тюльпаны,
Те же важные поклоны —
Только соусы различны.

Говор шопотом, жужжанье
Словно маком усыпляют,
Вплоть до той поры как трубы
Не прервут сонливой жвачки.

Близ меня сидел по счастью
Дон Диэго Альбукерке;
Занимательные речи
С умных уст его лились.

Рассказал он превосходно
Про кровавые интриги
При дворе у дона Педро,
По прозванию «Жестокий».

А когда его спросил я,
Отчего дон Педро брата,
Дон Фредрего, обезглавил,
Он, вздыхая, отвечал:

«О, синьор! Тому не верьте,
Что под треньканье гитары
Вам споет погонщик мулов
В кабаке, корчме, посаде.

Вы не верьте их рассказам
Про любовь меж дон Фредрего
И супругою дон Педро,
Доньей Бланкою Бурбонской.

Не от ревности супруга —
Жертвой зависти монаршей
Пал несчастный дон Фредрего,
Орденмейстер Калатравы.

Одного лишь преступленья
Не простил ему король —
Славы той, что в свете громко
Донья Фама протрубила.

Не простил ему дон Педро
И души его высокой,
Как и зеркала души —
Стройно сложенного тела.

Ах, в моем воспоминаньи
Все встает герой-красавец;
Никогда я не забуду
Этих юношеских линий.

Да, он был из тех, которых
Особливо феи любят;

Словно сказочною тайной
Был его овейя лик.

Точно камень драгоценный,
Очи синие горели,
Но и твердость в них светилась
Точно та же, что в камнях.

Кудри, с блеском несравненным,
Отливали синевою
И роскошными волнами
По плечам его змеились.

В славном городе Коимбре,
В том, что отнял он у мавров,
Я в последний раз живого
Видел принца. Бедный принц!

На коне, вдоль узких улиц,
Ехал он из Альказара;
Любовались мавританки
Сквозь решетчатые окна.

Перья шлема развевались
Щегольски; но строгий орден
Калатравы тут же гнал
Всякий помысел любовный.

Рядом с ним, хвостом виляя,
Мчался пес любимый, Аллан,
Зверь породы благородной,
Коей родина Сиерра.

Несмотря на рост огромный,
Он оленя был быстрее —
С благородной головою,
Хоть похожею на лисью.

Шерсть его, белее снега,
Мягче шелка, вниз спадала;
Был рубинами осыпан
Золотой его ошейник.

Говорят, ошейник тот
Талисман скрывал великий:
Ни на шаг от господина
Верный пес не отходил.

Верность страшная! Дрожу я
И теперь, когда приходит
Мне на ум, как эта верность
Перед нами проявилась.

День ужасный! Это было
В этой самой пышной зале;
Как сегодня, я сидел
За обедом королевским.

В том конце стола, где ныне
Восседает дон Энрико,
Живо кубки осушая
С цветом рыцарей кастильских, —

В этот день сидел дон Педро,
Нем и сумрачен; а рядом,
В гордом блеске, как богиня,
С ним Мария де-Падилья.

На конце стола, на нижнем,
Где теперь мы видим даму
В накрахмаленных брыжжах,
Столь похожих на тарелку,

И лицом поблекло-желтым
С кисловатою улыбкой,
Очень схожую с лимоном,
На тарелке той лежащим, —

Там в то время оставалось
Лишь одно пустое место:
Видно, царственного гостя
Золотое кресло ждало.

Дон Фредрего был тот гость,
И его то кресло ждало.

Не пришел он. Ах, узнали
Мы отсутствия причину.

Ах, в тот самый час свершилось
Гнусно-мрачное злодейство:
Молодой герой беспечный
Палачами дона Педро

Был коварно схвачен, связан,
Приведен в подвал дворцовый,
Где в сыром и затхлом мраке
Только факелы мердали.

Палачи вокруг столпились;
Впереди заплечный мастер,
На топор свой опираясь,
С мрачным видом произнес:

«Вам, grosмейстер Калатравы,
Надо к смерти быть готовым;
Вам дано лишь пять минут
На предсмертную молитву».

Дон Фредрего на колени
Стал, спокойно помолился
И потом сказав: «Я кончил!»,
Принял смертный он удар.

В ту минуту, как скатилась
Голова на пол кровавый,
Прыгнул к плахе верный Аллан,
Подоспевший незаметно.

Он схватил зубами кудри
Головы окровавленной
И с добычей драгоценной
Словно птица полетел.

Крики ужаса и скорби
Раздавались по пути,
В коридорах, в пышных залах
И по лестницам дворца.

После пира Балтасара,
Верно, не был такого
Изумленья и испуга,
Как меж нами в то мгновенье,

Как чудовище вбежало
С головою дон Фредрего,
Волоча его за кудри,
Орошаемые кровью.

И на кресло, на котором
Должен был сидеть Фредрего,
Прыгнул пес, как обвинитель,
С головой окровавленной.

Ах, пред нами был все тот же
Лик прекрасный и знакомый,
Но суровой и бледней,
И его обвили страшно

Кудри черные, поднявшись
Дико кверху, точно змеи
На челе Медузы, так же,
Как они, окаменев.

Да и мы окаменели,
Дико взор впсрив друг в друга;
Скован каждого язык
Страхом был и этикетом.

Лишь Мария де-Падилья
Прервала молчанье. Руки
Заломив в печали, громко
И с рыданьем простионала:

«Скажут все теперь, что это
Я убийство совершила;
И отмстится кровь на детях,
На моих невинных детях!»

Тут закончил дон Диэго
Речь свою, затем что гости

Уж со стульев поднялися
И из залы выходили.

Дон Диэго отличался
Утонченным обращением:
Вместе с ним старипный замок
Обходили мы, сам-друг.

Вдруг, в одном из коридоров,
Где бормочанье, лай и визги
Означали, что ведет он
Прямо к псарням королевским, —

Вдруг я впадину увидел,
Что в стене была пробита
И снаружи, точно клетка,
Зарешетчена железом.

И глядят из-за решеток
Человеческие лица:
На гнилой соломе, в путах,
Двое мальчиков лежат.

Одному двенадцать было,
А другой немного старше;
Лица нежны, благородны,
Но иссушены недугом;

Оба были полунаги;
И следы жестоких пыток
Носят их худые тельца,
И трясет их лихорадка.

И с таким глубоким горем
Смотрят оба на меня;
Как у призраков, белели
Их глаза. Мне стало страшно.

«Кто они? Кто эти дети?» —
Я, дрожа, спросил Диэго,
Крепко за руку схватив, —
И его рука дрожала.

Дон Диего был сконфужен,
Оглянулся, чтоб никто
Не подслушал, и ответил
Мне с небрежностью придворной:

«Это ранние сиротки,
Государя сыновья;
Их отец — король дон Педро,
Мать — Мария де-Падилья.

После битвы при Нарвасе,
Где Энрико Транстамарре,
Брата царственного, Педро
От тяжелого венца

И от ноши тяжелейшей,
Что мы жизнью именуем,
Вдруг избавил, он к сироткам
Тоже был великодушен.

Их к себе он принял сразу,
И, как дяде подобает,
Дал им в собственном дворце
Даровое помещенье.

Правда, в комнатке, для них
Отведенной, очень тесно,
Но оно прохладно летом
И не холодно зимою.

Хлеб дается им ржаной
На обед — и как он вкусен!
Точно самую Церерой
Испечен для Прозерпины.

Иногда он посылает
Тоже порцию гарбандос,
И тогда малютки знают,
Что сегодня воскресенье.

Не всегда же воскресенье,
Не всегда дают гарбандос;

И арапником частенько
Обер-псарь их угощает.

Ибо под его надзор,
Кроме всех конур собачьих,
Отдана монаршей властью
И племянничья конурка.

Он и есть супруг несчастный
Той прокислой Лимонеллы
С блюдовидными брыжжами,
Что сегодня нас дивила.

Иногда ему уж очень
Достается от жены, —
И тогда он бьет, взбесившись,
Псов и бедных мальчуганов.

Но таких его поступков
Не одобрил наш король;
Он велел, чтоб впредь не смели
По-собачьи обращаться

С ними. Ибо он не хочет,
Чтоб чужой кулак, наемный,
Укроцал их. Посему
Он их бьет собственноручно».

Дон Диэго вдруг умолкнул,
Потому что сенешаль
Подошел с учтивой речью:
«Хорошо ли мы поели?»

МИФОЛОГИЯ

Да, Европа покорилась,
Силе бычьей уступая,
И понятно, что Даная
Золотым дождем прельстилась.

Кто в Семелу камнем бросит,
Если ей казалось: облак,

Идеальный горный облак
Нам бесчестья не приносит?

Но на Леду мы, признаться ,
Негодуюем и поныне;
Надо ж быть такой гусыней,
Чтобы лебедю отдаться!

МОЛОДЫМ

Пусть не смущают тебя, не прельщают
Плоды Гесперидских садов в пути,
Пусть стрелы летают, мечи сверкают,
Они не помеха — вперед итти.

Кто выступил смело, тот сделал полдела;
Не медли! Мир в Александра руках!
Минута приспела! Героя Арбелы
Уж ждут царицы, склонясь во прах.

Прочь страх и сомненья! За муки, лишенья
Награда — Дария ложе и трон!
О, сладость паденья! О, верх упоенья —
Смерть обрести, войдя в Вавилон!

НЕВЕРУЮЩИЙ

В моих объятых будешь ты!
И неге нет названья,
И сердце бьется и дрожит
От сладостного мечтанья.

Ты склонись, я знаю.
Златыми! И на плечо мое
Кудрями я играю
В моих объятых будешь ты,

В моих объятых будешь ты!
Мечта должна свершиться,
Небесной радостью дано
Мне на земле упиться.

Святой Фома, опасаясь я —
 Дотоле верить не стану,
 Пока не вложу свои персги
 В раскрытую счастья рану.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Много женщин — много блошек,
 Много блошек — много боли;
 Блошки жалят понемножку,
 Ты же терпишь поневоле.

Мстят они неблагодарно,
 Ночью хочешь улыбнуться
 И обнять, — они коварно
 Всей спиною повернутся.

ТЕПЕРЬ КУДА?

Ну, теперь куда? В Берлин
 Тянет глупую ногу,
 Но рассудок шепчет мудро
 И качая головою:

«Хоть и кончена война,
 Но военный суд остался —
 Там отмечено, что ты
 До расстрела дописался».

Я не знаю ничего
 Неприятней расстрелянья;
 Не герой я, чужды мне
 Патетичные кривлянья.

Разве в Англию? Но там
 Копоть вечная, миазмы,
 И народ, — уж самый дух
 Тошноту влечет и спазмы.

Не в Америку ль отплыть —
 В грандиозный хлев свободы,

Приютивший у себя
Равноправные народы?

Но противно жить в стране,
Где табак перемпнают,
Без плевательниц плюют,
В кегли без царя играют.

Вот в России, может быть,
Поселиться и не худо,
Да боюсь, что в холода
Вынести кнут не в силах буду.

Звезды светятся вверху,
И с тоской на них гляжу я;
Но моей звезды нигде
В небесах не нахожу я.

В лабиринте золотом
Сбилась, может быть, с дороги,
Как и сам я сбился здесь,
В суете земной тревоги.

ГАРАНТИЯ

Страсть сказала богу песен,
Что потребует залога.
Прежде чем ему отдаться, —
Жить так трудно и убого.

Отвечал ей бог со смехом:
«Изменилось все на свете.
Говоришь, как ростовщик ты,
Должников ловящий в сети.

Хочешь, дам тебе я лиру —
Правда, лиру золотую.
Под залог ее, красotka,
Сколько дашь ты поцелуев?»

СТАРАЯ РОЗА

Словно розочка, она
Постепенно расцветала;
Молодое сердце в ней
Юной страстью запылало.

Расцвела она потом
Пышноцветной, чудной розой;
Я хотел ее сорвать,
Но убрался прочь с занозой.

А теперь, когда она
Отцвела и облетела, —
«Милый Генрих» я для ней,
Нежность, ласка без предела.

«Генрих этакий-сякой»,
Распевает мне красотка
И шипами ранит вновь, —
Но шипами подбородка.

Право, слишком уж колюч
Бородавочки пучочек;
В монастырь иди, дитя,
Иль побрейся, мой дружок.

АУТО-ДА-ФЕ

Блеклый розан, пыльный докол,
Кончик ленты голубой,
Позабытые записки,
Бредни юности былой, —

В пламя яркое камина
Я бросаю этот хлам,
И трещат в огне остатки
Пылких радостей и драм.

Лживо ветренные клятвы
Устают словно дым,

И божок любви лукаво
Улыбается, незрим.

И гляжу, в мечтах о прошлом,
Я на пламя. Без следа
Догорают в пепле искры —
Доброй ночи! Навсегда!

ЛАЗАРЬ

ХОД ЖИЗНИ

Если ты имеешь много,
Так тебе еще дадут;
Если мало, так и это,
Очень малое, возьмут.

Если ж нищий ты, в могилу
Полезай и жизнь забудь!
Жить лишь тот имеет право
Кто имеет что-нибудь.

ОГЛЯДКА

Во всех ароматах я нанюхан
От этих земных, чудесных кухон;
И чем насладиться лишь может живой,
Я всем наслаждался, как герой!

Кофе пил я, пирожное ел я,
Много милых кукол имел я;
Был тонок мой фрак, был из шелка жилет,
В кошелек моей много брнчало монет.

Как Геллерт, я ездил в седле дорогом;
Имел я замок, имел я дом,
Я счастья зеленый луг топтал,
И солнца мне луч золотой сверкал;

И лаврами лоб мой был окружен,
И лавры на мозг навевали соя,

Сон про розы, про вечный май, —
И в сердце при этом был подлинный рай

Лени смертной, страстных дремот, —
Жареный голубь летел мне в рот,
И ангелочки ко мне прилетали,
У них из карманов бутылки торчали;

Но замок воздушный, пузырь этот мыльный,
Он лопнул, — теперь лежу я бессильный,
Каждый мой член ревматизмом сведен,
А гордый дух глубоко смущен.

За каждую радость, за прежний пыл
Злою досадой я заплатил;
Я был донимаем мелочами,
И был жестоко кусаем клопами;

Я черной заботой был охвачен,
Я должен был лгать, занимать без отдачи
У гордых старух, у богатого брата, —
Я б, верно, стал под конец побираться.

Теперь я устал трепаться, носиться,
Теперь в могилу хочу завалиться.
Прощайте! Там, в небе, о милые братья,
Само собою, смогу вас обнять я.

ВОССТАНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Гремит труба во все концы
Раскатом по вселенной,
Из тьмы могильной мертвецы
Встают, размяная члены.

И все, кто на ногах, бегут
В долину Иосафата,
Бледны от страха, на страшный суд,
Где всех ожидает расплата.

Там, как судья, сидит Христос
С апостолами рядом;

И воскрешенным чинит допрос
Под мудрым и добрым взглядом.

У судей тайны нет в чертах,
И все их маски сняты
На страшном судбище, в ярких лучах,
Под трубные раскаты.

В Иосафате средь трав сухих
Сошлись приглашенных толпы,
И, так как слишком уж много их,
Решенья судей не долги.

Налево шлют козлиц, направо овец,
Раздел проходит мгновенно:
Эдем для овечек, для нежных сердец,
Для скверных козлов — геенна.

УМИРАЮЩИЙ

Солнца, счастья шел искать,
Наг и плох вернулся вспять;
И белье, и упованья
Истаскал в своем скитаньи.

Скуден силой, худ лицом.
Но утешься! — близок дом.
Как у матери любимой,
Сладко спать в земле родимой.

А иной в пути стал хром, —
Не вернется в отчий дом,
Плачет в горе безутешном...
Боже! Смилуйся над грешным!

НЕСОВЕРШЕНСТВО

Нет совершенства на земле, хоть свет
Весь обойди. Без терний розы нет;
Едва ли даже в горних сферах духи
По части недостатков без прорухи.

Тюльпан не пахнет. Немцы говорят:
 «И честный Фриц раз стибрил поросят»;
 Лукреция, — не будь удар кинжала, —
 Весьма возможно, тоже бы рожала.

Павлин красив, но гадок по ногам;
 Мудрейшая из женщин может нам
 Прискучить, как Вольтера «Генриада»,
 Иль хуже — как Клопштока «Мессиада».

Латинский чужд умнейшей из коров,
 Как Масману; Канова вечно нов,
 Но зад его Венеры слишком гладок,
 Как плссок нос у Масмана и гадок.

В сладчайшей песне есть неважный стих,
 И жала пчел находим в сотах их;
 Фетиды сын был с уязвимой частью:
 А Александр Дюма — метис, к несчастью.

Звезда на небесах, как ни ясна,
 Но падает от насморка она;
 Первейший сидр имеет привкус бочки,
 И черные на солнце видим точки.

Ты даже, ты, почтенная жена,
 Изъянов не совсем уж лишена,
 Дивишься ты: «Недостает? Чего же?» —
 Нет груди, и в груди души нет тоже.

ПОМИНОВЕНИЕ

Не отслужат литургии,
 Кадош не прочтут унылый,
 Говорить и петь не будут
 Над раскрытою могилой.

Если ж теплая погода
 Будет в день моей кончины,
 То Матильда на Монмартр
 Сходит в обществе Полины.

И венки из иммортелей
Принесет она с собою
И промолвит: «рауйте homme!», —
Взор подернется слезою.

К сожаленью, я теперь
Высоко живу немножко,
Нету стульев для нее —
Ах, устали милой ножки!

Прелесть толстая моя!
Уж домой ты, ради бога,
Не ходи пешком; фиакров
У заставы очень много.

ЗАБОТА

В лучах удачи надо мной
Веселых мошек кружился рой,
Друзья мои любили меня,
Со мной делили — день ото дня —
И лучшие угощенья,
И деньги — до истощенья.

Не стало счастья, пуст кошелек
Последний друг от меня далек,
Удача не светит надо мной,
Рассеян ветром жужжащий рой,
И, мошками в ненастье,
Ушли друзья, со счастьем.

С моей постели в зимнюю ночь
Сиделка-Забота не сходит прочь.
Бела ее кофта, черен колпак,
И тянет носом она табак,
Скрипит своей табакеркой,
Трясет головою мерзкой.

И лишь приснится мне невзначай
Былое счастье, цветущий май,
Веселая дружба и мошек рой, —

Скрипит табакерка, боже мой!
 Мечта улетает, — глухо
 Сморкается старуха.

ОКТАБРЬ 1849 г.

Стих шторм, что воздух рвал, свистя,
 Вновь стало тихо в каждой щелке;
 Народ германский, как дитя,
 Рождественской вновь радуется елке.

Теперь нам мил семейный лад, —
 От беса все, что кличет выше, —
 Мир ласточкой летит назад,
 Что некогда свила гнездо под крышей.

Спокойно, мирно спит река,
 В лучах луны лес нежно-зелен.
 Порой лишь треск. То — звук курка?
 То — выстрел? Да, быть может, друг застрелен.

Быть может был там прослежен
 С ружьем безумец неумелый
 (Не всякий ведь, как Флакк, умен,
 От этого бежать сумевший смело).

Треск. Может быть то — пир идет,
 То — фейерверк во славу Гёте, —
 И лира старая встает,
 Приветствуема плачущей ракетой.

А Лист, — он выплывает вновь;
 На боевых полях венгерских
 Он не лежит, проливши кровь
 Под пикой русского, среди прочих дерзких.

Последний форт свободы пал,
 И кровью Венгрия исходит,
 Но рыцарь Лист бед избежал,
 И меч его покоится в комодѣ,

И стариком он будет рад
Про боевую перёдрагу
Рассказывать в кругу внучат:
«Вот так я лег, и так я вынул шпагу».

Когда о венграх слышу я,
То прусская фуфайка душит,
И точно море вокруг меня,
И точно звуки труб мне льются в уши!

Звенит, в мои врываясь сны,
Весь полн забытою отвагой,
Железный, дикий гимн войны, —
Геройская о Нибелунгах сага!

Здесь — та же доля суждена,
Здесь — те же древние моравы,
Не те пред нами имена,
Но тот же гордый сонм «героев славы».

И рок их тот же, не иной, —
Как вольно, гордо стяги взмыли!
И должен, как и встарь, герой
Повергнуться, покорен грубой силе.

Но в этот раз, свиреп и яр,
Бык заключил союз с Медведем;
Ты пал, — но не тоскуй, мадьяр:
И худший стыд знаком твоим соседям.

Ты обречен был честно пасть
К ногам животных, все ж могучих,
А мы, — мы отданы во власть
Волков, свиней и грязных псов вонючих.

Лай, хрюканье и вой, — едва
Снести победный смрад умею;
Но стой, больной поэт: слова
Тебя волнуют, помолчать — умнее.

ЗАВЕЩАНИЕ

Ну, конец существованы)
 Приступаю к завещанью —
 И с любовью готсв
 Одарить своих врагов.

Этим людям честным, твердым,
 Добродетельным и гордым,
 Я навеки отдаю
 Немочь страшную мою.

Все телесные мученья:
 Боль в желудке, воспаленья
 И конвульсии, и злой,
 Гнусный прусский геморой.

И слюну, что давит глотку,
 И в спинном мозгу сухотку, —
 Всю вот эту благодать
 Вам решился я отдать.

Дополнение к завещанью:
 Пусть о вас воспоминанье
 Божьей волей навсегда
 Истребится без следа.

ENFANT PERDU

В борьбе за волю, не смыкая вежды,
 Я на посту держался тридцать лет;
 Я на победу не имел надежды,
 Я знал, что мне не возвратиться, — нет!

Когда мои друзья в палатках спали,
 Я день и ночь дежурил напролет
 (И храбрецы мне храпом помогали
 Отпугивать коварный рой дремот).

Порой в ночах меня тоска томила
 Иль страх (вполне бесстрашно — дурачье),

Тогда насвистывал я с дерзкой силой
Стихи сатир — колючих, как копье.

Так я стоял, в руках ружье сжимая,
И если слышал: наглый враг идет, —
Я хорошо стрелял, и пуля злая
Впивалась в его тупой живот.

Порою же могло и то случиться,
Что враг лихой стрелять умел, как я,
Тогда, тогда, — ах, мне ль того стыдиться? —
Зияли раны, — кровь текла моя.

Свободен пост. Покрыли раны тело.
Один упал, — другие, место вам!
Но я — не побежден. Оружье цело!
Все цело, — только сердце пополам!



ПРИНЦЕССА ШАБАШ

Видим мы в арабских сказках,
Что в облики зверином
Ходят часто чародеем
Заколдованные принцы.

Но бывают дни — и принцы
Принимают прежний образ:
Принц волочитя и дамам
Серенады воспеваает.

Все до часа рокового;
А настанет он — мгновенно
Светлый принц четвероногим
Снова делается зверем.

Днесь воспеть такого принца
Я намерен. Он зовется
Израилем и в собаку
Злою ведьмой обращен.

Всю неделю по-собачьи
Он и чувствует, и мыслит,
Грязный шляется и смрадный,
На позор и смех мальчишкам.

Но лишь пятница минует,
Принц становится, как прежде
Человеком, выходя
Из своей собачьей шкуры.

Мыслит, чувствует, как люди;
Гордо, с поднятой главою
И разряженный, вступает
Он в отцовские чертоги.

«Прародительские сени! —
Их приветствует он нежно: —
Дом Иаковлев! Целую
Прах порога твоего!»

По чертогам пробегают
Легкий шопот и движенье;
Дышит явственно в тиши
Сам невидимый хозяин.

Лишь великий сенешаль
(Vulgo служка в синагоге)
Лазит вверх и вниз поспешно
В храме лампы зажигая.

Лампы — светочи надежды!
Как горят они и злещут!
Ярко светят также свечи
На помосте альмемора.

И уже перед ковчегом,
Занавешенным покровом
С драгоценными камнями
И в себе хранящим Тору,

Занимает место кантор,
Пренарядный человек;
Черный плащик свой на плечи
Он кокетливо накинул,

Белой ручкой щеголяя,
Потрепал себя по шее,
Перст к виску прижал, большим же
Пальцем горло расправляет.

Трели он пускает тихо;
Но потом, как вдохновенный,

Возглашает громогласно:
«Лехо Дойди Ликрис Калле!

О, гряди жених желанный,
Ждет тебя твоя невеста —
Та, которая откроет
Для тебя стыдливый лик!»

Этот чудный стих венчальный
Сочинен был знаменитым
Миннезингером великим,
Дон Иегудой бен Галеви.

В этом гимне он воспел
Обрученье Израиля
С царственной принцессой Шабаш,
По прозванью Молчаливой.

Перл и цвет красот вселенной —
Эта чудная принцесса!
Что тут савская царица,
Соломонова подруга,

Эфиопская педантка,
Что умом блистать старалась
И загадками своими,
Наконец, уж надоела!

Нет! Принцесса Шабаш — это
Сам покой, и ненавидит
Суемудренные битвы
И ученые дебаты;

Ненавидит этот дикий
Пафос страстных декламаций,
Искры сыплющий и бурно
Потрясающий власами.

Под чепец свой скромно прячет
Косы тихая принцесса,
Смотрит кротко, как газель,
Станом стройная, как аддас.

И возлюбленному принцу
Дозволяет все, но только —
Не курить. «Курить в субботу
Запрещает нам закон».

Но зато, мой милый, нынче
Ты продушишься взамен
Чудным кушаньем: ты будешь
Нынче шалет, друг мой, кушать».

«Шалет — божеская искра,
Сын Элизия!» — запел бы
Шиллер в песне вдохновенной,
Если б шалета вкусил.

Он — божественное блюдо;
Сам всевышний Моисея
Научил его готовить
На горе Синайской, где

Он открыл ему попутно,
Под громовые раскаты,
Веры истинной ученье —
Десять заповедей вечных.

Шалет — истинного бога
Чистая амброзия,
И в сравнении с этой снедью
Представляется вонючей

Та амброзия, которой
Услаждались лжебоги
Древних греков — те, что были
Маскированные черти.

Вот наш принц вкушает шалет;
Взор блаженством засветился.
Он жилетку расстегнул
И лепечет, улыбаясь:

«То не шум ли Иордана,
Не журчанье ль струй студеных

Под навесом пальм Бет-Эля,
Где верблюды отдыхают?

Не овец ли тонкорунных
Колокольчики лепечут?
Не с вершин ли Гилеата
На ночь сходят в дол барашки?»

Но уж день склонился. Тени
Удлиняются. Подходит
Исполинскими шагами
Срок ужасный. Принц вздыхает.

Точно хладными перстами
Ведьмы за сердце берут.
Предстоит метаморфоза —
Превращение в собаку.

Принцу милому подносит
Нарду тихая принцесса;
Раз еще вдохнуть спешит он
Этот запах благовонный;

И с питьем прощальным кубок
Вслед затем она подносит;
Пьет он жадно, — две-три капли
Остаются лишь на дне.

И кропит он ими стол;
К брызгам свечку восковую
Приближает, — и с шипеньем
Гаснет грустная свеча.

ИГУДА БЕН-ГАЛЕВИ

1

«Пусть прильнет язык к гортани,
Пусть рука моя отсохнет,
Если только позабуду
Я тебя, Иерусалим!»

Все мне чудятся сегодня
Эти строки и напев;
Снова я как будто слышу
Пенье стройное псалмов.

А порою вижу ясно
Ряд бород кудрявых, длинных, —
Кто меж вами, тени грез,
Иегуда бен-Галеви?

Но они мелькают мимо;
Страшен призракам бесплотным
Голос жителей земли;
И однако меж другими

Я узнал его — узнал
По челу с высокой думой,
По пытливости скорбящей
Глаз, вперившихся в меня.

Но особенно узнал
По загадочной улыбке
Губ, срифмованных так дивно,
Как поэтам лишь дано.

Годы быстро пролетают.
От рождения Иегуды
Бен-Галеви пролетело
Семь столетий с половиной.

В первый раз увидел свет
Он в Кастилии, в Толедо,
Где баюкали младенца
Волны Таго золотого.

Рано стал родитель строгий
Развивать ребенка ум;
Обучение он начал
Со священной книги, Торы.

Он читал ее ребенку
В тексте подлинном, древнейшем;

Шрифт се древнехалдейский,
Символический, квадратный

И затейливый восходит
К детству мира; оттого
Каждый детский ум глядит
На него с такой любовью.

Этот подлиннейший текст
За отцом читал ребенок
Нараспев; таков обычай,
Установленный издревле.

И прелестно он картавил,
Звук гортанный повторяя,
И пускал при этом трели,
Заливаясь, точно птичка.

Также Таргум Онкелос,
Что написан на народном
Языке, который нынче
Называют арамейским

И который так походит
На язык святых пророков,
Как наречье наших швабов
С языком немецким схоже,

Рано выучил ребенок,
И потом знакомство это
Помогло ему прекрасно
В изучении Талмуда.

Да, с ребенком очень рано
Приступил отец к Талмуду;
Тут отверз он перед сыном
Величавую Халаху —

Эту школу фехтованья,
Где словесные атлеты
Вавилона, Пумпедиты
Упражнялись в состязаньи.

Здесь ребенок изощрился
В полемическом искусстве;
Это после доказал он
Сочинением «Козари».

Но как небо льет на землю
Два различных рода света —
Яркий свет дневного солнца
И мерцание луны, —

Так Талмуд блистает также
Светом двойственным, делясь
На Халаху и Хагаду.
Я сравнил Халаху с школой

Фехтсвальной, а Хагаду
Назову хотя бы садом,
Бесконечно-фантастичным
И похожим на другой —

Тот, который точно так же
Взрос на ючве Вавилона,
Сад — осьмое чудо в свете,
Дивный сад Семирамиды.

Эта славная царица
Воспиталась между птиц,
И, от них-то перенивши
Птичьи разные привычки,

Уж ходить не захотела
По земле, подобно нам,
Молоко сосущим тварям,
А взрастила сад воздушный.

На колоннах колоссальных
Возносились кипарисы,
Пальмы, клумбы, померанцы,
Изваянья и фонтаны.

И связал строитель мудрый
Все висячими мостами;

А на них, плющеподобных,
Птицы медленно качались,

Птицы важные, большие —
Мудрецы в одежде пестрой;
Не поют они, а только
Внемлют песням резвых пташек.

Все блаженствуют, вдыхая
Ароматный, чистый воздух,
Не отравленный зловонным
Испарением земли.

И Хагада — сад такой же,
Фантастический, воздушный.
Часто юный талмудист,
Запыленный, оглушенный,

Словопреньями Халахи,
Важным спором о яйце
Роковом, что было в праздник
Снесено одной наседкой,

Или преньем о другом,
Равной важности вопросе,
Убегал для освеженья
В ароматную Хагаду,

В мир прелестнейших преданий,
Сказок ангельских, легенд,
Песен, мудрых притч, рассказов
О погибнувших за веру

И гипербесд. Мир забавный,
Но скрепленный, но горящий
Чистой верой. О, как брызжет,
Как сверкает эта вера!

И ребенок благородный
Вдруг охватывался диким,
Фантастическим восторгом,
Непонятной жаждой скорби,

Баснословным содроганьем
Мира чудного, который
Мы великим откровеньем
И поэзией зовем.

Он вполне усвоил также
То, столь милое для сердца,
Безмятежное искусство,
Что зовем мы стихотворством.

И Иегуда бен-Галеви
Был не только муж ученый,
Но и мастер в стихотворстве,
И поэт великий тоже.

Был великим он поэтом
И звездой своей эпохи,
Был сияющим светилом
Для народа своего,

И, как огненный, огромный
Песнопенья дивный столп,
Он предшествовал в пустыне
Каравану скорбных братьев.

Поснь его была правдива
И чиста, и благородна,
Как душа. Когда господь
Сотворил Иегуды душу,

То, довольный сам собою,
Он ее облобызал,
И престестный отголосок
Свыше данного лобзанья

Внятен сердцу в каждой песне
Лучезарного поэта,
Посвященного на царство
Этой божьей благодатью.

И в поэзии, и в жизни
Высший дар есть благодать;

Кто снискал ее, не может
Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого
Божьей милостью поэта
Гением. И в царстве духа
Царь самодержавный он.

Он дает отчет лишь богу —
Не народу. И в искусстве,
Как и в жизни, могут люди
Нас казнить, но не судить.

2

«На реках на вавилонских
Мы сидели и рыдали,
Прицепивши арфы к ивам» —
Помнишь древние слова?

И напев старинный помнишь,
Столь печальный по началу,
Что кипит, журчит и стонет,
Как сосуд на очаге?

Ах, во мне тысячелетья
Он кипит. О, бездна скорби!
Время только лижет рану —
Рану Иова, как пес.

Пес, спасибо за слюну!
Но она лишь прохлаждает;
Исцелить могла бы смерть,
Но, к несчастью, я бессмертен!

Годы идут и проходят.
На станке сует челнок;
Но и ткач того не знает,
Что выводит он на ткани.

Годы идут и проходят,
Льются слезы поколений,

Льются на землю — и тихо,
Жадно слезы пьет земля.

Все кипит сосуд, кипит!
Сбросил крышку! — слава мужу,
Чья рука твоих младенцев
Размозжит о камень... Слава!

Наконец! Перекипел,
И теперь все тише, тише.
И замолк. Улегся сплин
Мировой мой, темный сплин.

И пегасик мой, как прежде,
Резво ржет, как будто сбросив
Злой кошмар, и умным взглядом
Вопрошает он меня:

«Что, поскачем вновь в Толедо
К молодому талмудисту,
Что великим стал поэтом —
К Исгуде бен-Галеви?»

Да, он был поэт великий,
Самодержец в царстве грез,
Повелитель мира духов,
Божьей милостью поэт.

Он в священные сирвенты,
Мадригалы и терцины,
Канцонеты и газелы
Вылил весь огонь души,

Поцелуй творца приявшей!
Смело этот трубадур
Может стать в ряду первейших
Провансальских трубадуrows

Русильона и Гиенны,
Пуагу и прочих славных
Померанцевых земель
Удалого христианства!

Удалого христианства
Померанцевые земли!
Как блестят они, звенят
В полутьме воспоминанья!

Соловьиный чудный мир —
Мир, где всеми прославлялся,
Вместо истинного бога,
Ложный бог любви и муз.

Там, венками плешь увивши,
Цели клирики псалмы
На веселом *langue d'oc*;
А галантные миряне,

Франты-рыцари, красуясь
На конях своих высоких,
Строфы звучные слагали,
Прославляя даму сердца.

Где любовь, там дама сердца.
Миннезингер так же точно
Жить не мог без милой дамы,
Как без масла — бутерброд.

И герой легенды нашей,
Иегуда бен-Галеви,
Тоже даме поклонялся.
Но была иного рода

Эта дама: не Лаура,
Чьи глаза, земные звезды,
В церкви в пятницу страстную
Славный создали пожар;

Не владельница замка,
В блеске молодости пышной
Председавшая в турнирах
И дарившая венки;

Не была она судьейю
По делам о поцелуях,

Не читала мудрых лекций
Ни в каких судах любви.

Нет, избранница раввина
В нищете жила, в печали,
Жалкий образ разрушенья! —
И звалась — Иерусалим.

Уж в младенчестве всецело
Он любил ее — и в трепет
Приводил, бывало, душу
Самый звук: Иерусалим.

С ярким пламенем на щечках
Слушал мальчик пилигримов,
Возвращавшихся в Толедо
С отдаленного востока

И рассказывавших грустно
О безлюдьи и о скверне
Месг, доселе сохранивших
Светлый след стезы пророков,

Мест, где воздух весь напитан
Вечным господа дыханьем.
«О, печальная картина!» —
Раз воскликнул пилигрим

С бороною белоснежной,
Но в которой верхний волос
Вновь чернел, как будто снова
Молодела борода.

Это был какой-то чудный
Пилигрим; из глаз глядела
Скорбь несчетных поколений;
Он вздыхал: «Иерусалим!

Град святой и многолюдный
Превращен теперь в пустыню,
Где хозяйничают дерзко
Ведьмы, лешие, шакалы;

Там, в развалинах гнезятся
Змеи, филины и совы;
Из разбитого окошка
Смотрит весело лисица.

Там и сям порой мелькнет
Раб оборванный пустыни,
Что горбатого верблюда
Средь травы пасет высокой.

На Сионе благородном,
Там, где крепость золотая
Величаво говорила
О величии царя, —

Там теперь развалин груда,
Вся поросшая травой,
И глядит она так грустно,
Так уныло, точно плачет.

И, действительно, рыдают
Раз в году, в девятый день
Аба месяца, те камни;
И, рыдая, сам я видел,

Как из тех камней сочились
Слезы каплями густыми,
И я слышал, как стонали
Храма сбитые колонны!»

Эти набожные речи
Пробудили в юном сердце
Иегуды бен-Галеви
Страсть узреть Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая,
Фантастичная, как та,
Что когда-то охватила
Благородного видама,

Жофруа Руделло; это
Совершилось, когда

Он от рыцарей, с востока
Возвратившихся, услышал,

Что краса и перл всех женщин,
Всех достоинств образец —
Молодая Мелисанда,
Маркграфиня в Триполи.

Всем известно, — к этой даме
Вспыхнул страстью трубадур;
Он воспел ее, и тесно
Стало в замке жить ему.

Стало тесно. И поехал
В Цетту он, но по дороге
Захворал и в Триполи
Умирающим приехал.

Тут узрел он Мелисанду
И телесными глазами,
Но над ними в ту ж минуту
Смерть простерла мрачный саван

И с последней песнью страсти
Испустил он дух у ног
Дамы сердца, Мелисанды,
Триполиской маркграфини.

Сходство чудное в судьбе
Этих двух поэтов! Только
С тою разницей, что первый
Старцем в странствие пустился.

И Иегуда бен-Галеви
Кончил жизнь у милых ног,
Преклонив главу в колени
К своему Иерусалиму.

3

После битвы при Арбеле
Александр, великий царь,

Насовал в свои большие
Македонские штаны

Земли Дария и войско,
Двор, гарем, коней и женщин
Деньги, вещи золотые,
Скиптр, корону и слонов.

А в шатре у Кодомана,
Убежавшего, чтоб тоже
Не попасть в штаны врага,
Юный царь нашел шкагулку

Небольшую, золотую
И украшенную пышно
Мозаикою, резьбою
И отделкой из камней.

В этом ящичке, который
Сам сокровищем являлся,
Дарий цвет своих сокровищ
Лейб-каменя сохранял.

Отдал их своим солдатам
Александр и потешался,
Что игрушки эти взрослых
Веселили, как детей.

К милой матушке отправил
Он брильянт неоцененный;
Перстень Кира был печатью —
Брошкой сделался теперь.

Аристотелю седому
Он послал в подарок онике
Для его больших коллекций
Разных редкостей земных.

Были в той шкатулке перлы —
Нитка чудная, когда-то
Подаренная Атосе
Иже-Смердисом, самозванцем.

Перлы те, однако, были
Не лже-перлы, и веселый
Победитель их в подарок
Дал танцовщице Таис.

Украшали эти перлы
Косу чудную ее
В ночь, когда она вакханкой
В Персеполисе плясала

И швырнула дерзко факел
В царский замок, заблеставший
Ярким заревом пожара,
Точно пыльным фейерверком.

Но прекрасная Таис
Жизнь скончала в Вавилоне
От болезни вавилонской,
И тогда все эти перлы

С молотка пошли в продажу.
Их купил мемфисский жрец
И привез с собой в Египет,
Где они потом лежали

На столе у Клеопатры.
Их толкла она и вместе
С винной влагою глотала,
Чтоб Антония дурачить.

Сын последний Омайядов
Их привез с собой в Кордову,
И они блистали ярко
На тюрбане у калифа.

Третий Абдерам украсил
Ими грудь на том турнире,
Где пробил он тридцать колец
И Зюлеймы юной сердце.

Вместе с царством мавританским
Перешили и эти перлы

К христианам и попали
К королям кастильским в руки.

На испанских государях
Красовались эти перлы
При торжественных турнирах,
Травлях, шествиях священных,

Также при ауто-да-фе,
Где величества с балконов
С наслаждением обоняли
Запах жареных жидов.

А потом Мендизабелем,
Внуком чорта, эти перлы
Были отданы в залог
Для покрытия дефицита.

Наконец, они явились
В Тюильри, в придворных залах,
И сверкали там на шее
Баронессы Саломон.

Так из рук ходила в руки
Эта нитка. Но с шкатулкой
Дело проще обошлось:
Александр ее оставил

Для себя и спрятал в ней
Песни дивного Гомера,
Своего любимца; ночью
Ставил он шкатулку эту

К изголовью, и оттуда
Появлялись герои,
Ликом светлые, и в грезы
Пробирались к Александру.

Век иной, иные птицы!
Ах, и я любил когда-то
Слушать песни о деянях
Одиссея и Пелида.

Так пурпурно, лучезарно
У меня на сердце было,
Виноград венчал чело,
И вокруг гремели трубы!

Смолкни, вопль воспоминанья!..
В триумфальной колеснице
Все разбито! и пантеры,
Что везли ее, и девы,

Что вокруг меня плясали, —
Все издохли, да и сам я
Изувечен, пресмыкаюсь.
Смолкни, вопль воспоминанья!

Смолкни, вопль воспоминанья!
Речь повел я о шкатулке
И при этом вот что думал:
Будь моей шкатулка эта,

И не будь я приневолен
Обратить ее в монету,
Я бы в ней тотчас же спрятал
Песни нашего раввина

Иегуды бен-Галеви —
Песни радости, газелы,
Песни скорби и страданья.
Дал бы это все списать

Самым лучшим из дофаров
На пергаменте чистейшем
И в шкатулку золотую
Эту рукопись вложил,

И поставил бы шкатулку
Я на столик, у постели, —
И, когда б друзья, придя
В дом ко мне, дивиться стали

Чудной пышности ее
И резьбе миниатюрной.

Но тончайшей, и отделке
Из камней драгоценных,

Я сказал бы им с улыбкой:
Это что! — одна простая,
Скорлупа, а в ней сокрыта
Вещь гораздо драгоценней:

В этом ящике — брильянты,
Блеск которых — отраженье
Блеска солнца; в нем рубины,
Налитые кровью сердца;

В нем надежды благодатной
Изумруды; в нем и перлы,
Чище тех, что дал Атоссе
Самозванец Лже-Смердис, —

Перлов, после украшавших
Всех почетнейших особ
На земле подлунной нашей:
Клеопатру и Таис,

И служителей Изиды,
И монархов мавританских,
И испанских государынь,
И мадам фон-Саломон.

Эти диво-перлы — только
Бледно-матовый нарост
Бедной устрицы, лежавшей
Под волнами океана.

Но в моей шкатулке перлы
Из души прекрасной вышли —
Из души, неизмеримей
Самой бездны океана.

Эти перлы — слезы рабби
Исгуды бен-Галеви;
Ими он оплакал гибель
Своего Иерусалима.

Нанизались перлы-слезы
На золотую нитку рифмы
И из кузницы искусства
Драгоценной песнью вышли.

Это песня слез жемчужных —
Тот всемирно знаменитый
Плач, который днесь поется
Под рассеянными всюду

Иудейскими шатрами
В день девятый Аба — день
Разрушенья грозным Титом
Стен святых Иерусалима.

Эта песнь — Сионский гимн
Что Иегуда бен-Галеви
Скорбно пел перед кончиной
На развалинах священных.

В жалком рубище, босой,
Там сидел он на обломке
Опрокинутой колонны,
И на грудь к нему спадали

Волосы, как дряхлый лес,
Фантастично оттеняя
Лик его печальный, бледный,
С вдохновенными очами.

Так сидел он там и пел,
Как пророк времен минувших
И казалось — из могилы
Встал старик Иеремя.

Вземля звукам дикой скорби,
Смолкли птицы меж развалин;
Даже коршуны с участием
Собирались вокруг певца.

Но по этой же дороге
Гнал дерзкий сарацин;

На седле качаясь гордо,
Он пустил копьём блестящим

В грудь несчастного певца
И, свершив убийство, быстро,
Точно призрак окрыленный,
Полетел своей дорогой.

Кровь певца текла спокойно,
И спокойно песню скорби
Он допел, — и был предсмертный
Вдох его: Иерусалим!

Есть старинное преданье,
Будто этот сарацин
Был совсем не злой убийца,
А переодетый ангел,

Небом посланный за тем,
Чтоб отнять его любимца
У земли и в мир блаженных
Без мучений перенести.

Там, — гласит преданье это, —
Ожидал его прием,
Очень лестный для поэта, —
Ожидал сюрприз небесный.

Целым хором светлых духов
Был он с музыкою встречен
И приветствован, как гимном,
Рядом собственных созданий —

Этих чудных брачных песен,
Этих гимнов Гименею,
Полных страсти, ликования.
Что за тоны! что за звуки!

Стройно с песнями сливались
Греми скрипок, виолончелей,
И торжественно гремели
И литавры и кимвалы

И чудесно, гармонично,
В необъятной шири неба,
Отдавалось громким эхом:
«Лехо Дойди Лякрас Калл!»

4

Огорчил свою супругу
Я главою предыдущей
И особенно рассказом
О шкатулке Кодомана.

«Муж вполне религиозный,
Так она почти со злобой
Мне сказала: — ту шкатулку
Обратил бы тотчас в деньги.

И на них жене законной
Без сомнения купил бы
Шаль турецкую, в которой
Так нуждается она.

А Иегуде бен-Галеви
Чести было бы довольно
Сохраняться и в картонном,
Но хорошеньком футляре,

Разукрашенном изящно
Арабесками Китая,
Наподобье бонбоньерок
Из пассажа «Панорама».

Странно! мне еще ни разу
Не пришлось услышать имя
Знаменитого поэта —
Иегуды бен-Галеви!»

Друг ты мой прелестный! Это
Детски-милое незнание —
Доказательство пробелов
В воспитании французском

Тех парижских пансионеров,
 Где девицам — им, грядущим
 Матерям людей свободных, —
 Крепко в голову вбивают

Старых мумий, фараонов,
 Начиненных разной дрянью,
 И бесплотных Меровингов,
 И напудренных особ,

И украшенных косою
 Богдыханов из фарфора.
 Это все прилежно зубрят
 Наши умницы, — но, боже!

Вы спросите их о славных
 Иудейских стихотворцах
 Золотого века школы
 Аравитяно-испанской,

О созвездии блестящем:
 Иегуде бен-Галеви,
 Соломоне Габироле,
 Моисее Ибен-Эсра,

И других великих людях, —
 Эти умницы уставиат
 В вас глазенки с изумленьем
 И не знают, что ответить.

Друг мой, я тебе полезный
 Дам совет: еще не поздно,
 Позаймись-ка ты еврейским,
 Брось театры и концерты,

Позаймись хоть два-три года
 И получишь ты возможности.
 Изучать в оригинале
 Ибен-Эсру, Габироля

И, конечно, бен-Галеви ---
 Триумвиров песнопенья,

Извлекавших диво-звуки
Из чудесных струн Давида.

Алхаризи (ты, конечно,
И о нем не знаешь вовсе;
А ведь он, остряк французский,
Превзошел в своих макамах

Остроумием Гарири,
И задолго до Вольтера
Был уже вольтерианцем), —
Ну, так он-то говорил:

«Габироль — скорей философ.
Он мыслителю приятен;
Ибен-Эсра же в почете
У художника-поэта;

Но в Иегуде бен-Галеви
Оба свойства совместились;
И поэт великий он,
И любимец всех на свете».

Ибен-Эсра был приятель,
Даже родственник какой-то
Иегуды бен-Галеви, —
И Иегуда, в книге странства

Говорит с глубокой скорбью,
Что в Гренаде тщетно друга
Он искал и только брата
Ибен-Эсры там нашел —

Рабби Мейера, поэта
И отца прекрасной девы,
Полонившей сердце Эсры
Безнадежной, пылкой страстью.

Чтоб забыть прелестный образ,
Он, как многие коллеги,
Взявши страннический посох,
Снял скитаться без приюта.

На пути к Иерусалиму
Был татарами он схвачен
И, привязанный к седлу,
Увлечен далеко в степи.

Там нести он начал службу,
Недостойную раввина,
А тем менее — поэта:
Стал доить коров татарских.

Раз, когда сидел, согнувшись
Он под брюхом у коровы
И выдавливал усердно
Молоко ее в кувшин —

Оскорбительная поза
Для раввина и поэта, —
Грусть глубокая напала
На него, и петь он начал.

Так прелестно, так волшебю
Пел поэт, что хан татарский,
Шедший мимо, был растроган
И рабу свободу отдал.

Подарил ему он также
Лисью шубу и большую,
Сарацинскую гитару;
Дал и денег на дорогу.

О, звезда злосчастий вечных!
Аполлона сыновей
Гонишь, гонишь ты — и даже
Их отца не пощадила;

Он, за Дафною погнавшись,
Вместо нимфы белоснежной,
Обнял только куст лавровый —
Он, божественный Шлемиль!

Да, божественный дельфиец
Был Шлемиль, — и эти лавры,

Увенчавшие так гордо
Лоб его, — шлемильства признак.

Слово самое «Шлемиль»
Нам давно уже известно:
Дал ему в отчизне нашей
Право гражданства Шамиссо.

Но его происхождение
Оставалось в темноте,
Как и Нильские истоки.
В размышлениях об этом

Проводил я часто ночи,
И в Берлине объяснения
У Шамиссо попросил —
У декана всех Шлемилей.

Он не в силах был ответить
И сказал: «Вам это может
Только Гидиг объяснить;
От него узнал впервые

Я фамилию Шлемиля».
Взял я дрожки и тотчас же
Прямо к Гидигу поехал.
Он когда-то звался Ициг,

Но во сне увидел раз,
Что на небе красовались
Буквы все его фамильи,
И пред ними буква Г.

«Что бы значила такое
Эта буква? — думал он: —
Господин ли Ициг, или
Горный Ициг? — Горный — это

Титул славный, но в Берлине
Неудобный». Наконец,
После долгих размышлений
Он назвался просто Гидиг.

«Горний Ициг, — так сказал я
Вы должны подробно мне
Объяснить происхождение
Слова древнего: Шлемиль».

Изворачивался долго
Горний муж; то так, то этак
Он отделаться старался
От ответа; наконец,

Все полопались застежки
У меня в штанах терпенья,
И я начал так ужасно
Проклинать, кричать, ругаться,

Что почтенный пиэтист
Побледнел, как смерть, затрясся
И немедленно представил
Мне такое объясненье:

«Нам из Библии известно,
Что, блуждая по пустыне,
Потешал себя Израиль
Ханаана дочерьми.

И случилось раз, что Пинхас
Увидал, как славный Зимри
Совершал прелюбодейство
С ханаанскою женою.

Он схватил копьё во гневе
И на месте преступленья
Умертвил тотчас же Зимри.
Так мы в Библии читаем,

Но словесное преданье
Сохранилось в народе,
Что копьём смертельным Пинхас
Поразил совсем не Зимри,

Что что, гневом ослепленный,
Он нечаянно другого

Заколел, — и эта жертва
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддей».

Значит, с ним, с Шлемилом Первым,
Начался весь род Шлемилей;
Первый наш родоначальник
Был Шлемиль бен-Цури-Шаддей.

Никаким геройским делом
Он себя не обессмертил;
Нам одно о нем известно,
Что он был Шлемиль — и толк!»

Но деревьям родословным
Придают большую ценность
Не плоды, а только возраст.
В нашем — три тысячелетья.

Годы идут и проходят...
Три прошли тысячелетья
С той поры, как прародитель
Наш, Шлемиль бен-Цури, умер

Пинхас тоже спит в могиле,
Но копье его доныне
Сохранилось и над нами
Свищет гибельно порой,

Поражая лучших сердцем.
Пал под ним и Ибен-Эзра,
И Иегуда бен-Галеви,
Пал и вещий Габироль —

Этот, богом посвященный
Миннезингер, этот, полный
Чистой веры, соловей,
Чьей розой был всевышний!

Соловьинной, нежной песнью,
Песнью пламенной любви,
Заливался он во мраке
Ночи средневековой,

Не страшась ни привидений,
Ни уродов, ни чудовищ,
Ни безумия, ни смерти,
Что блуждали в той ночи.

Соловей, он думал только
О своей небесной розе
И рыдал, и таял песнью
Славословья и любви.

Тридцать лет на свете прожил
Габироль; но слава быстро
Разнесла по всей вселенной
Имя громкое его.

По соседству с ним, в Кордове,
Поселился мавр; он тоже
Сочинял стихи и сильно
Стал завидовать поэту.

Каждый раз, при звуках песни
Габиroleя, закипала
В мавре желчь, — и сладость песни
Для него была полынью.

И однажды он коварно
Заманил к себе поэта
И убил его, и труп
Закопал в саду, за домом.

Но на том же самом месте,
Где зарыл злодей поэта,
Вдруг смоковница возникла
Самой чудной красоты.

Плод ее был странно-длинен,
Странной сладости исполнен;
Кто вкушал его, пред тем
Мир волшебный открывался.

И пошли об этом диве
Шопот, толки, разговоры,

И дошли они до слуха
Пресветлейшаго калифа.

Пресветлейший убедился
В диве собственоязычно
И тотчас же приказал
Все исследовать строжайше.

Судьи долго не возились
И смоковницы владельца
По пятам отдули тростью;
Он сознался в преступленьи.

Вслед за этим поспешили
Вырыть дерево с корнями,
И явился пред народом
Труп убитого поэта.

Схоронили Габироля
Пышно, с горькими слезами;
В тот же самый день в Кордове
Был повешен мавр-убийца.

ДИСПУТ

Заливаются фанфары
В зале города Толедо,
Толпы нестрые стеклись
На духовную беседу.

Тут оружие не заблещет,
Как при светской грубой свалке, —
Будут копыями слова
В схоластической закалке.

То сошлись не на турнир
Два галантных паладина, —
Предстоит словесный бой
Капудина и раввина.

Прикрывают их скуфья
И ермолка — те же шлемы.

«Арбеканфес» и нарамник —
Их доспехи и эмблемы.

Кто воистину господь?
Бог ли то евреев старый
И единый, чей поборник —
Рабби Юда из Наварры,

Или это триединый
Бог по вере христианской,
Чей поборник — патер Хозе,
Настоятель францисканский?

Подбирая аргументы
И логические звенья
И ссылаясь на ученых,
Вес которых — вне сомненья,

Хочет каждый *ad absurdum*
Привести слова другого,
Превосходство доказав
Иисуса иль Еговы.

Решено, что кто потерпит
В этом споре поражение,
Должен будет перейти
В победившее ученье,

Что окрестит иудея
Францисканец в наказанье,
И обратно — что грозит
Капуцину обрезанье.

И еврея и монаха
Окружают их клезреты;
Разделить судьбу вождей
Принесли они обеты.

В торжество Христовой веры
Твердо верят капуцины:
Со святой водой купели
Притащили на крестины

И уж держат наготове
И кропила и кадила;
Между тем ножи евреи
Бодро точат о точила.

Так стоят, готовясь к бою,
Обе своры среди зала,
И столбившийся народ
С нетерпением ждет сигнала.

Под навесом золотым,
С королем-супругом рядом,
Королева озирает
Круг придворных детским взглядом.

Носик вздернутый, французский,
Шаловливые гримасы,
Уст улыбчивых рубины —
Сколько чар и сколько ласки!

Как цветок, она прекрасна.
Боже, бедную помилуй!
С берегов веселой Сены
Привезли ее в унылый

Край сухого этикета
И зачахла, как в пустыне.
Бланш Бурбон в отчизне звали,
Доньей Бланкой стала ныне.

Сам король «жестоким Педро»
Прозван слугами своими,
Но сегодня в духе он,
Лучше он, чем это имя.

С приближенными любезно
Разговаривает Педро,
Маврам и евреям тоже
Комплименты сыплет щедро.

В рыцарях без крайней плоти
Он обрел друзей бесценных —

Превосходных финансистов,
Выдающихся военных.

Затрещали барабаны,
Затрубили трубы — это
Значит, что открылись пренья.
Что схватились два атлета.

Францисканец начал диспут
В тоне ярости священной.
Хриплым голосом рычит он
И визжит попеременно.

Помянув святого духа
И призвав отца и сына,⁴
Экзорцирует он злое
Семя Якова-раввина.

Ведь известно, что при спорах
Часто чорт сидит в еврее
И нашептывает мысли
Побойчей да поострее.

Чудодейством экзорцизма
Выгнав дьявола умело,
За догматику он взялся,
Катехизис двинул в дело.

Говорит, что божество
Воплощается в трех лицах,
Но все трое, если нужно,
Воедино могут слиться;

Что постигнуть это чудо
И поверить не на шутку
Может только тот, кто бросит
Вызов здравому рассудку;

Что родился наш господь
В Вифлееме, в скромном хлеве,
И внушен святым был духом
Сохранившей девство деве;

Что лежал спаситель в яслях
И смотрели, выгнув спины,
На него бычок и телка
Взором набожной скотины;

Что бежал в Египет бог,
Жизнь от Ирода спасая,
Но затем его постигла
В Палестине участь злая,

Ибо Понтием Пилатом
По наветам фарисеев
Был он отдан на распяты
В руки мерзостных евреев;

Что уже на третий день
Гроб господь пустым оставил
И прямым путем оттуда
В небо свой полет направил;

Но, когда настанет время,
Он на землю возвратится
И живым и мертвым тварям
Повелит на суд явиться.

«Трепещите, — взвизгнул он, —
Перед богом, злые черти!
Вы его терзали, били
И подвергли крестной смерти.

О, жиды-хриstopродавцы,
Злонамеренное племя!
Вы поднесь убийцы бога,
Как и были в оно время.

Род жидовский — это падаль,
Обиталище драконов,
И тела у вас — казармы
Для бесовских легионов.

Так сказал Фома Аквинский.
Муж великий и ученый.

Светоч знания, коим горд,
Коим славен мир крещеный.

Вы, как волки, как шакалы,
Кровожадны и свирепы,
Вы — гиены, на кладбищах
Расхищающие склепы!

Иудеи! Вы — вампиры,
Носороги, крокодилы,
Кабаны, гиппопотамы,
Павианы и гориллы!

Совы, филины, вороны,
Пугачи, сычи, удоды,
Нечисть ночи, василиски,
Богомерзкие уроды!

Гады, ящеры, ехидны,
Черви, пакостные жабы!
Искупителю вас всех
Раздавить давно пора бы.

Если ценно вам, проклятым,
Ваших бедных душ спасенье,
Прочь из гнусной синагоги
В наши мирные сселенья,

В светлый храм любви Христовой!
Там вам головы окатит,
Из святой струясь купели,
Ключ господней благодати.

Сбросьте ветхого Адама,
О повапленные гробы,
Смойте грех, отмойте плесень
Застарелой вашей злобы.

Божий глас ужель не внятен?
Он зовет вас, неофитов,
На груди Христа стряхнуть
Вашей скверны паразитов.

Воплотил наш бог любовь
И ягненку был подобен, —
На кресте за нас он умер,
Всепрощающе беззlobен.

Воплотил наш бог любовь,
И святым его ученьем
Мы прониклись — милосердьем,
Миролюбьем и смиреньем.

Мы — такие добряки,
Что и мухи не обидим,
И когда-нибудь за это
В царство божие мы внидем.

Райским светом просияв.
Станем мы как ангелочки
Там бродит, держа в руках
Белых лилий стебелечки.

Вместо грубых ряс наденем
Белоснежные хитоны
Из парчи, муслина, шелка,
Ленты пестрые, помпоны.

И не будет лысин! Будут
Золотые кудри виться,
Заплетать их станут в косы
Нам красивые девицы.

Чаши для вина на небе
Несомненно будут шире,
Чем вспененные хмельною
Влагой кубки в этом мире,

Но, напротив, много уже
Чем у женщин, здесь желанных
Будут ротики красавиц,
В небе нам обетованных.

Вечно будем мы вкушать
Хмель вина и поцелуя

И блаженно гимны петь
«Кирие» и «Аллилуйя».

Так закончил он. Монахи,
Убедясь, что одолели,
Стали было для крещенья
Наполнять водой купели,

Но больны водобоязнью
Все евреи от рожденья;
Рабби Юда из Наварры
Слово взял для возраженья.

«Ты хотел во мне удобрить
Почву духа для посева,
Забросав меня навозом
Сквернословия и гнева.

На приемах — отпечаток
Воспитанья и пошиба.
Не сержусь я и по дружбе
Говорю тебе спасибо.

Догмат троицы для нас —
Не спасительное средство:
Все мы правилом тройным
Занимаемся сыздетства.

Совместились три лица
В вашем боге? Что ж, немного!
У язычников шесть тысяч
Разных форм и видов бога.

Бог, по имени Христос,
Мне, признаться, неизвестен.
С девой-матерью встречаться
Не имел я также чести.

Если с ним тому назад
Болеэ тысячелетья
Приключилась неприятность,
Рад об этом пожалеть я.

Но евреи ли убийцы, —
Вряд ли кто-нибудь дознался,
Если сам delicti cognus
К третьей ночи затерялся.

А что с ним наш бог в родстве, —
Это просто чьи-то бредни,
Ибо, сколько нам известно,
Был бездетен сой последний.

Бог наш для людского рода
Не согбен под крестной ношей,
Он совсем не филантроп,
Не слюняй и не святоша.

Бог наш — не любовь! К нему
С поцелуями не лезьте,
Ибо это грозный бог,
Громовержущий бог мести.

Гнев господень мечет стрелы
И разит виновных метко,
Отдаленные потомки
Часто платятся за предка.

Наш господь царит доселе
Средь небесного чертога,
И вовеки несть конца
В небесах господству бога.

И притом он здоровяк,
А не миф какой-то хилый,
Тощий, бледный, как облатка
Иль как призрак из могилы.

Бог силен: в руках он держит
Все светила небосвода,
А когда нахмурит брови,
Гибнут троны и народы.

Бог велик — наш царь Давид
Говорит: величье божье

Нет возможности измерить,
Вся земля — его подножье.

Любит музыку наш бог,
Звуки струн и песнопенья,
Но к церковному трезвону
Он питает отвращенье.

И у бога рыба есть.
Слышал о Левиафане?
Каждый день по часу с ним
Бог играет в океане.

Только в день девятый Аба,
В день, когда был храм развален,
Бог наш с рыбой не играет, —
Слишком он тогда печален.

У той рыбы плавники
Велики, как царь Васанский
Ог, длина ее — сто миль,
Хвост — как старый кедр Ливанский.

Ну, а мясо у нее —
Это просто объяденье!
В день восстания из мертвых
Бог отправит приглашенья

Всем, кто шел его стезею,
С ним совместно отобедать
И его любимой рыбы,
Рыбы господя отвеждать

Частью в соусе чесночном,
Частью в винном. А вино-то!
Приготовят эту рыбу
Наподобие матлота.

В белом соусе чесночном
Редька плавает в приправу.
Я уверен, патер Хозе,
Что наешься ты на славу.

Но и винную подливку
Непреренно ты попробуй,
Я уверен, патер Хозе,
Ублагншь свою утробу.

Бог наш знает в кухне толк.
Так не будь же ты болваном:
Распрошайся с крайней плотью,
Насладись Левиафаном!»

Так противника прельщает
Рабби сладкими словами,
И евреи, ухмыляясь,
Приближаются с ножами,

Чтобы в знак своей победы
Поживиться плотью крайней,
Этим *spolium optum*
В сей борьбе необычайной.

Но враги за веру предков
И за плоть свою держались,
Не хотели с ней расстаться
И упорно не сдавались.

Принялся монах раввина
Поносить еще безбожной,
Речь его — ночной горшок,
И к тому же не порожний.

Реплицирует наш рабби,
В сердце затаив обиду,
И, хоть кровь кипит от гнева,
Все же он спокоен с виду.

Он ссылается на Мишну
Комментарии, трактаты,
Почерпнул и в «Таусфес-Ионтеф»
Очень веские цитаты.

Но какое допустил
Богохульство патер грубый!

Он послать себе позволил
«Таусфес-Ионтеф» к чорту в зууы.

«Боже, тут всему конец! —
Кликнул рабби в иступленьи
И совсем осатанел, —
Видно, лопнуло терпенье. —

«Таусфес-Ионтефу» велишь ты
К чорту в зубы убираться?
Покарай кощунство, боже,
Ниспровергни святотатца,

Ибо «Таусфес-Ионтеф» — это
Ты, создатель, и фигляру
За хулу на «Таусфес-Ионтеф»
Должен ты назначить кару.

Пусть провалится сквозь землю,
Как погибли те злодеи,
Что восстали на тебя
Под командою Корея!

Громыхни громчайшим громом,
Изуродуй изувера, —
Ведь нашлись же для Содома
И Гоморры огонь и сера.

Порази ты капуцинов,
Как однажды фараона,
От которого стречка
Дали мы во время оно.

Он стотысячное войско
Приготовил для погони,
Потрясавшее мечами
И закованное в брони,

Но ты спас, простерши длань,
Свой народ от супостата,
Все сто тысяч в Красном море
Утонули, как котятя.

Так ударь по капудинам,
Чтоб не думали, обломы,
Что твой гнев уже не страшен,
Что твои заглохли громы.

Я тогда твою победу
Прославлять не перестану
И пушусь, как Мирьям, в пляс
И ударю по тимпану».

Но разгневанного рабби
Перебил католик рьяный:
«Чтоб ты сам пропал, проклятый,
Чтоб ты сгинул, окаянный!

Мне не страшен бог твой грязный,
Не боюсь чертей нимало —
Люцифера, Вельзевула,
Астарота, Велиала.

Не боюсь твоих я духов,
Темной силы преисподней, —
Сам Христос в меня вселился,
Плотя я вкусил господней.

Причастился я Христа,
Им я лакомиться стану,
Не притронусь я к дрянному
Твоему Левиафану.

Чем на споры время тратить,
Всех бы вас я, к пользе вищей,
На костре жарчайшем жарил
Иль варил в смоле кипящей!»

Так за веру и творца
Иступленно бьются оба,
И конца не видно спору,
И не может стихнуть злоба.

Длится диспут целый день,
Но противники упрямы.

Очень публика устала,
И потеют сильно дамы.

Все придворные зевают
И клюют от скуки носом.
Наконец король к жене
Обращается с вопросом:

«Каково решенье ваше?
Чья религия мудрее?
Подаете ли вы голос
За монаха или еврея?»

Донья Бланка на него
Посмотрела в размысленьи
И, прижав ко лбу ладони,
Так сказала в заключенье:

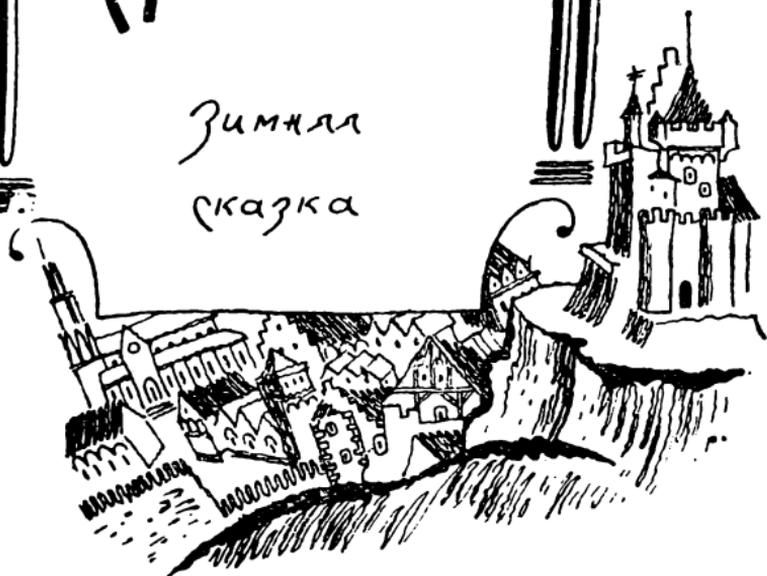
«Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что оба
Портят воздух в равной мере».





Германия

Зимняя
сказка





ГЛАВА ПЕРВАЯ

То было печальной ноябрьской порой;
Мрачнее день становился,
Рвал ветер поблекшие листья с ветвей,
И я в дорогу пустился.

И чуть до границы доехал, в груди —
Почувствовал — застучало
Сильней, и кажется даже, в глазах
Мокренько будто бы стало.

И чуть я услышал немецкий язык,
В душе у меня ощутилось
Вдруг странное что-то: казалось, кровь
Из сердца нежно сочилась.

Малютка-артистка запела; она
И очень чувствительно пела,
И очень фальшиво, но тронуть меня
Игрой глубоко сумела.

Мне пела она про любовь, про ее
Мученья, жертвы, свиданья —
Там, в выси небесной, в иной стране,
Где все исчезнут страданья.

Мне пела она о юдоли земной,
О счастье, столь скоротечном,

О мире загробном, где дух, просветлен,
В блаженстве плавает вечном.

Мне пела она отреченья песнь,
Небесную эйапопейю;
Ребенка-народ, чтоб унять его плач,
Давно баюкают ею.

Я знаю мелодию, знаю и текст,
И авторов знаю прекрасно;
Тайком они попивали вино,
Пить воду советуя гласно.

Нет, новую песнь, друзья, пропою
Для вас я — лучшего склада:
Устроить небесное царство здесь,
Уж здесь, на земле, нам надо.

Уж здесь, на земле, будем счастливы мы:
Про голод ни слуху, ни духу,
Того, что добыто прилежной рукой,
Не жрать ленивому брюху.

Достаточно хлеба растет внизу,
Всем хватит милостью бога;
И миртов, и роз, красот и утех,
И сладких горошинок много.

Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,
Для всякого здесь найдется;
А горнее царство пускай воробьям
И ангелам достается.

А вырастут крылья по смерти у нас, —
К вам, в горние ваши селенья,
Взлетим и вместе покушаем там
Блаженных тортов, варенья.

Да, новую песнь — прекраснее той!
С ней флейтам и скрипкам едва ли

Сравниться! Долой miserege! Звонить
По мертвым мы перестали.

Помолвлена дева Европа; ее
Ждет с богом свободы венчанье;
В объятия пали друг другу они,
Блаженствуют в первом лобзаньи.

И если вснчались они без попа,
Отнюдь не ослаблен этим
Их брачный союз. Много лет жениху,
Невесте, будущим детям!

Да, новая, лучшая песня моя —
В честь брака их песнопенье!
В душе моей яркие звезды встают —
Небесное откровенье.

Восторгом диким пылают они,
Текут огневыми ручьями.
Я чую чудную силу в себе,
Я вырвал бы дубы с корнями.

Чуть стал я на землю родную, во мне
Волшебные соки струятся;
До матери вновь прикоснулся гигант,
И вновь в нем силы родятся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Меж тем как малютка про счастье в раю
Пускала под музыку трели,
Досмотрщики прусские мой чемодан
Внимательно осмотрели.

Все перенюхали, рылись до дна
В рубашках и панталонах,
Искали кружев, вещей золотых,
А также книг запрещенных.

Глушцы! Чего в чемодане искать!
Ведь там ничего не найдется.
Моя контрабанда в моей голове
Повсюду со мной везется.

В ней тонкие кружева есть, до них
И брюссельским очень далеко:
Лишь стоит вынуть мне их, — и вас
Уколют они жестоко.

Я в ней драгоценные камни ношу,
Брильянты для дней грядущих,
Сокровища храма иных богов,
В великом Неведомом сущих.

И смею уверить, немало в ней
Есть также и книг схороненных;
Моя голова — это птичье гнездо
Щебечущих книг запрещенных.

Поверьте, и в книжных шкапах сатаны
Зловреднее не бывает;
Гораздо опасней они и тех,
Что фон-Фалтерслебен слагает.

Стоявший рядом со мной пассажир
Заметил, что передо мною
Таможенный прусский союз, страну
Сковавший цепью одною.

«Таможенный прусский союз, — он сказал, —
Народности положит
Основу; раздробленным силам он
В едино слиться поможет.

Единство внешнее он принесет,
Что мы зовем материальным;
Пензура ж духовным единством снабдит —
И, значит, вполне идеальным.

Единство внутри принесет она,
И в мыслях и в чувствах; нужно,

Чтоб родина наша единой была,
Единой внутри и наружно».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В соборе ахенском погребен
Карл Магнус; пусть не смешает
Иной его с Карлом Майером — тем,
Что в Швабии проживает.

Я вовсе не склонен в соборе, в гробу
Лежать, как мертвец-император;
Согласен я лучше в Штуккерте жить,
Как самый плохой литератор.

На ахенских улицах скучно псам,
И молят они со смиреньем:
«Прохожий, дай нам пинка! Для нас
Послужит он развлеченьем».

Прошлялся я в этом скучном гнезде
Часок; на улице встретил
Военных прусских, и в них перемен
Особенных не заметил.

Все серые те же плащи; воротник
Высокий и красный остался
(Сей цвет знаменует французскую кровь,
Как Кернер встарь выражался);

Все тот же педантский, дубовый народ;
Попрежнему в каждом движеньи
Прямые углы; на каждом лице —
Застывшее самоменье.

Все так же навтыяжку ходят они
Шагами ходульно-прямыми,
Как будто тот фухтель, которым их встарь
Дупили, проглотец ими.

Да, фухтель еще не исчез вполне,
В душе он у них пребывает,
И в дружеском «ты» старинное «он»
Сквозить еще продолжает.

Усы — это новый лишь фазис косы
Старинного времени; косам,
Висевшим тогда на затылке, теперь
Висеть велели под носом.

Нашел я довольно красивым костюм
Теперешний армии конной;
Шпшак мне особо по вкусу — шлем
С верхушкой стальной, заостренной.

Тут рыцарством веет, и вспомнишь тут
Романтики милую пору;
Тик, Уланд, Фуке и мадам Монфокон
Являются нашему взору.

Тут вспомнишь прелести средних веков —
С ландскнехтами и пажами,
Что верность носили в своих сердцах.
А зад расшивали гербами.

Тут вспомнишь турниры, крестовый поход,
Култ женщин, богу обеты,
И веры век беспечатный, когда
Не издавались газеты.

Да, очень мне нравится этот шлем,
Он — знак остроумья на троне.
Его король изобрел. Остроты
Довольно в этом фасоне.

Я только боюсь, коль случится гроза,
В ваш мир романтики старой,
Пожалуй, притянутся тем острием
Новейших молний удары.

А вспыхнет война, — и убор головной
Полегче купить принудит:

Вам средневековый тяжелый шлем
Помехою в бегстве будет.

На вывеске ахенской почты опять
Явилась мне птица, глубоко
Противная мне; вперила в меня
Свое ядовитое око.

Поганая птица! Ну, попадись
Мне в руки только, поверь, я
И когти хищные отрублю,
И выщиплю твои перья.

Потом у меня на высоком шесте
Ты в воздухе будешь качаться;
Я рейнских стрелков туда приглашу
В веселой стрельбе упражняться.

Кто птицу сшибет, тому молодцу
Корону и скиптр поднесу я;
Мы туш протрубим и «Ура, король!
Да здравствует!» — крикнем, ликуя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я к вечеру в Кельн приехал, и тут
Услышал Рейна журчанье;
Немецкий воздух обвел меня,
Тотчас оказав влиянье

На мой аппетит. Яичницы я
Поед с ветчиной; но соли
В ней было так много, что все запить
Рейнвейном пришлось поневоле.

Как золото, в рюмках зеленых рейнвейн
Все так же точно блистает;
Но если его ты не в меру хватил,
Он в нос тебе ударяет.

Щекочет сладко в носу у тебя,
С блаженством расстаться нет мочи.
И вот меня потянуло пройтись
По улицам, в сумрак ночи.

Ряд каменных зданий смотрел на меня.
Как будто хотел сказанья
Минувших веков поведать, открыть
Священного Кельна преданья.

Здесь мир поповский в былые года
Свое благочестье правил;
Здесь было господство тех «темных людей»,
Которых Гуттен ославил.

Здесь в средневековом канкане монах
С монахиней изошрялись;
И Менцелем кельнским, Гохстратеном. здесь
Доносы с ядом писались.

Здесь многое множество книг и людей
Пожары костров уносили,
Причем раздавался с церковей трезвон,
И «Кирье элейсон» гнусили.

Здесь глупость и злоба, сцепясь, как псы,
По улицам бегали блудно;
Их род, по слепой к иноверцам вражде,
Узнать доныне нетрудно.

Но что я вижу? Во мраке ночном
Встает, озарен луною,
Какой-то дьявольски черный колосс —
То кельнский собор предо мною.

Бастилией духа он должен был стать
По мысли хитрого Рима:
«Зачахнет здесь немецкая мысль,
Тюрьмой гигантской теснима».

Но Лютер пришел, и сказал свое
Великое «Стой!», — и скоро

Работу пришлось прекратить; с тех пор
Не стало больше собора.

Его незаконченность радует нас:
Нашли в ней себе оправданье
И памятник вечный — германская мощь,
И протестантства призванье.

О жалкий, глупый соборный совет!
Рукой бессильной вы мните
Достроить старую крепость, за труд
Неоконченный взяться хотите!

Безумье! Пускай колокольчик в церквах
Звонит себе, сколько угодно,
Пусть вам подаенье дает еретик
И даже еврей — бесплодно!

Пусть в пользу собора великий Франц Лист
Играет, и пусть любезно
Король-декламатор читает стихи
Пред публикой, — бесполезно!

Не будет достроен кельнский собор,
Хотя и доставлен глупцами
Из Швабии с этой целью большой
Корабль, груженный камнями.

Не будет достроен, кричи не кричи
Вороны и филины — птица,
Которой любо, по старине,
В пыли церковной ютиться.

И даже такая придет пора,
Что, вместо его окончанья,
В конюшню предпочтут обратить
Громаду этого зданья.

«Но если в конюшню его обратить,
То вот затрудненье какое:
Куда перенести трех царей, что там
В ковчеге лежат на покое?»

«Вот странный вопрос! В наше время нет
Нам нужды больше стесняться:
Не трудно трем восточным царям
В другую квартиру убраться.

Вы в Мюнстере можете их поместить —
Совет разумен, поверьте —
В трех клетках железных, висящих там
На башне святого Ламберти.

Когда б оказалось, что нет одного
Из этого триумvirата, —
Ну, что ж! в замену восточному взять
На западе можно собрата».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я к рейнскому мосту, на самый вал
Пришел, — и вот предо мною
Струит свои воды почтенный Рейн,
Светясь под мирной луною.

«Здорово, старый, почтенный Рейн!
Ну, как тебе поживалось?
Не раз я с тоской тебя вспоминал,
И сердце к тебе устремлялось!»

Сказал — и слышу в речной глубине
Сердитые, странные звуки,
Как будто бы кашель глухой старика,
Ворчанье и вздох доуки.

«Здорово, сынок! Приятно, что ты
Меня не забыл; примерно,
Тринадцать лет мы не виделись. Мне
Жилось это время прескверно.

Я в Бибрихе камни глотал, и они,
Признаться, невкусные были;
Но Никласа Беккера, друг, стихи
Желудок сильнее отягчили.

Меня воспел он, как будто я
Еще непорочная дева,
С которой никто не посмеет сорвать
Венка, страшась ее гнева.

Когда мне эту глушю песнь
Услышать порой случится,
Готов я всю бороду вырвать свою,
В себе самом утопиться.

Что я не чистейшая дева -- про то
Французы лучше узнали;
С моею водой они часто свои
Победные воды мешали.

Глупейшая песнь, глупейший поэт!
Меня он позорно ославил,
И политически тоже меня
В двусмысленном свете поставил:

Ведь если французы воротятся, мне
Придется краснеть от смущенья, —
Я часто у неба, в горячих слезах,
Просил об их возвращеньи.

Французов я очень любил всегда —
Такие, право, плутишки.
Что, все еще скачут они, поют?
Все белые носят штанишки?

Весьма бы хотелось увидеть их,
Но только боюсь, пожалуй,
Насмешки пойдут из-за этих стихов
Проклятых, — и ради скандалу

Альфред де-Мюссе, забияка-гамен,
Быть может, командуя ими,
Придет барабанщиком и в меня
Ударит остротами злыми».

Так плакался бедный, почтенный Рейц,
Не мог остаться в покое.

Чтоб дух в нем поднять, в утешение я
Промолвил слово такое:

«Насмешки французов, мой славный Рейн.
Не бойся; французы бывые
Исчезли. — не тот уж нынче народ;
Штаны у них тоже иные.

Штаны их не белы, а красны теперь,
Им пуговики новые дали;
Не скажут уж больше и не поют,
Задумчивы головы стали.

Они философствуют, темой бесед
Им служат Фихте и Гегель;
Охотно курят и пиво пьют,
И есть любители кегель.

Такие ж филистеры, как и мы,
Пожалуй, нас перегонят;
Меж них вольтерьянцев уж нет, они
Теперь к Генгстенбергу клонят.

Альфред де-Мюссе, это правда, гамен
Попрежнему, но напрасно
Не бойся: глумливый его язык
Сковать мы можем прекрасно.

Коль злой остротой его барабан
Ударит, мы свиснем другою,
Позлее — о том, что случилось с ним
У барынь красивых порою.

Итак, успокойся! И скверную песнь
Забудь до последнего слова.
Песнь лучшую скоро услышишь. Прощай.
С тобой увидимся снова!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

За Паганини повсюду ходил
Его spiritus familiaris

То в виде собаки, то в виде людском —
Шеата Георга Гаррис.

Пред важным событием встречал Бонапарт
Фигуру красного цвета;
Свой демон был у Сократа; не бред
Людской фантазии это.

Я сам, за письменным сидя столом,
Ночную видел порою, —
Зловещий, замаскированный гость
Стоял у меня за спиною.

Он что-то скрывал под плащом, и когда
Случайно оно открывалось,
То странно блестело и топором,
Секирой смерти казалось.

Приземист и плотен он с виду был;
Глаза — как звезды; в писаньи
Он не мешал мне и всегда
Держался на расстояньи.

Прошло много лет с той поры, как мне
Товарищ странный являлся, —
И вдруг в эту тихую лунную ночь
Он в Кельне вновь повстречался.

Задумчиво шлялся по улицам я,
Вдруг вижу его за спиною;
Как тень — неотступен: иду — идет;
Я стану, и он со мною.

Стоит и как будто чего-то ждет;
Пойду умышленно скоро, —
Он тоже шаги ускоряет. И так
Пришли мы на площадь собора.

В досаде, к нему обратясь, я сказал:
«Тебя зову я к ответу:
С чего ты вздумал за мною ходить
В полночную пору эту?»

Тебя я встречаю всегда в часы,
Когда мировые стремленья
Родятся в груди моей, а в мозгу
Пронесаются озаренья.

В меня неподвижный и пристальный взгляд
Вперил ты. Что ты скрываешь
С таинственным блеском под плащом?
Кто ты, чего ты желаешь?»

Он сухо, почти флегматично мне
Ответил: «Брось заклинанья,
Прошу тебя очень; не к месту здесь
И громкие эти воззванья.

Отнюдь я не призрак и вовсе не встал,
Как пугало, из могилы;
Философ я слабый, и мне цветы
Реторики тоже не милы.

Натурой я практик, спокоен всегда,
Молчание сохраняю;
Но знай, — что задумано в мыслях тобой,
Немедля я исполняю.

И если мне даже приходится ждать,
Ждать долго, — работе всецело
Я отдан, пока ее не свершу.
Ты мыслишь, я делаю дело.

Ты — властный судья, я — немой палач;
Ты ставишь решение, я же
Послушно исполнить спешу приговор,
Хотя б несправедный даже.

Пред консулом в Риме, бывало, несли
Секиру, порядка ради;
Ты ликтора тоже имеешь, но он
Тебя провожает сзади.

Да, знай, я — твой ликтор; везде за тобой
Хожу; в любое мгновенье

К услугам твоим мой блестящий топор;
Я — мысли твоей свершенье».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пришел я домой и уснул, точно был
Святым убаюкан духом.
В немецких постелях так сладко лежать, —
Они наполнены пухом.

Как часто в изгнании мечтал я с тоской
Про сладость родной перины,
Когда в бессонные ночи лежал
На жестких матрацах чужбины.

Прекрасно спится и грезится нам
На нашей постели пуховой;
В минуты эти с немецкой души
Спадают земные оковы.

Она себя чувствует свободной и ввысь,
В небесные мчится селенья.
О, души немецкие! В грезах ночных
Как горды ваши паренья!

Заслышав ваш полет, в небесах
Дрожат бессмертные боги;
И крыльев размахом звезду за звездой
Сметаете вы с дороги.

Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грез
Немецкая мощь беспорна.

Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, — они
На плоской земле развились.

Когда я заснул, мне привиделся сон:
По улицам древнего Кельна,

Облитым ярким сияньем луны,
И странствовал вновь бесцельно.

Мой черный таинственный спутник вновь
Со мной шел рядом. Сгибались
Колени, отчаянно я устал,
Но мы вперед подвигались,

Все дальше. Сердце в груди моей
Разверзтой раной зияло,
И, капля за каплею, алая кровь
Из раны этой бежала.

Порой я обмакивал пальцы в кровь
И — случаи были нередки —
На воротах домов по пути
Кровавые ставил метки.

И только что знак поставлю такой
На доме, звон погребальный
Раздастся издали, словно
Болезненный и печальный.

А в небе месяц тускнел, и тьма
Сгущалась; в дикой погоне
Зловещие тучи грядой неслись
За ним, как черные кони.

Мой темный товарищ с топором.
Попрежнему шел нераздельно
Со мной, и долго по улицам мы
Вдвоем бродили бесцельно.

Бродили, бродили — и вновь пришли
На площадь ту же; находим
В полночную пору собора дверь
Открытой настежь — и входим.

В громадном пространстве царили смерть
И ночь, и молчанье; горели
Местами лампы, как будто тьму
Чернее сделать хотели.

Я долго ходил вдоль высоких колонн,
И только шаги за спиною
Звенели: то спутник был; он и здесь
Шагал безмолвно за мною.

И вот мы в капелле восточных царей;
Свечами она пламенела
И массою драгоценных камней
И золотом ярко блестела.

Но чудо какое! Святые волхвы,
Что неподвижно лежали
Уж сколько веков, теперь на своих
Гробницах восседали.

Скелеты облек фантастичный наряд;
Украшены гордо венцами
Их желтые черепы; держат скиптр
Они костяными руками.

И, как у кукол, их кости, давно
Иссохшие, шевелились,
И в воздухе запахи гнили, а с ней
И ладана проносились.

Один даже ртом шевельнул, и меня
Почтил своим объясненьем,
До крайности длинным, — за что я ему
Обязан высоким почтеньем:

Во-первых, за то, что он мертв; во-вторых, —
Царем когда-то считался;
А в-третьих, — его признали святым...
Но я равнодушен остался.

И так, засмеявшись, ему сказал:
«Что проку в твоих разъясненьях?
Я вижу, что с прахом былых времен
Ты связан во всех отношеньях.

Ступайте отсюда! Вам место одно —
Во мраке сырой могилы;

Сокровища этой капеллы, возьмет
Жизнь, полная власти, силы.

Грядущего конница — дайте срок —
В соборе, здесь поселится;
Не выйдете мирно, так палками вас
Заставлю в бегство пуститься».

Сказал и назад обернулся — и вдруг
Ужасное вижу сверканье
Ужасной секиры: мой спутник немой,
Послав мое приказанье,

Приблизился с секирой своей
К былых суеверий скелетам
И начал несчастных рубить и рубить,
Рубить нещадно. Ответом

Ему отгрянуло эхо от стен,
От сводов! И вновь полился
Кровавый поток из груди моей,
И в ужасе я пробудился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До Гагена стоит из Кельна проезд
Пять талеров прусских; достался
Билет мне в открытом возке: дилижанс
Уж занятым оказался.

Осенняя сырость; телега в грязи
Кряхтела. По скверной дороге
И скверной погоде, всему вопреки,
Я был в отрадной тревоге.

Ведь это воздух отчины! Он жжет
Своей живительной силой
Мне щеки. И эта дорожная грязь —
Ведь грязь моей родины милой!

Приветно кони махали хвостом,
Как будто я друг их старинный,
И мне Аталантовых яблок милей
Был круглый помет лошадиный.

Вот Мюльгейм проехали. Город хорош,
Хорош и нрав у народа —
Прилежный, скромный. Я не был здесь
С весны тридцать первого года.

В ту пору на всем был цветочный наряд,
И птицы в вставях щебетали,
И солнце смеялось, в игре лучей,
И люди, надеясь, мечтали —

Мечтали: «Ну, скоро уйдут теперь
И тощие рыцари наши;
Из длинных железных бутылок нальем
Питья им в прощальные чаши.

И с песнями, с пляской, с хоругвью своей
Трехцветной свобода прибудет;
Пожалуй, что ею и Бонапарт
Из гроба к нам вызван будет!»

Ах, господи! Рыцари все еще здесь!
И сколько этих болванов,
Что, тощи как спички, явились к нам,
Теперь превратились в пузанов!

У бледных каналов, сиявших тогда
Надеждой, верой, любовью,
Теперь, в угощениях нашим вином,
Носы как налиты кровью.

Свобода ногу свихнула себе,
Хромает, уж нет отваги;
На башнях парижских грустят, опускась,
Ее трехцветные флаги.

Восстал меж тем император, но так
Задор его усмирили

Британские черви, что он допустил,
Чтоб вновь его схоронили.

Я сам погребение видел, когда
Златую везли колесницу;
На ней златые богини побед
Златую держали гробницу.

Медлительно вдоль Елисейских Полей,
Под аркою Триумфальной,
Сквозь снежные хлопья и сквозь туман
Тянулся хор погребальный.

В игре музыкантов был страшный разлад, —
От стужи они коченели;
Орлы со штандартов на меня
С печалью немой глядели.

Толпой привидений казался народ,
Ушедший в память былого;
Пред ним императорский сказочный сон
Был чарами вызван снова.

Я плакал в то утро печальное. Взор
Невольно слезой омрачился,
Когда предо мною забытый крик:
«Vive l'Empereur!» прокатился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Из Кельна в осьмого три четверти мы
Уехали; к трем уже были
На Гагенской станции; здесь в этот час
Обедом нас покормили.

Тут старогерманская кухня была
В ее красе настоящей.
Привет мой кислой капусте! По мне
Твой запах всех прочих слаще.

Каштаны в зеленом салате! Ел
У матушки их я когда-то.

Привет и треске родимой! Умно
Ты плаваешь в масле!.. О, свято

Вовек остается для нежных сердец
Отечество!.. Да, признаться,
Люблю я и яйца и мелких сельдей,
Когда хорошо прокопчатся.

Как радостны в брызжущем жире своем
Сосиски! Смирно лежали,
Как ангелы, жареные дрозды
В компоте, и щебетали:

«Здорово, земляк! Давно тебя
Не видели мы! За границей
Ты проживал, и компанию там
Водил с нездешнею птицей».

Меж яств и гусыня была — существо
Чувствительной, кроткой породы.
Кто знает? Быть может, она меня
Любила в былые годы?

Смотрела она на меня тепло
И преданно, и уныло;
Душа в ней, наверно, нежна, мягка,
Но тело прежестким было.

Свиную голову затем
Нам подали тоже на блюде;
Доселе рыла свиные у нас
Венчают лаврами люди.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сейчас же за Гагеном стало темно;
Я странный озноб всю дорогу
До Унны в кишках ощущал; лишь там,
В трактире, согрелся немного.

Здесь пуншу стакан получил я из рук
Приветливой юной красотки;

Как шелк золотой — ее кудри; глаза,
Как отблеск месяца, кротки.

Ее шепелявый вестфальский акцент
С восторгом слушал опять я,
И память о прошлом в парах пуншевых
Воскресла: милые братья,

Я вспомнил вас, вестфальцы мои,
И Геттинген, где напивались
Мы с вами и, нежно в объятьях сплетясь,
Под стол потом опускались.

Да, милых и добрых вестфальцев всегда
Любил я; такой это верный,
Надежный и крепкий народ, без следа
Бахвальства, лжи лицемерной.

Как славно, со львиной душой своей,
Стояли они на мензуре!
В их терцах и квартках блюлись
Согласно честной натуре.

Прекрасно фехтуют, прекрасно пьют;
Когда поцелуем их губы
Скрепляют дружбу, то плачут они —
Чувствительно-нежные дубы!

Пусть небо хранит тебя, славный народ,
И счастье тебе посылает,
От славы излишней, от войн тебя,
От всяких геройств спасает.

Сынам твоим пусть помогает оно
Сдавать успешно экзамен;
А дочек прилично и мило ведет
К венцу желанному. — Амен!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вот лес Тевтобургский; описан он
У Тацита; вот перед нами

Болото славное, то, где Вар
Завяз со своими полками.

Здесь Германа дланью он был сражен,
Херусского славного князя.
Победа немецкой народности здесь
Одержана, в этой грязи.

Когда бы с ордой белокурой своей
Не выиграл Герман сраженья,
Конец бы немецкой свободе, и нам
Под Римом быть, без сомненья.

Нам римские нравы и римский язык
Давно бы были привиты;
Весталки и в Мюнхене бы нашлись,
И швабы звались бы «квириты».

Гаруспексом Генгстенберг стал бы — в кишках
Бычачьих искать ответов;
Неандер бы авгуром стал — от птиц,
В полете их, ждать советов.

Бирх-Пфейфер пила бы скипидар,
Подобно римлянкам знатным,
(У них, говорят, от того моча
Особо была ароматной).

И не был бы Раумер немецкая дрянь,
Он стал бы — римский Дрянзний.
Без рифм писал бы стихи Фрейлиграт,
Как некогда Флакк Гораций.

Грубьян-попрошайка, папаша Ян,
Звался б теперь Грублянус;
Ма Негеле! Масман беседы б вел
Латынью — Марк Туллий Масманус.

Поборники правды дрались бы лишь
С гиенами, тиграми, львами.
Сражаться бы им не пришлось теперь
В ничтожных журналах с псами;

На место трех дюжин владык одного
 Нерона имели б народы;
 Себе мы бы резали жилы на зло
 Презренным врагам свободы.

Наш Шеллинг, вторым Сенекою став,
 Под этим пал бы конфликтом;
 Корнелиус мог бы услышать от нас:
 «*Cacatum non est pictum*».

Но Герман противника победил,
 И изгнаны им иноземцы:
 Вар пал со своими полками, и мы
 Попрежнему, к счастью, немцы.

Мы — немцы, как прежде; опять говорим
 Мы по-немецки; куда бы
 Ни двинулись, *Esel* — название осла,
 Не *asinus*; швабы — швабы.

И Раумер, как прежде, немецкая дрянь,
 Украшен орденом знаком;
 Все рифмами пишет стихи Фрейлиграт,
 Не стал Горадием Флакком.

И Масман латынью речей не ведет,
 Бирх-Пфейфер творит лишь драмы,
 Не пьет скипидара дрянного она,
 Как римские светские дамы.

О Герман, тебе мы обязаны всем!
 Народ благодарным остался
 И в Детмольде памятник ставим тебе, —
 Я сам на днях подписался.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ползет наша бричка в лесной темноте.
 Вдруг треск подо мной. Отлетело,
 Сломавшись, у нас колесо. Стоим,
 Совсем незабавное дело!

Слезает почтарь и в деревню спешит;
А я, одинокий, остался
Средь леса, в полночную пору. Вдруг
Отчаянный вой раздался.

То волки голодную глотку свою,
Сойдясь в кружок, разевают;
В ночной темноте огневые глаза,
Как свечи, горят и сверкают.

Наверно, узнав о приезде моем,
Почетный прием захотели
Устроить мне — осветили лес
И хором привет запели.

Да, ясно я вижу теперь: это мне
Устроили серенаду.
Я стал в позитуру и произнес
С растроганным видом тираду:

«Товарищи волки! Я счастлив себя
Сегодня видеть в собраньи
Сердец благородных, от коих ко мне
С любовью летит завыванье.

Что в эту минуту чувствуя я,
Не выразить словом, конечно;
Прекраснейший этот час для меня
Останется памятным вечно.

Примите мою благодарность за то
Доверие, коим почтили
Меня и с которым вы мне не раз
Во дни невзгоды служили.

Товарищи волки! Из вас не один,
Во мне усомнясь, не попался
На удочку плутов, кричавших, что я
На сторону псов передался;

Что стал я отступником и вступлю
Гофратом в стадо овечье;

Считал унижительным я для себя
Оспаривать это злоречье.

Хоть шубой овечьей себя порой
В холодные дни я грею,
Но верьте, что счастье овец никогда
Мечтой не бывало моею.

Да, я не овца, не треска, не гофрат,
Не пес, — мне волки лишь любви;
Я волком остался, как был, у меня
Все волчье — сердце и зубы!

Я — волк и по-волчьи вою всегда;
Здесь каждый рассчитывать может
И впредь на меня; помогайте себе
Вы сами, — и бог вам поможет».

Такую-то речь я им произнес,
Совсем не готовившись; эти
Слова, сказав их, Кольб поместил
Потом во «Всеобщей Газете».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вот Падерборн. Солнце сегодня взошло
С досадливым выраженьем,
Ведь занято скучной работой оно —
Дурацкой земли освещеньем.

Осветит одну половину ее,
Полет направит в другую,
А первая тою порою, глядь,
Во тьму погрузилась ночную.

Не может управиться с камнем Сизиф,
Данаевы дочери даром
Льют воду в бочку, и солнце вотще
Горит над земным нашим шаром!

Туман разошелся, и алой зари
Лучи предо мной осветили
У края дорожного образ того,
Кого ко кресту пригвоздили.

Твой образ всегда мне внушает страх,
Несчастный мой прародитель,
Глупец, желавший мир искупить,
Человечества ты спаситель!

Плохую шутку люди с тобой,
Сыграли в своем коварстве!
Зачем без оглядки ты им говорил
О церкви, о государстве.

К несчастью, еще не знаком был твой век
С печатным станком чудесным;
Наверное, книгу бы ты написал
По всем вопросам небесным.

Чтоб ею не был уколот никто,
В ней сделал бы цензор изъятья;
Любовно спасла бы цензура тебя
От крестного распятья.

Ах, если б нагорную проповедь ты,
Построил в словах пристойных!
С изрядным талантом твоим и умом
Ты мог бы щадить достойных.

Менял и даже банкиров бичом
Из храма ты гнал в ослепленьи —
Несчастный мечтатель! Теперь ты висишь,
Как предостереженье.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

По голой равнине при ветре сыром
В грязи плетемся уныло,
Но в сердце моем звучит и пост:
«Ты, солнце, каратель-светило!»

Так старая песня кончалась, — ее
Мне нянька часто певала.
«Ты, солнце, каратель-светило!» — как зов
Лесного рожка звучало.

Та песня поет об убийце; он жил
В довольстве, в весельи блестящем;
Но вот, наконец, был найден в лесу
На иве плакучей висящим.

И к дереву смертный его приговор
Гвоздем прибит был: свершило
Судилице фэмы свой мстительный суд —
Ты, солнце, каратель-светило!

Убийца был солнцем к суду привлечен,
Оно обвинить побудило;
Оттилия крикнула в смертный час:
«О солнце, каратель-светило!»

Чуть вспомню ту песню, — и няню свою
Старушку я вспоминаю:
Все складки, морщины на смуглом лице
Так живо себе представляю!

В деревне вестфальской родившись, она
Имела запас превосходный
Преданий, сказок, волшебных легенд
И песен в манере народной.

С каким я биением сердца внимал
Рассказу про королевну
Что, косы плетя золотые, в степи
Сидела одна ежедневно.

Гусей сторожила в степи она;
Когда ж вечерком загоняла
Их в город обратно, всегда у ворот
В глубокой скорби стояла.

Прибита была к ним коня голова, —
Она королевне знакома!

Ах, конь этот бедный ее принес
В чужбину из отчего дома.

Вздыхает до слез королевская дочь
«О Фалада, ты повешен!»
И голова отвечает с ворот:
«Я за тебя безутешен!»

Вздыхает до слез королевская дочь
«Когда бы мать это знала!»
И голова отвечает с ворот:
«Ей сердце б весть разорвала!»

Не смея дохнуть, я старухе внимал,
Когда, уж в тоне серьезном,
О Ротбарте речь заводила она,
Об императоре грозном.

Она уверяла, что он не мертв,
Как думает мир наш ученый:
Он жив и скрывается только в горе,
Дружиною окруженный.

Кифгейзер — гора та зовется; внутри
Пещера; высоко аркады
Возносятся в залах, и там горят
Таинственным светом лампы.

И первая зала — конюшня; туда
Войди, — увидишь стоящих
У ясель тысячи тысяч коней
В серебряных сбруях блестящих.

Оседланы, взнузданы кони, но
Недвижны; не слышно ржання
И стука копыт, точно здесь стоят
Чугунные изванья.

А в зале второй на соломе лежат
Тысячами солдаты;
Воинственно грозны лица — народ
Здоровый и бородатый.

С оружием, в броне с головы д. ног
Вся армия; да, но тоже
Лежат храбрецы недвижно; сковал
Их сон непробудный на ложе.

Вдоль третьей залы громадный склад
Различных видов оружия —
Тут шлемы, секиры, брони, мечи
И старофранкские ружья.

Немного здесь собрано пушек, но их
Трофеей построить достало,
И знамя воздвигнуто в высоте
Над ним, черно-золото-ало.

В четвертой — сам император. Сидит
На каменном стуле, рукою
Могучей о каменный стол опершись,
С опущенной головою.

Сидит он много веков; борода,
Как пламя красна, достигает
Уже до земли; то глазом моргнет,
То брови мрачно сдвигает.

Он спит иль думает думу? Решить
Нельзя; но пусть лишь настанет
Желанный, давно ожидаемый час, —
И он могуче воспрянет.

Он схватит доброе знамя, и крик:
«Встать! на коня!» -- пронесется
По залам высоким: заслышав зов,
Вся конница вмиг проснется.

И вскочит, оружием стуча, на коней,
Топочущих, ржущих ретиво;
Труба гремит, и в мир боевой
Помчались всадники живо.

Все выпались вдоволь, и бьются все
Отлично, едят отлично;

Убийц покарать император решил
И судит их самолично;

Убийц, чье коварство в былые дни
Германию осквернило —
Чистейшую деву в кудрях золотых...
О солнце, каратель-светило!

Пусть, в замках укрывшись, считают себя
В покое наглые трусы, —
От мстительной петли они не уйдут,
От гневной руки Барбаруссы!

Чудесные сказки старушки моей
Звучат так отраднo, мило!
И суеверное сердце поет:
О солнце, каратель-светило!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Холодный, как лед, как игла, колюч,
Льет дождь; по грязной дороге
Лошадки, печально хвостом шевеля,
Усталые тянут ноги.

Почтарь на козлах трубит в свой рожок,
Я эту песенку знаю:
«Три всадника едут рядом из ворот!»
Я в смутные грезы впадаю.

Клонила дремота меня, — я заснул,
И сон затем мне приснился,
Что я с императором Ротбартом вдруг
В его горе очутился.

На каменном стуле, на каменный стол
Склонившись, уж не сидел он,
И важного вида, в каком представлять
Привыкли его, не имел он.

По залам он спокойно гулял,
Болтал со мной откровенно,
И, как антикварий, показывал все,
Что редкостно и что ценно.

В палате с оружием он мне объяснил,
Как должен быть в дело пускаем
Бердыш; и ржавчину с древних мечей
Стирал своим горностаем.

Метелкой из перьев павлиньих затем
От пыли чистил булаты,
Доспехи различного рода — щиты,
Забрала, шлемы и латы.

Смел пыль со знамени он и сказал:
«Вот чем горжусь наиболее,
Что нет до сих пор червоточин в древкѣ
И шелк не попорчен от моли».

Когда же в залу мы с ним перешли,
Где тысячи воинов, к бою
Готовых, лежали и спали, старик
Сказал, довольный собою:

«Здесь тише бы нам говорить и ходить
Чтоб не проснулись солдаты;
Столетье опять истекло, и как раз
Сегодня выдача платы».

И вот он тихо приблизился к ним
И каждому — вижу — солдату
Украдкой, чтоб сон не нарушить его,
В карман кладет по дукату.

Увидев, что я удивлен, он сказал:
«На каждого человека
Положен за службу дукат; я его
Плачу в последний день века».

При этом старик ухмылялся. А там,
Где кони безмолвные рядом

Стояли недвижно, он руки потер
С особо радостным взглядом.

И стал лошадей поштучно считать
И хлопать по крупам руками;
Считал и считал, причем певелил
Тревожно и быстро губами.

«Нет, все еще, вижу, неполон комплект, —
Сердась, старик, замечает, —
Солдат и оружия достаточно мне,
А вот коней не хватает.

Скупать наилучших коней я давно
Своих ремонтеров отправил
По делу свету — и к прежним коням
Немало новых прибавил.

Жду только комплекта — тогда, на врага
Ударив, добуду свободу
Отчизне и ждущему с верой меня
Так долго уже народу».

Так мне говорил император, — а я:
«Ударь, старина почтенный,
Ударь, — коль не хватит коней у тебя,
Возьми ослов для замены».

Но Ротбарт с улыбкою возразил:
«Нет нужды нам торопиться;
Ведь Рим не в один же построен день.
И медленно дело спорится.

Что нынче не вышло, то завтра придет;
Дуб крепнет не спешно, но рьяно;
И в Римской империи говорят:
Chi va ripa, va sapo».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Толчок экипажа меня разбудил;
Но снова веки упали.

И скоро опять я заснул, и опять
Мне Ротбарт снился. Гуляли,

Как прежде, по залам пустынным мы,
Болтая; про то и про это
Расспрашивал он и желал узнать
Все новости нашего света,

Оттуда десятки уж целые лет
Старик не имел никакого
Известья, — почти с Семилетней войны
Хотя б единое слово!

«Что делает Каршин? Моисей Мендельсон? —
Расспрашивал он с интересом. —
Людовик Пятнадцатый как с Дюбарри —
Своей графиней-метрессой?»

«О, как, — я вскричал, — ты отстал, государь!
Моисея давно схоронили
С супругой Ревеккой, и сына их
Абрама косточки сгнили.

От брака Абрама и Лии рожден
Сын Феликс, мальчик проворный.
Ему в христианстве весьма повезло,
Он канцельмейстер придворный.

И старая Каршин уж умерла,
И дочь ее Кленке скончалась;
В живых, говорят, только внучка ее,
Гельмина Чези, осталась.

Пока был Людовик Пятнадцатый жив,
Жилось Дюбарри превосходно;
На старости лет гильотинным ножом
Казнили ее всенародно.

Людовик Пятнадцатый умер в своей
Постели мирной кончиной;
Шестнадцатый с супругою был
Публично казнен гильотиной.

На казнь королева бесстрашно пошла,
Как сану ее подобало;
Когда ж Дюбарри на помост ввели,
Кричала она и рыдала».

Тут император, как вкопанный, стал,
С весьма испуганной миной,
И говорит: «Бога ради, скажи,
Что значит: казнить гильотиной?»

«Казнить гильотиною . . . — и скавал, —
Новейшая это метода,
Которой в гроб отправляют людей
Всех званий, всякого рода.

При этой методе пускается в ход
Новейшая машина:
Ее изобрел господин Гильотэн,
Название ей — гильотина.

Ремнями к доске ты привязан; ее
Опустят; ты вдвинут в продольный
Проход меж бревен высоких; вверху
Висит топор треугольный.

Потянут за шнур, — и топор с высоты
Вниз живо, весело мчится;
При этом случае голова
В мешок под доской катится».

Но тут император меня перебил:
«Молчи! Об этой машине
И знать не хочу! Сохрани меня бог
Дать ход такой гильотине!

Король с королевой! Ремнями! К доске
Привязаны! Слыхано ль это?
Ведь тут нарушают почтенья закон,
Ведь гибель тут этикета!

Да ты-то кто такой, чтоб ко мне
Так смело на ты обращаться?

Постой, я до дерзостных крыльев твоих
Сумею скоро добраться.

Всю желчь твоя речь подымает во мне,
Так страшно она дерзновенна!
Твое уж дыханье преступно: оно
Отчизне, трону измена!»

Когда на меня раздраженный старик
Накинулся с бешеным шумом,
Я тоже вскипел, дав волю своим
Заветным чувствам и думам.

«Гер Ротбарт!—воскликнул я громко,—ты дух
Из сказок; ступай ложиться
И мирно усни, а уж мы без тебя
Свободы можем добиться.

Республики партия нас осмеет,
Начнет колоть остротами,
Увидев, что призрак со скиптром в руках,
С короною, правит нами.

Не люблю мне больше и знамя твое;
Немецкое глупое рвенье
К цветам черно-красно-золоту в меня
Уж буршем внесло отвращенье.

Всего бы лучше тебе навсегда
В Кифгейзере старом остаться;
Да нам вообще император теперь
Не нужен больше, признаться».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Во сне с королем поссорился я—
Во сне, разумеется: въяве
Так грубо с монархами говорить
Считаем себя мы не в праве.

Во сне, в идеальных лишь грезах своих,
Мы, немцы, князьям держаем

Немецкие чувства высказывать те,
Что в сердце таим, скрываем.

Проснувшись, себя я увидел в лесу.
Вид этих деревьев и прозы,
Реально нагой, деревянной, тотчас
Рассеял прежние грезы.

Вершинами качали дубы,
В киваньи берез осужденье
Читал я — и крикнул: «Монарх дорогой,
Прости мое дерзновенье!

Прости, о Ротбарт, горячность мою!
Я знаю, ты много мудрее
Меня — я теряю терпенье легко.
Приди, император, скорее!

Коли гильотина не нравится, ты
Останься при старом: дворянству —
Попрежнему меч, а веревку с петлей —
Мещанам, купцам, крестьянству.

Порой лишь меняй методу: повесь
Двух-трех дворянского званья,
А граждан простых и крестьян обезглавь, —
Мы все господни созданья.

Вновь суд уголовный, суд плахи введи.
Что создал с немалым успехом
Карл Пятый, и снова народ раздели
По гильдиям, классам, цехам.

Священной империи римской опять
Дай жизнь и силу былую;
Верни, со всей обстановкой смешной,
Народу ветошь гнилую.

Да, средневековый порядок, какой
Действительно был в свое время,
Снесу я охотно; сними лишь с нас
Уродства двойного бремя —

Штиблетного рыцарства нашего, той
Противной смеси, где либо
Готический бред, либо новая ложь,
Где люди — ни мясо, ни рыба.

Гони комедьянтов, закрой балаган,
Конец положи затее —
Дела старины пародировать нам.
Приди, о Ротбарт, скорее!»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мы в крепости Миндене. Славные в ней
Орудья и укрепления;
Но с прусскою крепостью дело иметь
Не чувствую я влеченья.

Приехали под вечер мы, и, когда
Подъемный мост проезжали,
Зловеще стонал он под нами, а рвы,
Как темные пасти, зияли.

И ряд бастионов смотрел с высоты
С угрозой такой, сурово;
Большие ворота, железом звеня,
Раскрылись и заперлись снова.

И стало мрачно в душе у меня,
Как некогда было с душою
Улисса, когда завалил Полифем
Пещеры выход скалою.

Но вот к экипажу капрал подошел.
«Как имя?» — спросил. Отвечаю:
«Никто — мое имя; я врач глазной
И бельма гигантам снимаю».

В гостинице стало еще тяжелей,
Противно кушанье было:
В постель я тотчас же улегся, но спать
Не мог, — одеяло давило.

Лежал я в пуховой постели; с боков —
По красной камчатной гардине,
Истертый вверх золотой балдахин,
И грязная кисть посредине.

Проклятая кисть! Не давала всю ночь
Она минуты покою,
С угрозой, как меч Дамоклов, вися
Как раз над моею головою.

Порой головою змеиной она
Казалось; я слышал шипенье:
«Ты в крепости здесь и останешься в ней,
В пожизненном заточеньи».

«О, если б возможно мне было теперь, —
Вздыхал я с тоской унылой: —
Быть дома, в Париже, в Faubourg Poissonière,
Сидеть с женой моею милой!»

Я чувствовал также — на лбу у меня
Как будто что-то черкали;
Мне чудился цензор с холодной рукой, —
И мысли вспять убегали.

Жандармы, укутавшись в саваны сплошь,
Как призраков белых собранье.
Постель окружили, и слышал я
Зловещей цепи бряцанье.

Ах, призраки схватили меня,
Куда-то с собой забрали, —
И вот на крутом я утесе; к нему
Цепями меня приковали.

Опять балдахинная гадкая кисть
Висит надо мной! Теперь я
По виду за коршуна принял ее —
И когти и черные перья.

В ней сходство увидел я с прусским орлом:
Меня схватил он когтями,

Стал печень из груди клевать, — и я
Стонал, обливался слезами.

И долго стонал я, — но крикнул петух,
И бред ночной прекратился,
Я в Миндене в потной постели лежал,
И коршун в кисть превратился.

Я с экстра-почтою поспешил
И только средь вольной природы
Вздыхнул на земле Бюкебургской вновь
С отрадным чувством свободы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ошибся ты, Дантон! — и за то,
Что было мнение ложно,
Потом поплатился! Отчизну унести
С собой на подошвах можно.

Чуть-чуть что не княжество все Бюкебург
К моим сапогам прилепилось;
По грязным дорогам таким ходить
Мне в жизни впервые случилось.

Я в город пошел; на родное гнездо
Хотел взглянуть мимоходом;
Здесь дедушка мой появился на свет,
А бабка — из Гамбурга родом.

В Ганновер приехал я днем: с сапог
Дал счистить грязь; поспешаю
Осматривать город; поездки свои
Я с пользою совершаю.

Какая же, господи, чистота!
На улицах грязи не видно,
Роскошные зданья стоят кругом,
Все так величаво, солидно.

Особенно площадь понравилась мне:
В прекрасных домах вся местность;
Живет тут король, тут его дворец —
Красивая очень внешность

(Дворцовая, то есть). И у дверей
Две будки; с ружьями стражи
И в красных мундирах; они глядят
Свирепо и дико даже!

«Здесь, — объяснил чичероне, — живет
Эрнст Аугустус, старый мужчина
Дворянского звания, тори и лорд.
Для лет своих молодчина.

Он идилически здесь живет;
Надежней когорт железных
Его охраняет трусливый нрав
Сограждан наших любезных.

Мы видимся с ним; от него всегда
Я жалобы слышу о доле
Скучнейшей, ему присужденной судьбой, —
В Ганновере быть на престоле.

Он к жизни великобританской привык,
И здесь ему тесно, и гложет
Несчастливого сплин; за него я боюсь —
С тоски повеситься может.

Я утром, третьего дня, застал
Его у камина сидевшим.
Он сам готовил клистир своим
Собакам заболевшим».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Из Гарбурга в Гамбург проехал я в час.
Был вечер. Дышала природа
Прохладой и негой, и звезды мне
Кивали с небосвода.

Я к матушке поспешил; она
Почти испугалась сначала
От радости. «Ах, сынок дорогой! —
Всплеснув руками, вскричала. —

Дитя дорогое! Тринадцать лет
С тобой мы не виделись, знаешь;
Наверное, голоден ты, скажи,
Чего ты скушать желаешь?

Есть рыба, есть также жареный гусь
И сочные апельсины».
«Прекрасно, и рыбу, и гуся давай.
И сочные апельсины».

Я ел с аппетитом. У матушки вид
Был бодрый такой, счастливый.
Расспрашивать стала о том, о сем,
Иной был вопрос щекотливый.

«Хорош на чужбине уход за тобой?
Супруга твоя, сыночек,
Хозяйство ведет умело? Чинит
Изъяны носков, сорочек?»

«Мамашенька, рыба твоя хороша,
Но надо есть осторожно;
Давай помолчим, — я боюсь костей;
Легко подавиться можно».

Покончил я с доброю рыбой, и гусь
Был подан. Матушка стала
Вопросы различные вновь задавать —
Меж них щекотливых немало.

«Где лучше живется, мой милый? У нас?
Во Франции? Как твое мнение?
Какому из двух народов, скажи,
Ты склонен отдать предпочтенье?»

«Немецкие гуси весьма хороши,
Мамашенька милая; все же

Французы лучше шпигуют гусей,
Вкусней подливки их тоже».

Откланялся тоже и гусь. За ним
Ко мне с заявленьем почтенья
Пришли апельсины; их сладость была
Достойная удивленья.

А матушка продолжала свои
Расспросы о сотнях предметов
С большим удовольствием; было меж них
Немало скользких сюжетов.

«Какого ты образа мыслей теперь?
Политикой продолжаешь,
Сынок, увлекаться? Какую своей
Ты партию нынче считаешь?»

«Мамашенька милая, очень вкусны
Твой апельсины; глотаю
С большим удовольствием сладкий их сок,
А корки всегда бросаю».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Полгорода выжег пожар, но его
Тотчас отстранвать стали;
Как полуобстриженный пудель стоит
Мой Гамбург, в тихой печали.

Из улиц старинных уж многих найти
С прискорбием не могу я.
Где дом, где впервые узнал я любовь
И радости поцелуя?

Где та типография, где в печать
Мои «Reisebilder» сдавались?
Где погреб, в котором я устриц глотал,
Едва они появлялись?

А Дрекваль? Где Дрекваль? Напрасно его
Найти я старался. Не стало
Того павильона, где я съедал
Пирожных уйму, бывало.

Не стало и ратуши, где сенат
И бюргерство дарили.
Огня добыча! Его языки
Святыню не пощадили!

От ужаса здесь до сих пор везде
Вздыхают; и в слезной печали
Историю страшную мне они
Про бывший пожар рассказали.

«Вдруг разом со всех загорелось концов,
Все скрылось под дымом и блеском
Пожарного пламени. Башни церквей
Пылали, падали с треском.

И старая биржа сгорела, куда
Уж столько веков непреложно
Шли наши отцы и вели дела
Так честно, как только можно.

Но банка, серебряной здешней души.
Не тронул огонь; сохранились
У нас, слава богу, те книги, куда
Расчеты наши вносились.

Для нас в самых дальних краях пошла
Подписка, и, слава богу,
Миллионов восемь — чем не гешефт! —
Собрали мы понемногу.

Раздачей пособий совет управляя —
Вполне христиане, лица
Из самых почтенных; и шуйца у них
Не знала, что брала десница.

В открытые руки к нам деньги текли
Из всех государств; нам слали

Съестные припасы, и мы и их
Признательно принимали.

Наслали нам вдоволь постелей, одежд
И мясо, хлеб, и бульоны;
А прусский король собирался прислать
К нам даже свои батальоны.

Ущерб материальный покрылся вполне,
Мы это ценим сердечно;
Но наш перепуг, перепуг — никогда
Не будет оплачен, конечно!» —

«Вам, милые люди, — я их ободрял, —
Стонать и плакать — не дело,
Ведь Троя был город получше, чем ваш,
А тоже она сгорела.

Постройте снова свои дома,
На улицах грязь осушите;
Пожарный обоз свой и с ним заодно
Законы свои обновите.

Не сыпьте в свой черепаховый суп
Кайенского перцу чрезмерно;
И карпов не нужно так жирно варить, —
От них заболешь наверно.

Индейки вред принесут небольшой.
Но бойтесь беды несомненной
От птицы коварнейшей, снесшей яйцо
В парик бургомистра почтенный.

Назвать эту птицу фатальную вам,
Я полагаю, не надо.
Чуть вспомню о ней, повернется в моем
Желудке пища с досады».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Хоть город и изменился, но в нем
Народ изменился едва ли

Не больше. Подобье ходячих руин,
Все бродят в немой печали.

Худые еще худощавей теперь,
А толстые растолстели;
Ребята — уже старики; старики
В ребячество впасть успели.

Из тех, что телятами были при мне,
Я многих застал быками;
Немало тоже смиренных гусят
Надменными стали гусями.

Я встретил старую Гудель; она
Накрашена, как сирена;
Фальшивые черные кудри у ней,
И зубы — белая цена.

Всех лучше успел сохраниться мой друг
Торговец бумагой; грива
Его пожелтела, и Иоани
Креснитель с ним схож надиво.

Я*** издали видел; шмыгнул
Он мимо, будто взволнован.
Я слышал, что ум погоревший его
У Бибера был застрахован.

Увидел и цензора я своего:
На рынке гусином со мною
Он встретился — одряхлевший такой,
С печалью согбенной спиною.

Мы руку друг другу пожали; в глазах
У старца блеснула слезинка;
Как счастлив он был, увидев меня!
Всех тронула б эта картинка.

Не всех, однако, найти привелось, —
Похитила многих могила;
Ах, даже с моим Гумпелино судьба
Мне встретиться не судила.

Недавно великий свой дух испустил
Навеки сей муж благородный;
У трона Иеговы, как серафим,
Шарит он ныне, свободный.

И нет Адониса кривого, его
Напрасно искал я всюду;
На улицах он продавал фарфор —
Горшки, ночную посуду.

В живых ли маленький Мейер еще, —
Совсем неизвестно мне это;
Досадно очень, что справиться я
О нем забыл у Корнета.

Скончался и преданный пудель Саррас.
Готов о заклад я биться,
Что Кампе приятней бы вместо него
Десятка поэтов лишиться.

С древнейших времен население здесь —
Евреи и христиане.
У первых с последними общее есть —
Придерживать грош в кармане.

Народ христиане не дурной:
Они обедают славно,
И платят всегда по своим векселям
В канун последний исправно.

Евреи делятся здесь опять
На партии: новая — богу
Молиться стекается в храм; старики
Идут, как встарь, в синагогу.

У новой — протесты: считают они
Свинину законным блюдом,
И — демократы; а те больны
Аристократическим зудом.

Люблю я и тех и других; но клянусь
Тобою, о праведный боже,

Что некая рыбка — названьем шпрот
Копченый — мне их дороже!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Сравнить, как республику, Гамбург нельзя
С Венециею бесспорно,
Но в Гамбурге устрицы лучше; их сорт
У Лоренца — самый отборный.

Прекрасным вечером туда
Зашел я с Кампе в компании;
Хотелось устриц поесть и свершить
Рейнвейна возлиянье.

Нашел я милое общество там
И радостно принял в объятья
Старинных друзей, например Шофпье;
Тут были и новые братья.

Тут встретил я Вилле; лицо у него,
Ей богу, альбом настоящий,
Где академические враги
Вписались рукой разящей.

И Фуке был тут — язычник слепой.
Противник личный Иеговы;
Лишь в Гегеля верует он да еще,
Чуть-чуть, в Венеру Кановы.

Хозяйничал Кампе; он раздавал,
Весьма довольный, поклоны,
Улыбки, и блаженством сиял,
Как взор пресветлой Мадонны.

С большим аппетитом я ел и пил,
В душе помышляя при этом:
«Действительно, Кампе великий муж,
Он стал издателем цветом.

Другой бы издатель мне дал пропасть
От голода бессердечно,
А этот, добрейший, меня поит;
Его не покину вечно!

Хвалу я тебе воздаю, творец,
Сей сок виноградный создавший
И Юлия Кампе с небесных высот
В издатели мне пославший.

Хвалу я тебе воздаю, творец,
Жизнь давший своим всемогущим
«Да будет!» рейнвейну на твердой земле
И устрицам, в море сущим.

При этом еще ты лимон создал,
Чтоб устрица им кропилась;
Дай, отче, теперь, чтоб сегодня во мне
Вся пища переварилась!»

Рейнвейн размягчает меня всегда,
Смиряет мой дух мятежный
И в нем зажигает огонь любви —
Любви к человечеству нежной.

Из комнат на улицу тянет меня —
Всю ночь прошляться: в объятья
Там ловишь душу чужую; следишь,
Мелькнет ли белое платье.

В такие часы расплываюсь весь,
И сердце томится кротко,
Все кошки кажутся серыми, и
Еленами — все красотки.

Гуляя, я в улицу Дребан зашел
И вижу в лунном мерцаньи
Жену величавую пред собой, —
С высокой грудью созданье.

Лицо было кругло, здоровьем цвело,
Глаза с бирюзой схожи,

Ланиты — две розы, рот — вишня, нос
Слегка с краснотою тоже.

Главу покрывал полотняный колпак,
Весь белый, хитро скроенный —
Зубчатые стены и башенки, схож
По виду с стеной кронуой.

Края ее туники белой до икр —
И что за икры! — спускались,
А самые ноги мне царой колонн
Дорических показались.

Лицо незнакомки носило в себе
Обычных свойств выраженье;
Но сверхчеловеческий зад ее
Вещал о высшем рожденьи.

Ко мне подошла и сказала она:
«Привет на Эльбе! Скитался
Тринадцать ты лет, и вижу, таким,
Как прежде, и днесь остался.

Быть может, ты ищешь прекрасных дуп,
С какими в прежние годы
Так часто всю ночь проводил в мечтах
Средь этой дивной природы?

Их всех поглотила чудовище-жизнь,
Стоглавая гидра. Былого
И милых твоих современниц, увь,
Тебе не найти уж снова.

Тебе не найти дорогих цветов,
Которым юной душою
Ты нес поклоненье; увяли они,
Развеяны бурей злою.

Увяли, иссохли, пятой судьбы
Растоптаны жестоко . . .
Мой друг, уж таков неизменный удел
Всего, что чисто, высоко».

«Кто ты? — я вскричал, — на меня ты глядишь,
Как старой поры виденье!
Великая! Где ты живешь? Получу ль
Тебя проводить дозволение?»

С улыбкой она: «Ошибаешься ты,
Меня т а к о ю считаю;
Я лучшего тона особа, вполне
Прилична, морально чиста я.

Нет, я не мамзель какая-нибудь,
Лоретка легкого веса.
Узнай: богиня Гаммония я
И Гамбурга патронесса.

Смутился ты, испуган, певец
С такой бесстрашной душою!
Что, все-таки хочешь меня проводить?
Ну, следуй сейчас за мною!»

И с хохотом громким я ей отвечал:
«Идем! За тобой я смело
Последую всюду, хотя бы в ад
Меня ты свести хотела!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как узкою лестничкой я наверх
Попал, сказать не умею;
Быть может незримые духи меня
Внесли, незримо, за нею.

Здесь, в спальне Гаммонии, быстро часы
Прошли для меня; призналась
Богиня, что в ней неизменно ко мне
Симпатяга сохранялась.

«Ты знаешь, — сказала она, — для меня,
Бывало, не было в мире
Певца драгоценней того, кто воспел
Мессию на скромной лире.

Вон там, на комодѣ, ты видишь, стоит
Клопштока бюст по сю пору;
Но я уж давно обратила его
В болван головному убору.

Любимец мой — ты; изголовье мое
Лишь твой портрет украшает,
И рамку лица дорогого всегда
Зеленый лавр обвивает.

Порою, однако, — признаться должна, —
Меня оскорблял ты больно,
Так зло над моими сынами глумясь;
Оставь их ныне, довольно!

Надеюсь, что время тебя от таких
Бесчинств теперь излечило
И больше терпимости даже к глупцам
В душе твоей поселило.

Скажи мне, однако, как вздумал ты
Во время столь позднее года
Поехать на север? Ведь скоро здесь
Уж зимняя станет погода».

«Богиня! — ответил я ей: — на дне
Души человека таятся,
Сном скованы, мысли, и часто они
Не во-время пробудятся.

Наружно мне недурно жилось.
Внутри же все с большей силой
Тревога росла, и я занемог
Тоской по родине милой.

И воздух французский, столь легкий всегда,
Давить меня стал; все яснее
Я чувствовал, — чтоб не задохнуться, мне
В Германию надо скорее.

Я запаха жаждал болот торфяных,
Родного табачного дыма;

Дрожала нога, нетерпением попать
Немецкую землю томяма.

Вздыхал по ночам я, душою летел
Туда, к «Плотинным Воротам»,
Где милая старушка живет,
И в близком соседстве — Лотта.

«Вздыхал и о славном моем старике,
Который меня беспрестанно
Журил, но зато и добрым моим
Защитником был постоянно.

Из уст его — «глухого мальчишка» мне
Услышать хотелось снова;
Бывало, звучали в душе у меня,
Как музыка, эти два слова.

Манили меня и немецкий дымок,
Струюю синей летящий,
И нижнесаксонских соловушек трель
В таинственной буковой чаще.

Стремился я душою в места
Страданий прошлых, готовый
Вновь чувство изведать, с каким тогда
Нес крест и венец терновый.

Вновь плакать хотел я, где плакал встарь
Слезами горчайшими в жизни.
Мне кажется, глупая эта тоска
И есть ведь любовь к отчизне.

О ней я не очень люблю говорить,
По-моему, чувство это —
Болезнь, и не больше; я раны свои
Таю стыдливо от света.

Гадка мне та сволочь, что, с целью будить
В сердцах умиленья порывы,
Свой патриотизм напоказ несет
И вместе — его нарывы.

Бесстыдные нищие, грязная дрянь!
У всякого просит подать ей
На грош популярности, ради Христа,
Для Менцеля с швабской братьей.

Богиня, ты видишь, сегодня я
Настроен как-то слезливо;
Я болен немного, но полечусь,
Здоровье вернется живо.

Да, я нездоров, и ты помочь
Могла бы сердцу больному
Хорошею чашкою чаю, в нее
Подбавив немного рому».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Богиня мне подала чаю, туда
Прибавив рому; сама же
Пить ром принялась, не разбавив его
И капелькой чаю даже.

К плечу моему прислонилась она
Своей головой (чем короне
У колпака причинила изъян),
И в кротком сказала тоне:

«Со страхом я думала часто о том,
Что ты один и далеко,
Средь этих фривольных французов живешь,
В Париже, в гнезде порока.

По улицам бродишь, и нет близ тебя
Издателя-немца при этом,
Который, как ментор, тебе бы служил
Охраной, добрым советом.

А там искушениям нет числа,
На каждом шагу встречаешь
Сильфид нездоровых, и очень легко
Покой душевный теряешь.

Не ездят обратно, останься у нас!
Царят здесь добрые нравы,
Цветут и в нашей тоже среде
Невинные игры, забавы.

Останься в Германии; все ты найдешь
Здесь лучше, чем в прежнее время;
Прогресс ты, конечно, заметил сам:
Вперед ушло наше племя.

Цензура тоже совсем не строга,
Стал Гофман мягче под старость,
Твои «Reisebilder» не будет впредь
Черкать его юная ярость.

И сам ты стал старше и мягче теперь,
Со многим начнешь мириться,
И прошлое даже должно тебе
В ином уж свете явиться.

Есть крайность в том мненьи, что шли дела
Так скверно в нашей отчизне;
От рабства, как некогда в Риме, спаситесь
Мог каждый, лишьиз себя жизни.

Свободою мысли народ обладал,
И в массах ее поощряли;
Стесненье терпели немногие — те,
Кто книги печатать желалл.

У нас никогда не царил произвол,
Закон соблюдался строго,
Чиновной кокарды лишить лишь суд
Мог даже врага-демагога.

Да, слишком скверно у нас не жилось,
Хоть годы тяжкие были:
Голодную смертью еще никого
В немецкой тюрьме не убили.

В прошедшем Германии нашей есть
Немало прекрасных явлений

Незлобья и веры; теперь настал
Черед отрицаний, сомнений.

Дух внешней, житейской свободы убоет
Тот идеал, что носили
Мы в сердце своем искони, — идеал
Чистейший, как грезы лилий.

Прекрасной поэзии гаснет огонь,
Цылавший ярко когда-то;
В числе князей остальных умрет
И «Черный князь» Фрейлиграта.

Взвук будет кушать и пить, но уже
Не в благодном созерцаньи,
Как предок; готовится шумный спектакль;
Идиллии рухнет зданье.

О, будь ты способен к молчанью, печаль
Я с книги судеб сорвала бы,
Грядущее в моих зеркалах
Волшебных узреть дала бы.

Да, то, что всегда я от смертных людей
Скрывала, тебе б я явила:
В грядущем близком отчизну твою.
Но — ах! — ты молчать не в силах!»

«Богиня! — в восторге я закричал, —
Мне даст наслажденье картина
Грядущей Германии! О, покажи!
Молчать я могу, я мужчина!

Какой бы ты клятвой молчанья меня
Связать ни хотела, любую
Я с полной охотой принесу.
Итак, назначай — какую?»

Она отвечала: «Клянись мне так.
Как некогда клясться заставил
Отец Авраам Эльзара, когда
В дорогу его отправил.

Подняв одеянье мое, положив
Ко мне под стегно свою руку,
Клянись ни в речах, ни в писаньях впредь
Не дать прорваться ни звуку!»

Торжественный миг! Точно древность меня
Дыханьем объяла ныне,
Когда по обычаю праотцов я
Дал клятву свою богине.

Подняв одежду ее, положил
Я к ней под стегно свою руку
И клялся в речах и писаньях впредь
Не дать прорваться ни звуку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Румянцем пылало богини лицо
(Быть может, от рома к короне
Прихлынула кровь), и сказала она
В до крайности грустном тоне:

«Стара становлюсь я: в тот самый день,
Как Гамбург, я свет увидала;
Царицею рыбьей была моя мать,
И в устье здесь проживала.

Отец мой был славный, великий монарх;
Carolus Magnus он звался.
Сам Фридрих Великий, пруссаков король,
С ним мощью, умом не сравнялся.

Тот стул, на котором венчанье приял
Он в Ахене, там и остался;
А стул, на котором он ночью сидел,
Жене в наследство достался.

А матушка мне завещала его.
Он с виду невзрачен, но верьте —
Пусть Ротшильд все деньги свои мне даст.
Я с ним не расстанусь до смерти.

Вот, видишь старое кресло в углу,
Ободрана кожа со спинки,
А в мягкой подушке сиденья его
Моль выела волосинки.

Но ты подойди, подыми на нем
Подушку — и пред тобою
Отверстие круглое будет; котел
Увидишь ты под дырою.

Волшебные силы в волшебном котле
Кипят; и, если ты вложишь
В отверстие голову, явственно в нем
Узреть грядущее можешь.

Увидишь Германии будущность; там
Вся бродит она, как фантазмы;
Но ты не пугайся, когда из котла
Начнут вздыматься миазмы!»

Улыбкою странной окончила речь
Богиня: я не смутился
И в страшную дыру головой
Пытливою опустился.

Что в ней я увидел, сказать не могу,
Молчать я клялся. Мне тоже
Позволено лишь чуть-чуть намекнуть,
Чего нанюхался... Боже!

Теперь еще гадко, как вспомнится мне
Гнуснейший пролог — испаренье.
Казалось, это — кожи сырой
И старой капусты смешенье.

Когда же вслед за прологом бить
Пары настоящие стали,
Подумал я, боже! что здесь тридцать шесть
Навозных куч очищали.

Я знаю прекрасно — когда-то Сеп-Жюст
Сказал в Комитете Спасенья,

Что в мускусе с розовым маслом нет
От недуга исцеленья.

Но эта грядущей Германии вонь
Превысила все, что дотоле
Мой нос себе представлял. Наконец,
Не в силах сносить уж боле,

Лишился я чувств. А когда глаза
Открыл, то рядом со мною
Сидела богиня, и я припадал
К широкой груди головою.

Сверкал ее взор, пылали уста,
Дрожали ноздри; горела
Вакхически вся и, поэта обняв,
В экстазе диком запела:

«Есть в Туле король; из сокровищ своих
Всех выше, ценнее считает
Он кубок один; хлебнет из него, —
Тотчас сознание теряет.

Идеями, трудно понятными нам,
Его наполняется разум;
В такие минуты упрятать тебя
Он может своим указом.

Не ездь на север; не дайся тому,
Кто в Туле сидит на престоле,
Его полицейским, жандармам его
И исторической школе.

Останься со мною, тебя я люблю,
Мы пить здесь в Гамбурге будем
И устриц живой современности есть,
О темном грядущем забудем.

Закрой его крышкой, чтоб наших утех
Отныне вонь не мрачила;
Тебя я люблю, как поэта у нас
Еще ни одна не любила.

Тебя я целую и чувствую, как
Вселяет в меня вдохновенье
Твой гений; чудесное душу мою
Овеяло опыненье.

Я словно на улице, песня на ней
Ночных сторожей раздается.
О милый мой спутник в блаженстве моем,
То песнь Гименей поется!

Вот едет служителей конных отряд;
Их факелы ярко пылают.
И факельный танец танцуют они,
Кружатся, скачут, играют.

Высокопочтенный и мудрый семаг,
Старейшины с ним для встречи;
Меж них бургомистр; откашлялся он,
Готовясь к приветственной речи.

Идут и посольства при дворе
В блестящем облаченьи,
И сдержанно от соседних держав
Приносят нам поздравленье.

Духовная депутация; в ней
Пасторы, раввины... боже! —
Я вижу и Гофмана в этой толпе,
С ним ножницы цензора тоже!

Они зазвенели в руках дикаря,
Он с ними к тебе устремился
И в самое мясо вонзил их вдруг, —
Ты лучшего места лишился!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Что этой диковинной ночью потом
Еще свершилось, об этом
Впоследствии я расскажу, когда
Теплей у нас будет, летом.

Притворщиков поколение пошло
На убыль у нас, слава богу;
Болезнь лицемерия его
Сведет во гроб понемногу.

И новый род родился; в нем
Грехов и лжи не найду я;
Свободная воля, свободная мысль!
Ему-то все и скажу я.

Цветет уж юность; оценит она
И честь и нежность поэта
И будет приветливо сердцем его,
Как солнцем жарким, согрета.

Как солнце, вселюбяще сердце мое,
Поспорит с огнем чистотою;
Настроили Грации лиру мою
Своей прекрасной рукою;

Та самая это лира, друзья,
На коей отец блаженный
Пел в годы минувшие — Аристофан,
Любимец Камен неизменный.

Та самая лира, на коей воспел
Он некогда Пайстетероса,
Который, вступив с Базилеей в брак,
В мир облачный с ней унесся.

В последней главе я слегка подражал
Концу его «Птиц» — сочиненья,
Которое лучше всех прочих пьес
Отца моего, без сомненья.

Весьма хороши и «Лягушки». Их
Теперь решили поставить
На сцене в Берлине, чтоб короля
Потешить и позабавить.

Король их любит. В нем развит вкус
К античному. А, бывало

Отца его пенье новейших квакуш
Сильней подчас забавляло.

Король их любит. Однако ж, будь
В живых их автор поныне,
Ему б не советовал я — самому
Теперь явиться в Берлине.

Наверное очень бы плохо пришлось
Живому Аристофану;
Бедниге устроили бы у нас
Из хоров жаңдармских охрану.

Чернь, вместо вилянья хвостами, могла б
Ругать его, с дозволенья.
Полиции было бы велено взять
Певца под свое наблюденье.

Король! я желаю тебе добра,
Послушай благого совета:
Чти, сколько угодно, умерших певцов —
Живого не тронь поэта!

Живого поэта страшись оскорблять!
В руках его пламя и стрелы
Ужасней Зевеса громов, что создал
Его же вымысел смелый.

Ты волен, коль хочешь, весь мир оскорблять —
И древних носителей света
В полях олимпийских, и Иегову,
Но только не трогай поэта!

Я знаю, что боги казнят за грехи
Нешадно племя людское,
Что пламя в аду горячо весьма, —
Там нас превращают в жаркое.

Но есть и святые, — из ада они
Молитвами нас выводят;
Дары по церквам, панихиды порой,
Ходатаев в небе находят.

В день судный придет, наконец, Христос,
Он ада врата одолсет,
Хоть будет строг его суд, — ускользнуть
Молодчиков много успеет.

Но есть другие геены, из них
Уже невозможно спасенье;
Бесплодны молитвы, бессильно помочь
Спасителя всепрощенье.

О Дантовом «Аде», терцинах его
Ужасных слышал, быть может?
Тому, кто поэтом туда заточен,
Тому и бог не поможет.

От этих поющих огней не даст
Спаситель сам избавленья...
Смотри, чтоб нам не обречь тебя
На этого ада мученья!





Песни любви



Цветы надышаться жаждут
Слепительным солнцем влать;
Ручьи и потоки жаждут
В океан слепительный впасть.

А песни подняться жаждут
К слепительной милой моей, —
Снесите ей слезы и вздохи,
Вы, песни печальных дней!

Когда у милой я сижу,
Тогда мой дух парит;
Тогда и богачом гляжу, —
Мне мир принадлежит.

Когда же нужно покидать
Любимый уголок, —
Богатство все уходит вспять,
И нищ я, и убог.

Не верую я в небо
Ни в новый, ни в ветхий завет,
Я только в глаза твои верю,
В них мой небесный свет.

Не верю я в господа бога,
Ни в ветхий, ни в новый завет,
Я в сердце твое лишь верю,
Иного бога нет.

Не верю я в духа злого,
В геену и муки ее,
Я только в глаза твои верю,
В злое сердце твое.

Спеша, любимая, крепко
В объятья меня заключить,
Руки и ноги цепко
Вокруг меня обвить.



В сильных объятьях тобою,
Обвит я уже, оплетен —
Прекраснейшей змеею
Счастливейший Лаокоон.

Никак забыть не могу я.
Мой нежный друг, дорогой,
Что я владел тобою —
И телом твоим и душой.

Я телом твоим и поныне
Желал бы владеть вполне,
А душу зарой хоть в землю, --
Довольно души во мне.

Ее я хочу с тобою,
Мой друг, пополам разделить,
И, крепко обнявшись, душу
И тело в едино слить.

Ты губы, целуя, ранила мне,
Так ты их целуй опять,

И если к ночи не кончишь вполне, —
Н, к спеху . . . буду ждть.

Тебе дана еще целая ночь,
Любимая, можешь ласкать.
Так много можно за целую ночь
Блаженствовать и целовать.

И мнится, несусь я вновь на коне,
Охвачен силой былою.
И снова сердце пылает в огне, —
Несусь я к милой, стрелюю.

И мнится, несусь я вновь на коне,
Охвачен силой былою.
Лечу я в битву, и гнев во мне, —
Противник ждет меня к бою.

Несутся, летя, как ветер свистя.
Луга, берега, ракеты.
Противник мой и ты, дитя, —
Вы будете оба разбиты.

Цветы прелестные, с вами
Я мир заключил опять;
Мы будем, как прежде, днями
Смеяться, шутить, болтать.

Ты, белый ландыш-малютка,
Ты, роза — пурпурный лик,
Лазурная ты незабудка
И семья пестрых гвоздик, —

Все, все останьтесь со мною,
Вам всем сердечный привет,
Но только с дурной резедою
Мириться не буду, — нет!

Я много творю песнопений,
Пою их милой давно,

Они, звеня опереньем,
Влетают к тебе в окно.

А мальчишки — дар супруга,
Храпящего рядом с тобой, --
Они прибегают с луга,
Из рощи к тебе домой.

И люди охотно внемлют
Совучьям песен моих;
Но уши они затыкают
От воя мальчишек твоих.

Кто песнь эту пел беззаботно,
Тот ночь одиноко провел;
Он вместо бы песен охотно
Мальчишек на свет произвел.

Любви моей лилея,
Стоишь над ручьем ты в мечтах,
Глядишь, от тоски бледнея,
И шепчешь: «увы» и «ах»!

«Брось нежность, клятвы и слезы,
Оставь коварство свое!
Теперь у кузины, у розы,
Неверное сердце твое».

Позвольте, барышня, к вам на грудь,
Мне, музы больному сыну,
Склонить главу и тихо уснуть
На вашей груди лебединой!

«Как эго, сударь, вы посмели
Сказать так в обществе, в самом деле?»

Был я счастлив, словно бог,
подавляя грешный пыл;

Но, когда того не мог,
Я доволен тоже был.

Ты прекрасная хозяйка.
В доме стройно все идет,
Все в порядке — кухня, погреб,
И возделан огород.

А в саду твоём расчищен
Всюду каждый уголок,
И идет солома даже
При твоём хозяйстве впрок.

Не возделано лишь сердце
У тебя, чтоб полюбить,
И ни с кем пустынной спальни
Ты не хочешь разделить.

Нет, тебе не подходила, —
Чувства все твои мелки, —
Дикой страсти злая сила,
Камни рвущая в куски.

Ты, любовь ты мнила мерной,
Как дорог шоссежных гладь.
Быть тебе женою верной,
С мужем под руку гулять.

В поцелуях скрыта ложь,
А в мечте — какая сладость!
Обмануть приятно; все ж
Быть обманутым — вот радость!

Твой запрет, я знаю, мним:
Милая, ты лицемеришь!
Клятвам верю я твоим,
В том клянусь, чему ты веришь.

«Нет здесь милого поэта,
В честь которого пируем;
Но его, за прелесть песен,
Мы отсюда поцелуем» —

Так премило рассудили
Предостойнейшие дамы,
А в дали от них стомильной
Чахнул я — поэт тот самый!

Оттого ль сноснее север,
Что на юге ведро чаще?
От заочных поделуев
Разве горечь в сердце слаще?

Сердца людские рвутся,
А звездам смешно бесстрастным;
Лепечут и смеются
Они на небе ясном:

Да, всей душой друг друга
Несчастливые люди любят,
Томятся от недуга
И жизнь любовью губят.

Мы вечно знать не будем
Томительной истомы,
Несущей гибель людям, —
Со смертью мы незнакомы.

В разных формах возникаю
Близ тебя я ежечасно,
Но всегда притом страдаю, —
Ты казнишь меня ужасно.

Если ты меж рядок летом
Мотылька сомнешь, гуляя, —
Слышишь ли, как я при этом
Тихо жалуясь, вздыхая?

Если рвешь ты розан красный
И смеешься, обрывая
Ленестки цветка бесстрастно, —
Слышишь ли, как я вздыхаю?

И когда смелест роза,
В руку больно шип вонзая,
И ты чувствуешь занозу, —
Слышишь ли, как я вздыхаю?

Слышишь, как печальным звуком
В голос твой я проникаю? —
Ночью я от тяжелой муки
Из души твоей вздыхаю.

К ДЕВИШНИКУ

1

Все понимая, большими глазами
Взглянула ты, и я прочел,
Что нету общего меж нами:
Ты так добра, а я так зол.

Да, так я зол, что вот бездушно
Насмешку в дар несу со зла
Той, что мила так, так радушна
И даже искрення была.

2

Знаешь повара и кухню,
Дырки, норки уследишь,
И, куда б с тобой ни шли мы,
Ты всегда опередишь.

Вот цевесту отбиваешь.
Милый друг, ведь это смех,
Но смешней, что я же должен
Поздравлять тебя при всех.

3

Счастье нам любовь дарует
И богатство заодно! —
В песнях громко так толкует
Вся империя давно.

Песни смысл ты понимаешь.
В сердце у тебя поет,
И, ликуя, ожидаешь,
Что великий день придет.

Краснощекую невесту
Взять за ручку он сулит,
И папаша, очень к месту,
Кошелем благословит.

И кошель тот не пустует:
Деньги, платье, — все дано. —
Счастье нам любовь дарует
И богатство заодно.

4

Нагую почву уж покрывает
Покров цветочный, зеленый лес.
Победный свод он воздвигает,
И музыка въезда звучит с небес.

Верхом въезжает апрель прелестный;
Глаза блистают, играет кровь.
На вашей свадьбе он гость уместный:
Побыть приятно, где есть любовь.

Печально и вместе забавно,
Когда наблюдаем мы,
Что любят сердца друг друга,
Но верить не могут умы.

«Ты слышишь, крошка, какую
Любовью трепещет грудь?»

«Бог весть, она отвечает,
К кому она хочет прильнуть!»

Что за роскошь, соразмерность
Членов гибких, форм упругих!
И головку-чаровницу
Шейка стройная колеблет!

В умилительно-задорном,
Дивном личике смешались
Нега женщины во взоре
С детской кротостью в улыбке.

И когда б, местами только,
Не налег на эти плечи
Прах земной густою тенью, —
Я б сравнил тебя с Венерой,

С Афродитой, богиней,
Из волны морской восставшей,
Излучающей сияние
Да п вымытой отлично...

Человек от этого счастлив,
Человек от этого слег:
Имеешь трех милых любовниц
И только пару ног.

К одной бегу я утром,
К другой в вечерний час,
А третья после обеда
Сама приходит как раз.

Прощайте, трое любовниц,
Две ноги у меня;
Я лучше поеду в деревню
Созерцать красоту бытия.

От глупых девушек трудно мне,
Я думал, толку добиться,
А к умным пришел, — и вот вдвойне
Мне с ними трудней стовориться.

Уж слишком умницы те умны,
Вопросы их невыносимы,
Когда же сами ответить должны,
Смеются, проходят мимо.

О, как быстро возникают
Из мгновенных ощущений
Нити связей неразрывных,
Безграничных увлечений!

Этой дамой ежедневно
Я все больше увлекаюсь,
И что я в нее влюбился,
Уж почти не сомневаюсь.

Что душа ее прекрасна, —
Это лишь предположение:
Но насчет красот телесных
Я в глубоком убежденьи.

Эти бедра! эти губы
С их чарующей улыбкой!
Этот лоб и нос! И прелесть
Этой талии, столь гибкой!

Не пугайся, дорогая!
Не похитят нас теперь:
Твой покой оберегая,
На замок я запер дверь.

Как бы вихрь ни злился яро,
Стен ему не сокрушить,
А чтоб не было пожара,
Лучше лампу затушить.

Ах, позволь, я крепче шею
Обовью всей силой рук,
Шали нет, — так я согрею
И без шали, милый друг!

БЕРТА

Она была дивно добра,
Цветка не умела обидеть,
Так нежно писала ко мне,
Привык в ней я ангела видеть!

Сбирались мы свадьбу сыграть, —
Узнали родные. Короток
Был ум у овечки моей, —
Не смела слушаться теток.

И клятв не сдержала она,
Но ей мое сердце простило, —
Она бы в супружестве мне
И жизнь, и любовь отравила.

При мысли о лживых сердцах
Я Бертю свою вспоминаю,
И только теперь одного —
Счастливых родов ей желаю.

В СОБОРЕ

Дочь обер-кестера ввела
Меня через дверь портала;
Ростом мала и лицом светла,
Косынка с шейки упала.

Смотрел я, отдав за зрелище грош,
Лампады, кресты, гробницы
В соборе; и вдруг меня бросило в дрожь
При взгляде в лицо девицы.

Я снова смотрел туда, сюда —
На все, чем наполнены храмы,
На окна, где в юбках — аллилуйя!
Танцуя, носятся дамы.

Дочь обер-кистера вместе как раз
Со мною стояла рядом;
У ней прозрачная парочка глаз, —
Я в них проник своим взглядом.

Дочь обер-кистера через портал
Обратно меня провожала;
Красна была шейка, и ротик мал,
Косынка с груди упала.

Соловьи поют свободно,
Как подскажет им желанье;
А тебе, мой друг, угодно
Канареек щебетанье.

Этих кротких желтых птичек
Кормишь в клетке ты; смотрю я,
Как они тебя в мизинчик
Щиплют, сахар в ручке чую.

Что за милая картина!
Небесам на услажденье!
Даже сам я, хоть мужчина,
Слезы лью, в святом волненьи.

Идет весна с дарами к венцу,
Ликуя, шествует с пеньем;
Приходит к новобрачным она
С приветом и поздравленьем.

Жасмин и розы, фиалки у ней
И зелень душистая вместе;
Приносит в дар жениху сельдерей
И спаржу милой невесте.

Бойтесь чувств, чрезмерно жгучих,
Бойтесь сильных сердцебиений,
Потов, слишком уж пахучих,
И плохих пищеварений.

Пусть, хотя давно в ярме вы,
Небо вам восторги судит
В брачной жизни; ваше чрево
Плодовитым да пребудет.

Ты презрительно смеешься,
Недотрогой быть желаешь;
Даже вовсе не любя, ты
Все же ревность ощущаешь!

Розан увидав душистый,
Не прильнешь к цветку невольно,
Нет, лицом в шипы уткнешься
И наколешь нос свой больно.

На груди букет трехцветный;
Это знак, что ты вольна,
Для свободы беззаветной,
Не для рабства рождена.

Ты, четвертая Мария,
В сердце властвуя моем,
Знай, что сам не раб любви я, —
Свергнул многих со стыдом.

КИТТИ

I

В платонических влечениях
Наши души всеконечно
Скреплены духовной связью
Неразрывно и навечно;

Даже в случаях разлуки
Им не надобны усилья,
Так как души все имеют
Быстромчащиеся крылья.

Сверх того они бессмертны;
Ну, а вечность ведь — громада,
И кому искать есть время,
Тот находит то, что надо.

Но телам, телам несчастным,
Крайне пагубна разлука;
Крыльев нет и ног лишь пара,
И при этом смерти мука.

Обсуди все это, Китти,
И зимуй пока в Париже:
А весной поедem в Лондон.
Хорошенько обсуди же.

2

Китти, Китти умирает!
Стынет кровь, глаза мутятся,
И — о рок! — еще до смерти
С нею должен я расстаться.

Китти знает, что не встанет,
Что могила ей готова,
Но заботится о ближних —
О себе же ни полслова.

Китти мне велит упорно
Те чулки носить зимою,
Что из теплой, мягкой шерсти
Ею связаны самою.

3

Желтеет древесная зелень,
Дрожа опадают листья.
Ах, все увядает, все меркнет,
Вся нега, весь блеск красоты.

И солнце вершины лесные
Тоскливым лучом обдает.
Знать, в нем уходящее лето
Лобзанье прощальное шлет.

А я — я хотел бы заплакать,
Так грудь истомилась тоской.
Напомнила эта картина
Мне наше прощанье с тобой.

Я знал, расставаясь, что вскоре
Ты станешь жилицей небес,
Я был — уходящее лето,
А ты — умирающий лес.

4

Взор, давно забытый мною,
Снова мне расставил сети;
Вновь меня зачаровали
Кроткой девы очи эти.

И, уста ее целуя,
Вижу время я воочью
То, когда весь день глушил я
И в блаженстве плавал ночью.

5

Прекрасен блеск закатного солнца,
Еще прекрасней твой блещет взор;
Закат и очи твои с тоскою
Мне в сердце светят и шлют укор.

Закат — это символ разлуки близкой,
Сердечной ночи, сердечных ран.
Меж сердцем моим и очами милой
Широкий вскоре пройдет океан.

6

Я счастьем обладал вчера,
А нынче с ним расстался;

Ни разу с верностью в любви
Еще я не встречался.

Из любопытства много раз
Мне женщины сдавались,
Но в сердце заглянув мое,
Со мною разлучались.

Одна смеялась, уходя,
Другая бледной стала,
Лишь Китти, горько зарыдав,
На грудь ко мне упала.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Женское тело — это стихи,
Они написаны богом,
Он в родословную книгу земли
Вписал их в весельи многом.

То был для него благосклонный час,
И бог был в вдохновеньи,
Он хрупкий, бунтующий материал
Оформил в стихотворенье.

Воистину тело женщины песнь,
Высокая Песнь Песней;
Строфы стройные члены его,
И нет этих строф чудесней.

Как божеская мысль,
Шея белая эта,
Что голову маленькую несет,
Кудрявую тему сюжета!

Распуколки розовые грудей
Отточены как эпиграмма,
И несказанна цезура та,
Что делит груди прямо.

Плавные бедра выдают
Пластика-маэстро;
Вводный период, закрытый листком
Тоже прекрасное место.

И в этой поэме абстракций нет!
У песни — мясо и зубы,
Руки, ноги; целуют, шалят
Отличной рифмовки губы.

Прямая поэзия дышит здесь!
Прелесть в каждом движеньи!
И на челе эта песнь
Несет печать завершенья.

Хвалу воспою, о боже, тебе,
Молиться буду бо прахе!
Перед тобою, небесный поэт,
Мы жалкие неряхи.

И погрузиться, о боже, хочу
В великолепье стихов я;
И изучать поэму твою
И день и ночь готов я.

Да, день и ночь зубрю я ее,
Без отдыха, ночь и день я;
Стали сохнуть ноги мои —
Это все от ученья.

Сомненья нет — любовный пыл
Уходит к чорту; час пробил!
О, изменяет этот час
Все в жизни к лучшему для нас!
Семья, прохладою своей,
Навеки гасит жар страстей.
У жизни человек берет
Все то, что с радостью дает

Она за деньги; вволю он
И вкусно кушает, и сон
От глаз мятежно не бежит;
Всю ночь в тепле счастливец спит
И видит сладостные сны
В объятьях любящей жены.

Друг, какое преступленье!
Изменил ты жирной Ганне
И отдался этой тощей,
Словно спичка, Марианне.

Соблазниться мясом — это
Я оправдываю смело;
Но вести любовь с костями —
Омерзительное дело.

Это злые козни чорта,
С толку он сбивает это:
Мы толстушку оставляем
И берем себе скелета.

Не считай, что я по дури
Подвергаюсь униженью,
Не считай, что бог-господь я
И привык ко всепрощенью.

Злобный нрав твой и коварство
Я сношу, смеясь; когда бы
Был другой на этом месте,
Он исколотил тебя бы.

Тяжкий крест! Влачу его я
Терпеливо — нет сомнений.
Знай, жена! Тебя люблю я
В искупленье прегрешений.

Ты — чистилище. И надо,
Чтобы все переносилось.
Ведь из рук твоих избавить
Может только божья милость.

В часах стеклянных, вижу я,
Скупой песок уходит.
Мой ангел-хранитель, жена моя,
Меня уже смерть уводит.

Из рук твоих она рвет, жена,
Бороться с ней нет силы.
Из тела душу рвет она,
Я слышу холод могилы.

Смерть гонит душу из дома прочь,
Где хорошо ей было.
Трепещет душа: «Как пойду я в ночь?»
Дыханье ей захватило.

И как бы ни бился я, трудно дыша,
И как бы ни стал метаться,
С мужем жена, с телом душа, —
Все мы должны расставаться.

Букет Матильды, дышавший весной,
Мне принесенный, — дрожащей рукой
Я отстранил; ведь без печали
Им любоваться могу едва ли.

Твердят цветы, что больше мне
Не жить уж радостью вполне,
Что, ложу смертному обреченный,
Я только труп непогребенный.

Когда цветы я вижу, меня
Рыданья душат. От блеска дня,
Где солнце и радость, и жизнь, и грязь,
Остались мне одни лишь слезы.

Как я любил в пыли кулис
Смотреть на пьес театральных крыс!
Теперь я слышу, теряя силы,
Церковных крыс и кротов могилы.

О запах розы! В тебе мой взор
Находит балет и целый хор
Благоуханных воспоминаний —
Весь мир движущий, прыжков, звучаний,

Стук кастаньет и звон цимбал,
Коротких юбочек полный зал;
Но этот смех, щебетанье, взгляды
Во мне родят лишь горечь досады.

Конец всем розам! Я сносить не в силах
Их запах — память весен милых,
Что зло твердит мне о днях удачи.
При виде роз мне грустно, я плачу.

ЛОТОС

(Мушке)

Поистине, мы являем
Курьезную пару с тобой;
Подруга слаба на ножках,
Возлюбленный, тот хромой.

Она котеночек хилый;
Как пес больной, он зачах;
Пожалуй, у них обоих
Неладно в головах.

Цветком себя мнит подруга,
Влюбленным лотосом мнит,
А он, ее бледный спутник,
Являет месяца вид.

Она раскрывает чашу
И ловит месячный свет,
Но ей не жизнь достается
В удел, а только сонет.

Теперь, когда близка могила,
Скажу, падменный и слепой,
О чем всю жизнь молчал: тобой,
Одной тобою сердце жило.

Уж гроб готов, опустят вскоре
Меня в покои темноты,
Но ты, по ты, Мария, ты,
Меня ты вспомнишь в тихом горе.

Заломить руки ты — напрасно,
Утешься! — уж таков венец
Земной: тому плохой конец,
Что высоко, умно, прекрасно.



А. В. ШЛЕГЕЛЮ

Сомнение ума — червяк наш самый злой.
Отчаянье в себе — сильнейшая отравя;
Они мне жизнь сжигали, точно лава;
Подпоры жаждал я, как отпрыск молодой.

Тогда почувствовал к нему ты сожаленье,
Обвиться вокруг себя ему позволил ты,
И если он взрастит со временем цветы,
То будет лишь тебе обязан, без сомненья.

Дай бог, чтоб некогда, одет листвою густой,
Он мог украсить сад прекрасной феи той,
Которая тебя отличием взыскала.

Про этот дивный сад мне нянька толковала:
Там звуки дивные по воздуху плывут,
Деревья говорят, и все цветы поют.

Свет для меня был камерою пыток,
Где за ноги повесили меня
И где губили сил моих избыток
При помощи железа и огня.

Кричал от боли я невыносимой,
Из глаз, из горла кровь лила ручьем;
И девушка, что проходила мимо,
Дала удар мне звонким молотком.

Ей было любопытно видеть муки,
Конвульсии, сводящие мне руки,
Язык в крови, страдания членов всех;

И боль моя, предсмертное хрипенье
Ей музыкой казались в те мгновенья
И только грубый вызывали смех.

ФРИЦУ ШТЕЙНМАНУ

Где гибнут добрые, там побеждают злые,
И в наше время, друг, хвалить наклонен свет
Не мирты в зелени, а тополи сухие;
Не пламя чистых душ, а яркий треск ракет.

Напрасно на Парнас ты будешь подыматься,
Сбирать там образы, созвучия, цветы,
Напрасно до смерти ты будешь надрываться. —
Толпе не нужно то, к чему взываешь ты.

Как бранный бык, сперва обзаведись рогами,
Чтоб смело ратовать с писаками-врагами;
И о себе в трубу не забывай трубить.

Потомство позабудь. лишь черни угождая,
Эффекты для своих созданий измышляя, —
И будет, верь, толпа в райке тебе кадить.

Как с бедностью покончил бы я скоро,
Когда б, по строгим правилам творцов,
Мог кистью украшать плафон собора
Иль стены пышных замков и дворцов.

Мне золота насыпали бы груды,
Когда б на флейте, скрипке я играл
Чувствительно и нежно, и повсюду
Мужчин и дам восторги вызывал.

Но не дано богатство мне судьбою:
Поэзия, я занят лишь тобою,
Бесхлебнейшая муза среди муз!

Когда, кругом бутылки осаждаю,
Другие пьют, я жаждою страдаю
Или в долгах, как рыба об лед, бьюсь.

Философский камень, братство
И любовь — вот три богатства!
Я их славил и искал;
Но, увы, их след пропал.

Вот снова лес зеленеет,
Трель жавронка в поле слышна;
Свой цвет душистый сеет
В сверканьи красок весна.

От трелей жавронка тает
Мой дух, застывший зимой,
И сердце вновь начинает
Напев безотрадный свой.

Щебечет жавронок чутко:
«Что грустно так ты поешь?»
Пою давно я, малютка,
Из года в год все то ж!

Я это, скорбя душою,
В зеленой роще пою;
Твой дедушка вешней порою
Слышал уж песню мою.

Что я люблю тебя, мопсик,
Ты знаешь это вполне.
Лишь стоит дать тебе сахар. —
И руку ты лижешь мне.

Ты сом желаешь остаться,
И в этом вся твоя прить,
Друзья же мои иные
Собой не желают быть.

Грезы старые, проснитесь!
Вадрогни сердце, растворишь!
Песни счастья, слезы грусти
Дивным строем полились.

Я хочу пройти меж елей,
Где ключом шумит вода,
Бродят гордые олени,
Раздается песнь дрозда.

Я хочу подняться в горы.
На отвесные скалы,
Где развалины седые
Снят в тенях рассветной мглы.

Тихо сяду, вспоминая
О красе былых времен,
О былой цветущей славе
Закатившихся племен.

Поросла травкою площадь,
Там, где в бой вступал храбрец,
Добывавший на турнире
Победителя венеч.

Плющ обвился вокруг балкона,
Там, где первая из дам
Повергала нежным взором
Победителя к ногам.

Ах! обоих победивших
Смерть с лица земли смела. —
Рыцарь с острою косою
Всех нас выбьет из седла.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Вечерние серые тучи
Все ниже и ниже склоняются к морю,
Что мрачно встает им навстречу,
А между несется корабль.
У мачты стою я, страдая морскою болезнью,
И делаю там над собой наблюденья,
Минувших, старинных времен наблюденья,
Что делал уж праотец Лот,
Когда чересчур от лозы виноградской хватил
И бедного сильно стошнило.
И тут же я старину вспоминаю,
О том, как войска крестоносцев,
Застигнуты бурей среди океана,
Молились Мадонне с глубокою верой;
Как рыцари, той же болезнью страдая,
К губам прижимали перчатку возлюбленной дамы
И чудно тотчас исцелялись.
А я — я сижу и сердито селедку жую.
Она — утешитель соленый
В моей тошноте и печали.

Меж тем дерется корабль
С сердито бушующим морем.
Как бешеный конь боевой,
То в волни упрется он заднею частью,
Да так, что руль затрещит,
То кинется вниз головою
В бездну ревущих валов,
То, будто совсем беззаботный,
Сбирается тихо, любовно улечься
На черной груди исполинских валов,
Которые с шумом несутся на нас
И вдруг, словно дикий морской водопад,
Обрушившись белым кудрявым потоком,
Обдают меня пеной.

Ах, это качаье, метанье туда и сюда
Вконец нестерпимы!
Напрасно я взор напрямаю

И берег немецкий ищу. Предо мною
Вода и вода, и вода!

Как путник в вечернюю зимнюю пору
Ждет вечером чашки горячего, доброго чаю,
Так сердце мое по тебе,
О, край родимый, томится!
Пусть милая почва твоя —
Приют сумасшедших, гусаров,
Скверных стихов и тошнотворных трактатцев;
Пусть зебры твои
Питаются розами вместо чертополоха;
Пусть знатным твоим обезьянам,
Кичащимся праздно в роскошном своем одеянии,
Все мнится, что лучше они,
Чем все остальные рогатые звери,
Которые путь свой земной с трудом совершают;
Пусть сейм твой — собрание улиток —
Себя почитает бессмертным
На том основании, что медленно так ползет,
Пусть каждый день голоса собирает,
Решая, чья собственность сыр:
Червей, обитающих в сыре, кого ли другого?
Пусть долго еще в нем идут совещанья
О том, как улучшить породу баранов Египта,
Чтоб сделалась шерсть их еще пезней
И чтобы пастух мог стричь их, как всех остальных,
без различья;
Пусть неправда и глупость
Тебя укрыли совсем, о, край мой родимый, —
Я все-таки жадно томлюсь по тебе, потому что
Ведь ты не вода, а сухая земля.

В облаках скользит луна
Померанцем кслоссальным,
Золотою полосой
Отражаясь в море дальнем.

Я вдоль берега брожу,
Волны пенятся и бьются,

Звуки нежных, сладких слов
Из воды ко мне несутся.

Ах, как эта ночь длинна!
Сердце полно жаждой ласки.
Нимфы, выйдите ко мне
Петь, скользя в волшебной пляске!

Заласкайте вы меня,
Овладейте мной всецело,
Поцелуями мою
Душу выпейте из тела!

Плотно в тучи завернувшись,
Боги спят, чело нахмурия;
И я слышу их храпенье,
А у нас бушует буря.

Злая буря! Ярость шторма
Разобьет кораблик в щепы.
Ах, кто усмирит волнение,
Остановит вихрь свирепый!

Я унять не властен бурю —
Треск досок и мачт скрипучих,
И закутываюсь в плащ мой,
Чтоб уснуть, как боги в тучах.

На небе полная луна
И тихо шепчет море;
Опять душа моя грустна,
И в сердце тяжесть горя.

Я вспомнил песни старины
О городах забытых,
На дне морском, среди глубины,
Водой навеки скрытых.

Молитвы там, на дне, и звон,
Но это не поможет:
Кто был однажды погребен,
Восстать уже не может.

ГДЕ?

Где последний час покоя
Рок усталому пошлет?
Там, на юге, в пальмах, в зное,
Иль среди лип, у рейнских вод?

Буду ль я зарыт в пустыне
Равнодушною рукой,
Иль у скал, где море синее,
Опущусь в песок сырой?

Все равно! Везде отрадой
Будет свод небесный мне
И надгробною лампадой —
Эти звезды в вышине!

КСТАТИ

Ни филистера-тупицу,
Ни того, кто пьет водицу,
Никогда дразнить не надо.
Лишь тому, кто пенит чаши,
Зорок сердцем, шутки наши —
Дружбы и любви отрада.

ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ РЕЙНА

Резвость мягкая и живость,
Грациозная болтливость,
Смех, чарующая ложь,
Лихорадки страстной дрожь

И любви живой порывы —
Вот, французы, чем сильны вы!

Немцы — как того не видеть? —
Мастера лишь ненавидеть.
Эту ненависть излить
Нужно им во что б ни стало,
И чтоб яд ее вместить —
Гейдельбергской бочки мало.

Болен, болен безнадежно
Шар земной, и неизбежно,
Чем земля была горда, —
Все исчезнет без следа.

Не людские ль заблужденья,
Как миазмов испаренья,
Поднимаясь к небесам,
Отравляют воздух нам?

Как цветы, что еле-еле
Расцвели и облетели,
Так во тьме сырых могил
Гибнет много юных сил.

Смерть среди героев бродит,
Ищет жертву и находит;
Жабы жрут и рвут в клочки
Их лавровые венки.

Что вчера огнем блестело,
То сегодня уж истлело,
И молчит, кляня весь свет,
Негодующий порт.

О, как мудры звезды в выси!
Вдалеке они зажглися,
Чтобы стон скорбей людских
Не тревожил слуха их.

Звезды умные! Им чужды
Наши слезы, наши нужды,
И пугает их больной,
Зараженный шар земной.

Им гореть вверху спокойней,
Мир наш кажется им бойней,
Смрадной ямой, где кишат
Червяки и всякий гад.

Лучше им парить в эфире,
Чем томиться в этом мире,
В царстве грешной суеты,
Злобы, лжи и пустоты.

Будят в звездах состраданье
Человечества страданья,
И слезою иногда
Сверху падает звезда.

Мой день сиял, и ночь была светла.
Народ встречал рукоплесканьем ярым
Ту лиру, что сленительным пожаром
Так много душ сочувственных зажгла.

В двету июль, и осень не пришла,
А жатву уж сложил я по амбарам, —
И вот теперь расстаться с дивным даром,
Которым жизнь оправдана была!

Слабеет дух, из рук валится лира.
В осколки разлетелся, мелкой пылью,
Бокал, к устам прижатый в ликованьи.

О боже, как чудесна радость мира,
Как сладостно земли твоей обилье!
О боже, как ужасно умиранье!

ЛАЗАРЬ

1

Брось свои иносказанья
И гипотезы пустые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего бесчестный всюду
Встречен почестью и славой?

Кто виною? Или богу
На земле не все доступно?
Или он играет нами?
Это подло и преступно!

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею.
Да ответ ли это, полно?

2

Черная дама к своим устам
Виски мои жмет в печали,
И стали белыми волосы там,
Где слезы ее упали.

Целует, — а я хромой, больной,
Ослепший — в объятьях жадных.
Из позвоночника мозг спинной
Сосет она беспощадно.

Теперь я только иссохший труп,
Где дух мой на волю рвется.
И душно ему от этих губ,
Он стонет, кричит и бьется.

Бессильны проклятья! Ведь этих слов
И муха не побоится.
Так будь терпелив и будь готов
Пошныкать, поныть, помолиться...

3

Ах, как медлительно ползет
Ужасная улитка — время!
А я, недвижим, здесь лежу,
Влача болезни тяжкой бремя.

Ни солнца, ни надежды луч
Не проскользнет в мое жилище;
Я знаю: мрачный мой приют
Заменит мне одно кладбище.

Быть может я давно уж мертв,
И лишь мечты воображенья —
Ночные призраки одни —
Творят в мозгу свое броженье.

Так, это духи древних лет
В лучах языческого света,
И местом сборища теперь
Им череп мертвого поэта.

И жутко-сладкую игру,
Безумный пир ночной ватаги,
Поэта мертвая рука
Передаст потом бумаге.

4

Влачась когда-то в край из края,
Цветов не мало я видал;
Но их по лени не срывая,
Я гордо мимо проезжал.

Теперь, томимый лихорадкой,
Когда и гроб уж мне готов,

Я вновь вдыхаю запах сладкий
Моих отверженных цветов.

Всех чаще желтая фиалка
Огнем горит в моем мозгу;
Девчонки бешеной мне жалко, —
Ее забыть я не могу.

Одно осталось утешенье
В виду могилы, после бурь —
Что Лета приведет в забвенье
Пережитую сердца дурь.

5

Я знал их смех, улыбки, пенье,
Я видел близость их конца,
Но, слыша стоны и хрипенье,
Хранил спокойствие лица.

За гробовою колесницей,
Скорбя, до кладбища я шел,
А возвратясь — к чему таиться? —
Садился за накрытый стол.

Зато теперь воспоминанье
Зовет ко мне былых подруг.
Какое пылкое желанье
В моей душе возникло вдруг!

Рыданья Юлии, все милой,
Звонят на сердце горячей.
С какою страстной, дикой силой
Я день и ночь взываю к ней!

И часто смертное цветенье
Приходит в бред, и слышу я,
Как неземное утоление
Пьет с губ умерших страсть моя.

О, милый призрак! Обними же,
Вот так, все крепче! Пусть твой рот

К моим губам прижмется ближе
И горечь смертную уьет!

6

Пускай присяжными рассудка
Не признана твоя вина,
И предо мною ты ни делом,
Ни даже словом не грешна;

Пусть, равнодушна и безгласна,
Не раздувала ты огня,
Меня сжигавшего, но прав я,
Тебя в душе моей кляня.

Немолчный голос неотступно
В полночных грезах слышу я,
И говорит он, что тобою
Вся жизнь загублена моя.

Он ряд свидетелей приводит,
Он предъявляет цепь улик;
Но ночь пройдет, и обвинитель
Уходит с нею в тот же миг.

Он укрывается глубоко
На дне души, вражду тая, —
И лишь одно тогда мне ясно. —
Что жизнь загублена моя!

7

Образ сфинкса наделен
Всеми женскими чертами;
Лишь придаток для него —
Тело львиное с когтями.

Да, темна, темна, как ночь,
Та загадка роковая,
И труднейшей не решал
Иокасты сын и Лайя.

К счастью, женщине самой
Дать разгадку не под силу;
Будь иначе — целый мир
Превратился бы в могилу!

8

Три женщины возле дороги
Прядут и вздыхают,
Осклабься, считают,
Отвратительны и убоги.

У первой — стержень прялки.
Слюной она вяжет
Волокна пряжи,
И губы иссохшие жалки.

Вторая вертит веретENCE,
Растет его шея
Быстрее, круглее;
Глаза у старухи краснее червонца.

И ножницы третья парка
Широко раскрыла,
Гнусавит уныло,
На остром носу бородавка.

О, парка, обрежь заранее
Злосчастные нитки,
Избавь от пытки,
От нестерпимых страданий!

9

Меня не манит рай небесный
И жизнь в блаженной стороне.
Таких, как здесь, красивых женщин
Не отыскать на небе мне.

Какой там ангел нежнокрылый
Заменит мне мою жену?

Псалмы на облаках едва ли
Тянуть охотно я начну.

Нет, лучше на земле, о боже,
Позволь мне продолжать мой путь;
Лишь возврати здоровье телу
И о деньгах не позабуди.

Конечно, этот мир греховен,
Порочен и во многом дик;
Но я привык к юдоли плача
И к мостовой земли привык.

Мне шум людской мешать не может:
Я домосед и очень рад
С своей женой не расставаться,
Облекшись в туфли и халат.

Не разлучай же с ней меня ты!
Она болтает, — и люблю
Я слышать голосок певучий,
И милый взгляд ее ловлю.

Здоровья, боже, дай и денег —
Мое желанье таково —
И дай побольше дней счастливых
Вдвоем с женою в *statu quo*!

10

Как хаос сплошной, в мозгу у меня
Леса, поля и долины;
Из дикой груды встает, наконец,
Подобье стройной картины.

Мне кажется, Годесберг это. — Да
Опять он передо мною.
Опять под липой тенистой я
Сажу пред старой корчмою.

Как сухо в горле — точь в точь проглотил
Закатное солнце. Что же

Вина не несут? Хозяин, живей!
Получше, смотри, подороже!

Течет, течет благодатный сок,
Течет прямиком мне в душу,
И тут же, кстати, в горле моем
Пожар по дороге тушит.

Еще бутылку, хозяин! Я
Рассеянно пил, без почтения!
За эту дерзость прошу у тебя,
Чудесная влага, прощенья!

Рассеянно пил, затем что взирал
На вид, романтики полный —
На Драхенфельс, что, весь в огне,
Глядится в рейнские волны.

Я слушал песни людей вдали
И звонкое птиц щебетанье, —
Я слушал это и потому
Рассеянно пил, без вниманья.

Теперь я усердно уткнулся в стакан
И взоры сперва вперяю
В вино; а впрочем, порой и так —
Не глядя, сразу глотаю.

Но странная штука! Душа моя
Представилась мне двойною;
Сажу с каким-то несчастным, и он
Вино глотает со мною.

Как бледен он! Как жалок и слаб!
Иссох! Лишь кожа да кости!
С тоскливой насмешкой глядит в лицо
И раздражает до злости.

Чудак уверить хочет меня,
Что вместе слиты мы оба,
Что мы — один, больной человек,
Стоящий уже у гроба;

Что мы не в корчме годесбергской пьем,
А в дальнем сидим Париже,
Что оба мы — больные. «Лжешь,
Ты лжешь, бродяга! Смотри же!

Ты видишь, я свеж лицом и румян,
Поспору с цветущей розой!
И сильный я! Смотри, берегись!» —
Ответил ему я с угрозой.

Плечами пожав, он сказал: «Дурак!»
Я вспыхнул — и с бешеным жаром
Удары стал наносить двойнику
Без счета, удар за ударом!

Но вещь непонятная; каждый удар,
Что я наношу, ощущаю
На собственном теле: чем больше бью,
Тем сам сильнее страдаю!

В проклятой драке опять у меня
Засохло в горле. И снова
Хочу я крикнуть: «Еще вина!» —
Не в силах сказать ни слова.

Трясет лихорадка. И слышу в бреду
Слова чепухи бестолковой:
«Припарки еще... и микстуру, в день
Три раза по ложке столовой!»

11

Я пылко осушил до дна
Любовной страсти преизбыток.
Да, это пламенный напиток,
Смешенье пунша и вина!

И славит ныне мой рассудок
Обычай дружества. Пускай
Он лечит грусть, живет желудок,
Как тепловатый, честный чай.

12

Дни, века ужасной пытки
Шаг за шагом, как улитки,
Все ползут — и вдоль дороги,
Знай, вытягивают рёги.

Лишь порой, во мгле безликой,
Средь пустыни этой дикой,
Свет блеснет с волшебной силой —
Точно взор подруги милой.

Но, увы! одно мгновенье —
И рассеялось виденье,
Вновь оставив мне сознание
Безысходного страданья!

АЛКАЯ ПОКОЯ

Пусть кровь течет из раны, пусть
Из глаз струятся слезы чаще
Есть тайная в печали страсть,
И нет бальзама плача слаще.

Не ранен ты чужой рукой,
Так должен сам себя ты ранить,
И богу воздавай хвалу,
Коль взор начнет слеза туманить.

Спадает шум дневной, идет
На землю ночь с протяжной дремой,
Теперь тебя уже ни плут
Не потревожит, ни знакомый.

Здесь ты от музыки спасен,
И пытки фортепьяно пьяных
И блеска Оперы Большой,
И страшных всплесков барабанных.

Здесь не теснит, не жмет тебя
Сброд виртуозов шепелявый

И жадный гений Джакомо,
С его всемирной клакой славы.

О гроб, ты рай для тех ушей,
Которые толпы боятся.
Смерть хороша, всего ж верней
На свет и вовсе не рождаться.

Средневековую грубость
Вытесняет эстетичность;
Фортепяно — нынче главный
Просвещенья инструмент.

И железные дороги
Для семейной жизни благо:
С ними легче нам держаться
В отдаленьи от родных.

Как мне жалко, что сухотка
Моего хребта спинного
Мне велит покинуть вскоре
Прогрессивный этот мир!

«Вспоминать о нем не надо!» —
Так не раз мне говорила
Эстер Вольф, старуха. Эту
Фразу память сохранила.

Пусть о нем забудут люди,
Как о выходе из ада.
Он проклетия достоин,
Вспоминать о нем не надо!

Сетуй, жалуйся ты, сердце,
Если в этом есть отрада,
Но о нем — о нем ни слова,
Вспоминать о нем не надо!

Вспоминать о нем не надо —
В песнях, в книгах. В царстве мрака,
В смрадной яме, мною проклят,
Пусть сгниет он, как собака.

Даже в день, когда архангел
Мертвецов в гробах разбудит
И на страшный суд последний
Собирать восставших будет,

И начнется переключка
Всех, кому дана награда —
Светлый рай, обетованный. —
Вспоминать о нем не надо!

ЭПИЛОГ

Нас в могиле греет слава.
Экий вздор нелепый, право!
Больше жара обрету я
В неопрятном поцелуе
Толстой скотницы, хоть в нос
От нее и бьет навоз.
Больше также услаждает
Теплота, что согревает
Нам кишки, когда мы пьем
Пунш, глинтвейн иль теплый ром
В самом грязном кабачишке,
Где собираются ворнишки,
Сброд, от виселиц бегущий,
Но сопящий и живущий,
Тот, кому способен был
Позавидовать Ахилл!
Справедливо он изрек:
Раб, последний человек
Большей зависти достоин
На земле, чем царь и воин,
Илиадою воспетый
И тоскующий над Летою.

Романы
и притчи



БЕГСТВО

На волнах месяц кроткий
Горит то там, то тут.
В качающейся лодке
Любовники мерно гребут.

«О, как бледна ты стала,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, я плеск услышала,
Догонит нас ладья».

«Попробуем вплавь, дорогая,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, отец, проклиная,
Догонит, чувствую я».

«Держи лишь голову выше,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, о горе, ты слышишь,
Мне залила уши струя».

«Сковал нас холод ужасный,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, и смерть прекрасна,
Когда с тобою я».

ВЕДЬМА

«Друг сосед, прошу прощенья:
Ведь у ведьмы есть уменье
Превращать себя в зверей,
Чтобы мучить тем людей.

Ваша кошка — мне жена,
Знаю это точно я:
Пахнет, скачет, мордой тычет,
Лапки моет и мурлычит».

Сосед с соседкою в ответ:
«Бери ее, нам дела нст». —
Дворовый пес: «вау, вау!»
Мяучит кошка «мяу».

ПЕСНЬ МАРКИТАНТКИ

(Из 30-летней войны)

А ведь гусаров я люблю,
Я очень люблю их все же,
Я их люблю без различия всех,
И синих, и желтых тоже.

А кирасиров я люблю,
Я люблю кирасиров;
Пусть он рекрут, пусть ветеран,
Простой, из командиров.

Хоть кавалерист, хоть артиллерист,
Я всех люблю до отвала,
И тоже в инфантерии я
Довольно ночей продремала.

Люблю я цемца, француза люблю,
Люблю я чеха и грека,
И шведа, испанца люблю, поляка, —
Я в них люблю человека.

Мне все равно, из какой страны
И веры он старой иль новой,
Мне люб и мил любой человек,
Когда человек он здоровый.

Отечество и религия их, —
Все это только платье.
Тряпки долой! Чтоб его к груди
Нагого могла прижать я!

Я — человек, человечеству я
Отдаюсь душою и телом;
А кто не сразу может плати:
На того запишу я мелом.

Смеются над моим шатром
Зеленые веночки.
Сейчас мальвазю я дарю
Из самой свежей бочки!

НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

1

Сидит суперкарго мингер ван-Койк
В своей каюте, считая;
Он груз вычисляет и рад гадать,
Что будет прибыль большая.

«Гумми хорош, перец хорош --
Триста бочек; есть зерна
Песку золотого и слоновая кость,
Но лучше — товар черный.

Шестьсот негров выменял я
За бесценок на Сенегале.
Крепкомясые все, мышцы у них
Как будто из крепкой стали.

Я хлебного дал за них вина,
Ножей, клочок сатина.

Восемьсот процентов нажил бы я,
Но выживет лишь половина.

Лишь триста негров останется мне
В гавани Рио-Жанейро,
Но по сто дукатов за штуку даст
Мне банк Гонзалес-Перейро».

Но был внезапно мингер ван-Койк
Разбужен от грезы хмельной:
Доктор ван-Шмиссель вошел к нему,
Старый хирург корабельный.

То был худой, как щепка, субъект,
С красным пупырчатым носом.
«Ну, как живут мои негры?» — к нему
Обратился ван-Койк с вопросом.

Доктор, отдав поклон, сказал:
«Боюсь, что вас беспокою,
Но должны вы знать, что сегодня в ночь
Смертность выросла втрое».

На день в среднем кончалось два,
А сегодня семеро пали:
Четверо парней, три бабы, — и
Записал убыток в журнале.

Я осмотрел зорко тела:
Ведь этим плутам не трудно
Притвориться покойниками, чтоб их
Бросили в море с судна.

Я снял с мертвецов оковы их
И на заре, на ранней
Велел матросу в море швырнуть
Останки этой дряни.

И всплыли тотчас из глубины
Акулы — стая без меры!
Им очень по вкусу негров мясо,
Они — мои пенсионеры.

С тех пор, как отплыли мы от земли,
Они за нами кочуют,
И, жадны до пищи, трупный дух
Чудовища тонко чуют.

Забавно, право, смотреть, как они
Бросаются вдруг на тело!
Одна съест голову, другая — бок,
Третья лохмотья съела.

Все проглотив, спешат к бортам,
Вьются, за рыбкой рыба,
И пучат глаза, как будто хотят
Сказать за завтрак „спасибо“».

Вздыхая, ответил ему ван-Койк:
«Беда какая, досада!
Чтоб смертности этой замедлить рост, —
Скажите, что делать надо?»

Доктор ответил: «Причина одна,
Что так спешит вымиранье:
Отравило в трюме воздух весь
Больное их дыханье.

Многие также мрут с тоски,
Их скука смертельная давит;
Музыка, танцы и воздух легко
Им здоровье поправят».

Ван-Койк вскричал: «Вот добрый совет!
Мой дорогой целитель
Так же, как Аристотель, умен,
Как Александра учитель.

«Тюльпанной лиги» сам президент
Должен быть умный мужчина,
Если есть у него ума
Вашего хоть половина.

Музыки, музыки! Негры должны
Итти плясать на шканцы,

А кто веселиться не станет, тот
Под плетью пустится в танцы».

2

Высоко в синем шатре небес
Несчетные звезды сверкают,
Как юных женщин большие глаза
Со страстной тоской взирают.

Они глядят с высоты в океан,
Фосфористым сияньем полный,
Где, уходя бесконечно вдаль,
Сладострастно воркуют волны.

На судне ни парус не шелестит,
Оно по теченью дрейфует,
А на фордеке блестят фонари,
И музыка там бушует.

Штурман на скрипке пиликает, кол
Флейтою с ветром спорит,
Корабельный юнга бьет в барабан,
И доктор трубой им вторит.

И сотня негров, женщин, мужчин,
Измучившись в трюме, как в склепе,
Безумно пляшут, — и при каждом прыжке
В такт бряцают их цепи.

И палубу топчет их яростный пляс,
И страстно красотки иные
Обнимают черных своих друзей,
Ипуская стоны глухие.

Трюмный надсмотрщик — дирижер,
И ударами плети
Подгоняет усталых танцоров он,
Чтоб они плясали, как дети.

Ди-дель-дум-дей, шнэд-дере-дэнг!
И гам из глубин подьземлет

Чудовищных тварей страны водяной,
Что ночью туго дремлют.

И многие сотни черных акул
Наверх выплывают сонно,
За судном спешат и на него
Таращат глаза удивленно.

Они замечают, что завтрака час
Не настал, и, что есть силы,
Во все горло зевают, и челюсти жк
Похожи на страшные пилы.

Ди-дель-дум-дэй, шнёд-дере-дёнг!
Не видно конца разгула,
И каждая злобно себя самое
Кусает за хвост акула.

Должно быть, не нравятся музыка им,
Раскаты ляга и звона;
«Нелюбящих музыки бойся зверей» —
Сказал поэт Альбиона.

Шнёд-дере-дёнг, ди-дель-дум-дэй, ---
Плясовые длятся звуки.
У фокмачты стоит мингер ван-Койк,
Сложив молитвенно руки:

«Ради Христа, улучши, господь,
Жизнь этих грешников черных,
Не гневись на них, ведь глупы они,
Как стадо быков упорных.

Улучши их жизнь, ради Христа,
Что принял за нас погибель!
Ведь если их выживет меньше трехсот, —
Ухнула моя прибыль!»

ФИЛАНТРОП

То были брат с сестрою.
Брат был богач, сестра бедна;

Сестра сказала брату:
«Дай мне хлеба кусок».

Богач ответил бедной:
«Оставь в покое меня:
Обед я даю сегодня
Членам высоких палат.

Тот любил суп из спаржи,
А этот ананас,
Третий охотник до дичи
С трюфлями де-Перигор.

Четвертый ест лишь крабов,
Пятый жует и форель,
Шестой жрет все, что угодно,
А пьет и больше того».

И бедная, бедная, тихо
Вернулась домой сестра;
Вздыхала всю ночь на соломе
И умерла к утру.

Всем умирать придется!
И смерть косою сечет
Богатого брата так же,
Как некогда сестру.

И вот, когда брат богатый
Часочек свой признал,
Послал он за судьей
Духовную скрепить.

Изрядные угоды
Он церкви отказал
И школам, а также большому
Музею горных пород.

И суммой большой обеспечил
Благотворитель навек
Союз обращенья евреев
С институтом глухонемых.

Новой церкви Стефана
Он колокол подарил,
Прекраснейшего металла —
Четыреста центнеров вес.

Колокол этот громадный
И денно и ночью звонит;
Вещает он честь и славу
Великого мужа того.

Гласит медною глоткой.
Сколько тот сделал добра
Городу и населенью,
Без различия вер.

Великий благотворитель!
Как при жизни, так и теперь
Твое каждое доброе дело
Колокол должен вещать.

Был справлен роскошно и пышно
Его погребенья обряд;
Стремилась толпа за гробом,
Почтительно дивясь.

На черной колеснице,
Похожей на балдахин,
Султанами черных перьев
Убранный, гроб возлежал.

Вдувался серебряной бляхой,
Серебряным шитьем;
Оно на черном фоне
Производило эффект.

В черных пополах кони
Колесницу везли;
Как траурный плащ ниспадали
Попоны вплоть до копыт.

Слуги в черных ливреях
Шли за гробом толпой,

Пред красными с горя глазами
Держа наготове платки.

Почтеннейшие лица
Города, — длинный ряд
Черных карет парадных
Покачивался в хвосте.

На этом погребеньи
Были, само собой,
Члены высокой палаты,
Но только не полный комплект.

Средь них того не хватало,
Что с трюфлями дичь любил;
Он умер незадолго
От катара кишек.

ЮДОЛЬ ПЛАЧА

Сквозь щели ветр ночной свистит,
И на чердачном ложе
Две бедных тени улеглись,
Их лица — кости да кожа.

Первая бедная тень говорит:
«Меня обойми рукою,
Ко рту моему прижми свой рот,
Хочу согреться тобою».

Вторая бедная тень говорит:
«Когда я гляжу в твои очи,
Скрываются голод, и бедность, и боль,
И холод этой ночи».

Целовались они, рыдали они,
Друг другу руки сжимали,
Смеялись порой, даже спели раз.
И вот под конец замолчали.

На утро с комиссаром пришел
Лекарь, который, пощупав
Пульс, на месте установил
Отсутствие жизни у трупов.

«Полый желудок, — он пояснил, —
Вместе с диетой строгой
Здесь дали летальный исход, — верней,
Приблизили немного.

Всегда при морозах, — прибавил он, —
Нужно топить жилище
До теплоты, и, — вообще, —
Питаться здоровой пищей».

Б И М И Н И

Пролог.

Вера в чудо! Как роскошно
Ты, цветок теперь увядший,
Цвел в сердцах в былое время,
Воспеваемое мною!

И само-то это время
Было чудом! Совершалось
Много так чудес, что люди
Не дивились больше им.

Зауряд с сухою прозой
Жизни самой повседневной
Человек такие вещи
Часто видел пред собой,

Пред которыми бледнели
Баснословнейшие сказки
В книгах набожных монахов,
В старых рыцарских романах.

Раз, блистая, как невеста,
Из пучины океана

Чудо выплыло морское —
Выплыл целый новый мир,

Новый мир с сортами новых
Человеков и животных,
Новых птиц, цветов, деревьев,
Мировых болезней новых!

В это время старый мир,
Мир наш собственный, волшебю
Тоже весь преобразился.
Это чудо совершил

Дух исканий и открытий,
Чародейный дух, и с ним
Колдовство Бертольда Шварца
И другое колдовство

Человека похитрее —
Чернокнижника из Майнца;
А вдобавок к ним две книги,
К нам седыми колдунами

Принесенные, в прекрасном
Переводе, из Египта
И античной Византии —
Чудодейственные книги.

У одной из них заглавье:
«Книга Истины»; другая —
«Красоты» зовется книгой.
Обе книги сам господь

Сочинил на двух различных
Языках своих небесных
И, как мы предполагаем,
Написал собственноручно.

Тут же маленькая стрелка,
Жезл волшебный мореходца,
Указала моряку
Прямо в Индию дорогу —

В эту общую отчизну
Всяких пряностей пикантных,
Где надменно рвутся к небу
Иль ползут, впиваясь в землю,

Фантастичные растенья,
Травы, мхи, цветы, деревья —
Знать растительного царства,
Перлы лучшие его, —

В край кореньев, наделенных
Той таинственной силой,
Что людей иль исцеляет,
Или гонит в гроб, смотря.

Кто мешает их: аптекарь
Осторожный и разумный,
Иль венгерец бестолковый
Из — го баната.

И едва лишь отворились
Двери Индии цветущей,
Как поток благоуханий,
Сладострастных до безумья,

Опьяняющих все чувства,
Одурающих наш разум,
Хлынул вдруг, и в сердце мира,
Мира старого проник.

И как будто под хлестанье
Плети огненной, безумно
Забурлила в людях кровь,
Ради золота и счастья.

Но паролем оставалось
Только золото; уж этот
Желтый сводник сам доставит
Счастье людям на земле.

Первым словом, что испанец
Произнес в шатре индийца,

Было «золото»; воды
Он спросил себе уж после.

Житель Мексики и Перу
Видел это беснованье
Ради золота; он видел,
Как Пизарро и Кортес,

Дико золотом упившись,
В этом золоте валялись.
Видел он: во время штурма
Храма Квито Лопес Вакка

Стибрил солнце золотое,
Солнце, весившее ровно
Двадцать центнеров; но в кости
В ту же ночь его спустил.

И с тех пор у мексиканцев
Сохранилась поговорка:
«Это Лопес, проитравший
До восхода солнца — солнце».

О, большие это были
Игроки, убийцы, воры!
(Безупречных нет людей);
Но зато они свершили

Чудеса почище всяких
Штук солдатчины страшнейшей.
Начиная с Олоферна
До Радецкого и Гайнау.

В это время, общей веры
В чудеса и сами люди
Совершали чудеса;
Да оно и натурально:

Тот, кто верой обладает
В невозможнейшие вещи,
Невозможнейшие вещи
Сам способен совершать.

Только глупый в это время
Сомневался: люди смысла,
Мудрецы, склонялись с верой
Перед всеми чудесами.

Странно! Нынче не выходит
У меня из мысли сказка
Той поры чудесной — сказка
О Жуане Понс де Леон,

Что сумел открыть Флориду,
Но всю жизнь искал напрасно
Цель своих стремлений страстных --
Чудный остров Бимини!

Бимини! При этом звуке
Сердце вдруг затрепетало
У меня в груди, — и вновь
Грезы юности воскресли

И в венках своих увядших
На меня печально смотрят;
Рокот мертвых соловьев
Раздается надо мною.

Соловьи поют и стонут,
Точно кровью истекают.
И, охваченный испугом,
Я вскочил — вскочил так быстро,

Так порывисто я двинул
Всеми членами больными,
Что мгновенно распоролсь
Швы моей дурацкой куртки.

Но тревога эта скоро
У меня сменилась смехом:
Рассмеялся я, услышав, ---
Или так мне показалось, ---

Что канальи попугаи
Уморительно, а вместе

И весьма меланхолично,
Закричали: «Бимини!»

Муза, дочь богов бессмертных,
Фея умная Парнаса!
О, приди ко мне на помощь
Чародейством стихотворства!

Докажи, что ты колдунья;
Преврати в корабль волшебный
Песнь мою, — и пусть доставит
Он меня на Бимини!

Только вымолвил я это, —
И исполнилось желанье,
И со стапеля надежды
Спущен на воду корабль.

Кто со мной на Бимини?
Эй, messieurs, mesdames, садитесь.
При попутном ветре скоро
Будем мы на Бимини!

Господа! вы не больны
Ревматизмом? Вы, синьоры,
Не открыли ли морщинок
У себя на чистом лбу?

Поскорей на Бимини!
Там найдете исцеленье
От постыднейших недугов:
Гидропатии там курс!

Ничего не опасайтесь:
Мой корабль построен прочно:
Посмотрите — остов сделан
Из хореев, крепче дуба;

На руле сидит фантазья,
В паруса веселость дует,
Юнгой служит ловкий юмор.
Есть ли разум? — Не скажу.

Наши реи — из метафор,
Наши мачты — из гипербол,
Флаг — пурпурно-желто-черный
(Краски — школы романтизма),

Флаг трехцветный Барбароссы,
Точь такой, какой я видел
Раз в Кифгейзере, и после
В старом франкфуртском соборе.

Вдоль по морю мира сказок
Мой корабль несется чудный,
Бороздами вдоль по морю
Грезы тянутся за ним.

Впереди, вадымая пену
На лазури океана,
Дико плещется и скачет
Войско целое дельфинов.

На спинах у них уселись
Почтари мои морские —
Купидоны; из забавных,
Странных раковин они,

Щеки вздувши, извлекают
Звуки трубные. Но чу!
Из пучины океана
Вдруг донесся смех лукавый.

Ах, я знаю эти звуки,
Этот злой, но сладкий голос —
Это хитрые ундины
Насмеваются злорадно

Над моей дурацкой шхуной,
Над дурацким экипажем,
Над дурацкою поездкой
Дураков на Бимини.

1

Тих, пустынен берег Кубы.
Над зеркальной водою

Человек стоит и смотрит
В отраженье на воде.

Он — старик, но стан свой держит
По-испански, очень прямо,
А костюм какой-то странный:
Смесь солдатского с матросским.

Под кафтаном из оленьей
Желтой кожи — шаровары
Рыболова; португя
Из парчи с шитьем богатым.

К ней, как водится, привешен
Длинный меч толедской стали;
Пук петушьих красных перьев
Развевается на шляпе,

Не без грусти осеняя
Изможденное лицо,
Над которым потрудились
Современники и время —

Потрудились усердно,
В чем свидетели — морщины
И, заштопанные плохо,
Шрамы сабельных ударов.

Не с особенно приятным
Ощущеньем смотрит он
На плачевную фигуру,
Отраженную водою.

Точно что-то отстраняя,
Он протягивает руки,
Головой трясет и грустно
Восклицает наконец:

«Это ль дон Жуан де Леон,
Бывший паж двора Гомеса,
Ловко так носивший шлейфы
Дочерей алькадов гордых?»

Был он строек и воздушен;
Под кудрями золотыми
Мысли радужные рево,
Легкомысленно играли.

Топот лошади Жуана
Был знаком севильским дамам.
Чуть раздастся он, тотчас же
К окнам бросятся они.

Чуть он псов своих помянит,
Языком прищелкнув лихо,
Вздрыгнет сердце дам прекрасных,
Краска бросится к щекам.

Это ль дон Жуан де Леон,
Тот, что мавров был грозой
И мечом косил, как сено,
Злые головы в чалмах?

После битвы при Гренаде,
Перед всею христианской
Храброй армией, Гонзальво
Сделал рыцарем меня.

И в палатке у инфанты,
В тот же вечер, я при звуках
Труб и скрипок несся в танцах
С целым роем дам красивых.

Но ни звуков труб и скрипок,
Ни любезностей красавиц
Я не слышал в этот вечер.
Каблуками, как безумный,

Я стучал о пол палатки,
И одно я только слышал —
Слышал милое бряцанье
Первых славных шпор моих.

Но с годами появились
Честолюбье и серьезность.

Я сопутствовал Колумбу
Во втором его великом

Путешествии. И предан.
Был я этому второму
Христофору, что спасенье
Людам нес за океан.

Не забуду выраженья
Кротких глаз. Страдал он молча,
И лишь ночью муки сердца
Поверял волнам и звездам.

По отъезде адмирала
Вновь в Испанию — к Ойеде
В службу я вступил и вместе
С ним поплыл по белу свету.

Дон Ойеда был от пяток
До макушки храбрый рыцарь;
Храбрецов таких не видел
Даже Круглый Стол Артура.

В битве, в битве находил он
Сладострастное блаженство
И сражаться с дикарями
Шел всегда с веселым смехом.

Раз отравленной стрелою
Был он ранен и тотчас же,
Раскалив железо, выжег
Рану, весело смеясь.

Помню тоже: мы блуждали
По неведомым болотам
Без воды, без пищи; взяли
Вплоть до пояса в грязи.

Тридцать суток длилось это.
Из двухсот людей Ойеды
Больше ста уже погибло;
А меж тем все глубже, глубже

Становилось болото.
Мы в отчаяние впали;
Но Ойеда нашу бодрость
Воскресил веселым смехом.

После я служил с Бильбао,
Храбрым так же, как Ойеда,
Но его превосходившим
По уму и знанью дела.

Все орлы высокой мысли
В голове его гнездились,
А в душе его сияло
Ярким солнцем благодество.

Он к владениям испанским
Сто земель прибавил — больше,
Чем Европа, и богаче,
Чем Венеция и Фландры.

В награждение за рти
Сто земель прекрасных, больше,
Чем Европа, и богаче,
Чем Венеция и Фландры,

Получил Бильбао галстук
Из веревки. Как преступник,
Он на рынке Себастьяна
Был повешен королем.

Не таким бойцом великим
И героем не таким
Был Кортес Фернандо, впрочем,
Тоже воин знаменитый.

Я служил в Армаде жалкой,
Победившей мексиканцев.
Ах, немало натерпеться
Довелось в походе этом!

Много золота добыл,
Но и желтой лихорадкой

Обзавелся. Угостили
Очень щедро мексиканцы!

На червонцы снарядил я
Корабли. Руководимый
В этот раз своей звездой,
Я открыл здесь остров Кубу.

И теперь живу на Кубе
Губернатором, во имя
Фердинанда Арагонца
И Жуанны Кастильской.

Все, чего так жаждет свет,
Мной добыто: слава, почесть,
Благосклонность государя,
Даже орден Калатравы.

Я наместник, я имею
Сотню тысяч добрых пезов,
В слитках золото, брильянты,
Горы лучших жемчугов.

Ах, свой жемчуг созерцая,
Я томлюсь тяжелой мыслью:
Лучше, лучше мне иметь бы
Зубы, молодости зубы!

Зубы молодости! С ними,
Ах, и молодость погибла!
Злобно деснами гнилыми
Я скриплю при этой мысли.

Зубы молодости! Если б
Вас, и с молодостью вместе,
Можно было вновь купить,
Я сейчас, сейчас бы отдал

Все мои брильянты, жемчуг,
В слитках золото, сто тысяч
Добрых пезов и вдобавок
Даже орден Калатравы.

Все возьмите — почесть, славу,
Перестаньте excellenza
Называть меня; зовите
Дураком, молокососом!

Милосердая Мадонна!
Сжался ты над глупым старцем,
Изнывающим позорно
И от всех таящим муки!

Ах, тебе одной открою
Душу я и в том сознаюсь,
В чем, конечно, не сознался б
Ни единому святому:

Ведь они мужчины тоже!
А, сагасчо! даже в небе
Не позволю я мужчине
Пожалеть Жуана Леон.

Ты, ты женщина, Мадонна,
И, хотя твоя краса
И бесплотна, ты постигнешь
Умной, женственной душою,

Сколько страждет бедный смертный,
Видя, как невозвратимо,
Как позорно сохнут, вянут
Красота и свежесть тела!

Ах, счастливей нас деревья!
Сколько их в лесу ни есть,
Все в одно и то же время
Обнажает зимний ветер.

Все они зимою наги;
Ни один сучок зеленый
Глаз насмешливо не колет
Сотоварищам увядшим.

Ах, у нас, людей, имеет
Каждый собственное время:

У одних — зима, а тут же
У других — весна и лето!

И старик с двойною болью
Сознает свое бессилье,
Видя свежесть молодую.
Милосердая Мадонна!

Отряхни ты с этих членов
Зиму старости, сковавшей
Злобно кровь мою морозом,
Снегом голову покрывшей!

Прикажи ты солнцу снова
Влить мне в жилы прежний пыл;
Прикажи весне, — пусть в сердце
Соловья она разбудит!

Возврати щекам ты розы,
Золотые кудри снова
Голове отдай! О, дева!
Возврати мне юность, юность!»

И, сказав такую речь,
Застонал Жуан де Леон,
И, в отчаяньи глубоком,
Он лицо закрыл руками;

И стонал он, и рыдал он
Так порывисто и громко,
Что потоки слез бежали
Меж его иссохших пальцев.

2

Рыцарь флотские привычки
Сохраняет и на суше:
Он попрежнему, как в море,
В койке дремлет по ночам.

И без качки, сладко в море
Усыпавшей, рыцарь тоже

Обходиться не желает, —
И велит качать он койку.

Заправляет этим Кака,
Старушонка-индианка;
И, качая колыбельку
С спящим в ней седым младенцем.

Отгоняет опахалом
Надоедливых москитов
И поет тихонько песню,
Песню родины далекой.

В чем тут чары? В этой песне
Или в голосе старухи,
Что чиликает, щебечет
Точно чижик? И поет:

«Крошка-птичка Колибри,
В путь-дорогу к Бимини!
Поплывем мы следом в наших
Разукрашенных пирдгах!

Крошка-рыбка Бридиди,
В путь-дорогу к Бимини!
И, убрав цветами весла,
Погребем мы за тобою!

Там, на этом Бимини,
Нет конца весне блаженной:
Золотые птички свищут
В синем небе три-ли-ли!

Там земля покрыта сплошь
Дивно-стройными цветами.
Страстно их благоуханье,
И огнем горят их краски.

Нальмы гордые над ними
Распростерли опахала
И дарят цветам влюбленным
Свежесть нежную и тень.

Там, на этом Бимини,
Протекает ключ волшебный;
Влага этого ключа
Юность миру возвращает.

Чуть лишь каплю этой влаги
На цветок увидший брызнешь.
Он воспрянет, встрепенется,
Расцветет, похорошеет.

Чуть лишь каплю этой влаги
На сучок засохший брызнешь,
Он воскреснет, пустит почки,
В зелень пышно нарядится.

Чуть старик хлебнет той влаги,
С плеч своих он сбросит старость
И из гусеницы скверной
В мотылька преобразится.

Не один уж седовласый,
До кудрей допившись русых,
Постыдился возвратиться
В край родной молокососом.

Не одна старушка тоже,
До румянца дохлебавшись,
Поконфузилась вернуться
Вновь на родину девчонкой.

Оставались эти люди
Навсегда на Бимини;
Приковал их светом, счастьем
Остров молодости вечной,

Остров молодости вечной,
Чудный остров Бимини!
По тебе томится сердце;
Ах, друзья мои, прощайте!

Старый кот наш Мимили,
Пегушок наш Кякрики,

Никогда уж, ни-ни-ни,
Не вернемся с Бимини».

Так старуха пела. Рыцарь
Сквозь дремоту слышит песню
И порой во сне лепечет,
Как младенец: «Бимини!»

3

Солнце весело и пышно
Озаряет остров Кубу.
В синем воздухе сегодня
Скрипки звучные поют.

От лобзаний жгучих мая
Разрумянилася Куба
И в одежде изумрудной
Блещет, пышет, как невеста.

Берег весь кипит народом
Всяких возрастов, сословий;
Но у всех сердца трепещут
От единого волненья,

Оттого, что полны, горды
Все одной и той же мыслью.
Я во всем ее читаю:
В дрожи радостной и тихой

Старушонки-богомолки,
Ковыляющей с клюкою
И гнущей под унылый
Четок стук свой Pater noster.

Эту мысль я вижу ясно
И в улыбке синьориты,
Величаво проносимой
В позлащенном паланкине

И кокетливо шалящей
С обаятельным идальго.

Что, крутя свой ус задорный,
Рядом шествует с синьорой.

Всюду искренняя радость:
И в чертах солдата черствых,
И на лицах клерикальных,
Добрый вид принявших нынче.

Бернардинец тощий руки
Потирает с наслаждением;
Капуцин самодовольно
Гладит жирный подбородок;

Даже сам старик епископ,
Муж, во время литургии
Столь суровый, — ибо это
Замедляет час обеда, —

Даже он расцвел сегодня,
И карбункул на носу
Так и пышет. Разодетый
По-воскресному, идет он

Под пурпурным балдахином,
Ожуряемый дьячками
И со свитой из прелатов.
Все они в парчевых ризах;

Каждый держит желтый зонтик
Над плешивой головою;
Каждый видом очень схож
С колоссальным шампиньоном.

Направляется процессья
К алтарю, который гордо
Возвышается у моря,
Под открытым небом Кубы,

И украшен весь цветами,
Образками, стройной группой
Пальм ветвистых, позолотой
И свечами восковыми.

Сам епископ нынче служит
Здесь торжественный молебен,
И с молением призовет
Он небес благословенье

На нарядные суда,
Что, покачиваясь в рейде,
Собираются направить
Паруса на Бимини.

Да, вот он и есть тот флот,
Что Жуаном Понс де Леон
Снаряжен и изготовлен
Для отплытия на остров,

Где течет вода живая,
Молодящая. С побережья
Много тысяч пожеланий
Всяких благ летят к Жуану,

Благодетелю и другу
Человечества; в надежде
Все, что рыцарь, возвратившись,
Щедро каждого наделит

Склянкой юности. У многих
Уж текут заране слюнки;
Их баюкает блаженство,
Как флотилью в рейде ветер.

Состоит флотилья эта
Из пяти судов: большая
Каравелла, две фелуки,
Две малютки-бригантины,

Адмиральской шхуной служит
Каравелла, и украшен
Флаг ее гербом Кастильи,
Арагоньи и Леона.

Точно сельская беседка,
Вся она — в ветвях березы

И в гирляндах, и в букетах,
И в игривых пестрых флагах.

Имя ей дано — «Сперанца»;
И на задней части шхуны
Возвышается статуя
Этой доньи, вся из дуба,

Вся покрытая отлично
Лакированную краской,
Презирающе бури, —
Величавая фигура!

Ярко-красны щеки доньи,
Ярко-красны шея, груди,
Выползающие гордо
Из зеленого корсета.

Также зелены и платье
И венки; но кудри, брови
И глаза смолы чернее;
В руку ей вложили якорь.

Экипаж флотилии нашей
Составляют двести с лишком
Человек; меж ними только
Шесть попов и женщин — шесть.

В каравелле, где команду
Отправляет самолично
Дон-Жуан, мужчин — сто десять,
Дам — одна. Зовется Какой

Эта дама. Да, старуха
Кака нынче стала дамой
И синьорой Жуанитой. —
С той поры, как старый рыцарь

Дал ей сан гоф-обер-няньки.
Лейб-махальщицы придворной
И — в в грядущем — лейб-мундшенкщиц
Юных сил на Бимицц.

Золотую чашу в руки
Дали ей, как символ этой
Новой должности, и в тогу,
Словно Гебу, облекли.

Горы кружев драгоценных,
Жемчугов, как бы в насмешку,
Почивают на увядших,
Смуглых прелестях синьоры.

Рококо-антропофагно,
Карибо-помпадурно
Возвышается прическа,
Вся утыканная роем

Крошек-птичек; так красиво,
Так пестро блещут их перья,
Что они — точь в точь цветы
Из камней драгоценных.

Эта странная прическа
Из пернатых превосходно
Соответствует мудреной,
Попугайской роже Каки.

К ней pendant вполне достойный
Образует Понс де Леон.
Он, глубоко убежденный
В том, что юность впереди,

Уж заране нарядился
В платье молодости милой,
Нарядился по последней,
Лучшей моде первых франтов.

С заостренными носками
И со шпорами сапожки;
Панталоны, у которых
Цвет одной ноги зеленый,

А другой — прозрачно-желтый;
Куртка — шелковая; плащ,

Ловко кинутый на плечи;
Перья страуса на шляпе.

Разрядившись так отлично,
В руки лютию взяв, легко
Семенит он по «Сперанце»,
Раздавая приказанья.

Он велит, чтоб якорь шхуны
Подымали в ту минуту,
Как сигналом возвестится
Окончание молебна.

Он велит, чтоб, отплывая,
Все суда его флотилии
Сотней пушечных салютов
Огласили берег Кубы.

Он велит — и сам смеется,
И вертится, и танцует,
И пьянеет напоследок
От волшебного напитка

Обольстительной надежды —
Струны лютии чуть не рвет
И козлино-дребезжащим
Напевает голоском:

«Крошка птичка Колибри,
Крошка-рыбка Бридиди,
Укажите нам дорогу,
Мы за вами — в Бимини».

4

Понс де Леон не из дури,
Не из прихоти нелепой
Экспедицию решил
Предпринять на Бимини.

Что не мифом был тот остров,
В это рыцарь твердо верил:

Песня старой няни Каки
Для него была порукой.

В моряке сильнее вера
В чудеса, чем в прочих людях:
Вечно блещет перед ним
Чудно-огненное небо;

Он ведь слышит непрерывно
Шум таинственно волшебный
Волн, из лона коих вышла
Донья Venus Aphrodita!

Посвятим хорев наши
Мы теперь изображенью
Тех невзгод, лишений, бедствий,
Что терпел несчастный рыцарь.

Ах, не только с ним остался
Недуг старости печальный, —
Он еще немало добыл
Новых всяческих болезней.

Юных сил ища, старел он
С каждым днем все больше, больше,
И, иссохший, одряхлевший,
Наконец приплыл на остров,

Тихий остров, где под тенью
Вечно грустных кипарисов
Пробегает речка, тоже
Исцеляющая чудно.

Имя речки — Лета. Выпей
Из нее, и ты забудешь
Все мучения, забудешь
Все, что выстрадало сердце.

Чудный остров! Стоит только
Раз приехать, чтоб навеки
В нем остаться, потому что
Этот остров — Бимини.

КРАСНЫЕ ТУФЛИ

Кошка была стара и зла,
Она сапожницею слыла;
И, правда, стоял лоток у окошка,
С него торговала туфлями кошка,
А туфельки, как напоказ,
И под сафьян, и под атлас,
Под бархат, и с золотой каймой,
С цветами, с бантами, с бахромой.
Но издали на лотке видна
Пурпурно-красная пара одна;
Она и цветом и видом своим
Девчонкам нравилась молодым.

Благородная белая мышка одна
Проходила однажды мимо окна,
Прошла, обернулась, опять подошла,
Посмотрела еще раз поверх стекла —
И вдруг сказала, робея немножко:
«Сударыня киска, сударыня кошка,
Красные туфли я очень люблю,
Если недорого, я куплю».

«Барышня, — кошка ответила ей, —
Будьте любезны зайти скорей,
Почтите стены скромного дома
Своим посещением; я знакома
Со всеми по своему занятию,
Даже с графинями, с высшею знатью.
Туфельки я уступлю вам, поверьте, —
Только подходят ли вам, примерьте.
Ах, право, один уже ваш визит...» —

Так хитрая кошка лебезит.
Неопытна белая мышь была,
В притон убийцы она вошла,
И села белая мышь на скамью,
И ножку вытянула свою,
Узнать, подходят ли туфли под меру, —
Являя собою невинность и веру.

Но в это время, грозы внезапней,
Кошка ее возьми да цапни,
И откусила ей голову ловко,
И говорит ей: «Эх, ты, головка!
Вот ты и умерла теперь.
Но эти красные туфли, поверь,
Поставлю я на твоём гробу;
И когда затрубит архангел в трубу,
В день воскресения, белая мышь,
Ты из могилы выползи лишь,
Как все другие в этот день, —
И сразу красные туфли надень».

Мораль.

Белые мышки, — мой совет:
Пусть не прельщает вас суетный свет,
И лучше пускай будут босы ножки,
Чем спрашивать красные туфли у кошки.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ПЕС

Пудель, который любит труд,
Которого люди Брутом зовут,
Издавна прославлен у всех вокруг
За мудрость свою и за кроткий дух.
Могу в пример его привести
И мужества и совести.
Его называют по признакам многим
Натаном Мудрым четвероногим.
Вот это воистину пес святой!
И верен и брав! Романтик прямой!
От Брута в доме не было тайн,
Всюду его посылал хозяин,
Даже за мясом. Разумный пес
Спокойно в зубах корзину нес,
В которую сложено было заранее
Мясо телячье, говяжье, баранье. —
И как ни прельщало вкусное сало,
Брут о сале не думал нимало,

И ровно и верно, как древний стоик,
Он нес драгоценную ношу от стоек.

Однако, увы, у псов открыто
Водится куча псов-бандитов, —
Как и у нас, — простые дворняги,
Воры, завистники и бродяги.
Кучка морального блага не хочет,
В угаре чувственном жизнь волочит.
И в заговор вступила орава
Против Брута, который браво,
С корзиной в зубах, не сходил никогда
С дороги долга и стыда.

И вот однажды, когда домой
От мясника стезею прямой
Он шел, внезапно и слева и справа
На Брута набросилась орава;
Корзина вырвана из пасти,
Упали наземь лучшие части,
И жратвенно-жадно над кучей сала
Голодная шайка заворчала.
Брут созерцал позор такой
И сохранял философский покой;
Однако потом ему показалось,
Что этим манером вся шайка нажралась
Тогда он тоже на мясо налег
И обглодал бараний бок.

Мораль.

И ты, и ты жрешь тоже, Брут? —
Так моралисты возопиют.
Да, есть опасность в злом примере;
И, ах, как все земные звери,
Не беспорочен даже тот
Пес добродетельный, — он жрет!



ГИМН

Я — меч, я — пламя!

Я вам светил во мраке,
И, когда начался бой,
Я впереди сражался,
В первом ряду.

Вокруг меня лежат
Моих товарищей трупы.
Но — победили мы.
Мы победили,
Но лежат вокруг
Моих товарищей трупы.
В ликующей песне победы
Слышен хорал
Погребального торжества.
Но у нас времени нет
Ни для радости,
Ни для скорби:
Вновь звучат барабаны,
Начинается новый бой.

Я — меч, я — пламя!

К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОЭТУ

Поешь, как некогда Тиртей
Пел своего героя.

Но плохо выбрал публику
И время не такое.

Усердно слушают тебя
И хвалят дружным хором,
Как благородна мысль твоя,
Какой ты мастер форм.

И за твое здоровье пить
Вошло уже в обычай
И боевую песнь твою
Подтягивать мурлыча.

Раб о свободе любит петь
Под вечер, в заведении.
От этого питье вкусней,
Живей пищеваренье.

СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ

Без слез их взор, печальный и грубый,
Сидят у станка и скалят зубы:
«Германия, ткем мы саван твой,
Проклятье трехцветное ведем каймой, —
Мы ткем, мы ткем!

Проклятье богу, кому сквозь голод
Моллись мы, — сквозь голод и холод;
Напрасно мы ждали за часом час:
Он обманул, одурачил нас, —
Мы ткем, мы ткем!

Проклятье королю, злому владыке,
Кого не тронули наши крики,
Кто выжал из нас последний грош
И дал, как скот, повести под нож, —
Мы ткем, мы ткем!

Проклятье отечеству, родине лживой,
Где лишь позор и низость счастливы,

Где рано растоптан каждый цветок,
Где плесень точит любой росток, —
Мы ткем, мы ткем!

Станок скрипит, челноку не лень;
Мы ткем неустанно ночь и день,
Германия старая, ткем саван твой,
Тройное проклятье ведем каймой, —
Мы ткем, мы ткем!»

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Брось смущенье, брось кривлянье,
Действуй смело, напролом.
И получишь ты признание,
И введешь невесту в дом.

Сыпь дукаты музыкантам, —
Не идет без скрипок бал, —
Улыбайся разным тантам,
Мысля: чорт бы вас побрал.

О князьях толкуй по чину,
Даму также не тревожь;
Не скупись на солонину,
Если ты свинью убьешь.

Коли ты сдружился с чортом,
Чаще в кирку забегай,
Если встретится пастор там,
Пригласи его на чай.

Коль тебя кусают блохи,
Почешись, но невзначай;
Коль твои ботинки плохи, —
Ну, так туфли надевай.

Если суп твой будет гадость,
На супругу не ропщи,
Но скажи с улыбкой: «Радость,
Как прекрасны эти щи».

Коль жена твоя по шали
Затоскует, — две купи,
Накупи шелков, вуалей,
Медальонов на цепи.

Ты совет исполни честно,
И узнаешь, друг ты мой,
В небе царствие небесно,
На земли вкусишь покой.

1649 — 1793 — ???

Цареубийцами были бритты,
Весьма неотесаны и сердиты.
Без сна последнюю ночь провел
Карл, их король, в замке Уайтголл.
Издевка шумела у самых ворот.
Молотками стучали, где рос эшафот.

Невежливый тоже француз был:
На казнь в повозке однокопной
Луи Капета они отвозили;
Не дали ему и коляски прогонной,
А ведь согласно этикета
Ему бы подобало это.

Еще было хуже с Марией-Антуанетой,
Ее совсем обошли каретой;
Как *dame d'atour*, как шамбеллан,
К ней санкюлот сел в шарабан.
И вздернула гордо вдова Капета
По-габсбургски пухлую губку за это.

Француз и бритту душевность чужда
По самой сути; но немец всегда
Душевен, — он пребудет душевным
Даже в терроре самом гневном.
От немца, пока на земле он живет,
Их величествам будет почет.

Карета в шесть упряжей, в коронках,
Кони в черных султанах, в попонках,
Высоко на козлах, с кнутом в креп-де-шине,
Плачущий кучер, — так будет в Берлине
На место казни монарх подвезен
И верноподданно там казнен.

БРОДЯЧИЕ КРЫСЫ

Два сорта крыс на свете:
Те сыты, голодны эти.
Сытые дома спокойно живут,
Голодные из дома бегут.

Они бегут без оглядки
Мили, милей десятки,
Вперед без отдыха, все вперед,
Ни ветер, ни буря их не берет.

Они ползут горами,
Они плывут морями;
И многие тонут и падают в ров,
Живые не смотрят на мертвецов.

И твари эти опасны,
И морды их ужасны;
Острижены все под égalité,
Во всей красоте крысы те.

Сих радикалов когорта
Не верит ни в бога, ни в чорта,
Они не крестят свой приплод,
Владеет женами весь народ.

Сих чувственных крыс кагалу, —
Им только бы жрать до отвалу;
Не мыслят они, при жратве и питье,
Что наше бессмертно бытие.

Дикая эта громада
Не боится ни кошки, ни ада;

У них ни дома, ни денег нет,
А хотят делить по-новому свет.

Бродячие крысы, о горе!
Они придут к нам вскоре!
Идут, — я слышу со всех сторон
Их свист, а имя им — легион.

О горе, что будет с нами,
Они уже пред воротами!
Сам бургомистр, сам сенат
Головами трясут — ни вперед, ни назад.

Ружья мещане хватают,
Попы в набат ударяют:
Государства морального существо,
В опасности тяжкой — имущество!

Ни звон колокольный, ни папе обеты,
Ни достопремудрых сенатов декреты,
Ни даже пушки, ни ружья, ни плети
Уже не помогут вам, милые дети.

Уж вам не помогут слов увечья
Давно умершего красноречья.
Крыс не ловят в силлогизмы,
Крысы скачут через софизмы.

Голодный желудок внемлет пылко
Лишь супологике с мясопосылкой,
Лишь аргументам от жаркого
С колбасоцитатами из Кракова.

Немую рыбу в масле до рта
Вся радикальная любит когорта
Гораздо больше, чем Мирабо
И Цицерона с речами его.

ЗАВЕЩАНИЕ

Пора духовную писать,
Как видно надо умирать.

И странно только мне, что я ране
Не умер от страха и страдалий.

О, вы, краса и честь всех дам,
Луиза! Я оставляю вам
Шесть грязных рубах, сто блох на кровати,
А также триста тысяч проклятий.

Тебе завещаю я, милый друг,
Что скор на совет, а на дело туг,
Совет — в воздаянье твоих; он краток:
Возьми корову, плоды теляток.

Кому мне веру свою завещать
В отца, и сына, и духа. и мать?
Император китайский, раввин пизнанский
Пусть поровну делят мой дух христианский

К свободам, к народам немецкий пыл,
Мыльный пузырь из лучших мыл,
Завещаю цензору града Кревинкель;
Питательней был бы ему пумперникель.

Деяния, коих свершить не успел,
Проект отчизноспасательных дел
И от похмелья медикамент
Тебе завещаю, немецкий парламент.

Колпак ночной, белее, чем мел,
Оставляю кузену, который умел
Так жарко отстаивать право бычье;
Как римлянин истый, молчит он пынче.

Сторожу веры и чистоты,
Обходящему в Штутгарде все посты, —
Один пистолет (но без заряда),
Может жену им пугать изрядно.

Портрет, на коем представлен мой зад,
Швабской школе; мне говорят,
Мое лицо вам неприятно, —
Так наслаждайтесь частью обратной.

Завещаю бутылку слабительных вод
Вдохновенью поэтов; который год
Страждет оно запором пеня.
Будь вера с любовью ему в утешенье.

Сие же припись к духовной моей:
В случае, если не примут вещей,
Указанных выше, — все угоды
К святой католической церкви отходят



ПРИМЕЧАНИЯ

КНИГА ПЕСЕН

5. *Пролог. Я в старом сказочном лесу.* — Из предисловия Гейне к 3-му изданию «Книги песен» 1839 г.

ЮНЫЕ СТРАДАНИЯ

Сновидения

7. *Зловещий грезился мне сон.* — Это стихотворение, равно как и два другие в том же отделе «Сновидения» — «*Чего же ты медлишь, сын крови и тьмы*» и «*Покинув владычицы гордой дом*», навеяны, как полагают комментаторы Гейне, образом Иозефы, о которой рассказывает Гейне в своих «Мемуарах». Дед, отец и дядя Иозефы были палачами в Дюссельдорфе, родном городе Гейне, где последний с нею познакомился. Знакомство превратилось в романтическую дружбу и, как признает сам Гейне, отразилось в его юношеских «Сновидениях».

9. *Раз сам себя во сне увидел я.* — Это стихотворение, равно как и следующее «*Мне человек маленький, нарядный*», имеет в виду, несомненно, вступление в брак двоюродной сестры Гейне, Амалии, которую он любил без взаимности.

13. *Покинув владычицы гордой дом.* — Ринальдо Ринальдини, Шиндерано (Шиндерганес) и Орландина — герои трех популярных «разбойничьих» романов эпохи детства и юности Гейне. Карл Моор — главное действующее лицо в «Разбойниках» Шиллера. Мортимер и Мария — героини трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Филлистер соответствует, в жаргоне немецкого студенчества, понятию «обыватель», «мещанин». Гейн (друг Гейне — народная кличка «Смерти» не немец .

Песни.

20. *Колыбель моей печали.* — Обращение к Гамбургу, откуда автор, испытав там неудачи в делах и в любви, вернулся в 1819 г. в Дюссельдорф.

21. *Подожди, моряк суровый.* — *Эрис* — богиня вражды у древних греков. *Троя* — полулегендарный город в Малой Азии; осада сго и падение воспеты в «Илиаде» Гомера.

Романы.

27. *Гренадеры.* — Написано в 22-летнем возрасте и, по словам Гейне, навеяно случайно услышанным им в Дюссельдорфе разговором о бедствиях «несчастливых французов, которые во время похода в Россию угнаны были в Сибирь и задержаны там на долгие годы, несмотря на то, что мир уже был заключен, и только теперь возвращались домой».

Первое из произведений Гейне, отражающих его восхищение Наполеоном, в котором он видел своеобразного носителя идеи освобождения народов.

29. *Дон Рамиро.* — В этом произведении, как и во многих последующих, включая трагедию «Альмансор», Гейне выбирает местом действия Испанию и облакает героев в испанские одеяния. Комментаторы правы по существу, усматривая и здесь поэтическое претворение его личных страданий. (Неудачная любовь к Амалии Гейне.)

34. *Валтасар.* — Переработка библейского сказания, *Валтасар* — последний вавилонский царь.

38. *Певиде.* — Обращено в Каролине Штерн, юной примадонне дюссельдорфской оперы. *Ронсеваль, Роланд, Гавелон* и пр. — см. прим. к стр. 305 и 359.

40. *Разговор на Падерборском лугу.* — *Падерборнский луг* — местность в Вестфалии.

Советы.

43. *Фреско-сонеты Христиану Э.* — *Христиан Зете* — один из лучших друзей Гейне, начиная со школьной скамьи и вплоть до смерти (пережил Гейне на 1 год).

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

48. Название этого отдела объясняется тем, что до включения его в последующих изданиях в «Книгу песен» он был помещен, под этим же названием, между трагедиями «Альмансор» в Ратклифф» в особо вышедшей книге.

52. *На глазки возлюбленной моей.* — *Канцоны, терцины, стансы, сонеты* — различные формы в стихосложении.

52. *Тебя умчит далеко.* — *Ганг* — река в Индии, считавшаяся священной.

54. *Как из пены волн рожденная.* — Подобно последующим, это стихотворение является отзвуком несчастной любви к Амалии Гейне.

68. *Былые, злые песни.* — *Гейдельбергская бочка* — величайшая в мире, находится в одном из винных погребов г. Гейдельберга. *Майнцский мост* — самый длинный в то время мост в Германии, через Рейн. *Блаженный Христофор* — гигантская статуя в Кельнском соборе.

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

78. *Привет тебе, громада.* — *Всегда-то распахнется перед дурой дуралей* — в оригинале игра слов: das Thor — ворота и der Thor — глупец.

81. *Я Атлас злополучный! Целый мир.* — *Атлас* (Атлант) — герой греческих мифов, титан, обреченный за штурм неба поддерживать на плечах небосвод.

85. *Я чорта позвал, и он пришел.* — *Санскрит* — язык древних индусов. *Гегель* — знаменитый немецкий философ. *Фуке* (де ла Мот-Фуке) — немецкий поэт-романтик. *Геката* — богиня преисподней у древних греков (также божество лунного света). Здесь, вместе с тем, название современного Гейне юмористического журнала.

90. *Царь Висвамित्रа тшился.* — По индийскому преданию, у кающегося грешника Васишты была божественная корова, которая обеспечивала обладание всеми земными благами. Царь Висвамित्रа просьбами и силою пытался получить эту корону, но Васишта с помощью коровы взял верх над царем.

91. Ты — как цветок весенний. — Обращено, повидимому, к новой любви автора, Терезе Гейне.

97. Что за юноша милейший! — Имеется в виду Р. Христиани, в дальнейшем подружившийся с Гейне и породнившийся с ним. Гейне поручил ему, по завещанию, издание своих сочинений.

97. Мне снился сон, что я господь. — Эуген — друг Гейне, граф Эуген фон Бреза.

101. Я и сам в былые годы. — *Ma foi* (франц.) — «честное слово», «право».

103. По бульварам Саламанки. — Саламанка — город в Испании, со старинным университетом. В этом стихотворении, как и в следующем, под Саламанкою следует разуметь Геттинген, университетский город в Германии, где учился Гейне.

104. Есть в Галле рынок; там. — Галле — университетский город в Германии.

108. Донья Клара. — Сюжет стихотворения частью заимствован у Фуке, частью отражает личное переживание. В одном из писем Гейне поясняет: «Романс, в своем существе, является сценою из моей собственной жизни; только Тиргартен я превратил в сад алькада, баронессу — в сеньору, а самого себя — в св. Георгия или даже Апполлона!» В другом письме Гейне пишет: «Стихотворение недостаточно ясно выражает мою мысль и даже дает нечто другое. Оно не должно бы возбуждать смех и являть собою тенденцию. Я хотел просто, без нарочитости и эпически-бесстрастно, передать в стихах то лично пережитое и вместе с тем общечеловеческое, всемирно-историческое, что явственно отразилось во мне». Алькад — высшее административное лицо в испанском городе. Сарагосса — город в Испании.

114. На богомолье в Кевлар. — По поводу происхождения этого стихотворения Гейне рассказывает, как в детстве школьный товарищ поведал ему, что, ради исцеления его больной ноги, его мать принесла в дар Марии восковую ногу; уже студентом тот же товарищ, переживший неудачную любовь, пояснил, что теперь следовало бы пожертвовать восковое сердце. Несколько лет спустя Гейне увидел его, действительно, в процессии, под руку со старушкой-матерью, бледного и большого.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГАРЦ

117. *Гарц* — горная местность в Германии, где Гейне путешествовал в 1824 г. Путешествие описано им в I-м томе «Путевых картин», куда вошли и все стихотворения, здесь помещаемые.

125. *На Брокене*. — *Брокен* — самая высокая гора в Гарце. По легендам — место сборища нечистой силы в Вальпургиеву ночь.

125. *Ильза*. — *Ильза* — горная речка в Гарце; *Ильзенштейн* — утес, на котором, по преданию, стоял замок. Стихотворение является отражением старинной легенды.

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

127. Два помещаемые здесь цикла стихотворений представляют собою две части «Северного моря». Третья часть — прозаическая и включена в «Путевые картины» («Нордерней»).

129. *Ночь на берегу*. — *Эдда* — сборник древнеисландских сказаний — первоисточник по мифологии севера. *Руны* — древние германские письмена на камне, окружавшиеся ореолом таинственности.

131. *Посейдон*. — *Посейдон* (у римлян Нептун) — бог моря в древней Греции (Элладе). *Одиссей* — один из греческих царей, участвовавших в троянской войне. Бедствия его во время возвращения на родину воспеты в «Одиссее» Гомера. *Сын Лаэрта* — Одиссей. *Киммерийская ночь*. Киммерия — у Гомера баснословная страна на крайнем западе, куда не проникает солнце. *Посидаон* — «Посейдон» в написании Гомера. *Приам* — царь осаждавшейся греками Трои (Малая Азия). *Полифем* — циклоп (одноглазый), державший в плену Одиссея. *Паллада-Афина* (у римлян Минерва) — богиня разума у древних греков. *Амфитрита* — морская богиня, жена Посейдона. *Дщери Нереея* (Нереиды) — дочери Нереея, одного из богов водяной стихии. Одна из них — Амфитрита.

133. *Признание*. — *Этна* — вулкан в Сицилии.

137. *Привет морю*. — *Талатта! Талатта!* — по-гречески «Море! Море!» — так, по Ксенофону, описавшему от-

ступление десяти тысяч греков в войне с персами, приветствовали греки море, к берегу которого они долго пробивались.

141. *Песня океанид*. — *Океаниды* — по греческой мифологии нимфы, дочери Океана. *Супруга Пелея* — одна из нимф-нереид, Фетида, мать Ахиллеса, героя гомеровской «Илиады». *Ниоба* — мифическая царица у греков, обратившаяся в камень от горя, после того как лишилась своих детей.

144. *В гавани*. — *Бремен* — торговый город в Германии. *Гегель* — знаменитый немецкий философ (1770—1831). *Гаус* — профессор по кафедре права в Берлине, друг юности Гейне. *Шильда* — городок в Пруссии. *Тунис* — город в сев.-зап. Африке. *Шираз* — город в Персии, известный обилием и качеством роз. *Гафиз* — великий персидский поэт XIV в. *Сарон*, *Вефиль* (Бель-Эль) и *Хеврон* — местности в Палестине, упоминаемые в Библии. *Ирод* — царь древней Иудеи.

АЛЬМАНСОР

149. Как и во многих других произведениях Гейне, в его юношеской трагедии «Альмансор» Испания, с ее специфическим колоритом, — лишь обычная декорация. Личные переживания на основе неудачной любви к Амалии Гейне и отчужденности от родных прозрачно замаскированы здесь обличиями испанцев и мавров, причем последние, несомненно, отображают современное Гейне еврейство. По объяснению самого автора, «сюжет этой трагедии — религиозно-политический и касается интересов современности».

В оценке этой трагедии сам автор прошел несколько стадий — от первоначальной юношеской удовлетворенности, через острое недовольство, близкое к самоосмеянию, — к признанию ее значительной художественной ценности.

Написание имени главного действующего лица — Альмансор, вместо прежнего «Альманзор», вводится в русском издании Гейне впервые, как отвечающее действительному произношению этого имени в испанском языке.

151. *Гомелы, Ганзулы, Абенкераги, Зегры* — высшие дворянские роды в Гренаде, враждовавшие между собою. *Альгамбра* — загородный дворец мавританских владельцев Гренады, прекрасный памятник арабской архитектуры, построен в XIII — XIV вв.

152. *Фернанд* — Фердинанд-Католик, Арагонский (1479—1516), браком с Изабеллой Кастильской положил начало слиянию обоих испанских королевств. В 1492 г., после десятилетней войны, изгнал мавров и завоевал Гренаду.

156. *Боабдия* — последний мавританский властитель Гренады, лишенный трона в 1492 г. *Мендоза* — Диего Хуртадо де Мендоза, написавший историю войны против Гренады.

159. *Альфакисы, Моравиты* — представители наследственных родов мавританского духовенства. *Хименес* — кардинал Хименес, один из главных сподвижников Фердинанда и Изабеллы, учредивший суд инквизиции.

160. *Где Тарика скала*. — Мавританский вождь *Тарик*, высадившись у Гибралтара (Гебель-аль-Тарик), разбил готов при Херес де ла Фронтера в 711 г. и овладел Испанией.

162. *Чтобы твой ангел, когда тебя по имени окликнет, остался без ответа*. — По Талмуду, ангел у небесных врат спрашивает имя умершего и велит ему произнести тот стих, в котором содержится это имя. Тот, кто изменяет имя или не знает стиха, лишается небесного царствия. *Мэдшун и Лейла* — романтическая поэма персидского поэта XII в. Низами.

170. *Яго де Компостелла* — Иаков Компостельский (католический святой), покровитель Испании.

179. *Кааба* («черный камень») — святилище арабов в Меккской мечети.

185. *Кафф* — по магометанскому поверью, гора, окружающая мир; собственно — Кавказ.

188. *Гурии* — прекрасные девы в магометанском раю, дающие блаженство праведным.

190. *Эблис* (Иблис) — злой дух по магометанскому вероучению.

190. *Хор*. — Эта сцена является, бесспорно, слабейшей во всей трагедии. Гейне крайне наивно подменяет здесь действие пространном историческим монологом.

Омайады — династия калифов (661 — 1031), истребленная Абассидами в 750 г. Остался в живых один Абдурахман, основатель второй династии Омайядов в Кордове в 755 г.

191. *Кордова пала* — в 1031 г.

И пала светозарная Гренада — в 1492 г.

192. «*Квируга и Риэго!*» — В увлечении современностью Гейне перенес в Испанию XV в. политико-религиозную борьбу в этой стране в двадцатых годах XIX в. *Квируга* — испанский генерал, участник национальной войны против Наполеона. *Риэго* — товарищ его, революционер, повешенный в 1823 г.

201. *Ауто-да-фе* («дело веры») — сожжение на костре.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОВАЯ ВЕСНА

216. *Взор ночи весенней так кротко вновь.* — *Филомела* — соловей (по-гречески).

215. *Все деревья зазвучали.* — *Эрос* — Эрот, Амур — бог любви.

РАЗНЫЕ

237. *Да, ты, конечно, мой идеал.* — *Carable* (франц.) — способен. *Opéra* — опера. *Robert-le-Diable* (франц.) — Роберт-Дьявол.

239. *Посещая часто вас.* — *Bologna* — Болонья, город в Италии. *Del Gigante* — Гиганта. *Нептун* — бог моря у древних римлян. *Жан* — Жан Булонь, фландрский скульптор; фонтан *Нептун* в Болонье — самое замечательное его произведение.

240. (*Первая говорит:*) — (*Вторая говорит:*) — форма построения лирического стихотворения, свойственная немецкой поэзии. Ею пользовался у нас Александр Блок.

243. *В которую из двух влюбиться.* — *Буриданов друг*, т. е. «Буриданов осел», между двумя одинаковыми охапками сена гибнущий от голода, — образ-аргумент французского философа Буридана против существования свободной воли.

244. *Как ствол древесный стоит он.* — По индийскому сказанию, сыновья индийского царя Сагура были испепелены взором разгневанного отшельника; чтобы вернуть их к жизни, правнук Сагура Багирата обрек себя на тысячелетия на тягчайшие покаянные муки; бог Шива бнял ему наконец и повелел своей супруге Ганга (река Ганг) оживить сыновей Сагура, окропив их прах водою.

246. *Фридерика.* — Фридерика — Фридерика Роберт, жена известного писателя Людвига Роберта, друга Гейне.

246. *Оставь Берлин, где воздух густ и пылен.* — Индра — индусский бог неба.

247. *Струится Ганг. Разумными очами.* — Кокилас — птица из семейства кукушек, голос которой славится в Индии, как у нас пение соловья. Кама — бог любви. Вассант — весна.

247. *Струится Ганг и плещет. Гималайя* — высочайший горный хребет. Гандарвы — младшие боги у индусов, создающие музыкальную гармонию в небесных чертогах Индры.

255. *Едва лишь я начал труд творенья.* — *Doctores juris* (лат.) — доктора права.

256. *Тангейзер.* — Южно-германское предание XIII в., богато использованное немецкими писателями и композитором Р. Вагнером. Сущность его в том, что Тангейзер, случайно увидавший Венеру у ее горы (грота) Герцельберг, был завлечен ею на семь лет. Боясь погубить душу, он каялся в Риме, у папы Урбана, но, не получив отпущения грехов, вернулся к Венере.

261. *Поспешно и долго Тангейзер идет.* — *Трех дюжин монархов правленье.* — Германия состояла из множества мелких самостоятельных княжеств.

262. *У швабов я в школе поэтов был.* — О «швабской школе» — см. прим. к стр. 351. *Пса видел я в Дрездене.* Имеется в виду знаменитый писатель Людвиг Тик, живший с 1819 до 1841 г. в Дрездене. Гейне не одобрял его творчества поздней поры. *Веймар* — город, с которым связаны имена величайших немецких писателей — Гёте, Шиллера, Гердера и др. *Ганс* — известный юрист, друг Гейне, читавший в Берлине ряд лекций по новой истории. Лекции имели шумный успех, но были вскоре запрещены полицией. *Геттинген* — университетский город, где

учился Гейме. *Целлэ* — город в Ганноверской области, в Германии. *Альтона* — город на р. Эльбе, в Пруссии, непосредственно примыкающий к Гамбургу.

РОМАНСЫ

264. *Чайльд-Гарольд*. — Тело английского поэта Байрона, умершего в 1824 г., было отправлено графом Пьетро Гамба из Миссолунги (Греция) в Англию морем. *Чайльд-Гарольд* — поэма Байрона, носящая отпечаток его личной жизни.

267. *Аппо* (лат.) 1829 — в 1829 г. *Штеттин* — город в Пруссии.

267. *Аппо* 1839 — в 1839 г. *Шильда* (Шильдау) — городок в Пруссии.

268. *Ранним утром*. — *Сэн-Марсо* — предместье Парижа. *Эндимион* (греческая мифология) — красавец-юноша, пленивший богиню Луны. *Феб* (*Аполлон*) — бог солнца у греков (римлян).

271. *Бертран де Борн*. — Знаменитый трубадур *Бертран де Борн* (1145—1210) жил при дворе Элеоноры Аквитанской, жены короля английского Генриха II. В период длительной семейной распри между Генрихом II, с одной стороны, и женой его и сыновьями, с другой, Бертран был на стороне своей госпожи, помогая ей и даром песен и делом. *Плантагенеты* — династия, к которой принадлежал Генрих II.

273. *Психея*. — В греческой мифологии *Психея* — олицетворение человеческой души. Здесь — образы из сказки римского писателя Апулея о Психее и Эроте (Амуре, боге любви). «*Юный сонливец*» — спящий Эрот.

273. *Незнакомка*. — *Петрарка* — знаменитый итальянский поэт (1304—74). Его сонеты и канцоны были обращены к Лауре.

274. *Смена*. — *Клопшток* (1724—1803) — немецкий поэт, автор поэмы «Мессиада». Поэма, проникнутая религиозным чувством, доставила славу автору, но быстро утратила свое первоначальное значение в литературе, как произведение растянутое и малохудожественное.

275. *Жалоба старо-немецкого юноши*. — *Кассель* — город в Пруссии, с многочисленными увеселительными садами в окрестностях.

279. *Король Гаральд Гарфагар.* — *Гаральд Гарфагар* — король норвежский (863—930); он, после ряда счастливых войн, объединил в одно целое разрозненные области Норвегии.

OLLEA

281. *Ollea.* — Очевидно, слово это имеет в виду термин *Ollea* (правильнее *Olla*) *potrida* (исп.) — название популярного испанского кушанья из различных сортов мяса. В распространительном смысле — всякая всячина, смесь — как в данном случае.

281. *Родословная мула.* — *Буцефал* — легендарный конь Александра Македонского. *Готфрид* — Готфрид Бульонский, по преданию предводительствовал первым крестовым походом в конце XI в. *Россиант* — правильное Россиант — кляча, на которой развезжал Дон Кихот, герой знаменитого романа Сервантеса. *Санчо* — Санчо Панса — оруженосец Дон Кихота.

СОВРЕМЕННОСТЬ

284. *Адам I-й.* — *Consilium abeundi* (лат.) — «совет уйти» — формулировка постановлений университетских властей в Германии об увольнении студентов. *Magnificus* (лат.) — великолепный. *Lumen mundi* (лат.) — светоч мира. То и другое — эпитеты божества в богослужении на латинском языке.

286. *Тамбурмажор.* — *Кернера песни.* Карл-Теодор Кернер, известный немецкий поэт, автор патриотических военных песен во время наполеоновских войн.

288. *Генрих.* — *Генрих* — император Генрих IV, смирившийся по необходимости и кающийся перед папой Григорием VII в замке Каносса в Италии, принадлежавшем маркграфине Матильде Тосканской. Каносса — ныне нарицательное слово для вынужденного раскаяния.

289. *Тенденция.* — *Вертер* и *Лотта* — герои романа Гёте «Страдания юного Вертера».

290. *Китайский богдыхан.* — Направлено против короля Фридриха Вильгельма IV. Под *Конфуцием* (китайский мудрец) следует, по мнению комментаторов

Гейне, разуместь известного немецкого философа Шеллинга. *Погода, веры надежный щит* — имеется в виду собор в Кельне.

292. *К успокоению*. — *Брут* — один из главных участников умерщвления римского диктатора-императора Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. Его имя стало синонимом свободолюбия. *Мартовы иды* — дата римского календаря, соответствующая 15 марта — дню, когда был убит Цезарь.

293. *Мир навыворот*. — *Геринг* (нем. Häring) — фамилия писателя, выступавшего под псевдонимом Виллибальд Алексис. Тут игра слов: слово Häring однозвучно со словом Hering — селедка. *Санкюлот* (по-французски голоштанник) — прозвище, данное революционерам из народа во время Великой французской революции. *Геринг стал уже санкюлот* — имеется в виду, что даже этот писатель, патриотически настроенный, вызывал подозрения и подвергался в то время цензурным стеснениям. *Правду пишет Беттина*. Беттина фон-Арним в своей книге «Переписка Гёте с ребенком» допустила много фантастических отклонений от истины. Другая ее книга, написанная позже, содержала ряд обличений существовавшего порядка и вызвала симпатию Гейне. *Кот в сапогах*. Людвиг Тик, автор «Кота в сапогах», содействовал постановке на Берлинской сцене трагедии Софокла «Антигона». *Шимпанзе строит пантеон* — имеется в виду король баварский Людвиг I, построивший «Валгаллу» (храм с бюстами немецких героев и поэтов). *Масман* — профессор старо-немецкой филологии, ультра-патриот, объект постоянных нападок Гейне. *Укермаркский Монитёр*. Укермарк — северная область Бранденбурга, в Пруссии. Монитёр (от франц. Moniteur — указатель) — название официальных газет. *Мертвый живому*. «Живой» — Гервег, высланный в 1842 г. из Пруссии, поэт-радикал, автор «Стихотворений Живого».

294. *Просветление*. — *Михель* — нарицательное имя в Германии для простака-немца с массовой психологией.

АТТА ТРОЛЬ

297. *Атта Троль*. — Основная установка поэмы «Атта Троль» — сатирическая; Гейне имел в виду осмеяние

тенденциозной поэзии. Приводим его слова из предисловия к поэме: «В ту пору процветала так называемая политическая поэзия. Оппозиция, как говорит Руге, продала свою шкуру и сделалась поэзией. Музы получили строгое предписание — отныне перестать предаваться праздности и легкомыслию и поступить на службу в качестве или маркитанток свободы, или прачек христианско-германской национальности. В роше германских бардов особенно сильно распространился тот смутный, бесплодный пафос, тот бесполезный пар энтузиазма, который с пренебрежением к смерти кидался в океан общих мест и всегда напоминал мне американского матроса, который был таким восторженным поклонником генерала Джексона, что однажды без всякой надобности кинулся с верхушки мачты в море, воскликнув: «умираю за генерала Джексона!» Да, хотя у нас, немцев, не было еще никакого флота, но у нас были уже восторженные матросы, которые умирали за генерала Джексона в стихах и прозе. Талант был в то время очень неприятным даром природы, потому что навлекал на обладателя подозрение в отсутствии всякого характера. Завистливое бессилие нашло, наконец, после тысячекратных исканий, свое мощное орудие против гения; оно откопало антитезу между талантом и характером. Огромное большинство считало себя почти лично польщенным, когда слышало утверждение: сильные люди, правда, обыкновенно очень плохие музыканты, но зато хорошие музыканты обыкновенно совсем не сильные люди, а самое главное — сила, а не музыка. Пустая голова горделиво указывала теперь на свое полное сердце, а характер стал козырем. Помню одного тогдашнего писателя, который ставил себе в особенную заслугу, что не умел писать; за свой деревянный слог получил он почетный серебряный кубок».

Бороться в поэтическом произведении с тенденциозностью — это значит, все же, быть самому тенденциозным в поэзии и дать, в лучшем случае, только сагиру. Гейне избежал этой опасности силой своего поэтического дара, и первоначальный сатирический остов «Атта Троля» облекся в живую ткань художества. Поэма «Атта Троль» по справедливости признается одним из наиболее совершенных произведений Гейне.

297. *Фрейлиграт*, Фердинанд (1810—76) — один из крупнейших поэтов Германии середины XIX в. В основных своих произведениях он явился представителем школы «политической поэзии» и певцом свободы. Поэзии его свойственно, при наличии политической установки, высокое мастерство, и некоторые именовали его «немецким Виктором Гюго». Гейне в «Атта Троле» высмеивает его непрестанно; однако в предисловии к этой поэме он же, пытаясь ослабить впечатление от своей насмешки, утверждает, что высоко ценит его и считает наиболее значительным немецким поэтом из числа выдвинувшихся после июльской революции (1830). «Мавританский князь» — одно из ранних произведений Фрейлиграта.

299. *Котерэ* — курорт в Пиренеях, где Гейне жил летом 1841 г.

300. *Grand' Chaumière* — увеселительное место в Париже.

После смерти испанского короля Фердинанда VII (в 1833) возникла длительная распря между его младшим братом Дон Карлосом и вдовой короля Мариєю-Христиной, правившею от имени своей дочери Изабеллы. За королеву стояла либеральная партия, за Дон Карлоса — клерикалы (церковники). *Шнаппанский* (от французского слова «сенапап» — негодяй, бездельник). Гейне имеет в виду князя Феликса Лихновского, служившего у Дон Карлоса и описавшего военные действия в книге «Воспоминания 1837—1839 гг.» Убит в 1848 г. во время восстания во Франкфурте.

303. *Королева* испанская *Христина* вскоре после смерти Фердинанда VII обвенчалась с Дон Фернандо Муньос. *Пегас* — крылатый конь в греческой мифологии. прислужник Зевса; в позднейшем — прислужник муз и поэтов.

304. *Саги* — древние сказания. *Голубой цветок* — символ жизненной красоты в романе известного немецкого писателя Новалиса «Генрих фон Офтердинген».

305. *Ронсеваль*. Старо-французская «Песнь о Роланде» (XI в.) повествует о битве в Ронсевальской долине императора Карла Великого с сарацинами. Племянник Карла, Роланд, обладатель меча «*Дюрандаля*» и рога «*Олифанта*», гибнет в этой битве.

305. Профессор-филолог *Масман*, постоянно высмеиваемый Гейне, проводил идею «гимнастических обществ», придавая им патриотическое и политическое значение.

306. *Лазртид* — т. е. сын Лазрта, Одиссей, герой гомеровской поэмы «Одиссея». *Пенелопа* — жена Одиссея.

309. *Раумер* — известный немецкий историк.

314. *Нард* — аурматическое вещество.

315. *Туискион* — древне-германское божество, коему приписывался медвежий облик. *Бауер*, *Бруно* — автор появившихся в 1840 г. книг, критиковавших «Евангелие». Обратил на себя внимание своим свободомыслием. *Фейербах*, *Людвиг* — знаменитый своими философскими сочинениями; проводил идеи материализма и атеизма.

317. *Изергим* (нечто в роде «сварливый») прозвище медведя в немецком народном эпосе. *Моисей Мендельсон* — философ, друг знаменитого Лессинга. Внук его, современник Гейне, композитор Мендельсон-Бартольди, стыдился своего происхождения, как полагал Гейне.

319. *Ганнибал*. — Девятилетний Ганнибал поклялся своему отцу, царю Карфагена, в вечной ненависти к римлянам.

321. *Посада* — трактир в Испании. *Оллеа потрида* — популярное испанское кушанье. *Гарбандос* (исп.) — клецки из гороховой муки.

324. *Мумме* — темное, сладковатое пиво, изготовляемое в Брауншвейге (Германия).

326. *Стикс* — подземная река в царстве мрака, по верованию древних греков. *Прозерпина* — богиня подземного царства. *Харон* — перевозил через Стикс души умерших.

330. *Каготы* — остаток первобытного племени, изгнанного из человеческого сообщества в качестве источника проказы; попадают в Южной Франции и в Испании. *Баски* — племя, живущее на границе Франции и Испании. *Еаньер* — курорт в Пиренеях.

336. *Нимврод* — легендарный владыка Ассирийско-Вавилонского царства, «великий охотник перед богом» — по библейскому выражению. *Карл Десятый* — последний король Франции из дома Бурбонов, свергнутый во время Июльской революции.

336. *Король Артур* — герой средневековых сказаний, король Британии; его двенадцать легендарных рыцарей — рыцари «Круглого Стола». *Ожье* — датчанин, один из паладинов Карла Великого. *Вольфганг* — знаменитый немецкий писатель Вольфганг Гёте. *Генстенберг* — берлинский профессор богословия, критиковал «Избирательное сродство» Гёте. *Вильям* — Вильям Шекспир, знаменитый английский драматург.

337. *Франц Горн* — историк литературы, автор пятитомного труда «Драмы Шекспира».

339. *Диана* (у греков Артемиды) — богиня охоты. *Актеон* — герой мифа, превращенный Дианой в оленя и затравленный собаками за оскорбление ее целомудрия. *Абунда* — фея Абунда в скандинавских сагах (сказаниях), приносящая изобилие. *Грез* — знаменитый французский живописец, прославившийся в особенности изображениями женских головок.

341. *Ирода женой, просявшей головы Иоканаана*. — По евангельской легенде, Иродиада, жена иудейского царя Ирода Антипы, разгневавшись на Иоанна-Крестителя (*Иоканаан*), добилась того, что ему отрубили голову. *Плеоназм* — излишнее сочетание однозначных слов.

343. *Романья* — область Италии.

344. *Авалун* — сказочный остров фей. *Иерушалайм*. — по древне-еврейски — Иерусалим.

345. *Cavalier-servente* (точнее, по-итальянски *cavaliere-servente*) — прислуживающий рыцарь.

346. *Аргонавты* — мифические мореплаватели (на корабле «Арго»), отправившиеся за золотым руном в Колхиду. *Фнакр* — парижский наемный экипаж. *Язон в Колхиде* — возглавил поход Аргонавтов.

347. *Тридцать шесть князей*. В Германии было тридцать шесть отдельных княжеств. *Эспадрильи* — род сандалий у басков и испанцев.

349. *Из Роберти* — опера Мейербера «Роберт-Дьявол».

350. *Феб* (римск. Аполлон) — бог солнца у древних греков.

351. *Что-то в говоре такое благодущное, от швабов*. Швабы — жители швабских, родственных Австрии, областей Германии. В дальнейшем следуют частые у Гейне насмешки над так называемой «швабской школой» по-

этов. Швабская школа, признававшая своим главою известного поэта Людвиг Уланда, объединяла писателей со строго-национальной тенденцией, проникнутых моралью благочестия и стоявших в оппозиции к широким освободительным идеям эпохи. Большинство участников «швабской школы» не оставило крупного следа в литературе, за исключением Уланда, Гауфа и Мерики. «Швабская школа» платила Гейне ненавистью, и он, в свою очередь, подвергался постоянным нападкам ее участников. *Бедный швабский я поэт* — имеется в виду поэт Густав Пфизер. *Карл Майер* — поэт швабской школы, лирик-идиллик. *Штуккерт* — швабское название города Штутгарта, «резиденции» швабской школы. *Кёлле* — дипломат, поэт швабской школы, мистик, веривший в духов.

353. *Гётеанец* — последователь Гёте; здесь имеется в виду язычески-чувственное восприятие мира. *Наготу мою прикрывший*. Гёте, относившийся сдержанно критически к «швабской школе», писал по поводу стихов Пфизера: «Удивительно искусно умеют эти человечки набрасывать на себя морально-религиозно-поэтический нищенский плащ».

354. *Накануне дня Сильвестра* — в ночь на 1 января.

355. *Скандирует* — отмечает ритм. *Купидон* (Эрот, Амур — бог любви).

356. *Пан Шнаппанский* — см. прим. к стр. 300. *Ретирарада* — отступление. *Эспартеро* — дон Бальдомиро, испанский генерал; был на стороне королевы Христины и одержал несколько побед над карлистами. *Пампелуна* — главный город испанской провинции Наварра. *Одоардо*, *Эмилия* — действующие лица в драме Лессинга «Эмилия Галотти».

357. *Розу-дочь губить...* — перефразировка слов Эмилии из драмы Лессинга.

359. *Ганелон* — паладин (сподвижник) Карла Великого в «Песне о Роланде», предательски губящий Роланда. *Хорей четырехстопный* — одна из форм стихосложения. «Атта Троль» написан четырехстопным хореем. *Валгалла* — здание, выстроенное королем Людвигом Баварским для увековечения памяти великих людей. бюсты которых он снабдил надписями своего сочинения *Лапидарный стиль* (от лат. lapis — камень) — стиль

старинных надписей на камнях, т. е. сжатость, немногословность.

360. *Дебора* — библейская пророчица; пела песнь победы.

361. *Луи-Филипп* — король Франции в 1830—48 гг. *Лафайетт* (1757—1834) — знаменитый французский политический деятель, воевавший за независимость С.-А. Соединенных Штатов и, в качестве либерала, принимавший деятельное участие в Великой французской революции.

362. «*Должно в жизни сей погибнуть, чтобы в песне вечно жить*» — заключительные строки из стихотворения Шиллера «*Боги Греции*». *Jardin des Plantes* (франц.) — ботанический сад в Париже.

364. *Ноги дорогой супруги* и пр. — пародия на образы Фрейлиграта.

365. *Варнгаген фон Энзе* — писатель, друг Гейне. *Ариосто*, Людовик (1474—1533) — автор поэмы «*Неистовый Роланд*», знаменитый итальянский поэт. *Шамиссо*, *Брентано*, *Фуке* — немецкие писатели-романтики.

366. *Точно гуси, что спасали Капитолий*. — Капитолий — римская крепость. По преданию, был случай, когда гуси, при приближении врага, подняли шум и тем спасли крепость. *Зевес* (Зевс, у римлян Юпитер) — бог неба, первый среди богов. *Венера* (греческая Афродита) — богиня любви у римлян. *Беллона* — богиня войны. *Берсеркеры* — неистовые воины скандинавских преданий.

РОМАНСЕРО

КНИГА ПЕРВАЯ. ИСТОРИИ

376. *Карл I*. — Английский король *Карл I* казнен в 1649 г.

378. *Мария-Антуанета*. — *Мария-Антуанета*, вдова казненного во время Великой французской революции Людовика XVI, была обезглавлена в 1793 г. *Тюильри* — дворец французских королей. *Pavillion de Flore* (франц.) — павильон Флоры. *Lever* (франц.) — торжественная церемония вставания с постели и утреннего туалета во французском королевском доме. *Мария-Терезия* дочь. — Ма-

рия Антуанета была дочерью австрийской императрицы *Марии-Терезии*. Отсюда ее прозвище в народе «австриячка». *Жан-Жак Руссо*, *Вольтер* — французские писатели, способствовавшие развитию революционных идей. *Дама d'atour* (франц.) — камерфрау — придворная дама, несущая обязанности при туалете королевы.

379. *Помаре*. — *Помаре* — знаменитая в свое время красавица, выступавшая в *Jardin Mabille* (*Сад Мабиль*), излюбленном месте увеселения французского полусвета. Умерла в молодом возрасте от чахотки. *Не про ту, не с Отанти* — имеется в виду королева Отанти, который, в результате долгой борьбы между французскими и английскими миссионерами, подпал под протекторат Франции. *Дщерь молодая Иродиады* — см. прим. к стр. 341. *Прозектор* — врач, производящий вскрытие трупа. *Rose Pompon* (франц.) — Роз Помпон — повидимому одна из дам парижского «полусвета».

382. *Золотой телец* — пародический перепев библейского сюжета.

383. *Царь Давид* — то же.

384. *Невесты небесные*. — *Урсулики* — монахини во имя католической святой Урсулы. *Miserere!* (лат.) — помилуй! — термин католического богослужения.

386. *Жофруа Рюдель* и *Мелисанда Триполи*. — *Миннезингеры* (французские трубадуры) — певцы любви в средневековую эпоху.

388. *Поэт Фирдуси*. — *Фирдуси* — знаменитый персидский поэт (935—1020), автор поэмы *Шах-Наме* (т. е. Царская книга). Получив за нее вместо червонцев серебро, *Фирдуси* написал сатиру на шаха, за что подвергся опале. *Томан* (также туман) — персидская монета.

389. *Фарсиян* — область южной Персии. *Иран* — наименование Персии (географически — шире, чем Персия). *Коран* — священная книга магометанского вероучения. *Муфти* (муфтий) — представитель магометанского духовенства.

393. *Вицлипуцли*. — *Кристоваль Колумб* — Христофор Колумб (1446—1506), открывший Америку.

394. *Реджент-Стрит* — улица в Лондоне. *Роттердам* — город в Голландии. *Эразм (Роттердамский)* — знаменитый гуманист (поборник просветительных идей), ум. в 1536 г.

396. *Гора Венеры* (грот Венеры). — местопребывание легендарного Тангейзера (см. прим. к стр. 256). *Кифгейзер* — замок в горах Тюрингии, где, по легенде, спит в подземельи император Фридрих Барбаросса (или Барбарусса), чтобы снова выйти на свет.

396. *Фернанд Кортес* (1485—1547), завоеватель Мексики, открывший также Калифорнию.

397. *Монтезума* — последний властитель Мексики, ум. в 1520 г.

399. *Ollea potrida* и *гарбандос* — испанские кушанья — см. прим. к стр. 321.

401. *Mater dolorosa* (лат.) — скорбная мать, эпитет богородицы в католическом богослужении.

402. *Британец Эрих Мартен*. — Гейне ошибся в имени художника. Картины, здесь упоминаемые, созданы Джоном Мартемом (1789—1854).

403. *Пляска смерти* — фреска в базельском соборе (Швейцария) в память бывшей чумы. *Mannken Piss* (фландр.) — статуя над фонтаном в Брюсселе (Бельгия), изображающая мальчика, мочащегося в бассейн.

404. *Te deum* (лат.) — тебя, господи (славим) — фраза из католического богослужения.

406. *De profundis* и *Miserere!* (лат.) — «Из глубины» и «Помилуй!» — из заупокойного богослужения.

408. *Пиэтизм* — благочестие.

411. *Вельзевул*, *Астарот*, *Сатана*, *Велиал* — различные наименования дьявола. *Лилит* — по легенде первая жена Адама; демон в женском образе.

КНИГА ВТОРАЯ. ЛАМЕНТАЦИИ

412. *Испанские Атриды*. — *Атриды* — сыновья греческого царя Атрея, Агамемнон и Менелай, участники похода на Троию, воспетого в гомеровской Илиаде. В роду их произошел ряд убийств, послуживших сюжетом для многочисленных литературных произведений древности. *Локуста* — знаменитая отравительница в древнем Риме, по упоминаниям римских писателей Ювенала, Тацита и Светония.

413. *Орденмейстер Калатравы*. Орден Калатравы (иначе Испанский орден) в память св. Иакова, установлен

папою Александром III в 1175 г. *Донья Фама* — от латинского *fama* — молва, слава.

414. *Альказар* — увеселительный замок.

417. *После пира Валтазара* — см. прим. к стр. 34. *На челе Медузы*. *Медуза* — одна из Горгон, мифологических чудовищ Греции. Голова ее, с косами-змеями, окаменяла всех, кто на нее глядел.

419. *Эврико Транстамарре* — незаконный сын отца короля Педро Жестокого, одержавший над Педро победу и умертвивший его. *Церера* — богиня плодородия у римлян. *Прозерпина* — ее дочь, похищенная Плутоном и ставшая богиней подземного царства. *Сенешаль* — придворный чин.

420. *Мифология*. — *Европа, Даная, Семела, Леда* — героини мифов, в которых Юпитер (Зевс), царь богов, овладевает ими, приняв различные облики: быка, золотого дождя, тучи и лебедя.

421. *Молодым*. — *Плоды Гесперидских садов* — золотые яблоки в садах мифических Гесперид, охранявшиеся драконом. *Герой Арбелы* — Александр Македонский, одержавший в 331 г. до н. э. при г. Арбеле (в Малой Азии) полную победу над персидским царем *Дарием*.

421. *Неверующий*. — *Святой Фома* — в просторечии «*Фома неверный*» — один из учеников Иисуса Христа. По Евангелию, не верил в воскресение Христа и хотел пальцем осязать раны на его теле.

424. *Ауто да-фе*. — *Ауто да-фе* — сожжение на костре (из времен инквизиции).

425. *Оглядка*. — *Геллерт* — немецкий поэт и моралист (1715—69).

427. *Несовершенство*. — *Лукреция*, знатная римлянка, по преданию, заколола себя кинжалом после того, как была обесчещена сыном царя Тарквиния Гордого. *Масман* — профессор старо-немецкой филологии, объект нападок Гейне. *Канова* — знаменитый итальянский скульптор (1757—1822). *Фетиды сына* — Ахиллес, один из героев Иллады. По преданию, мать, желая сделать своего сына неуязвимым, погрузила его в воды Стикса (подземная река); пята, за которую она его держала, осталась уязвимой («*Ахиллесова пята*»). *Александр Дюма* (1803—70) — знаменитый французский писатель; мать его была негрятянского происхождения.

428. *Поминование*. — *Кадош* — еврейская заупокойная молитва. *Матильда* — жена Гейне. *Полина* — ее компаньонка. «*Rauvge homme!*» (франц.) — бедняга!

430. *Октябрь 1849 г.* — Стихотворение это — отзвук революционных событий 1848—49 г. *Не всякий ведь, как Флакк, умен*. Знаменитый римский поэт Гораций Флакк в одной из своих од признается, что позорно бежал с поля битвы при Филиппах. *Франц Лист* — знаменитый композитор (1811—86), венгерец по происхождению. *На боевых полях венгерских* — имеется в виду венгерское восстание против власти Габсбургов; вмешательство русских войск, направленных Николаем I для подавления восстания, положило конец самостоятельности Венгрии.

432. *Enfant perdu*. — *Enfant perdu* (франц.) — погибшее дитя, заблудшее дитя.

КНИГА ТРЕТЬЯ. ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

434. *Принцесса Шабаш*. — *Vilgo* (лат.) — «в просторечии». *Альмемор* — помост посредине синагоги, с которого читаются тексты из «Пятикнижия» и «Пророков». *Тора*. — у евреев закон Моисея; также пергаментный свиток, с начертанием этого закона.

436. *Сочинен был знаменитым...* — Ошибка со стороны Гейне. Эти стихи приписываются Соломону Алькабис (XVI в.). *Аддас* — по предположению одного из комментаторов Гейне — растение в Бенгалии (Индия).

437. *Элизий* (Элизиум) — райская обитель.

438. *Иегуда бен-Галеви*. — Кастилия — область в Испании. *Тоledo* — город на р. Таго, в Кастилии.

440. *Таргум Онкелос* — халдейский перевод Пятикнижия в IV в., ошибочно приписываемый переводчику Библии греку Онкелосу. *Халаха* — свод установлений иудейской религии. *Пумпедита* — город в Вавилонии, с высшей иудейской школой.

441. «*Козари*» — правильное Аль-Казари, религиозно-философский труд. *Хагада* — переработка Библии в Мишраше и Талмуде.

442. *Важным спором о яйце*. Эта тема служит исходною точкою одного из ученых трактатов того времени.

445. *Сирвенты, мадригалы, терцины, канцонеты, газель* — различные формы в стихосложении. *Руссильон, Гиенна, Пуату* — южные области Франции.

446. *Langue d'oc* (франц.) — лангедок, провансальское наречие. *Лаура* — героиня Петрарки, см. прим. к стр. 386. Петрарка впервые увидел Лауру в церкви св. Клары, в Авиньоне, в страстную пятницу.

448. *Благородного видама, Жофруа Руделло*. — *Жофруа Руделло* (франц. Рюдель) — см. стр. 386. *Видам* (франц.) — наместник.

449. *После битвы при Арбеле* — при г. Арбеле, где Александр Македонский разбил персидского царя *Дария Кодомана*.

450. *Кир* — персидский царь. *Аристотелю седому*. Знаменитый ученый и философ Аристотель (384—322 до н. э.) был наставником Александра Македонского. *Агосса* — жена. Камбиза, затем Лже-Смердиса. *Лже-Смердис* — самозванец, объявивший себя Смердисом, братом персидского царя Камбиза, и после самоубийства последнего вступивший на престол.

451. *Таис* — афинская гетера, следовавшая в походе за Александром Македонским; затем вышла замуж за Птолемея, царя Египта. *Клеопатра* — царица Египта (ум. в 30 г. н. э.), пленившая свою красоту одного из правителей Рима, Марка-Антония. *Сын последний Омайядов*. Абдеррахман, уцелевший в кровавой расправе, где погибла вся его династия, бежал в Испанию и основал халифат Кордову. *Вместе с царством мавританским* — владычество мавров в Испании пало в 1492 г.

452. *Мендизабель* — искусный испанский финансист из евреев, неоднократно бывший министром. Умер в 1853 г. *Тюильри* — дворец французских королей и императоров. *Баронесса Саломон* — жена банкира Саломона Ротшильда. *Пелид* — сын Пелея, Ахиллес, герой Илиады. *Одиссей* — герой Одиссеи Гомера.

453. *Цофар* — переписчик свитков закона у евреев.

455. *Иеремия* — библейский пророк.

458. *Меровинги* — династия франкских королей (от V до VIII в.).

459. *Алхарици, Иегуда бен Салома*, еврейский поэт начала XIII в., перевел «макамы» знаменитого арабского поэта Гарири и создал произведение в том же роде, блестящее остроумием и глубокомыслием.

460. *Аполлона сыновей* — поэтов (Аполлон — бог поэзии). *Он, за Дафною погнавшись*. Дафна, преследуемая Аполлоном, была превращена своей матерью Геей («Земля») в лавровое дерево и тем спасена. *Шлемиль* — герой известного романа Шамиссо «Петер Шлемиль» (потерявший свою тень). Слово «Шлемиль» стало нарицательным именем для неудачников.

461. *Гициг* — друг Гейне и Шамиссо.

465. *Диспут*. — *Паладин* — рыцарь.

466. *Арбеканфес* — одевание духовных лиц у евреев. *Ad absurdum* (лат.) — до абсурда, до нелепости. *Егова* — бог у евреев.

467. *Сена* — река, на которой расположен Париж.

468. *Экзорцирует* — заклинает («изгоняет беса»).

469. *Фома Аквинский* — знаменитый богослов (1225—1274).

470. *Неофиты* — последователи нового учения.

473. *Delisti corpus* — термин римского права — вещественная улика.

474. *Матлот* — особо приготовленная рыба, наподобие рагу.

475. *Spolium optimum* (лат.) — доспехи, снятые с неприятельского вождя. *Реплицирует* — т. е. подает реплики, возражает. *Мишна* — часть Талмуда. «*Таусфес Ионтеф*» — критический комментарий к Мишне.

ГЕРМАНИЯ

479. «*Германия*» создана Гейне в 1844 г. после того как он в 1843 г. посетил Гамбург и вернулся во Францию через Ганновер, Кельн и Ахен (маршрут, обратный поэтическому вымыслу самой поэмы). От посещения Берлина ему пришлось отказаться по политическим соображениям. Беспokoясь за судьбу своей поэмы на родине, Гейне, в предисловии к «Германии», пытается смягчить и оправдать ту резкость политической мысли, которая отличает его произведение. «Настоящую поэму я написал в январе текущего года в Париже, и свободное дыхание этого города отразилось в некоторых строфах ее значительно резче, чем мне бы хотелось». И дальше: «Успо-

койтесь, я люблю отечество не менее, чем вы. Ради этой любви я провел тринадцать лет в изгнании и ради нее возвращаюсь в изгнание опять, навсегда, может быть, и притом не хныкаю и не корчу кривой гримасы страстотерпца». Поэма, вызвав ожесточение части критиков, имела успех и осталась в потомстве одним из значительнейших произведений Гейне.

482. *Эйапопейя* — колыбельная песня.

483. *Miserere* (лат.) — помилуй! До матери вновь прикоснулся гигант. — Мифологический гигант Антей, касаясь матери — земли, обретал недолимую силу.

484. *Фон Фаллерслебен*. Гофман фон Фаллерслебен, писатель и профессор, издавший в 1841 г. 2-й том своих «Песен без политики». Свободный, прогрессивный тон этих стихотворений имел следствием лишение автора профессуры и высылку из ряда городов.

485. *Карл Magnus* (лат.) — Карл Великий. *Карл Майер* — поэт швабской школы, над которой Гейне постоянно издевался. Тут игра слов: *magnus* — по-латыни большой, *maior* (майор) — бóльший. *Штуккерт* — швабское наименование г. Штутгарта — «резиденции поэтов швабской школы». *Кернер* — автор патриотических песен в наполеоновскую эпоху.

486. *Старинное «он»*. — В обращении с низшими немцы употребляли вместо второго лица «ты» — третье «он». *Тик*, *Уланд*, *Фуке* — немецкие поэты-романтики. *Мадам Монфоко*. «Иоганна фон Монфоко», романтическая картина из XIV столетия, в 5 действиях, Августа фон Коцебу, 1780.

487. *Явилась мне птица*. Орел — эмблема Пруссии.

488. «*Темный люрей*». — «Письма темных людей» (в латинском оригинале «*Bristolae virorum obscurorum*») частично сочинены Ульрихом фон Гуттеном, знаменитым гуманистом. *Гохстратен* — кельнский священник, яростный противник реформации. Здесь он именуется кельнским *Менцелем*. Менцель — постоянно поносимый Гейне критик реакционного толка. *Кирие элейсон* (греч.) — господи, помилуй. *Лютер пришел*. Имеется в виду реформация, столпом которой был Мартин Лютер.

490. *На башне святого Ламберта*. — В трех железных клетках на этой башне помещены были тела казненных в 1536 г. «еретиков», противников обряда крещения.

Камни глотал — те, что присланы из Швабии — см. стр. 489. *Никласа Беккера, друг, стихи.* Н. Беккер, автор знаменитой песни «Нет ваших он не станет, великий вольный Рейн» — по адресу французов.

491. *Альфред де Мюссе*, знаменитый французский поэт, ответил на песню Беккера стихотворением, начинавшимся: «*Nous l'avons eu votre Rhin allemand*» — «Нашим был он, немецкий ваш Рейн». *Гамен* — у французов «уличным мальчишка».

492. *Фихте и Гегель* — знаменитые немецкие философы. *Генгстенберг* — берлинский профессор богословия, поборник протестантизма. *Spiritus familiaris* (лат.) — домашний, личный дух.

493. *Георг Гаррис* (1780—1838), издатель и поэт, сопутствовал *Паганини* — (знаменитому скрипачу) в его концертах; описан Гейне в «Флорентийских ночах». *Сократ* — знаменитый греческий философ-мудрец. *Демоном* Сократа был, по его признанию, его внутренний душевный голос.

494. *Ликтор* — должностное лицо, предшествовавшее консулам в Риме.

499. *Аталантовых яблок.* — *Аталанта* (в греческой мифологии) отличалась быстротой бега, и в состязаниях побеждала искателей ее руки; один из них победил ее хитростью, бросив ей под ноги три золотых яблока из Гесперидских садов.

500. *Вновь его хоронили.* — Перенесение и погребение праха Наполеона I состоялось в октябре 1840 г. *Vive L'Empereur!* (франц.) — Да здравствует император!

502. *На мензуре* — в фехтовальном порядке. *Тарды и кварталы* — фехтовальные приемы. *Тевтобургский лес* — здесь германцы во главе с князем херусков *Германом* (Армением), одержали победу над римскими войсками, предводительствуемыми *Варом*. *Тацит* — римский историк.

503. *Весталки* — жрицы богини Весты в Риме, дававшие обет девственности. «*Квириты*» — официальный титул римских граждан. *Генгстенберг и Неандер* — профессора богословия. *Гаруспекс* — римский жрец, предсказывавший по внутренностям животных. *Авгур* — римский жрец, предсказывавший по полету птиц. *Бирх-Пфейфер* — романистка и драматическая писательница. *Рау-*

мер — известный историк. *Фрейлиграт* — см. прим. к стр. 297. *Горадий Флакк* — римский поэт. *Me Hercule!* (лат.) — клянусь Геркулесом! — обычная форма клятвы (несерьезного, разговорного оттенка) у римлян. *Масман* — профессор-реакционер, которого Гейне попрекал, между прочим, незнанием латыни.

504. *Нерон* — римский император, прославившийся сумасбродствами и жестокостью. *Шеллинг* — немецкий философ. *Сенека* — римский мудрец. *Корнелиус* — известный немецкий художник. *Sciatum non est pictum* (лат. — «Пачкотня — не живопись»). *Esel* — осел, по-немецки; *asinus* — по-латыни.

505. *Гофрат* — надворный советник.

506. *Кольб* — д-р Густав Кольб, друг Гейне, издатель «Всеобщей газеты», часто сокращавший и исправлявший статьи Гейне по цензурным соображениям. *Сизиф* — обречен был за тяжкие преступления вечно вкатывать в гору громадный камень, скатывавшийся затем с вершины (греческая мифология). Отсюда выражение «Сизифов труд». *Данаевы дочери* (Динаиды) — осуждены были за тяжкое преступление вечно наполнять водою бездонную бочку (греческая мифология).

508. *Судилище Фэмы*. — Фэма на старонемецком языке — суд выборных в средние века.

509. *Ротбарт* — по-немецки «красная (рыжая) борода» — император Фридрих Барбаросса (1123—90).

513. *Chi va piano, va sano* — итальянская поговорка, смысл которой «тише едешь, дальше будешь».

514. *Каршин* — Анна-Луиза Каршин (1722—91) — поэтесса-импровизаторша. *Моисей Мендельсон* — философ XVIII в. *Феликс Мендельсон-Бартольди* — известный композитор. *Чези* — Вильгельмина Чези — романтическая поэтесса, современница Гейне.

518. *Улис* (иначе *Одессей*) — герой «Одиссеи» Гомера. *Полифем* — циклоп, захвативший его в плен.

519. *Faubourg Poissonière* (франц.) — предместье Парижа.

520. *На земле Бюкебургской*. — *Бюкебург* — резиденция одного из самых незначительных германских князей. *Ошибся ты, Данхон!* Незадолго перед казнью друзья советовали Дантону (один из вождей Великой французской революции. 1759—94) бежать, но он отве-

тил, что «отечество не унесешь с собой на подошвах сапог» . . .

521. *Эрнст-Аугустус*. — Эрнст-Август, герцог Кумберлендский, до восшествия на престол Ганновера был видным членом партии тори (консерваторы) в английской верхней палате.

523. *Полгорода выжег пожар* — в мае 1842 г. «*Reisebilder*» (нем.) — «Путевые картисы».

524. *Дрекваль* — еврейский, по преимуществу, квартал.

525. *Троя был город получше*. — Троя (иначе Илион) в Малой Азии — полубогендарный город, осада и падение которого воспеты в гомеровской «Илиаде». *От птицы коварнейшей* — прусского орла. *Яйцо, свнесенное в парик бургомистра* — приглашение вступить в прусско-германский таможенный союз, адресованное Пруссией остальным немецким государством.

526. *Гудель* — родственница Гейне. *Торговец бумагой* — Эдуард Михаэлис. *Я**** — д-р Галле, дядя дяди Гейне, Соломона, причинивший поэту много неприятностей. *Бибер* — основатель страхового общества, которое после пожара не могло удовлетворить всех претензий. *Цензор* — д-р Ф. Л. Гофман, был с 1822 до 1848 г. гамбургском цензором. *Гумпелино* — гамбургский банкир Лазарь Гумпель. «*Гумпелино*» — один из персонажей 3-й части «Путевых картин»

527. *Маленький Мейер* — Генрих Мейер, литературный критик и театральный рецензент. *Корнет*, Юлиус — певец, директор Гамбургского городского театра. *Кампе* — издатель Гейне.

528. *Шофпье* — врач. *Вилле* — журналист, *Фукс* — бывший преподаватель в Гамбурге, сторонник крайних учений. *Венера* — статуя, изваянная знаменитым скульптором Кановою.

529. *Дребан* — улица Гамбурга, излюбленная проститутками.

530. *Привет на Эльбе*. — Эльба — река, на которой расположен Гамбург.

531. *Гаммония* — латинское название Гамбурга. У Гейне — богиня-покровительница Гамбурга. *Мессю воспел* — Клопшток, автор «Мессиады».

533. *Лотта* — Шарлотта, сестра Гейне. *О славном моем старике* — дядя Гейне, банкир Соломон Гейне.

534. Для Менцеля. — Менцель — критик, недруг Гейне. Швабские братья — поэты «швабской школы».

536. Отец Авраам Элязара — библейские персонажи.

537. Carolus Magnus (лат.) — Карл Великий. Рогшильд — известный богач.

538. Сен-Жюст (1767—94) — знаменитый деятель Великой французской революции.

539. Есть в Туле король. — Тула — сказочный город. Здесь имеется в виду король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV.

540. Песнь Гименя — брачная песнь.

541. Аристофан — знаменитый греческий драматург, автор комедий (444—380 до н. э.). Камены — музы, богини искусств в Греции (первоначально божества источников и родников). Пайстетерос (народный совет) и Базилея (верховная власть) вступают в брак в комедии Аристофана «Птицы».

542. Король! — обращение к прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV.

543. О Дантовом «Аде». — «Ад» — первая часть «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265—1321). Терцины — трехстишия — форма «Божественной комедии».

ДОПОЛНЕНИЯ

ПЕСНИ ЛЮБВИ

548. Спеш, любимая, крепко. — Лаокоон — верховный жрец в Трое; во время жертвоприношения заел обвил его (и его двух сыновей) и задушили («Энеида» Вергилия).

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

568. А. В. Шлегелю. — Август-Вильгельм Шлегель (1767—1845) — историк литературы, критик, поэт, известный переводчик Шекспира.

569. Фрицу Штейнману. — Ф. Штейнман, друг юности Гейне, посредственный писатель, скомпрометировавший себя после смерти Гейне тем, что издал много подложных его стихотворений.

570. *Филосовский камень, братство.* — *Филосовский камень* — вещество, которого искали алхимики средних веков для получения золота из простых металлов.

579. *Влачась когда-то в край из края.* — *Лета* — мифологическая река подземного царства — река забвения.

581. *Образ сфинкса наделен.* — *Иокасты сын и Лайя* — Эдип, герой множества сказаний и трагедий. Разгадал загадку, заданную ему чудовищем — сфинксом (греческая мифология).

582. *Три женщины возле дороги.* — Здесь — образы греческой мифологии — богини судьбы, Парки.

582. *Меня не манит рай небесный.* — *Status quo* (лат.) — прежнее положение.

586. *Алкая покоя. Жадный гений Джакомо* — Мейер-бера, известного композитора.

РОМАНСЫ И ПРЯТЧИ

591. *Невольничий корабль. Суперкарго* — ведающий коммерческою частью на торговом судне.

595. *Поэт Альбинова (Англии)* — Шекспир, в драме «Венецианский купец», 5-е действие, явление 1-е.

599. *Бимини — Выплыл целый новый мир* — Америка. *Бертольд Шварц* — изобретатель пороха. *Черно-книжника из Майнца* — имеется в виду изобретение книгопечатания, причем Гейне ошибочно, как и некоторые другие, полагает, что помощник Гутенберга в этом деле Фуст и доктор Фауст были одним и тем же лицом.

602. *Пизарро (1478—1541)* — завоеватель и наместник Перу. *Кортес* — завоеватель Мексики; он же открыл Калифорнию — см. прим. к стр. 396. *Олоферн* — ассирийский царь, убитый Юдифью (библейский сюжет). *Радецкий* — известный австрийский фельдмаршал, умерший в 1858 г. *Гайнау* — австрийский генерал, умерший в 1853 г.

604. *Из хореев.* — *Хорей* (или трохей) — размер стиха, принятый в «Бимини».

606. *Алькад* — лицо высшей администрации в Испании.

607. *Инфанта* — принцесса, дочь короля в Испании

608. *Круглый Стол Артура* — см. прим. к стр. 336.

609. *Армада* — флот.

614. *Excellenza* (правильнее, по-испански «*excellencia*») — превосходительство. *Carasco!* — испанское ругательство.

615. *Pater noster* (лат.) — отче наш. *Идальго* — дворянин, рыцарь.

618. *Сперанца* (исп.) — Надежда.

619. *Рококо-антропофагно*. — *Рококо* — вычурный стиль в архитектуре и искусстве XVIII в. *Антропофагия* (греч.) — людоедство. *Караибо-помпадурно*. *Караибы* (жители *Караибских островов*) считались людоедами. *Помпадур* — маркиза, фаворитка французского короля Людовика XV. *Pendant* (франц.) — соответствие.

621. *Venus-Aphrodita* (лат.) — Венера-Афродита, богиня любви.

623. *Добродетельный пес*. — *Брут* — имя убийцы Юлия Цезаря — см. прим. к стр. 292. *И ты, Брут!* — предсмертное восклицание Юлия Цезаря.

СОВРЕМЕННОСТЬ

625. *К политическому поэту*. — *Тиртей* — певец военной доблести древней Спарты (Греция).

628. 1649—1793 — ??? — В 1649 г. был казнен английский король Карл I, в 1793 г. — французский король Людовик XVI. *Dame d'atour* — см. прим. к стр. 378. *Шамбелла* — придворный чин — камергер. *Санкюлот* — см. прим. к стр. 293. *По-габсбургски*. *Мария-Антуанета* была из рода Габсбургов.

629. *Бродячие крысы*. — *Мирабо* — один из деятелей французской революции, умеренный; искусный оратор. *Цицерон* — один из государственных людей древнего Рима, знаменитый оратор, представитель охранительных тенденций.

630. *Завещание*. — *Града Кривинкель* — условное наименование захолустного городка, нечто вроде *щедринского «Глупова»* у нас. *Пумперникель* — особый вид черного хлеба. *Кузону* — повидимому имеется в виду Р. Христиани, женатый на двоюродной сестре Гейне — см. прим. к стр. 97. *Сторожи веры* — критик Вольфганг Менцель. *Портрет*. Поэты швабской школы отстранились от участия в «*Немецком альманахе муз*», после того как решено было поместить в нем портрет Гейне.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| <i>П. С. Коган.</i> Предисловие | VII |
| <i>В. Зоргенфрей.</i> О стихотворных переводах Гейне XXVIII | |

КНИГА ПЕСЕН

| | |
|--|---|
| Пролог. Я в старом сказочном лесу. <i>Ал. Блок</i> | 5 |
|--|---|

Юные страдания.

Сновидения.

| | |
|---|----|
| Зловещий грезился мне сон. <i>М. Михайлов</i> | 7 |
| Раз сам себя во сне увидел я. <i>Н. Хвостов</i> | 9 |
| Мне человечек маленький, нарядный. <i>Н. Хвостов</i> | 10 |
| Чего же ты медлишь, сын крови и тьмы? <i>Н. Хвостов</i> | — |
| Покинув владычицы гордой дом. <i>Н. Хвостов</i> | 13 |
| Вот силой волшебного слова. <i>Н. Хвостов</i> | 18 |

Песни.

| | |
|---|----|
| Утром я встаю, гадаю. <i>В. Коломийцов</i> | 19 |
| Бродил я под тенью деревьев. <i>Л. Мей</i> | — |
| Положи мне руку на сердце, друг. <i>Е. Книпович</i> | 20 |
| Колыбель моей печали. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Подожди, моряк суровый. <i>Л. Мей</i> | 21 |
| Ряд руин и гор глядится. <i>А. Шкафф</i> | — |
| Кипарисами, вязями роз. <i>Л. Мей</i> | 22 |

Романсы.

| | |
|--|----|
| Унылый. <i>В. Зоргенфрей</i> | 23 |
| Горный голос. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Два брата. <i>В. Зоргенфрей</i> | 24 |
| Бедный Петер | — |
| И Ганс да и Грета в круге идут. <i>М. Кузмин</i> | — |
| В своей груди я боль держу. <i>М. Кузмин</i> | — |
| И Петер ослабел в конце. <i>М. Кузмин</i> | 26 |

| | Стр. |
|---|------|
| Песня узника. <i>П. Быков</i> | 26 |
| Гренадеры. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Гонец. <i>В. Зоргенфрей</i> | 28 |
| Похищение. <i>В. Зоргенфрей</i> | 29 |
| Дон Рамиро. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Валтасар. <i>М. Михайлов</i> | 34 |
| Под окном. <i>В. Зоргенфрей</i> | 35 |
| Раненый рыцарь. <i>П. Краснов</i> | 36 |
| Отплытие. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Песенка о раскаянии. <i>Вс. Рождественский</i> | 37 |
| Певице. <i>В. Зоргенфрей</i> | 38 |
| Песня о червонцах. <i>В. Зоргенфрей</i> | 39 |
| Разговор на Падерборнском лугу. <i>А. Плещеев</i> | 40 |
| С о н е т ы. | |
| Моей матери. | |
| 1. Я родился с упрямой головою. <i>Ф. Миллер</i> | 42 |
| 2. Была пора — в безумном ослепленьи. <i>Ф. Миллер</i> | — |
| Фреско-сонеты Христиану З. | |
| 1. Пред истуканами в мишурной позолоте. <i>А. Линдегрэн</i> | 43 |
| 2. Дай маску мне! На пестром маскараде. <i>А. Линдегрэн</i> | — |
| 3. Мне так смешны глупцы с козливою мордой. <i>А. Линдегрэн</i> | 44 |
| 4. В мозгу засела сказочка упорно. <i>А. Линдегрэн</i> | — |
| 5. По вечерам, в часы печальных грез. <i>В. Лихачев</i> | 45 |
| 6. Расстались мы — и встретились опять. <i>В. Лихачев</i> | — |
| 7. Улыбке злой не верь, мой друг, но знай. <i>В. Лихачев</i> | 46 |
| 8. Не раз, мой друг, ты видела, как я. <i>В. Лихачев</i> | 47 |
| 9. Хотел бы плакать я, но не могу. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Лирическое интермеццо. | |
| Пролог. <i>В. Зоргенфрей</i> | 48 |
| Из слез моих много родится. <i>А. Фет</i> | 49 |
| Лилеею, розой, голубкой, денницей. <i>А. Фет</i> | — |
| Когда гляжу тебе в глаза. <i>М. Михайлов</i> | 50 |
| Твой образ краткий, неземной. <i>В. Коломойцов</i> | — |
| Ланитой к ланите моей прикоснусь. <i>А. Фет</i> | — |

| | |
|--|----|
| Стоят от века звезды. <i>М. Михайлов</i> | 50 |
| Нимфея стан свой клонит. <i>В. Коломийцов</i> | 51 |
| В волнах прекрасных Рейна. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Не любишь ты, не любишь ты. <i>А. Оношкович-Яцын</i> | 52 |
| На глазки возлюбленной моей. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Свет близорук, свет недалек. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Тебя умчит далеко. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Наконец, скажи, малютка. <i>П. Быков</i> | 53 |
| Как из пены воли рожденная. <i>М. Михайлов</i> | 54 |
| Я не ропщу, — пусть сердце и в огне. <i>А. Фет</i> | — |
| Да, ты несчастна — и мой гнев угас. <i>А. Фет</i> | — |
| Сегодня скрипкам поется. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 55 |
| Когда бы цветы узнали. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Отчего поблекла весной. <i>Л. Мей</i> | — |
| Они наплели немало. <i>В. Коломийцов</i> | 56 |
| Мы долго и много друг друга любили. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Была ты из самых верных. <i>В. Коломийцов</i> | 57 |
| Прекрасна земля, как сапфир небеса. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Когда в гробу, любовь моя. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| На севере кедр одинокий. <i>А. Фет</i> | 58 |
| Разлучен я с милой был. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Филистеры, в праздничных платьях. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Картинки времен забытых. <i>Е. Квинович</i> | 59 |
| Красавицу юноша любит. <i>А. Плещеев</i> | — |
| Слышу ль, как песня льется. <i>М. Ливеровская</i> | 60 |
| Обнявшись дружно, сидели. <i>А. К. Толстой</i> | — |
| Из старых сказок, мнится. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| Тебя я любил и люблю еще. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 61 |
| В блестящее летнее утро. <i>П. Быков</i> | — |
| Они меня истерзали. <i>Ап. Григорьев</i> | 62 |
| Твои пылают щечки. <i>А. Фет</i> | — |
| Когда разлучаются двое. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| О страсти беседует чинно. <i>Инн. Анненский</i> | 63 |
| Отравой полны мои песни. <i>Л. Мей</i> | — |
| Опять мне приснилось: с тобою вдвоем. <i>Ф. Миллер</i> | 64 |
| Я тихо еду лесом. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Я плакал во сне. Мне снилось. <i>А. Фет</i> | — |
| Что ночь, я вижу тебя во сне. <i>Вс. Рождественский</i> | 65 |
| Ветрено, хмуро, жутко. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |
| Качает ветер деревья. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Звезда упала в бездну. <i>В. Коломийцов</i> | 66 |

| | |
|--|----|
| Самоубийц хоронят. <i>Л. Мей</i> | 67 |
| Глаза мне ночь сомкнула. <i>В. Аренс</i> | — |
| Былые, злые песни. <i>В. Зоргенфрей</i> | 68 |

О п я т ь н а р о д и н е .

| | |
|--|----|
| В этой жизни слишком темной. <i>Ал. Блок</i> | 70 |
| Не знаю, что значит такое. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Печаль и боль в моем сердце. <i>С. Черный</i> | 71 |
| Я плачу в лесу безнадежно. <i>В. Коломийцов</i> | 72 |
| Сырая ночь и буря <i>Ал. Блок</i> | — |
| Когда по дороге, случайно. <i>А. Фет</i> | 73 |
| С порога рыбацкой избушки. <i>А. Фет</i> | 74 |
| Красавица рыбацка. <i>Ал. Блок</i> | — |
| В волнах качается месяц. <i>П. Быков</i> | 75 |
| Над морем вихрь надел штаны. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| Играет буря танец. <i>Ал. Блок</i> | 76 |
| Вечер пришел безмолвный. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Когда я ранним утром. <i>Юр. Тынянов</i> | 77 |
| На той па горе высокой. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| На дальнем горизонте. <i>Ал. Блок</i> | 78 |
| Привет тебе, громада. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Дорогою старой бреду я опять. <i>П. Быков</i> | 79 |
| Тихая ночь, на улицах дрема. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Ты знаешь, что живу я. <i>Ал. Блок</i> | 80 |
| Уснула дега в светлице. <i>Ф. Миллер</i> | — |
| Объятый смутными снами. <i>М. Михайлов</i> | 81 |
| Я Атлас злополучный! Целый мир. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Племена уходят в могилу. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Мне снилось, печально глядела луна. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Что нужно слезе одинокой? <i>П. Вейнберг</i> | 82 |
| Сквозь облак месяц осенний. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Погода! Иаморсы, ветер. <i>М. Михайлов</i> | 83 |
| Каждый палец твой лилейный. <i>П. Вейнберг</i> | 84 |
| Неужели ты ни разу. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Они любили друг друга. <i>А. Фет</i> | — |
| Когда я про горе свое говорил. <i>А. Фет</i> | 85 |
| Я чорта позвал, и он пришел. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Не глумись над чортом, смертный. <i>А. Фет</i> | 86 |
| Три светлых царя из восточной страны. <i>Ал. Блок</i> | — |

| | |
|--|-----|
| Дитя, мы детьми еще были. <i>А. Фет</i> | 86 |
| Порой взгрустнется мне невольно. <i>А. Б.</i> | 87 |
| Как луна, света во мраке. <i>А. Фет</i> | 88 |
| Во сне я милую видел. <i>А. Фет</i> | — |
| Не замечено ли всеми. <i>Вс. Рождественский</i> | 89 |
| Будьте только терпеливей! <i>А. Плещеев</i> | — |
| Довольно! Пора мне забыть этот вздор! <i>А. К. Толстой</i> | — |
| Царь Висвамитра тщился. <i>В. Коломийцов</i> | 90 |
| Полно, сердце! Что с тобою? <i>М. Михайлов</i> | — |
| Ты — как цветок весенний. <i>В. Коломийцов</i> | 91 |
| За тебя, дитя, боюсь я. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Лежу ли бессонной ночью. <i>М. Михайлов</i> | — |
| О твоих пурпурных губках. <i>А. Шкафф</i> | — |
| Пусть на землю снег валится. <i>М. Михайлов</i> | 92 |
| Кто мольбы несет Мадонне. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| Ужель не выдал мой бледный лик. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Милый друг мой! ты влюблен. <i>С. Черный</i> | 93 |
| Хотел я с тобой остаться. <i>А. Фет</i> | — |
| Твои глаза — сапфиры; взгляд. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Я шутил любви речами. <i>В. Коломийцов</i> | 94 |
| Уж слишком отрывочны жизнь и вселенная. <i>В. Костомаров</i> | — |
| Ломай голову дни и ночи. <i>В. Коломийцов</i> | 95 |
| Сегодня у вас вечеринка. <i>Л. Мей</i> | — |
| Хотел бы в единое слово. <i>Л. Мей</i> | — |
| Ты вся в жемчугах и алмазах. <i>А. Фет</i> | 96 |
| Тот, кто любит в первый раз. <i>П. Быков</i> | — |
| Давали советы и наставленья. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Что за юноша милейший! <i>И. Лебедев</i> | 97 |
| Мне снился сон, что я господь. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| В почтовой карете, ночью. <i>М. Шелгунов</i> | 99 |
| Бог весть, где она сокрылась. <i>Н. Добролюбов</i> | — |
| Как сны полунощные, зданья. <i>Ф. Миллер</i> | 100 |
| Как только ты станешь моей женой. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Я к белому плечу милой. <i>М. Михайлов</i> | 101 |
| Трубят голубые гусары. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Я и сам в былые годы. <i>Л. Мей</i> | — |
| Ах, опять все те же глазки. <i>А. Фет</i> | 102 |
| Вя меня не понимали. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| А ведь кастраты плачут. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| По бульварам Саламанки. <i>А. Фет</i> | 103 |

| | |
|---|-----|
| Он живет со мною рядом. <i>П. Краснов</i> | 103 |
| Есть в Галле рынок; там. <i>В. Коломийцов</i> | 104 |
| Гаснет летний вечер; тенью. <i>П. Быков</i> | — |
| Ночь среди чужого края. <i>П. Краснов</i> | — |
| Смерть — освежающая ночь. <i>М. Лозинский</i> | 105 |
| Где, скажи, твоя подруга. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Сумерки богов. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Донья Клара. <i>Г. Шенгели</i> | 108 |
| Ратклиф. <i>П. Вейнберг</i> | 111 |
| На богомолье в Кевлар. <i>М. Михайлов</i> | 114 |

Путешествие в Гарц.

| | |
|---|-----|
| Пролог. <i>В. Зоргенфрей</i> | 117 |
| Горная идиллия. | |
| 1. На горе стоит избушка. <i>В. Зоргенфрей</i> | 118 |
| 2. Ель протягивает пальцы. <i>В. Зоргенфрей</i> | 119 |
| 3. За зеленой хвоей ели. <i>В. Зоргенфрей</i> | 121 |
| Пастушок. <i>В. Зоргенфрей</i> | 124 |
| На Брокене. <i>В. Зоргенфрей</i> | 125 |
| Ильза. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |

Северное море.

Первый цикл.

| | |
|---|-----|
| Венчание на царство. <i>М. Михайлов</i> | 127 |
| Солнечный закат. <i>М. Михайлов</i> | 128 |
| Ночь на берегу. <i>М. Михайлов</i> | 129 |
| Посейдон. <i>А. Фет</i> | 131 |
| Признание. <i>М. Михайлов</i> | 133 |
| Морской штиль. <i>Г. Шенгели</i> | 134 |
| Морское видение. <i>П. Вейнберг</i> | 135 |

Второй цикл.

| | |
|---|-----|
| Привет морю. <i>М. Михайлов</i> | 137 |
| Кораблекрушение. <i>М. Михайлов</i> | 138 |
| Закат солнца. <i>М. Михайлов</i> | 140 |
| Песнь океанид. <i>М. Михайлов</i> | 141 |
| Вопросы. <i>М. Михайлов</i> | 144 |
| В гавани. <i>С. Черный</i> | — |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Эпиграф. <i>А. Фет</i> | 146 |
|----------------------------------|-----|

А Л Ь М А Н С О Р

| | |
|--|-----|
| Трагедия. <i>В. Зоргенфрей</i> | 149 |
|--|-----|

Н О В Ы Е С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

| | |
|--|-----|
| Новая весна. | |
| Пролог. <i>Ал. Блок</i> | 215 |
| Липа вся под снежным пухом. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Снова роща зеленеет <i>М. Михайлов</i> | 216 |
| Взор ночи весенней так кротко вновь. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Люблю я цвееок, до какой — не знаю. <i>В. Коломий- цов</i> | — |
| Вот май опять довел. <i>Ал. Блок</i> | 217 |
| Тихо сердца глубины. <i>Ал. Блок</i> | — |
| В красавицу розу влюблен мотылек. <i>П. Быков</i> | — |
| Все деревья зазвучали. <i>В. Коломийцов</i> | 218 |
| Весенней ночью, в теплый час. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Грозит беда, набат раздастся. <i>В. Коломийцов</i> | 219 |
| Слез любви и тихой скорби. <i>А. Шкафф</i> | — |
| Глаза весны спнеют. <i>В. Коломийцев</i> | — |
| Только платьем мимоходом. <i>Ал. Блок</i> | 220 |
| Из вод подымая головку. <i>А. К. Толстой</i> | — |
| Если только ты не слеп. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Что мечешься ночью весенней ты. <i>В. Арнс</i> | 221 |
| Глаза весны спнеют. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Снова сердце покорилось. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Тебя люблю я — неизбежна. <i>В. Коломийцов</i> | 222 |
| Гуляю меж цветами. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Как луна дрожит на лоне. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Альянс священный прочно. <i>Ал. Блок</i> | 223 |
| Скажи, кто первый часы изобрел. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Чудный запах льют гвоздики. <i>А. Шкафф</i> | — |
| Тот же сон, что снился прежде. <i>М. Михайлов</i> | 224 |
| Поцелуй, что мы крадем. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Жил-был король суровый. <i>Е. Книпович</i> | 225 |
| Опять воскрешает мне память. <i>Ал. Блок</i> | — |
| Лунным светом упоенный. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Раз в лесу, при лунном свете. <i>П. Вейнберг</i> | 226 |
| Утром шлю тебе фиалки. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Своим письмом напрасно. <i>Ал. Блок</i> | 227 |

| | |
|--|-----|
| Не страшись — скрывать от света. <i>А. Шкафф</i> | 227 |
| Дни мои и даже ночи. <i>А. Шкафф</i> | — |
| Звезды ножками златыми. <i>А. Шкафф</i> | 228 |
| Цветут желанья дивно. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Небо старцем красноглазым. <i>А. Шкафф</i> | 229 |
| Осень, мгла. Холмы и доли. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Небо серо беспробудно. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |

Разныс.

Серафина.

| | |
|--|-----|
| В лес задумчивый вхожу я. <i>В. Коломийцов</i> | 231 |
| Ночь плывет над тихим взморьем. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| С каким любопытством чайка. <i>В. Коломийцов</i> | 232 |
| Как серна робкая, она. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Мы здесь построим, на скале. <i>А. Мейснер</i> | 233 |
| Тень любви, лобзаний тени. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Девица, стоя у моря. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Как низко ты поступила. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 234 |
| У моря сижу, на утесе кругом. <i>А. К. Толстой</i> | — |

Анжелика.

| | |
|--|-----|
| В день господней благодати. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Так быстро шла, но предо мною. <i>А. Майков</i> | 235 |
| Нет, прелестная, не верю. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Закрыв глаза ей, алый рот. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Когда в твоих объятиях страстных. <i>А. Мантейфель</i> | 236 |
| Между тем как я, блуждая. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Да, ты, конечно, мой идеал. <i>В. Коломийцов</i> | 237 |
| Хоть жажду утолила ты. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |
| Эта масляница страсти. <i>А. Мейснер</i> | — |

Диана.

| | |
|---|-----|
| Эта масса чудо-тела. <i>В. Коломийцов</i> | 238 |
| Залив Бискайский был ей. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Посещая часто вас. <i>В. Коломийцов</i> | 239 |

Гортензия.

| | |
|---|---|
| Верил я в былом далеком. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Вдвоем на уличном углу. <i>В. Коломийцов</i> | — |

Стр.

| | |
|--|-----|
| Посредине сада яблонь. <i>А. Мейснер</i> | 240 |
| Строю вновь я струны цитры. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Недолог счастья был обман. <i>О. Чюмина</i> | 241 |

К л а р и с а.

| | |
|--|-----|
| Оробев, моих признаний. <i>В. Коломийцов</i> | 241 |
| Чорт возьми твою мамашу. <i>А. Мейснер</i> | 242 |
| Не ходи по переулку. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Твоя улыбка заоздала. <i>А. Мейснер</i> | — |

Н о л а н т а и М а р и я.

| | |
|---|-----|
| Эти дамы, понимая. <i>В. Коломийцов</i> | 243 |
| В которую из двух влюбиться. <i>Ф. Тютчев</i> | — |
| Бутылки пусты, был вкусен обед. <i>А. Мейснер</i> | 244 |
| Юность быстро исчезает. <i>А. Мейснер</i> | — |

Э м м а.

| | |
|---|-----|
| Как ствол древесный стоит он. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Сутки ждать я должен счастья. <i>О. Чюмина</i> | 245 |
| Месяц тянется любовь. <i>П. Бяков</i> | — |
| Молви, Эмма, без раздумья. <i>П. Быков</i> | — |
| Быть с тобою — свыше силы. <i>О. Чюмина</i> | 246 |
| Все опаснее и глуше. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |

Ф р и д е р и к а.

| | |
|---|-----|
| 1. Оставь Берлин, где воздух густ и пылен. <i>О. Чюмина</i> | — |
| 2. Струится Ганг. Разумными очами. <i>О. Чюмина</i> | 247 |
| 3. Струится Ганг и плещет. Гималайя. <i>О. Чюмина</i> | — |

К а т а р и н а.

| | |
|---|-----|
| Звезда взошла во тьме моей ночи. <i>В. Коломийцов</i> | 248 |
| В объятьях моих, у сердца. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Люблю я эту бледность тела. <i>В. Коломийцов</i> | 249 |
| Цветов подбавила весна. <i>А. Фет</i> | — |
| Мне недавно сон приснился. <i>А. Мейснер</i> | 250 |
| Так долго, будто бессловесен. <i>А. Мейснер</i> | 251 |

Н а ч у ж б и н е.

| | |
|--|-----|
| Из края в край твой путь лежит. <i>М. Михайлов</i> | — |
| Сегодня ты такой печальный. <i>М. Лозинский</i> | 252 |

Трагедия.

- | | |
|---|-----|
| 1. Беги со мной! Будь мне женой. <i>М. Михайлов</i> | 253 |
| 2. Так ночью вешнею вней пал. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| 3. На их могиле липа стоит. <i>Е. Книпович</i> | — |

Песни бытия.

- | | |
|--|-----|
| 1. Бог в начале создал солнце. <i>В. Коломийцов</i> | 254 |
| 2. И господь ответил чорту. <i>В. Коломийцев</i> | — |
| 3. Да, солнце, львов, людей красивых. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| 4. Едва лишь я начал труд творенья. <i>В. Коломийцов</i> | 255 |
| 5. В день шестой сказал создатель. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| 6. Из пальца высосать кто бы мог. <i>В. Коломийцов</i> | 256 |
| 7. Зачем я, в сущности, решил. <i>В. Коломийцов</i> | — |

Тангейзер (легенда).

- | | |
|---|-----|
| 1. Страшитесь козней сатаны. <i>А. Мейснер</i> | — |
| 2. Звонками и звоном и пеньем Рим. <i>А. Мейснер</i> | 258 |
| 3. Поспешно и долго Тангейзер пдет. <i>А. Мейснер</i> | 261 |

Романсы.

- | | |
|---|-----|
| Жещина. <i>М. Михайлов</i> | 264 |
| Чайльд-Гарольд. <i>М. Лозинский</i> | — |
| Заклинание. <i>А. Шкафф</i> | 265 |
| Злосчастье. <i>В. Зоргенфрей</i> | 266 |
| Аппо 1829. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Аппо 1839. <i>М. Лозинский</i> | 267 |
| Ранним утром. <i>В. Зоргенфрей</i> | 268 |

Рыцарь Олаф.

- | | |
|---|-----|
| 1. У дверей собора двое. <i>Е. Книпович</i> | 269 |
| 2. Рыцарь сидит за брачным столом. <i>Е. Книпович</i> | 270 |
| 3. О, рыцарь Олаф, час настал. <i>Е. Книпович</i> | — |
| Бертран де Борн. <i>В. Зоргенфрей</i> | 271 |
| Весна. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Али-Бей. <i>В. Зоргенфрей</i> | 272 |
| Психея. <i>В. Зоргенфрей</i> | 273 |
| Незнакомка. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Смена. <i>А. Мейснер</i> | 274 |
| Фортуна. <i>А. Мейснер</i> | 275 |
| Жалоба старо-немецкого юноши. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |

Стр.

| | |
|---|-----|
| Оставь! <i>В. Зоргенфрей</i> | 276 |
| Метта. <i>В. Зоргенфрей</i> | — |
| Встреча. <i>А. Мейснер</i> | 278 |
| Король Гаральд Гарфагар. <i>М. Михайлов</i> | 279 |

Олеа.

| | |
|---|-----|
| Родословная мула. <i>Ф. Вишневский-Черниговец</i> | 281 |
| Странствуй! <i>Е. Книпович</i> | 282 |
| У камина. <i>А. Плещеев</i> | — |

СОВРЕМЕННОСТЬ

| | |
|--|-----|
| Теория. <i>Юр. Тынянов</i> | 284 |
| Адам 1-й. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Предостережение. <i>Юр. Тынянов</i> | 285 |
| Тамбурмажор. <i>В. Зоргенфрей</i> | 286 |
| Вырождение. <i>М. Лозинский</i> | 287 |
| Генрих. <i>П. Вейнберг</i> | 288 |
| Обетование. <i>Вс. Рождественский</i> | 289 |
| Тенденция. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| Подкидыш. <i>Вс. Чешихин</i> | 290 |
| Китайский богдыхан. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| К успокоению. <i>Юр. Тынянов</i> | 292 |
| Мир наизуворот. <i>Юр. Тынянов</i> | 293 |
| Просветление. <i>С. Черный</i> | 294 |
| Подождите! <i>А. Мейснер</i> | — |
| Ночные мысли. <i>М. Михайлов</i> | 295 |

АТТА ТРОЛЬ

| | |
|--|-----|
| Сон в летнюю ночь. <i>Н. Гумилев</i> | 297 |
|--|-----|

РОМАНСЕРО

Книга первая. Истории

| | |
|---|-----|
| Рампсент. <i>В. Костомаров</i> | 369 |
| Шельм фон Берген. <i>Л. Мей</i> | 371 |
| Поле битвы при Гастингсе. <i>Ал. Блок и Е. Книпович</i> | 373 |
| Карл I. <i>Вс. Рождественский</i> | 376 |
| Мария-Антуанета. <i>Юр. Тынянов</i> | 378 |

По м а р е.

| | |
|---|-----|
| 1. У меня ликует в сердце. <i>Л. Мей</i> | 379 |
| 2. Она танцует Гибкий стан. <i>Л. Мей</i> | 380 |
| 3. За кусок вчера она. <i>Л. Мей</i> | 381 |
| 4. Но не то судьба судила. <i>Л. Мей</i> | — |
| Золотой телец. <i>В. Костомаров</i> | 382 |
| Царь Давид. <i>М. Лозинский</i> | 383 |
| Азра. <i>П. Вейнберг</i> | 384 |
| Невесты небесные. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Жофруа Рюдель и Мелисанда Триполи. <i>В. Костомаров</i> | 386 |

Поэт Фирдуси.

| | |
|--|-----|
| 1. Если нищий речь заводит. <i>Л. Мей</i> | 388 |
| 2. Обманул бы просто он. <i>Л. Мей</i> | 390 |
| 3. Шах Магомет оттрапезовал. Он. <i>Л. Мей</i> | 391 |

Виц л и п у ц л и.

| | |
|---|-----|
| Прелюдия. Вот она, Америка! <i>В. Костомаров</i> | 393 |
| 1. На челе носил он лавры. <i>В. Костомаров</i> | 396 |
| 2. За ужасным днем сраженья. <i>В. Костомаров</i> | 402 |
| 3. Все бледней мердают звезды. <i>В. Костомаров</i> | 407 |

Книга вторая. Л а м е н т а ц и и

| | |
|---|-----|
| Испанские Атриды. <i>В. Костомаров</i> | 412 |
| Мифология. <i>М. Лозинский</i> | 420 |
| Молодым. <i>П. Вейнберг</i> | 421 |
| Неверующий. <i>В. Арнс</i> | — |
| Семейное счастье. <i>Вс. Рождественский</i> | 422 |
| Теперь куда? <i>В. Костомаров</i> | — |
| Гарантия. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 423 |
| Старая роза. <i>В. Костомаров</i> | 424 |
| Ауго-да-фе. <i>В. Костомаров</i> | — |

Л а з а р ь.

| | |
|---|-----|
| Ход жизни. <i>П. Вейнберг</i> | 425 |
| Оглядка. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Восстание из мертвых. <i>Вс. Рождественский</i> | 426 |
| Умиравший. <i>М. Михайлов</i> | 427 |
| Несовершенство. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Поминовение. <i>В. Костомаров</i> | 428 |

| | |
|---|-----|
| Забора. <i>Вс. Рождественский</i> | 429 |
| Октябрь 1849 г. <i>Г. Шенгели</i> | 430 |
| Завещание. <i>П. Вейнберг</i> | 432 |
| Enfant perdu. <i>Г. Шенгели</i> | — |

Книга третья. Еврейские мелодии

| | |
|--|-----|
| Принцесса Шабаш. <i>А. Майков</i> | 434 |
| Иегуда бен-Галеви. | |
| 1. Пусть прильнет язык к гортани. <i>П. Вейнберг</i> | 438 |
| 2. На реках на вавилонских. <i>П. Вейнберг</i> | 444 |
| 3. После бытвы при Арбеле. <i>П. Вейнберг</i> | 449 |
| 4. Огорчил свою супругу. <i>П. Вейнберг</i> | 457 |
| Диспут. <i>И. Мандельштам</i> | 465 |

ГЕРМАНИЯ

| | |
|---|-----|
| Зимняя сказка. <i>П. Вейнберг</i> | 481 |
|---|-----|

ДОПОЛНЕНИЯ

Песни любви

| | |
|---|-----|
| Цветы надыхаться жаждут. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 547 |
| Когда у милой я сижу. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Не верую я в небо. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Спеши, любимая, крепко. <i>В. Аренс</i> | 548 |
| Никак забыть не могу я. <i>Н. Греков</i> | — |
| Ты губы, целуй. ранила мне. <i>В. Аренс</i> | 549 |
| И мнится, несусь я вновь на коне. <i>В. Аренс</i> | — |
| Цветы прелестные, с вами. <i>П. Быков</i> | — |
| Я много творю песнопений. <i>В. Аренс</i> | 550 |
| Любви моей люда. <i>В. Аренс</i> | — |
| Позвольте, барышня, к вам на грудь. <i>В. Аренс</i> | — |
| Был я счастлив, словно бог. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 551 |
| Ты прекрасная хозяйка. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Нет, тебе не подходила. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |
| В поцелуях скрыта ложь. <i>В. Аренс</i> | — |
| Нет здесь милого поэта. <i>А. Мейснер</i> | 522 |
| Сердца людские рвутся. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | — |
| В разных формах возникаю. <i>В. Аренс</i> | — |

К девичнику.

| | |
|---|-----|
| 1. Все понимая, большими глазами. <i>М. Кузмин</i> | 553 |
| 2. Знаешь повара и кухню. <i>М. Кузмин</i> | — |
| 3. Счастье нам любовь дарует. <i>М. Кузмин</i> | 554 |
| 4. Нагую почву уж покрывает. <i>М. Кузмин</i> | — |
| Печально и вместе забавно. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Что за роскошь, соразмерность. <i>П. Быков</i> | 555 |
| Человек от этого счастлив. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| От глупых девушек трудно мне. <i>Вс. Рождественский</i> | 556 |
| О, как быстро возникают. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Не пугайся, дорогая. <i>П. Быков</i> | — |
| Берта. <i>И. Лебедев</i> | 557 |
| В соборе. <i>М. Бродовский</i> | — |
| Соловьи поют свободно. <i>П. Вейнберг</i> | 558 |
| Идет весна с дарами к венцу. <i>П. Быков</i> | — |
| Бойтесь чувств, чрезмерно жгучих. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 559 |
| Ты презрительно смеешься. <i>В. Аренс</i> | — |
| На груди букет трехцветный. <i>А. Мейснер</i> | — |

К и т т и.

| | |
|--|-----|
| 1. В платонических влеченьях. <i>А. Мейснер</i> | — |
| 2. Китти, Китти умирает. <i>А. Мейснер</i> | 560 |
| 3. Желтеет древесная зелень. <i>А. Фет</i> | — |
| 4. Взор, давно забытый мною. <i>П. Быков</i> | 561 |
| 5. Прекрасен блеск закатного солнца. <i>А. Шкафф</i> | — |
| 6. Я счастьем обладал вчера. <i>В. Аренс</i> | — |
| Песнь Песней. <i>Юр. Тынянов</i> | 562 |
| Сомнения нет, любовный пыл. <i>П. Вейнберг</i> | 563 |
| Друг, какое преступленье. <i>П. Вейнберг</i> | 564 |
| Не считай, что я по дури. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| В часах стеклянных, вижу я. <i>Вс. Рождественский</i> | 565 |
| Букет Матильды, дышавший весной. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| Лотос (Мушке). <i>В. Зоргенфрей</i> | 566 |
| Теперь, когда близка могила. <i>А. Оношкович-Яцына</i> | 567 |

Разные стихотворения.

| | |
|---|-----|
| А. В. Шлегелю. Сомнение ума — червяк наш самый злой. <i>Д. Минаев</i> | 568 |
|---|-----|

| | Стр. |
|---|------|
| Свет для меня был камерою пыток. <i>Д. Минаев</i> . . . | 568 |
| Фрицу Штейнману. Где гибнут добрые, там побе- ждают злые. <i>Д. Минаев</i> | 569 |
| Как с бедностью покончил бы я скоро. <i>Д. Минаев</i> . . . | — |
| Философский камень, братство. <i>В. Коломийцов</i> . . . | 570 |
| Вот снова лес зеленеет. <i>В. Коломийцов</i> | — |
| Что я люблю тебя, мопсик. <i>П. Быков</i> | — |
| Грезы старые, проснитесь! <i>В. Зоргенфрей</i> | 571 |
| Морская болезнь. <i>П. Вейнберг</i> | 572 |
| В облаках скользят луна. <i>Д. Минаев</i> | 573 |
| Плотно в тучи завернувшись. <i>В. Коломийцов</i> . . . | 574 |
| На небе полная луна. <i>А. Мейснер</i> | — |
| Где? <i>Вс. Рождественский</i> | 575 |
| Кстати. <i>Вс. Рождественский</i> | — |
| По ту и по эту сторону Рейна. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Болен, болен безнадежно. <i>Д. Минаев</i> | 576 |
| Мой день сиял и ночь была светла. <i>В. Зоргенфрей</i> . . | 577 |

Л а з а р ь .

| | |
|---|-----|
| 1. Брось свои иносказанья. <i>М. Михайлов</i> | 578 |
| 2. Черная дама к своим устам. <i>Вс. Рождественский</i> . . . | — |
| 3. Ах, как медлительно ползет. <i>Ф. Миллер</i> | 579 |
| 4. Влачась когда-то в край из края. <i>А. Мейснер</i> . . . | — |
| 5. Я знал их смех, улыбки, пенье. <i>А. Мейснер</i> | 580 |
| 6. Пускай присяжными рассудка. <i>О. Чюмина</i> | 581 |
| 7. Образ сфинкса наделен. <i>О. Чюмина</i> | — |
| 8. Три женщины возле дороги. <i>Вс. Рождественский</i> . . . | 582 |
| 9. Меня не манит рай небесный. <i>Д. Минаев</i> | — |
| 10. Как хаос сплошной, в мозгу у меня. <i>П. Вейнберг</i> . . . | 583 |
| 11. Я пылко осушил до дна. <i>Вс. Рождественский</i> | 585 |
| 12. Дни, века ужасной пытки. <i>П. Вейнберг</i> | — |
| Дни, века ужасной пытки. <i>П. Вейнберг</i> | 586 |
| Алкая покоя. <i>Юр. Тынянов</i> | — |
| Средневековую грубость. <i>П. Вейнберг</i> | 587 |
| Вспоминать о нем не надо. <i>Д. Минаев</i> | — |
| Эпилог. <i>П. Вейнберг</i> | 588 |

Р о м а н с ы и п р и т ч и .

| | |
|---|-----|
| Бегство. <i>Вс. Рождественский</i> | 589 |
| Ведьма. <i>М. Кузмин</i> | 590 |
| Песнь маркитантки. <i>Юр. Тынянов</i> | — |

Невольничий корабль.

1. Сидит суперкарго мингер Ван-Койк. *Г. Шенгели* 591
 2. Высоко в синем шатре небес. *Г. Шенгели* 594
 Филантроп. *Юр. Тынянов* 595
 Юдоль плача. *Юр. Тынянов* 598

Бимини.

- Пролог. *П. Вейнберг* 599
 1. Тих, пустынен берег Кубы. *П. Вейнберг* 605
 2. Рыцарь флотские привычки. *П. Вейнберг* 612
 3. Солнце весело и пышно. *П. Вейнберг* 615
 4. Понс де Леон не из дури. *П. Вейнберг* 620
 Красные туфли. *Юр. Тынянов* 622
 Добродетельный пес. *Юр. Тынянов* 623

Современность.

- Гимн. *Г. Шенгели* 625
 К политическому порту. *Юр. Тынянов* —
 Силезские ткачи. *Г. Шенгели* 626
 Добрый совет. *Юр. Тынянов* 627
 1649—1793 — ??? *Юр. Тынянов* 628
 Бродячие крысы. *Юр. Тынянов* 629
 Завещание. *Юр. Тынянов* 630

- Примечания 635





